

М.В. СЕРЕБРЯКОВ

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС  
*в молодости*

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
1958

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ имени А. А. ЖДАНОВА

---

*Проф. М. В. СЕРЕБРЯКОВ*

# ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС В МОЛОДОСТИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
1958

Работа проф. Серебрякова М. В. посвящается анализу формирования мировоззрения Фридриха Энгельса в ранний период его духовного развития (1837—1844 гг.).

Она представляет собой оригинальное исследование, выгодно отличающееся от всех, правда немногочисленных, работ, посвященных изучению раннего периода деятельности основоположников марксизма. Работа состоит из краткого введения и 16 глав, в которых разворачивается картина жизни и деятельности Энгельса с юного возраста до встречи его с Марксом в Париже в 1844 г., со времени которой основоположники марксизма начали свою совместную, многогранную плодотворную деятельность. Умственное развитие Энгельса проф. Серебряков показывает в органической связи с классовой и идеологической борьбой в Германии и других европейских странах того периода. Труд Серебрякова представляет ценность не только для понимания умственного развития молодого Энгельса, но и для уяснения идеологического состояния немецкого общества конца 30-х и 40-х годов. В его труде дается яркая и глубокая характеристика самых различных направлений в немецкой идеологии.

В работе Серебрякова используются ленинские указания относительно особенностей развития марксизма и особенностей формирования мировоззрения его основоположников. Она написана на огромном фактическом материале, с использованием всей имеющейся русской и иностранной литературы, относящейся к данному вопросу. Работа снабжена критическими примечаниями, представляющими огромную ценность для историков, философов и т. д. Труд Серебрякова написан в художественном стиле и рассчитан как на удовлетворение потребностей исследователей, так и на массового читателя.

Автор работал над данной книгой в течение многих лет, до 1950 г. включительно.

Ответственный редактор  
доцент *З. М. Протасенко*

*Серебряков Михаил Васильевич*  
**Фридрих Энгельс в молодости**

Редактор *М. Я. Корнеев*

Техн. редактор *А. В. Семенова*

Корректор *Г. Е. Митченко*

Сдано в набор 3 II 1958 г. Подписано к печати 9 IX 1958 г. М-02014. Тираж 8500 экз.  
Печ. л. 20,5. Бум. л. 10,25. Уч.-изд. л. 22,8. Формат бум. 60×92<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Заказ 101.

Типография ЛОЛГУ. Ленинград, Университетская наб., 7/9.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Вслед за Марксом, Энгельсом, Лениным мы, их последователи, усвоили ироническое отношение к попыткам «святого семейства» братьев Бауэров и К<sup>о</sup> разменять классическое гегельянство на мелкую монету «критической критики» с ее противоположностью между «духом» и «массой». Марксизму-ленинизму чужд мистический культ «героев», который проповедовал буржуазный идеолог Томас Карлейль. Марксизму-ленинизму чуждо благоговение русского революционера П. Л. Лаврова перед «критически мыслящими личностями», которые, подобно благодетельным единицам, снисходительно становятся во главе бесконечного множества человеческих «нулей». Марксизм-ленинизм разоблачает ненаучное противопоставление «героев» «толпе», столь любезное народническому сердцу Н. К. Михайловского и К<sup>о</sup>.

Тем не менее есть люди, жизнь и личность которых заслуживают самого пристального внимания. Одаренные неукротимой энергией, они отважно ломают цепи традиций и беспощадно уничтожают исторический хлам. Их характер и деятельность до такой степени сливаются с известной эпохой, что составляют с нею единое целое. Оживляя в памяти их образы, мы как бы перелистываем страницы истории. Наряду с Марксом, Лениным к наиболее ярким светочам человечества принадлежит, несомненно, и Фридрих Энгельс.

Именно поэтому его характер и умственное развитие всегда будут вызывать живейший интерес. Какими путями сын богатого барменского фабриканта порвал узы с буржуазными условиями родительской семьи? Почему живой, энергичный, богато одаренный и необычайно трудоспособный юноша не стал ни влиятельным бюрократом, ни знаменитым профессором, ни преуспевающим коммерсантом? Что побудило его сбросить «смирительную рубашку правоверия», еще в детстве напяленную семьей, школой и церковью? Какую помощь в борьбе с рели-



гиозными призраками ему оказали Штраус, Шлейермахер и Гегель? Как он перешел от гегелевского пантеизма сначала к фейербаховскому гуманизму, а потом к воинствующему атеизму и материализму?

Еще больший интерес представляют вопросы о развитии его политических убеждений. Кто помогал Энгельсу освобождаться от того консервативного настроения, которое царило в отчем доме? Почему он начал увлекаться «Молодой Германией», а затем разочаровался в младонемцах и решительно примкнул к Берне? В каком смысле этот «пророк свободы» наряду со Штраусом помог ему разобраться в гегелевской философии и перейти к левым гегельянцам? Чем Энгельс обязан «Галлеским» и «Немецким ежегодникам»? Как он попал в кружок «Свободных», присоединился к самому крайнему их крылу и здесь вел такую энергичную, такую плодотворную борьбу? Что превратило его в демократа, революционера и республиканца? Почему, открыто порвав с «Молодой Германией» и либерализмом, он оказался на пороге коммунизма?

Весь этот извилистый путь и, в частности, поворот к коммунизму долго не были известны. Густаву Майеру удалось раскрыть псевдоним молодого Энгельса, раздобыть юношеские письма у его родственников и раскопать ранние работы, до 1844 г. напечатанные в разных журналах или отдельными изданиями. Эти новые материалы бросили яркий сноп света на умственное развитие Энгельса. Но они же поставили ряд совершенно новых проблем. Не подвергался ли Энгельс социалистическим влияниям уже в самом конце 30-х годов? Не следует ли искать их истоков в младогегельянском журнале «Атеней», младогегельянской же «Рейнской газете» или таком, например, журнале, как «Вольная гавань»? В частности, не оказали ли какого-либо воздействия на его умственное развитие книги и статьи Гесса, корреспонденции Гейне или «Парижские письма» Гуцкова? А каково в этом смысле значение известной книги Штейна о социализме и коммунизме во Франции? Чем, между прочим, объясняется резко отрицательное отношение к ней самого Энгельса?

Найденные Майером материалы позволяют объяснить многое из того, что до их опубликования оставалось или вовсе, или недостаточно ясным. Так обстояло дело с первой встречей Маркса и Энгельса, с уходом последнего от «Свободных», его первыми шагами в Англии и т. д. Только теперь можно с полной ясностью проследить, какое огромное впечатление произвели на него чартисты и социалисты, как он завязывал личные знакомства с представителями обоих направлений, чем он обязан Оуэну и оуэнистам, О'Брайену и Гарнею, Фурье и Кабэ, Вейтлингу и немецким коммунистам.

Ранние работы Энгельса — корреспонденции в «Рейнскую газету», письма в «Швейцарский республиканец» и статьи в «Но-

вом нравственном мире» — дают основание положительно утверждать, что уже в 1843 г. он критически относился ко всем формам утопического социализма и коммунизма; уже тогда он независимо от Маркса преодолевал и в значительной мере преодолел их утопический характер; уже тогда, наконец, англо-французский социализм и рабочий коммунизм он противопоставлял немецкому «философскому социализму». Таким образом, его работы в «Немецко-французских ежегодниках» и очерки в газете «Вперед» вовсе не являются каким-то неожиданным pistolетным выстрелом, как это казалось раньше. Напротив, «гениальный эскиз» научного социализма есть плод долгой, упорной и большой работы.

Именно ей и посвящено настоящее исследование, доведенное до весны 1845 г. Это — не случайная, наудачу выхваченная дата, а завершение длительного периода в умственном развитии Энгельса. До сих пор оно происходило совершенно самостоятельно и, как сказано, независимо от Маркса. Весной же 1845 г. Энгельс поселяется в Брюсселе вместе с Марксом, умственное развитие которого совершалось в том же направлении, но иными путями. Они заключают беспрецедентный дружеский союз. С этого времени начинается их совместная работа над обоснованием и развитием нового мировоззрения. Но точно определить ту долю, которую каждый из друзей вложил в общую работу, чрезвычайно трудно, а иногда и просто невозможно. Во всяком случае для ответа на подобный вопрос нужно особое исследование.

Разрешая указанные и многие другие проблемы, автор, разумеется, пользуется единственно научным методом — методом диалектического материализма. Согласно этому методу, задача настоящего исследования состоит совсем не в том, чтобы «свести» воззрения Энгельса непосредственно и только к производительным силам или производственным отношениям; нет также надобности доказывать очевидную и даже бесспорную зависимость его умственного развития от экономического состояния Германии или Англии. Напротив, необходимо указать, что это развитие обусловлено классовой борьбой не только в экономической, но также в политической и теоретической областях. Для успешного же разрешения подобной задачи нужно: во-первых, вскрыть общую экономическую основу классовой борьбы; во-вторых, указать, как эта борьба проявлялась в политических событиях; в-третьих, охарактеризовать разные общественные и умственные направления. Вот почему в настоящем труде уделяется большое внимание не только политическим, но также религиозным, философским, литературным и научным направлениям.

Когда исследуется развитие общественной мысли, не следует (если позволительно так выразиться) рационализировать этот процесс. Историю творят сами люди с их противоречивыми стремлениями, чувствами, настроениями. Обычно же исторические дея-

тели либо не сознают, либо превратно объясняют мотивы своей собственной деятельности: они «идеологи». Это целиком относится к ортодоксам, пиетистам, христианским романтикам — противникам гегелевской философии — и тому подобным реакционным течениям. Но не в меньшей степени идеологами являются и более или менее прогрессивные направления, например младо-немцы и младогегельянцы, либералы и буржуазные демократы, утопические социалисты и «философские коммунисты». Многие своеобразные особенности всех этих течений объясняются характером их приверженцев: своекорыстием, эгоизмом, консерватизмом, классовой ненавистью, нерешительностью, слабостью, боязнью, половинчатостью и т. д. Преодоление Марксом и Энгельсом старых воззрений объясняется также не одним чисто теоретическим пониманием общественных явлений: чтобы достигнуть такого понимания, нужно было обладать не только полным бескорыстием, но и глубокой искренностью, большим мужеством, независимостью, твердостью и цельностью характера. По указанным соображениям автор пытается нарисовать портреты Гуцкова и других младо-немцев, Берне, Фридриха Вильгельма IV, Руге и младогегельянцев, бр. Бауэров и вообще «Свободных», некоторых чартистов и социалистов, немецких коммунистов, Гесса, Шаппера, Молля, Генриха Бауэра, О'Коннела, Карлейля и др.

Для характеристики таких лиц использованы прежде всего их литературные, публицистические, философские или научные произведения. Но иногда они либо совсем отсутствуют (например, у Фридриха Вильгельма IV), либо недостаточны. Приходилось дополнять их другими источниками. Очень богатые материалы дает прежде всего переписка. Первое место занимают, конечно, письма самого Энгельса сестре Марии, братьям Греберам, Руге, Марксу, Бебелю, Виктору Адлеру и Конраду Шмидту. Очень содержательны и поучительны письма Маркса Руге, Фейербаху, Гейне и Энгельсу. Много интересных материалов дает переписка Руге с разными лицами. Имеются ценные указания в переписке Гегеля, Фейербаха, братьев Бауэров, Гервега, Геббеля и Готфрида Келлера. Наконец, попадаются кое-какие, иногда весьма важные, факты в отдельных письмах Гуцкова, Флотвеля, Гесса, Фребеля, Виганда, Вальдека, Эвербека, Зейлера, Августа Беккера и др.; они либо опубликованы в журналах, либо до сих пор не опубликованы полностью, а приводятся лишь в отрывках (у Блунчли, Меринга, Ганзена, Злоцистого или Майера).

Дальнейшими источниками являются мемуары и дневники. Они представляют далеко не одинаковую ценность, имея свои достоинства и свои недостатки. Воспоминания обычно пишутся через много лет после излагаемых в них событий и предназначаются для печати; поэтому они лишены непосредственности, часто грешат неточностями и нарочитостью, их авторы иногда проявляют попытки самооправдания или просто желания свести старые счеы. Дневники же пишутся под свежим впечатлением

и далеко не всегда для печати; поэтому они более непосредственны, искренни и откровенны, иногда страстны и даже пристрастны, но зато хорошо передают настроения своих авторов или определенных кругов. С другой стороны, воспоминания более обдуманно, систематично, литературно и более свободны от мелочей. Но значение дневников нередко состоит именно в том, что современники отмечают события и факты, наиболее поражающие их воображение, а не кажущиеся им ретроспективно наиболее важными или характерными.

Все воспоминания, послужившие источниками предлагаемого труда, можно подразделить на три группы.

Одни имеют ближайшее отношение к теме исследования; таковы прежде всего живо написанные и изобилующие фактами воспоминания Руге, а затем Гудкова, Лаубе, Фребеля и Фаллерслебена. Другие обладают лишь, так сказать, эпизодическим значением; таковы, например, воспоминания Ловетта и Купера об отдельных эпизодах чартистского движения или Гарни о первом знакомстве с Энгельсом. Третьи лишь косвенно и более или менее отдаленно соприкасаются с темами настоящей работы; таковы отдельные замечания Рахили Варнгаген, Грильпарцера, Калиша и Коллофа о Берне, Мейсонера о Гейне и Гервеге, Келлера о Фейербахе. Наконец, особую группу представляют такие произведения, которые можно назвать полупротоисями, полувоспоминаниями. К ним следует отнести превосходное описание Берлина и его внутренней жизни в книгах Дронке и Засса, двухтомник Пруца «Десять лет» и известный труд Гаммеджа о чартизме. Кроме того, автор пользовался дневниками Лассалья, Розенкранца, Варнгагена фон Энзе, Готфрида Келлера, а также Фридриха Генца.

Психологическая характеристика исторических личностей сама по себе крайне недостаточна. Кроме того, она такая зыбкая почва, на которой нельзя возводить научное здание. Поэтому автор отнюдь не довольствуется неустойчивыми и трудноуловимыми настроениями этих личностей. Напротив, он всюду стремится стать на твердую почву фактов и предпочитает иметь дело с более или менее откristаллизовавшимися воззрениями. Именно поэтому очень важные источники его труда составляют журналы и газеты того времени, богатства которых далеко не исчерпаны даже очень видными исследователями, как Меринг или Майер. Автор нашел эти материалы в библиотеках Москвы и Ленинграда. К сожалению, в них имеется далеко не все. В таких случаях автору приходилось *volens-polens* черпать из вторых рук. Кроме этих источников, он пользовался, разумеется, общими и частными исследованиями, специальными монографиями, а также отдельными статьями, рассеянными в разных журналах. Все они указаны в примечаниях.

Чтобы не отвлекать внимание читателей, самые примечания помещены не под текстом, а в конце книги. При составлении

их автор преследовал цели: во-первых, дать библиографию по вопросам, затрагиваемым в настоящем труде; во-вторых, показать, каково научное состояние некоторых проблем, например, связанных с ранними произведениями Энгельса; в-третьих, укрепить или обосновать утверждения и положения, выставляемые в тексте; в-четвертых, устранить неточности или ошибки, так часто встречающиеся у лиц, писавших об Энгельсе; наконец, в-пятых, привести кое-какие характерные и небезынтересные детали, помещение которых в тексте перегрузило бы его излишними и утомительными подробностями.

Из только что сказанного ясно, что настоящее исследование предназначается не для одного узкого круга специалистов или научных работников. Напротив, оно рассчитано на широкий круг достаточно подготовленных и культурных читателей: в Советском Союзе прошли времена, про которые Маркс как-то выразился: «книги размером более 20 печатных листов — сочинения не для народа». У нас их читают и рабочие, и передовые колхозники, и трудовая интеллигенция. Это обстоятельство возлагало на автора обязанность: не поступаясь научным характером своего труда, изложить умственное развитие Энгельса в живой, повествовательной и по возможности увлекательной форме. К тому же побуждало и еще одно соображение: история вообще, а жизнеописание в особенности, не только наука, но немаложко и искусство; все же роды искусства, как сказал еще старик Вольтер, хороши, кроме скучного.

И еще одно замечание. Чтобы биография удовлетворяла и автора и читателя, необходимы два условия: любовное и в то же время критическое отношение к исторической личности, которой она посвящается. Жизнеописание может изобиловать фактами, интересными подробностями, документами и тому подобными аксессуарами; но без любви оно неизбежно будет сухо, холодно, педантично и лишено той интимности, без которой нельзя ни проникнуть во внутреннюю жизнь исторического деятеля, ни воспроизвести его подлинный и правдивый образ. С другой стороны, некритическое отношение столь же неизбежно превратит живого человека с его страстями, увлечениями, колебаниями или преувеличениями в иконописный лик, а самого исследователя — в какого-то суздальского богомаза.

Автор не скрывает своей горячей любви к Энгельсу; но критически проследив извилистые пути его умственного развития, автор знает также, сколько рытвин и ухабов, подводных камней и рифов молодой Энгельс преодолел в своей жизни. Путь его умственного развития был усеян не только розами, но шипами и терниями. Величие Энгельса состоит в том, что он, быть может, спотыкаясь и царапая себя, не падал духом, не свернул в сторону, а решительно и самостоятельно вышел на столбовую дорожку к коммунизму.

---

## РАННЯЯ ЮНОСТЬ Ф. ЭНГЕЛЬСА

## Глава I

## В СЕМЬЕ, ШКОЛЕ И КОНТОРЕ

28 ноября 1820 г. у богатого барменского фабриканта Энгельса и его жены Элизы Франциски Маврикии произошло крупное семейное событие: родился первенец, в честь отца названный Фридрихом.<sup>1</sup> С отцовской стороны ребенок унаследовал деятельный, живой и веселый характер, ясный, острый и критический ум. Мать передала ему впечатлительность, доброту и склонность к безобидному юмору. Уже в детстве богато одаренный ребенок познакомился с классической мифологией. Дед по матери ван Гаар, ректор гимназии в Гамме, рассказывал своему маленькому, но внимательному и любознательному внуку о героях греческого эпоса: о Керкионе, Тезее, стоглавом Аргусе, Ариадне и страшном Минотавре, о золотом руне, аргонавтах и Язоне, о «сильном» Геркулесе, Данае и Кадме.<sup>2</sup> Вскоре, впрочем, греческие мифы побледнели перед живыми образами германских и преимущественно рейнских саг, производивших гораздо большее впечатление на мальчика. Особенно сильно поразил его титанический и бунтарский образ Зигфрида.

Глубоко верующий и консервативно настроенный фабрикант воспитывал своего сына в строго религиозном духе. До 14 лет Фридрих, окруженный в семье братьями и сестрами, посещал барменское реальное училище. В то время оно называлось еще городской школой и находилось в руках ограниченного, скупого попечительского совета. Последний приглашал на должности учителей только благонадежных пиетистов. Один из них, по позднему свидетельству Энгельса, особенно отличился; на вопрос четвероклассника, кто такой Гете, воспитатель юношества дал бесподобный ответ: «безбожник».<sup>3</sup> По этому яркому примеру можно представить, какое религиозное мракобесие царило в стенах реального училища. Однако ханжество преподавателей не помешало юному Энгельсу приобрести начальные сведения в области физики и химии, к которым он до конца жизни сохра-

нил живейший интерес. Там же под руководством хорошего преподавателя французского языка Шифлина впервые проявились его замечательные лингвистические способности.

Городская гимназия в Эльберфельде, куда мальчик был переведен 20 октября 1834 г., принадлежала реформатской общине. Здесь выбором учителей тоже ведал совет училища; однако члены его, хотя и умели очень верно переносить статьи в главную бухгалтерскую книгу, не имели ни малейшего представления о греческом, латинском или математике. Приглашая учителей, они предпочитали какого-нибудь бездарного реформата дельному лютеранину или, еще хуже, католику.<sup>4</sup> Эта школа тоже отличалась духом религиозной нетерпимости и все-таки считалась лучшей в Германии. Здесь Фридрих проявил особую любовь к истории, которую с увлечением преподавал д-р Клаузен. До сих пор сохранилась школьная тетрадь, куда прилежный гимназист записывал уроки своего учителя по древней истории — «с сотворения мира до Пелопонесской войны (400—401 гг.)». Тетрадь эта украшена искусно вычерченными планами и рисунками: там встречаются тонко раскрашенные картинки окрестностей Карфагена, Иерусалима, Дельф, Фермопил и Саронического залива; там же тщательно нарисованы чернилами пирамиды, «колоссальный сфинкс близ Каира», «Львиные ворота» в Микенах, а на полях — эскизы вавилонских воинов, парских алтарей, индусских и греческих колонн. В рисунках проявляется тот талант рисовальщика, которым отличался Энгельс в впоследствии.

Дом фабриканта был расположен слишком далеко от гимназии. Родители хотели избавить сына от необходимости ежедневно совершать длинный путь. К тому же воспитание блестяще одаренного, но своенравного мальчика начало представлять некоторые трудности. В чем они заключались, мы узнаем из письма 27 августа 1835 г., посланного Энгельсом-отцом к жене, которая как раз находилась у постели своего умирающего отца ван Гаара. Фридрих, — пишет заботливый отец, — на прошлой неделе принес удовлетворительные отметки. С внешней стороны он стал учтивее, но, невзирая на прежние строгие взыскания, по-видимому, не научился безусловному послушанию даже из страха перед наказанием. Так, сегодня я, к своему прискорбию, снова нашел в его конторке сальную книгу из публичной библиотеки — рыцарский роман из жизни XIII века. «Поразительна беспечность», с какой он оставляет подобные книги у себя в шкапу. Да сохранит бог его душу; часто меня берет страх за «превосходного в общем юношу».<sup>5</sup>

Как раз в это время профессор классической филологии и гебарист д-р Гантчке предложил отдать Фридриха к нему в пансион. Отец, не жалевший денег на воспитание сына, с радостью ухватился за неожиданное предложение: Фридрих, по его мнению, настолько своеобразный, подвижный юноша, что для него

лучше всего будет замкнутый образ жизни, который должен привести его к некоторой самостоятельности. . . При всех его отрадных качествах он до сих пор обнаруживает тревожное «легкомыслие и бесхарактерность». Благочестивый фабрикант напрасно беспокоился о несамостоятельности и легкомыслии пятнадцатилетнего подростка. Уже в детстве у мальчика проснулось смутное недовольство застывшими формами жизни в родительском доме. Правда, он еще не посягал на основы христианского мировоззрения, которым была пропитана семейная атмосфера. Однако уже во втором классе гимназии Фридрих был склонен к оппозиции и мучительно искал границы между человеческим произволом и истинными заповедями божьими. В семейном кругу он вел уединенную духовную жизнь, богатую внутренними переживаниями. Недаром у старой служанки сохранилось воспоминание о том, как в один прекрасный день он появился с фонарем Диогена и по примеру философа-циника стал «искать человека».

При конфирмации шестнадцатилетний юноша был пока проникнут искренним благочестием. Он укротил все сомнения, гнездившиеся в его мятущейся душе, покаялся в грехах и горячо жаждал «общения с богом». По собственному признанию, он относился к религиозным вопросам со «святой серьезностью». «Я пожертвовал тем, что мне дороже всего, я пренебрег моими величайшими радостями, моими дорогими и близкими, я опозорил себя со всех сторон перед всем светом; я несказанно счастлив, что нашел в Плюмахере человека, с которым мог говорить об этом; я охотно переносил его фанатическую веру в предопределение; ты сам знаешь, что это для меня серьезное, священное дело. Я был тогда счастлив — я знаю это, — и теперь я тоже очень счастлив; у меня тогда была уверенность, радостная готовность молиться».<sup>6</sup>

Обуреваемый «священным усердием», юноша восставал против всякого религиозного свободомыслия. В таком настроении он 12 марта 1837 г. переселился в пансион евангелической общины в Нижнем Бармене. Пансион находился на попечении упомянутого д-ра Гантчке, исполнившего обязанности директора гимназии.

В ее последнем или, по немецкому счету, первом классе Фридрих больше всех преподавателей обязан Клаузену. Учитель истории и литературы выдал своему ученику похвальный аттестат: «Письменные работы, особенно за последний год, свидетельствуют об отрадных успехах в отношении общего развития; в них содержались верные, самостоятельные мысли, и в большинстве случаев они были изложены в надлежащем порядке; изложение отличалось необходимой основательностью, и выражение мыслей заметно приближалось к правильности». Энгельс «проявил похвальный интерес к *истории немецкой литературы* и к чтению немецких классиков».<sup>7</sup> Но и ученик впоследствии с



благодарностью вспоминал об учителе: в своем анонимном литературном первенце он замечает, что в Эльберфельде Клаузен как «знаток истории и литературы» был единственным человеком, умевшим пробуждать у молодежи любовь к поэзии, которая находилась не в большой чести у филистеров Вупперталя.<sup>8</sup>

Лингвистические дарования Фридриха тоже нашли похвальную оценку в выпускном свидетельстве. Он свободно переводил Ливия, Цицерона, Вергилия, Горация, легко схватывая общую связь и ясно понимая развитие мысли. Труднее давалась ему грамматика: письменные работы, хотя и не без явного изменения к лучшему, все же оставляли еще кое-что желать в грамматически-стилистическом отношении. С греческого наш гимназист легко переводил Гомера, Еврипида и искусно улавливал ход мысли в платоновских диалогах. По математике он приобрел «отрадные познания» и «вообще обнаружил дар понимания, умея изъясняться ясно и определенно». То же относится и к познаниям в области физики. Наконец, по истории церкви свидетельство отмечает: Энгельсу хорошо известны вероучения евангелической церкви и главные моменты по истории христианской церкви; не лишен он начитанности и в «Новом завете». Проф. Гантчке, хорошо знавший своего «дорогого воспитанника», хвалит его скромность, искренность и сердечность, религиозное чувство, душевную чистоту, благонравие и другие отменные качества.

Веселый, общительный и прямодушный юноша пользовался любовью товарищей. В старших классах гимназии они составили кружок, члены которого декламировали свои стихотворения, читали рассказы или исполняли собственные музыкальные произведения. Энгельс уже на школьной скамье почувствовал горячую любовь к искусству и литературе. По примеру товарищей он тоже сочинял музыкальные вещицы, писал стихотворения и рассказы. Так, уже тринадцати лет даровитый мальчик отправил дедушке стихотворение ко дню рождения. На торжественном акте Эрбельфельдской гимназии он прочитал свое греческое стихотворение «Поединок Этеокла с Полиником». В 1837 г. он написал первое известное нам прозаическое произведение «Рассказ о морских разбойниках» — совсем детский, беспомощный и неуклюжий опус.<sup>9</sup>

Кроме того, Энгельс успешно рисовал. Унаследованная от матери склонность к юмору находила выход в карикатурах, с удивительной живостью воспроизводящих характерные особенности окружающих. Учителя знали об этой способности, предметом которой сами частенько становились. Но, по-видимому, недоразумений не происходило. Некоторые преподаватели даже поощряли молодого рисовальщика или во всяком случае смотрели сквозь пальцы, как на уроках он с увлечением предавался своему искусству. Долгое время Энгельс оставался верен юношеской любви и помещал карикатуры даже в журналах.

Вскоре школьным годам настал конец. Первоначально предполагалось, что Фридрих посвятит себя изучению юриспруденции и подготовится к бюрократической карьере. Но незадолго до экзаменов обстоятельства сложились иначе. Отец решил сделать из своего сына коммерсанта, а сын, по-видимому, не очень настаивал на продолжении образования. Правда, он не питал ни малейшей склонности к «торгашеству», как любил впоследствии выражаться, но и поприще чиновника не особенно его прельщало. В горячей голове юноши бродили свободололюбивые идеи, мало вязавшиеся с допотопными порядками старой Германии. Торговая контора или чиновничья канцелярия — не все ли равно! Та и другая — лишь переходная ступень, лишь чистилище перед входом в рай литературы: молодого мечтателя манили к себе именно литература, поэзия и деятельность свободного писателя. Как бы то ни было, в сентябре 1837 г. он оставил гимназию и вернулся в отчий дом.<sup>10</sup> Здесь в продолжение года юноша изучал азбуку торгового дела, практически работая в фирме «Гаспар Энгельс и К<sup>о</sup>».

О его духовной жизни в этот период известно очень мало. Пребывание под кровлей воспитателя и отца не удовлетворяло духовных запросов, зародившихся у молодого человека. В отчем доме он слышал скучные разговоры о религии и церкви, а не живые споры о поэзии, литературе или политике. Чаше же всего Фридрих присутствовал при беседах, посвященных животрепещущим вопросам экономического характера: заключение конвенции о судоходстве по Рейну, учреждение таможенного союза, железнодорожные проекты о соединении Эльберфельда с Дюссельдорфом, основание пароходного общества для сообщения по Нижнему и Среднему Рейну, технические успехи промышленности и т. п. Все эти вопросы кровно интересовали капиталистов.

Да и не могло быть иначе. Рейнская провинция уже с начала века была самой промышленной местностью Германии. Недра земли скрывали богатые залежи железной руды, леса доставляли прекрасное топливо и разнообразные строительные материалы, а обильные водные артерии оказывали неоценимые услуги промышленности и торговле. Естественное богатство и разнообразие почвы в трех округах — Аахенском, Дюссельдорфском и Кельнском — позволили развиться почти всем отраслям промышленности. Здесь металлургическая и текстильная промышленность настолько процветали, что в одном только герцогстве Берг, небольшом пространстве близ Дюссельдорфа, насчитывалось около четырехсот мастерских, занимавшихся обработкой металлов. Такие города, как Эльберфельд и Бармен, Рамшейд и Золинген, давали патристическому населению повод вспоминать о Бирмингеме и Шеффилде. Развитая промышленность и связанная с ней торговля породили на одном полюсе общества торгово-промышленную буржуазию, а на другом — ее антипода — сравнительно многочисленный промышленный пролетариат.<sup>11</sup>

Помимо этого преимущества, Рейнская Пруссия обладала еще и другим. Вместе с Люксембургом, Рейнским Гессеном и Пфальцем она с 1795 до 1814 г. подвергалась непосредственному влиянию французской революции. Старое деление населения на сословия — духовенство, дворянство, горожан и крестьян — было уничтожено. Духовенство лишилось своих земельных владений: раздробленные на мелкие участки, они распродавались горожанам и крестьянам. На основании закона от 23 июня 1790 г. дворянство как сословие перестало существовать на всем левом берегу Рейна. Все его феодальные права и церковная десятина были отменены; вместе с духовенством оно лишилось судебной и полицейской власти над крестьянами, которые стали свободными земледельцами. Земельная собственность могла беспрепятственно делиться и отчуждаться. Одновременно с освобождением крестьян от феодальных пережитков цеховой строй уступил место свободе ремесла и промышленности. Все население, признанное равноправными гражданами, получило кодекс Наполеона, суд присяжных, устное и гласное судопроизводство.<sup>12</sup>

Деловито настроенные капиталисты Рейнской провинции очень ценили завоевания французской революции и были сильно заинтересованы в разных экономических мероприятиях и реформах. Но они интересовались прежде всего именно экономическими вопросами. Гораздо менее трогали их мечты о свободе печати или горькие жалобы на Фридриха Вильгельма III, все еще не исполнившего обещаний о даровании конституции. Даже политическая раздробленность Германии не особенно сокрушала сердца рейнской буржуазии: она питала еще смутные надежды, что связанные с этим экономические неудобства устранимы не политическими, а экономическими же средствами. Ее объединительные стремления причудливо сплетались с местным партикуляризмом. Жители рейнской провинции крайне недоверчиво взирали на рост прусского могущества и с нескрываемым презрением относились к отсталым учреждениям Пруссии. Особенно ревниво они охраняли гласность и устность судопроизводства. Современники саркастически говорили, что их соседи с берегов Рейна не испугались бы даже революции, если бы в Берлине посмели посягнуть на кодекс Наполеона и заменить его пересмотренным Всеобщим земским уложением.<sup>13</sup>

За всем тем прирейнская буржуазия была либеральнее, чем в остальной Германии. Либерально-демократический ветерок, после июльской революции подувший с берегов Сены, достиг прежде всего Рейна. Так называемое Гамбахское празднество, штурм франкфуртской гауптвахты и преследования «демагогов» нашли наибольший отголосок именно в прирейнской области. Не случайно из нее вышли будущие вожди крупной германской буржуазии — умеренные либералы Кампгаузен и Ганземан. До молодого Энгельса тоже доходили волнующие слухи о возобно-

вившейся «травле демагогов», о наложении запрета на произведения Гейне, «Молодой Германии» и т. д. Отрывочные сведения о далеких событиях за пределами Рейна он мог получить от старших товарищей, ранее кончивших гимназию и окончившихся в волны университетской жизни. Во всяком случае, уже под отчим кровом юноша был заражен либеральными веяниями времени.

Это видно из первых его стихотворений. По примеру других одаренных юношей Фридрих не удержался от искушения попытать счастья на поприще поэзии в ту пору, когда, по выражению Гервинуса, «страсть к рифмоплетству» обуяла наиболее способных учеников в школе.<sup>14</sup> Его пробные стихотворные опыты написаны под явным влиянием Фердинанда Фрейлиграта, который в конце мая 1837 г. прибыл в Бармен, получив должность конторщика в одной фирме. Будущий певец революции в то время стоял вдали от политики. Даже в стихотворении «Из Испании», которое написано на смерть генерала Диего Леона, в 1841 г. расстрелянного повстанцами, он утверждал: «Поэт дзором на башне более высокой, чем вышки партии, стоит». Его привлекала не политика, а экзотические страны. Примыкая к ориентальной поэзии В. Гюго и других романтиков, Фрейлиграт воспевал Индию, Аравию, Конго: их великолепную природу, удивительных животных, прекрасные плоды, пестрые ткани, торговые корабли, бороздящие моря в заманчивой дали. Его вдохновляли не социальные противоречия, а контраст между счастливым состоянием первобытных народов, живущих на свободе, и той нищетой, которую порождает их соприкосновение с европейской цивилизацией.<sup>15</sup>

Первая известная нам баллада Энгельса «Бедуины», напечатанная 16 сентября 1838 г. в одной бременской газете, своей композицией, пристрастием к восточной экзотике, романтизмом сильно напоминает стихотворения Фрейлиграта того же периода. По форме баллада очень несовершенна, но заслуживает внимания, показывая, что у автора уже начинает пробуждаться политическое сознание. По его собственному толкованию, главная мысль стихотворения заключается в противопоставлении бедуинов совершенно чуждой им современной политике. Попутно он иронизирует над Коцебу и его почитателями и противопоставляет им Шиллера как доброго принципала германского театра. Баллада проникнута грустью, навеянной современной нищетой бедуинов, которой Энгельс противопоставляет их былую вольность, мужество, гордость и полную треволнений жизнь в пустыне.

Как только произведение вышло из печати, недостатки его бросились в глаза автору: начинающий поэт нашел, что ему «совсем не удалось» выразить главную мысль в ясной живой форме, что в балладе есть риторика и неблагозвучные выражения. И впоследствии Энгельс не раз выражал недовольство

своими попытками оседлать Пегаса. Следует, однако, признать, что при всех формальных и технических недостатках баллада по непосредственности чувства и глубине мысли не уступает одновременным стихотворениям Фрейлиграта.<sup>16</sup>

Второе стихотворение, написанное в Бремене, носит название «Флорида» и характеризуется теми же мотивами.<sup>17</sup> «Флорида» совершеннее «Бедуинов» по форме и глубже по содержанию, хотя автор явно подражает Фрейлиграту. Ее отличительная особенность состоит, однако, в том, что религиозное настроение поэта уже сплетается со свободолобивыми мечтами, о которых пока еще не беспокоился будущий революционный лирик Фрейлиграт. Но приверженность к вере отцов редко уживается с либеральными идеями. Так было и с Энгельсом. Пока он не покинул отчего крова, религиозные влияния сохранили свою власть. Но как только птенец выпорхнул из родного гнезда, он стал расправлять крылья. Вскоре тяжкие сомнения закрались в грудь молодого человека. Испытав мучительную борьбу, он разорвал, наконец, «смирительную рубашку правоверия» и обратился к изучению классической философии.

Это произошло не в Вуппертале, а в ганзейском городе Бремене. После годичного пребывания у семейного очага Фридрих должен был продолжать коммерческое образование. Перед отцом снова возник вопрос: кому доверить дальнейшее воспитание своего сына? После долгих колебаний выбор был наконец сделан и, с родительской точки зрения, выбор не плохой: молодой Энгельс был направлен в Бремен к саксонскому консулу Генриху Лейпольду, владельцу крупного экспортного предприятия.<sup>18</sup> В Бремене царил такой же строго пиетистский дух, как и в долине реки Вуппер; и там религиозное благочестие мирно сочеталось с крупными торговыми оборотами. Недаром Ф. Засс, уроженец Любека, сравнивал бременцев с неудобоваримым пудингом из затхлого кальвинизма и голландского эгоизма под ганзейским соусом.<sup>19</sup>

Генрих Лейпольд, принципал Фридриха, урожденный силезец, мало интересовался приходской политикой имперского города, сосредоточив внимание на вывозе за границу, преимущественно в Америку, силезской бечевки и других товаров. К тому же он придерживался строго консервативных воззрений в религиозном и политическом отношении. Словом, Лейпольд был истинной находкой для своего делового друга. Естественно, что он устроил молодого человека согласно желаниям бумагопрядильного фабриканта: Фридрих поселился рядом с домом своего патрона в семье Георга Годфрида Тревирануса, состоявшего главным пастором при церкви св. Мартина. Почтенный пастор являлся не столько ученым-богословом, сколько практическим ревнителем веры, основывая библейские общества, воскресные школы, патронаты и попечительства о бедных поденщицах или протестантских переселенцах.

Обходительный, вежливый, жизнерадостный юноша вскоре стал своим в семье пастора и принимал участие во всех домашних делах: закалывают свинью — присутствует и Фридрих; происходит разлив Везера — он охраняет погреб от наводнения; жена и дочь пастора вяжут молодому человеку кошельки или кисеты его излюбленных черно-красно-золотых, т. е. политических, цветов, а сам «поп» относится к нему, как к родному сыну.<sup>20</sup> В конторе консула Энгельс ведет корреспонденцию на английском и испанском языках, но торговые дела не особенно его обременяют. Сидя за конторкой, молодой коммерсант размышляет больше о поэзии, литературе или религии, чем о торговых оборотах, прибылях и убытках. Когда же принципал удаляется из конторки, нередко извлекается «Фауст» Ленау, этого деятельного борца за духовную свободу, а то и начатое письмо к братьям Греберам, Плюмахеру или к кому-либо другому из школьных товарищей. После обеда обычно находится часок, когда можно вздремнуть или помечтать на гамаке в верхнем этаже магазина.<sup>21</sup>

Но Энгельс совсем не ведет жизнь изнеженного сибарита. Нет! В свободные часы он ревностно занимается физическими упражнениями, которые надолго остались его неизменной привычкой. Здоровый молодой человек презрительно относится к тем, кто, «...подобно бешеной собаке, боится холодной воды, кутается в три-четыре одеяния при малейшем морозе и считает для себя честью освободиться по слабосилию от военной службы».<sup>22</sup>

Судя по письмам к сестре Марии и школьным друзьям, он с увлечением предается фехтованию, дерется на эспадронах и во время одной дуэли наносит своему противнику «...знатную насечку на лбу, ровнехонько сверху вниз, великолепную приму».<sup>23</sup> По воскресеньям он совершает поездки верхом в окрестности, не боясь ни ветра, ни дождя: однажды наш лихой наездник четыре раза вымок до нитки, но имел в себе «так много внутреннего жару», что тотчас же снова становился сухим.<sup>24</sup> Он пренебрегает легкими недомоганиями и, едва отделившись от насморка, уже спешит выкупаться в широком у Бремена Везере, который переплывает четырежды без отдыха.<sup>25</sup>

По вечерам Фридрих усиленно читает, немножко занимается музыкой и, состоя в певческом фрейне, компанует хоралы, хотя признает это «трудным делом».<sup>26</sup> Не отказывается он и от приглашения хозяина забраться в погребок, где пастор угощает его вином, которое «предупредительно прислал новый бургомистр».<sup>27</sup>

Нередко он посещает и тот клуб, который служит сборным пунктом приказчиков, клерков и практикантов. Его привлекают не пустая болтовня с товарищами по работе. Там он читает английские или скандинавские газеты, утоляя острую жажду к знанию и получая пищу для своих необыкновенных лин-

гвистических дарований. Уже тогда будущий полиглот ще-голяет знанием иностранных языков и не без мальчишеского за-дора уверяет сестру, что выучился турецкому и японскому, а всего «понимает 25 языков».<sup>28</sup>

Это немного преувеличено, но крупные успехи несомненны. Так, например, одно из писем к товарищу по гимназии Вильгельму Греберу начинается на древнегреческом, продолжается по-латыни, а затем следуют английский, итальянский, испанский, португальский, французский и голландский языки.<sup>29</sup> Правда, лингвистические упражнения Энгельса не свободны от ошибок. Но это не беда. Юношу, полного сил и энергии, забавляет звон собственного оружия. Звуки различных языков производят на него такое действие, что он выражает свои впечатления в стихотворении, написанном гекзаметром. Упиваясь созвучиями чужой речи, он в конце этого стихотворения все же отдает преимущество родному языку:

«Но немецкий язык звучит, как прибой громогласный  
На коралловый брег острова с климатом чудным.  
Там раздается кипение волн неумных Гомера,  
Там пробуждают эхо гигантские скалы Эсхила,  
Там ты громады найдешь циклопических зданий и там же  
Средь благовонных садов цветы благороднейших видов.  
Там гармонично шумят вершины тенистых деревьев,  
Тихо там стонет наяда, потоком шлифуются камни,  
И поднимаются к небу постройки витязей древних.  
Это — немецкий язык, вечный и славой повитый».<sup>30</sup>

Таков Энгельс в семье, школе и конторе. Обильный источник нерастраченных сил бьет у него ключом. Юноша живо отдается непосредственным впечатлениям. «Своеобразная подвижность», удачно подмеченная отцом, побуждает его присматриваться ко всем окружающим явлениям и подставлять горячую грудь тому весеннему ветерку, который начинает веять над старой Германией. Он сознает уже свои выдающиеся дарования, но не подозревает своей великой грядущей судьбы. В Бремене, под сенью церкви св. Мартина, постепенно зреют силы человека, который порвет со всякой церковностью. В семье авторитетного пастора Тревирануса складывается непримиримый враг всякого авторитета. Но ему предстоит еще пройти трудный путь сомнений и упорной борьбы.

## Глава II

### БОРЬБА Ф. ЭНГЕЛЬСА С РЕЛИГИОЗНЫМИ ПРИЗРАКАМИ

Патриархально-идиллическая жизнь в семье пастора, размеренно-сухие и скучные занятия в торговой конторе саксонского консула, шумные и веселые сборища в кругу сверстников — такова обстановка, окружающая молодого Энгельса. Приветливый дома, исполнительный на службе, веселый на собраниях,

он тем не менее ведет уединенную жизнь, богатую внутренними переживаниями. Неведомо для окружающих юноша погружен в разрешение мучительных литературных, религиозных и политических вопросов. Он много размышляет, вдумчиво читает, пробует силы на литературном поприще. Так постепенно закладываются первые камни научного мировоззрения. Отсутствие ревнивого родительского надзора создает ему большую личную независимость; чтение немецких и особенно иностранных газет неустанно возбуждает тревожную мысль; менее заскорузлая бременская цензура позволяет доставать у книготорговцев такие книги, о которых и не слыхивали в благочестивом Вуппертале.

Бременские книготорговцы сумели недурно наладить контрабанду «заграничных» изданий. Через них в руки Фридриха попадают брошюры о так называемых «кельнских церковных смутах», которые начались резким спором из-за смешанных браков между католиками и протестантами, а закончились арестом кельнского архиепископа Дросте-Фишеринга.

У какого-то антиквара Энгельс приобретает книжку, выпущенную в свою защиту Яковом Гриммом, одним из тех семи профессоров Геттингенского университета, которые были лишены кафедр за протест против нарушения ганноверским королем конституции. Словом, он раскапывает такие произведения, о которых сам говорит: «...у нас никогда не осмелились бы напечатать: совершенно либеральные идеи и т. д.; рассуждения о старом ганноверском вшивом козле (короле, — М. С.) просто великолепны».<sup>1</sup>

Но неистовый Перси интересуется не только политикой. Не руководимый опытом взрослых, не поощряемый соревнованием сверстников, предоставленный исключительно собственным силам, он читает много, разносторонне и беспорядочно. Из переписки со школьными товарищами мы узнаем, что он то просматривает книгу церковных песнопений, то покупает «совершенно своеобразную книгу»: извлечения из «Acta Sanctorum» с портретами, житиями святых и молитвами. Одновременно приобретает «Диоген Синопский» Виланда. Когда же юный читатель не может добыть намеченных книг, он просит друзей выслать их. Так, сообщая в одном из писем, что уже имеет «Зигфрида», «Уленшпигеля» и «Елену», он просит приобрести другие народные книги: «Октавиан», «Простаки», «Дети Хеймона» и «Доктор Фауст»; «если имеются мистические, — добавляет он в письме, — то купи и их, особенно „Прорицания Сивиллы”».<sup>2</sup>

И в Бремене Энгельс продолжает служить Аполлону. Но мудрые слова Гете, обращенные к «молодым поэтам», заставляют его усомниться в своем поэтическом призвании: «Мне стало ясно, что своим рифмоплетством я ничего не сделал для искусства; тем не менее я буду рифмоплетствовать и впредь, ибо это „приятный придаток”, как говорит Гете».



Перед нами, кажется, юноша со свойственной юности беспечностью. Но это далеко не так. В том же письме Энгельс сообщает, что изучает Якова Беме: «...это темная, но глубокая душа. Приходится страшно много возиться с ним, если хочешь понять что-нибудь; у него богатство поэтических мыслей, и он полон аллегорий; язык его совершенно своеобразный: все слова имеют у него другое значение, чем обыкновенно; вместо существа, сущности [Wesen, Wesenheit] он говорит мучение [Qual]; бога он называет безоснованием [Ungrund] и основанием [Grund], ибо он не имеет ни основания, ни начала своего существования, являясь сам основанием своей и всякой иной жизни. До сих пор мне удалось раздобыть лишь три сочинения его; на первых порах этого достаточно».<sup>3</sup>

Занятия Энгельса, как мы видим, страдают большой пестротой. Слово в потемках, он бредет сквозь чашу, полную призраками прошлого. Но неутомимый искатель истины постепенно пробивается на дорогу. От его зоркого взгляда не ускользает ни одно указание, ни одна случайно поставленная веха. От одного автора он переходит к следующему, от современников — к предшественникам, от журналов и газет — к серьезному чтению. На первых порах роль маяка играет «Немецкий телеграф» Гуцкова: он вводит Энгельса в литературный сонм «Молодой Германии», укрепляет оппозиционное настроение и побуждает его более критически отнестись к служителям господ бога. Религиозные сомнения вспыхивают с большой силой и приковывают к себе внимание юноши.

Еще до переезда в Бремен он начинает питать вражду к «вуппертальскому» пиетизму с его фаталистическим учением о предопределении, религиозной нетерпимостью и верой в букву священного писания. Чтение «Телеграфа» и знакомство с литературой «Молодой Германии» еще более закрепляет отрицательное отношение к вере отцов. Энгельс пока верит в бога и признает основы христианства, но уже вступает на путь скептицизма. «Письма из Вупперталя», напечатанные в «Телеграфе» за март и апрель 1839 г., пропитаны враждебной иронией к проповедникам Бармена и Эльберфельда.<sup>4</sup>

В то время центром пиетизма и мистицизма была реформатская община в Эльберфельде. Издавна она отличалась кальвинистическим духом, который ханжи-проповедники превратили в безграничную нетерпимость. На собраниях инсценировались подлинные суды над еретиками и обсуждалось поведение всех не посещавших этих собраний: такой-то читает романы, и хотя они называются христианскими, но ведь романы — безбожные книги; такой-то, хоть и молится богу, но позавчера его видели на концерте. И собравшиеся всплескивали руками от негодования. Когда же появлялся кто-либо, не веривший в предопределение, сейчас же выносился приговор: он почти так же плох, как лютеранин, а лютеранин немного лучше католика; католик же и

идолопоклонник самой природой осуждены на вечные муки. И это говорили невежды, едва ли знавшие, написана библия по-китайски, еврейски или по-гречески. Со слов проповедника, признанного правоверным, они судили обо всем, о чем слышали и чего не слыхивали.

Такой дух в общине культивировался проповедником Готфридом Даниэлем Круммахером, а после его смерти Фридрихом Вильгельмом Круммахером, который превратил учение своего предшественника в полную бессмыслицу.

Ф. В. Круммахер своим учением о предопределении посеял вероятный раздор между лютеранами и реформатами, а также между более строгими и менее строгими приверженцами предопределения. Он до последних пределов довел учение о предопределении, основу которого составляла идея о неспособности человека (вследствие первородного греха) не только творить добро, но и желать его по собственному почину. Только сам бог, дескать, может наделить человека способностью к добру. Отсюда Круммахером делается крючкотворный вывод, будто немногие избранные независимо от их воли будут блаженны, а все остальные осуждены на вечные муки.

В «Письмах из Вупперталя» Энгельс решительно восстает против изуверства пиетистов, против учения Круммахера. Он видит, что мистические идеи Круммахера противоречат разуму и библии. Однако Энгельс не ограничивается рассмотрением только этого противоречия. Он замечает противоречивость изречений в самом писании. В писании сказано, что никто не придет к богу-отцу помимо Христа. Но язычники не могут прийти через Христа, ибо не знают его; стало быть, все они существуют лишь затем, чтобы наполнить преисподнюю. Да и среди христиан много званых, но мало избранных; а многие были призваны только для вида. Энгельс иронически замечает: «...бог, надо думать, звал их не слишком настойчиво, остерегаясь, как бы они, чего доброго, не послушались его; все это во славу Божию и дабы им не было прощения».

В писании также сказано: мудрость божия для мудрецов сего мира — глупость. Это положение используется мистиками для создания бессмысленных вероучений. Вместе с тем оно не вяжется с учением апостолов, которые говорят о разумном богослужении, о разумном лике евангелия. Как подобные утверждения согласуются с учением апостолов, «тайна сия непостижима для разума».<sup>5</sup>

Бармен-эльберфельдское изуверство противоречило не только «разуму и библии». Религиозное мышление, ограниченное узкими пределами идеи о первородном грехе, было несовместимо со стремлениями растущего капитализма. Фанатичный пиетизм Вупперталя остался в стороне от всех философских, литературных и религиозных течений того времени. Мимо прошли, не задев его застывших форм, борьба Лессинга с ортодоксией, прак-

тический разум Канта, поворот в историческом направлении Геггера, субъективный идеализм Фихте, новые веяния в поэзии Гете и Шиллера; Шлейермахер выступил с проповедью религии «сердца» и против превращения ее ортодоксами в догму; Гегель пытался примирить старую веру с новыми умственными запросами, создав умозрительное понятие имманентного божества. Все было тщетно! Закосневшее учение о предопределении осталось неприкосновенным во всей своей архаической красе. Нечего и говорить о том, до какой степени оно расходилось со стремлениями младогегельянцев и младонемцев.

Конечно, пытливый ум Энгельса заметил вопиющее противоречие. Вскрытие противоречий с «вуппертальской верой» и составляет содержание «Писем из Вуппертала». Он уже сознает ничтожество Крумахера и его сподвижников. Изобразив в саркастических красках их деятельность, автор «Писем» пророчески заключает первую часть: «... трудно себе представить, что в наше время все это еще возможно; но все-таки кажется, что даже эта скала старого обскурантизма не может больше противостоять бурному потоку времени: песок будет унесен течением, и скала с грохотом рухнет».<sup>6</sup> Разрыв Энгельса с верой отцов совершился. Юноша отверг закосневшее учение о предопределении, вступил на путь исканий, сомнений и борьбы с религиозными призраками,

Он охвачен еще истинной религиозностью и даже негодует на нечестивое безвременье: «Неужели, — спрашивает он, — наше время так мерзко, что не найдется человека, который мог бы проложить новые пути для религиозной поэзии?».<sup>7</sup>

Энгельс настолько пропитан еще христианскими воззрениями, что даже советует своему другу Фридриху Греберу сделаться пастором.<sup>8</sup> Он восстает против «проклятого, чахоточного, явно горбатого иезицизма», но убежден, что разум и библия не противоречат друг другу. Он именует себя супернатуралистом. Правда, юный мыслитель не уверен, долго ли им останется, ибо уже склонен более или менее к рационализму. Разумеется, он задержался бы на этой стадии значительно дольше, если бы имел представление о религии в той смягченной форме, которую проповедовал Шлейермахер. Невзирая, однако, на подобное настроение, Энгельса воодушевляют новые идеи — идеи «Молодой Германии», которым он предан всей своей пылкой душой: «... я, — пишет он другу 9 апреля 1838 г., — должен стать младогерманцем или, скорее, я уж таков душой и телом. По ночам я не могу спать от всех этих идей века; когда я стою на почте и смотрю на прусский государственный герб, меня охватывает дух свободы; каждый раз, когда я заглядываю в какой-нибудь журнал, я слежу за успехами свободы; эти идеи прокрадываются в мои поэмы и издеваются над обскурантами в клубках и горностае».

Воодушевленный идеями «Молодой Германии», Энгельс отдает себе ясный отчет в невысоких художественных достоинствах

ее литературы. Тем не менее он резко восстает против нападков на нее, исходящих из реакционного и ортодоксального стана. В том же письме Фридриху Греберу он восклицает: «Но слушай, Фриц, так как ты вот-вот станешь пастором, то можешь стать ортодоксом, сколько душе угодно, но если ты сделаешься пиетистом, бранящим „Молодую Германию” и внемлющим „Evangelische Kirchenzeitung”, как оракулу, то берегись, тебе придется иметь дело со мной. Ты должен стать пастором в Гемарке и прогнать проклятый, чахоточный, косный пиетизм, расцвету которого способствовал Круммахер. Они тебя, конечно, ославят еретиком, но пусть кто-нибудь придет и докажет тебе, на основании библии и разума, что ты неправ... пиетистом я никогда не был, был одно время мистиком, но это — *tempri passati* \*; теперь я честный, очень терпимый по отношению к другим супернатуралист; сколько времени я останусь им, не знаю, но я надеюсь остаться таковым, хотя и склоняюсь иногда, то больше, то меньше, к рационализму».<sup>9</sup>

Именно в это же время в руки Фридриха попала знаменитая книга Давида Штрауса «Жизнь Иисуса».

Как известно, в тогдашней богословской литературе Германии существовало двоякое отношение к чудесам. Так называемые супернатуралисты в душевной простоте не подвергали ни малейшему сомнению чудеса, признавая их действительность. Рационалисты, напротив, решительно отвергали их, нередко затрачивая большую дозу остроумия, чтобы объяснить естественным путем библейские и евангельские чудеса. Штраус разошелся с обоими направлениями и отважно положил предел бесплодным попыткам «сделать невероятное вероятным и исторически мыслимым то, чего не было в истории». Он решительно отказался видеть в евангельских рассказах более или менее точные повествования о действительных событиях. Содержание евангелий составляют только мифы, бессознательно сложившиеся в недрах первых христианских общин и отражавшие мессинические ожидания того времени. Наряду с прочими рассказами речи Иисуса тоже казались Штраусу плодом позднейшего творчества.

Книга Штрауса с ее совершенно новым отношением к евангельским событиям и чудесам потрясла до основания веру Энгельса в то, что священное писание — продукт божественного вдохновения. Учение швабского богослова о возникновении мифов дало ему ключ к разгадке с исторической точки зрения евангельских повествований и основательно поколебало его «супернатурализм». В начале апреля юноша, как мы знаем, именует себя супернатуралистом. В конце того же месяца он сохраняет еще прежнее название, но добавляет, что отныне отвергает

---

\* — прошедшие времена. *Ред.*

«ортодоксию». «Я теперь, — пишет Энгельс 23 апреля, — очень много занимаюсь философией и критической теологией. Когда тебе 18 лет и ты знакомишься со Штраусом, рационалистами и „Kirchenzeitung“, то следует или читать все, не задумываясь ни над чем, или же начать сомневаться в своей вуппертальской вере. Я не понимаю, как ортодоксальные священники могут быть столь ортодоксальны, когда в библии встречаются такие явные противоречия»...

И на чем основывается старая ортодоксия? — Ни на чем, кроме застарелой привычки. Где библия требует слепой веры в свое ученье, в свои повествования? Где хоть один апостол говорит, что все его рассказы — непосредственное боговдохновение? То, что говорят ортодоксы, вовсе не подчинение разума власти Христа; нет, это — умерщвление божественной искры в человеке и замена ее мертвой буквой. «Поэтому-то, — замечает Энгельс, — я и теперь такой же хороший супернатуралист, как и прежде, но от ортодоксии я отказался. Я ни за что не могу поэтому поверить, что рационалист, который от всего сердца стремится творить добро сколько в его силах, должен быть осужден на вечные муки. Это же противоречит и самой библии».<sup>10</sup>

Усомнившись в том, что евангелия — продукт божественного вдохновения, Энгельс самостоятельно открывает в них противоречия одно за другим. Прежде всего он не видит никакого смысла в генеалогическом древе Иосифа. Ведь оно совершенно излишне, ибо все три синоптических евангелия выразительно отмечают, что Иосиф — не отец Иисуса. Вуппертальцы толкуют вдохновение так, будто бог в каждое слово вложил особенно глубокий смысл. Но вопрос сводится именно к тому, каковы в библии границы боговдохновения: оказывал ли бог влияние на ее текст? Почему же в таком случае он, предвидевший, конечно, спор между лютеранами и реформатами, не предупредил этой губительной распри хоть незначительным вмешательством? Если допустить вдохновение, возможно только одно из двух: либо бог умышленно действовал так, чтобы вызвать спор, либо он допустил непозволительную оплошность. Но то и другое невозможно.

Обуреваемый подобными сомнениями, Энгельс без обиняков признает, что готов считать божественным только то учение, которое способно выдержать испытание перед разумом. «Кто дает нам право слепо верить в библию? — спрашивает он и отвечает. — Только авторитет тех, кто поступал так до нас...» Но библия состоит из многих отрывков, принадлежащих разным авторам, из которых многие даже сами не заявляют притязаний на божественность. И все же им, вопреки нашему разуму, мы обязаны верить только потому, что так говорят наши родители. Библия учит об осуждении рационалистов на вечные муки. Можно ли представить себе, что человек, всю жизнь стремившийся к слиянию с богом (Берне, Спиноза, Кант), или такой,

например, человек, как Гудков, ставивший наивысшей целью своей жизни отыскание пункта, где можно тесно связать позитивное христианство с современным просвещением, после смерти должен быть навеки веков отчужден от бога и как телесно, так и духовно выносить без конца гнев божий, претерпевая жесточайшие муки. Нам не подобает мучить муху, ворующую у нас сахар, а бог целую вечность должен с невероятной жесткостью истязать такого человека, заблуждения которого тоже бессознательны. Далее, грешит ли искренний рационалист, впадая в сомнения? — Нисколько.

Энгельс видит двусмысленность позиции ортодоксии относительно современной науки. Если геология расходится с Моисеевой историей о сотворении мира, ее поносят; когда же она, по видимому, приходит к таким же результатам, что и библия, на нее ссылаются. Если, например, один геолог говорит, что строение земли и окаменевшие кости доказывают великий потоп, на это делаются ссылки; но когда другой доказывает, что потоп происходил в разные времена и в различных местах, геология предается проклятию. Искренно ли это? Наконец, вот «Жизнь Иисуса» Штрауса, неопровержимое произведение. Почему не напишут убийственного опровержения его? Почему хулят подлинно почтенного человека? «Да, поистине, есть сомнения, которых я не умею преодолеть».

Все это показывает, что Энгельс был вовлечен в бурный поток сомнений; знакомство с книгой Штрауса вызвало у юноши усиленную работу мысли. Но религиозные предрассудки, вколотые семьей, школой и церковью, слишком глубоко укоренились, чтобы молодой Энгельс мог стряхнуть их одним взмахом плеча. Он сам признает: «Я в таком же положении, как Гудков; если кто-нибудь относится высокомерно к позитивному христианству, то я защищаю это учение, которое исходит ведь из глубочайшей потребности человеческой природы, из жажды искупления греха милосердием божьим; но когда дело идет о том, чтобы защищать свободу разума, я протестую против всякого принуждения. — Я надеюсь дожить до радикального поворота в религиозном сознании мира; если бы только мне самому все стало ясно! Но это непременно будет, если у меня только хватит времени развиваться спокойно, без тревог. Человек родился свободным, он свободен!»<sup>11</sup>

Таким образом, Энгельс все еще пытается примирить истинное, или «позитивное», христианство с требованиями свободы и разума. Он продолжает верить, что христианское вероучение берет начало в глубочайших источниках человеческой души и коренится в стремлении искупить грех милостью божьей, но решительно отвергает кальвинистическое учение о первородном грехе и предопределении. Он верит еще в искупление грехов, но вслед за Штраусом вынужден признать, что «библия состоит из многих кусочков, принадлежащих разным авторам». Таково его душев-

ное настроение в июне 1839 г. Под влиянием Штрауса неискушенный разум Энгельса разошелся с эмоциями, заботливо выращенными в семье и школе. Но самые эмоции остались, лишь осложнившись рационалистическим налетом. В июле юноша познакомился с учением Шлейермахера.

«Пророчествующий гражданин позднейшего мира, заговорщик ради лучших времен», как сам себя называл Шлейермахер, учил, что бога нельзя постигнуть путем отвлеченного знания. Он доступен только «непосредственному сознанию», только интимному, внутреннему чувству, непосредственно данному в опыте. Отдельная личность, думал Шлейермахер, всегда чувствует свою зависимость от конкретной целости объемлющего ее бытия. Это чувство зависимости, глубоко скрытое в тайниках человеческого сердца, — подлинная основа и источник религии. Поэтому религия является, по мнению Шлейермахера, не отвлеченным познанием и не действием, выражающимся во внешнем культе, а «полным самосознанием внутреннего чувства». В непосредственном опыте устанавливается единство и сердечная связь человека с богом. Религия находится за пределами теоретического мышления, искусства, нравственности и практики. Ее область — интуиция, созерцание вечного и бесконечного. Она совершенно особая, самобытная реальность, которая коренится не в рассудке или разуме, а в сердце человека.

Шлейермахер пытался удержать последний оплот религии. «Непосредственное сознание», чувство зависимости от целого, сердце человека — вот, казалось ему, надежная крепость, недоступная для разума и его скептических нападков. Это учение сильно затронуло созвучные струны в ищущей душе Энгельса. Он даже готов был совершить поворот от Штрауса к Шлейермахеру и свои мучительные сомнения пренебрежительно назвать «скептическими чурбашками».

В этот момент религиозные сомнения Энгельса достигли наибольшей остроты. Потрясенный до глубины души, он переживает прилив религиозных чувств. Старая, «вуппертальская» вера решительно отвергнута, новая еще не выработана; прежняя «истина» развеялась, как прозрачный дым, но настоящая не найдена. И вот колеблющийся юноша покидает свой обычный иронически-грубоватый тон. С мягким и нежным лиризмом он приоткрывает завесу над своим благородным сердцем: «Я молюсь ежедневно, — пишет он, — даже почти целый день об истине; я стал так поступать с тех пор, как начал сомневаться, и все-таки я не могу вернуться к вашей вере; а между тем, написано: просите и дастся вам. Я ищу истину всюду, где только надеюсь найти хоть тень ее; и все же я не могу признать вашу истину вечной. А между тем, написано: ищите и обрящете. Найдется ли кто-нибудь среди вас, кто дал бы камень своему ребенку, просящему хлеба? Тем более, может ли так поступить отец ваш небесный?

У меня выступают слезы на глазах, когда я пишу это, я весь

охвачен волнением, но я чувствую, что не погибну; я вернусь к богу, к которому стремится все мое сердце. И здесь тоже свидетельство святого духа, за это я жизнью ручаюсь, хотя бы в библии десять тысяч раз стояло обратное».<sup>12</sup>

Не подлежит ни малейшему сомнению, что подобное элегическое настроение навеяно Шлейермахером.

Но Энгельс в этот период находится, так сказать, в состоянии неустойчивого равновесия — колеблется между проповедником «религии сердца» Шлейермахером и представителем «рационализма» Штраусом: швабский богослов подорвал его самую веру в действительность евангельских чудес и вдребезги разбил ортодоксию; Шлейермахер предпринял безуспешную попытку объяснить религию потребностями сердца и вывести религиозные догмы из разума. Живой, деятельный Энгельс чувствовал себя крайне неуютно в море сомнений, колебаний и нерешительности. Колеблясь между обоими богословами, он на время увлекается Шлейермахером.

Гармонировало ли мистическое «религиозное чувство» с интеллектуальными запросами Фридриха? Согласовалось ли оно с разумом и потребностями повседневной политической борьбы? — Нет. И Энгельс сам смутно чувствует этот разлад. Вскоре он берет под подозрение «либеральный» супернатурализм, приверженцем которого так недавно надеялся остаться. «Если бы я, — пишет он 30 июля, — не был воспитан в крайностях ортодоксии и пиетизма, если бы мне в церкви, в школе и дома не внушали бы всегда самой слепой, безусловной веры в библию и в соответствие между учением библии и учением церкви и даже особым учением *каждого* священника, то, может быть, я еще долго бы придерживался несколько либерального супернатурализма». Теперь же юноша уже чувствует себя борцом, «*трьмахо*»,\* но только не рационалистической, а либеральной партии, и готовится вмешаться в гуцу жизни.<sup>13</sup>

Разумеется, учение Шлейермахера, так совпавшее с религиозным настроением Энгельса, не могло стать его конечной станцией: либо Шлейермахер, либо Штраус — такова была дилемма. Приходилось бросать жребий; и критически настроенный юноша бросил его. Уже 8 октября, по-видимому, гораздо основательнее усвоив Штрауса, он пишет Вильгельму Греберу: «... я теперь восторженный штраусианец. Приходите-ка теперь, теперь у меня есть оружие, шлем и щит, теперь я чувствую себя уверенным; приходите-ка, и я буду вас колотить, несмотря на вашу теологию, так что вы не будете знать, куда удрать. Да, Гуиллермо, *jaста est alea*,\*\* я — штраусианец, я, жалкий поэт, прячусь под крылья гениального Давида Фридриха Штрауса. Послушай-ка, что это за молодчина! Вот четыре евангелия, с их хаотической пестро-

\* — передовой боец. *Ред.*

\*\* — жребий брошен. *Ред.*



той; мистика распространяется перед ними в молитвенном благоговении, — и вот появляется Штраус, как молодой бог, извлекает хаос на солнечный свет, и — *Adios vera!* — она оказывается дырявой, как губка. Кое-где он злоупотреблял своей теорией мифов, но это только в мелочах; однако в целом он гениален. Если вы сумеете опровергнуть Штрауса — *eh bien* \*, тогда я снова стану пиетистом».<sup>14</sup>

В борьбе за новое мировоззрение Энгельс все более чувствует год ногами твердую почву и в споре с друзьями переходит от обороны к нападению. Опираясь на умоглядное богословие, он победоносно отражает вылазки пасторских сыновей, ловит их на каждом слове и разоблачает «проклятую христианскую софистику». С точки зрения правоверной теологии, он отверженец, безнадежно закопавшийся в грехе человек; но это уже не смущает его. «Я, — пишет наш штраусианец, — присягнул знамени Давида Фридриха Штрауса и являюсь первоклассным мифиологом». Штраус, по мнению Энгельса, лишил взгляды ортодоксов почвы; безвозвратно утрачен их исторический фундамент, а за ним падает и догматический. Штраус просто не опровержим; поэтому пиетисты так и беснуются против него.<sup>15</sup>

Так Энгельс отвернулся от Шлейермахера и обратился к Давиду Штраусу. Однако, это не значит, как полагает Меринг, что он лишь «на мгновение задержался, скорее всего в недоумении, на Шлейермахере и пришел, наконец, к Давиду Штраусу».<sup>16</sup> Энгельс «задержался» далеко не на мгновение. С «Жизнью Иисуса» он ознакомился еще раньше, чем с учением Шлейермахера, и тем не менее сильно увлекся последним. Это не случайно. «Религия сердца» затронула созвучные струны в душе Энгельса, вполне гармонируя с его религиозными настроениями. Поэтому нельзя говорить о «недоумении». Здесь мы имеем дело с вполне естественным и понятным психологическим явлением: глубокое благочестие Энгельса, воспитанное семьей, школой и церковью, не могло исчезнуть *ex abrupto*; \*\* поколебленное литературой «Молодой Германии», оно неизбежно должно было искать временного убежища в области сердца. Шлейермахер лишь оформил то, что смутно бродило в душе юноши, шедшего по собственному, своеобразному пути.

Лишь постепенно, среди сомнений и тяжелой борьбы с религиозными призраками, Штраус овладевает вниманием молодого Энгельса. Недавний вероучитель Шлейермахер, к которому мятежный юноша временно почувствовал такую глубокую симпатию, уже отеснен в сторону: «непосредственное религиозное чувство», будто бы данное в опыте, не устояло перед судом «разума»; те своеобразные эмоции, которые составляют иррациональную подоплеку религии, отодвинулись на задний план перед

\* — ну что же. *Ред.*

\*\* — внезапно. *Ред.*

лицом разгорающейся политической борьбы. Традиционное христианство перестало внушать привычное почтение; оно превзойденная ступень. А Штраус? Увы! И этот «несравненный гений», этот «молодой бог» превращается лишь в ступень к более высоким достижениям. За его спиной уже виднеется тень человека, к изучению трудов которого обратился Энгельс. Запросы реальной политической борьбы отвращают юного Энгельса от религии и даже таких ее блестящих критиков, как Штраус. В поисках истины он вырывается из сетей религиозного мирозерцания и обращается к более глубокому толкованию мира — гегелевской философии. Но к этому человеку — Гегелю — он пришел именно через Штрауса.

В ноябре 1839 г. в письме к своему другу Энгельс пишет, что он не собирается вновь надевать на себя «смирительную рубашку» отродоксального христианства: «Я как раз на пороге того, чтобы стать гегельянцем. Стану ли я им, я, право, еще не знаю, но Штраус так мне осветил Гегеля, что это кажется мне довольно правдоподобным. Кроме того, его (Гегеля) философия истории как бы вычитана из моей души».

Энгельс кончает свое письмо замечанием, что собирается «штудировать Гегеля за стаканом пунша».<sup>17</sup> Это, разумеется, добродушная шутка, прикрывающая глубокий интерес к Гегелю. В действительности же Энгельс принимается критически изучать немецкого философа не «за стаканом пунша», а со свойственными ему пронизательностью, увлечением и добросовестностью. Он сам, однако, сознает, что быстро идет вперед, покидая одну завоеванную позицию за другой. В январе 1840 г. он откровенно признает: «... я не взялся бы в новом письме подписаться под утверждением какого-нибудь предыдущего письма, ибо это утверждение слишком тесно примыкало к той категории взглядов, от которых за это время я уже сумел освободиться». Далее Энгельс сообщает, что через Штрауса он теперь вступил на прямой путь к гегельянству.

Молодой Энгельс заранее уверен в том, что не станет таким завзятым гегельянцем, как Хинрикс и т. п., но что он должен из этой грандиозной системы воспринять существенные элементы. «Гегелевская идея бога стала уже моей идеей, и я, таким образом, вступаю в ряды „современных пантеистов“, как выражаются Лео и Хенгстенберг, отлично зная, что уже одно слово пантеизм вызывает страшный испуг у „неспособных мыслить пасторов“». Люди, знающие Гегеля только понаслышке, напрасно пытаются ниспровергнуть систему, вылитую как бы из одного куска и не требующую скреп, чтобы держаться. Далее Энгельс сообщает, что изучает гегелевскую философию истории, то «огромное произведение», в которое он каждый вечер вчитывается, считая это своей «всенепременнейшей обязанностью»: «изумительные идеи» Гегеля «страшно захватывают» его.<sup>18</sup>

Вскоре тщательное изучение Гегеля принесло плоды. Энгельс окончательно расстается с идеей личного бога и погружается в глубины гегелевской философии. Гегелевское понятие божества заполняет воображение юноши и на короткое время делается центром его мирозерцания. Он вырывается «из филистерских запруд, из тесно зашнурованной кальвинистической ортодоксии» и подымается в горные высоты «свободно волнующегося духа». Гордое сознание свободного бесконечного духа — вот что переполняет бурной радостью его сердце. Это настроение Энгельс испытывает во время путешествия, предпринятого весной 1840 г. Через Вестфалию он отправился сначала на родину, а отсюда в Голландию и на короткое время в Англию, из которой снова вернулся в Бремен. Юный турист посвятил своим дорожным впечатлениям статью, в июле 1840 г. помещенную в «Телеграфе» Гуцкова под заглавием «Ландшафты».<sup>19</sup>

На пароходе между Роттердамом и Лондоном Энгельса охватывает «блаженное чувство». В поэтических образах он выражает свои воззрения. За каких-нибудь полтора года он критически переработал свое мирозерцание до основания. Отпрыск пиетистов не мог без отвращения думать и писать о Хенгстенберге, Лео и Круммахере, главаре религиозного правоверия. С энтузиазмом непорочный юноша приветствовал богословскую критику Давида Штрауса. Не примирив еще религиозных потребностей с запросами разума, он вернулся к Шлейермахеру и его непосредственному религиозному чувству. Но неумолимый дух критики снова заставил искавшего истину Энгельса присягнуть знамени Штрауса,<sup>20</sup> а последний привел его к Гегелю. Философ-идеалист на время приковал к себе внимание юного Энгельса.

### Глава III

#### «МОЛОДАЯ ГЕРМАНИЯ» И ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ Ф. ЭНГЕЛЬСА

Юный Энгельс безвозвратно удалился от алтаря, благоговейное почтение к которому внедрялось ему с детства. Но в Германии 30-х годов алтарь тесно соприкасался с тронном. Чтобы ограждать полуфеодальный строй, всемогущий господь на небесах был так же необходим, как самодержавный монарх на земле. Правоверные богословы твердили с церковных и университетских кафедр, что государству надлежит проникнуться христианскими началами. Романтические политики в тайниках канцелярий и на столбцах газет ревностно укрепляли правоверную церковь. Это сожительство алтаря и трона породило ублюдочную идею христианского государства, в существовании которого были заинтересованы попы и дворяне, правоверная церковь и абсолютная монархия, ортодоксия и романтика.

Всем представителям буржуазии, почувствовавшим дыхание июльской революции, алтарь и трон представлялись одинаково ненавистными оплотами реакции: чтобы опрокинуть последний, нужно было разрушить или по меньшей мере поколебать и первый. Естественно, что политическому раскрепощению предшествовала борьба с религиозным правоверием, а вылазки против религии приобретали характер политических актов. Философские и в особенности богословские вопросы заняли центр общественного внимания. В то время политических партий не было, но отсутствие их до известной степени возмещалось философскими и литературными направлениями, объединявшими единомышленников. Так, либерально и демократически настроенные идеологи буржуазии с философским складом ума группировались вокруг младогегельянцев, с литературными наклонностями — вокруг младонемцев.

Между ними наблюдалось несомненное духовное родство. Оба направления в одинаковой степени внушали ненависть главарям реакции. Политический реакционер Вольфганг Менцель уже в 1835 г. не без успеха требовал наложить запрещение на произведения Гейне и «Молодой Германии». Вождь религиозного правоверия и историк по специальности Генрих Лео жаждал вырвать с корнем «младогегельянские плевелы». «Евангелическая церковная газета» Хенгстенберга с равным отвращением писала о младогегельянцах и младонемцах.<sup>1</sup>

Полицейский нюх не совсем обманывал реакционных главарей. И младогегельянцы, и младонемцы отвергали издревле укоренившиеся традиции, священное предание, авторитет правоверной церкви и христианского государства. Они относились холодно к христианству и мечтали о новой пантеистической религии. Наконец, оба направления охотно говорили о правах молодежи и унаследовали от Гегеля веру в свободу, а от июльской революции — политические стремления. Но младогегельянцы совершали свою кротовую работу, прикрываясь туманными терминами философии; младонемцы же сражались беллетристическим оружием, нередко прибегая, однако, к критическим и публицистическим статьям.

Когда молодой Энгельс вырвался из захолустного Вупперталя, он уже чувствовал горячую любовь к поэзии и искусству. Его литературные вкусы сложились под влиянием великих немецких поэтов — Клопштока и Лессинга, Гете и Шиллера, Тика и Уланда. По приезде в Бремен он с жадностью набросился на литературу «Молодой Германии». При первом знакомстве она произвела на юношу не совсем благоприятное впечатление. Воспитанный на классических произведениях, он обладал большим литературным вкусом и живо чувствовал подлинную поэзию. Между тем младонемские писатели были далеко не первоклассными художниками. Немудрено, что Энгельс быстро заметит невысокие художественные качества младонемской литературы.

В ту пору своей юности он ставил форму значительно выше содержания. Руководствуясь вначале по преимуществу эстетическим мерилom, он крайне пренебрежительно отзывался о светилах «Молодой Германии» — Теодоре Мундте, Генрихе Лаубе и Густаве Кюне, которые восторженно преклонялись перед выдающимися женщинами того времени: Рахилью Варнхаген фон Энзе, Шарлоттой Штиглиц и Беттиной фон Арним.<sup>2</sup>

«Этот Теодор Мундт, — пишет Энгельс, — марает, что ему в голову взбредет, о мадемуазель Тальони, „танцующей Гете“, украшает себя тем, что нахватал у Гете, Гейне, Рахили и Штиглицы, пишет забавнейшую ерунду о Беттине, но все до того современно, до того современно, что у всякого щелкопера или у какой-нибудь молодой, тщеславной, сластолюбивой дамы обязательно явится охота прочесть это. А Кюне, агент Мундта в Лейпциге, редактирует „Zeitung für die elegante Welt“, и эта газета выглядит теперь, точно дама, напялившая на себя современное платье, хотя телосложение ее создано для фижм, так что при каждом шаге ее видна сквозь тесно прилегающую ткань очаровательная кривизна ног. Замечательно! А этот Генрих Лаубе! Парень без усталости малюет характеры, которых не существует, пишет путевые новеллы, которые вовсе не являются таковыми, городит всякую чепуху. Это ужасно! Я не знаю, что будет с немецкой литературой».<sup>3</sup>

Однако и среди современных поэтов Энгельс находит выдающихся художников. С полной независимостью, определенностью и ясностью суждений он выделяет «три таланта»: Карла Бека, Фердинанда Фрейлиграта и Юлиуса Мозена. Из всех прочих писателей он считает «наиболее разумным» Карла Гуцкова, издававшего журнал «Немецкий телеграф».

Гуцков, сыгравший некоторую роль в жизни Энгельса, действительно превосходил других младонемцев характером, знаниями и талантом. Этот сын княжеского берейтора не стал верным солдатом бога и короля, как предполагали его родители. В гот самый день, когда он кончил Берлинский университет и должен был получить академическую награду, пришло известие об июльской революции. Девятнадцатилетний юноша покинул торжественное заседание университета, не выслушав похвальную речь Гегеля и не получив золотой медали: он торопился в кабинет для чтения французских газет.

Не отличаясь особенной решительностью, Гуцков тем не менее уже в «Письмах дурака к дуре», своем первом крупном произведении, признал себя учеником Берне, Гейне и Сен-Симона, а в области литературного стиля — Жан Поля. Он высказался за демократическую республику, проникнутую духом Робеспьера и Сен-Жюста, но не сумел освободиться от богословского яда. Когда вышла «Жизнь Иисуса» Штрауса, он отверг гегелевскую критику христианства и вернулся к рационалистическим воззрениям старого Реймаруса, изложив их в романе «Вали сомневающаяся».

Именно этот роман дал Вольфгангу Менцелю, прежнему «про-року» нового времени и союзнику Гуцкова, возможность поднять страшный шум по поводу иррелигиозности и безнравственности его автора. Ознакомившись с доносом ренегата, союзный сейм в декабре 1835 г. особым постановлением запретил все сочинения «Молодой Германии» — Гейне, Гуцкова, Лаубе, Винбарга и Мундта.

Впоследствии сам Гуцков признал, что не владел оружием, необходимым для новой великой борьбы. Оппозиция младогегельянцев в конце 30-х годов вызвала у него «величайшее удивление», но была не по вкусу. «Предприимчивые приват-доценты» несколько пугали вождя «Молодой Германии», а идеализация прусского государства внушала ему даже недоверие. Он заявлял, что не умеет обращаться с логическими категориями, а может философствовать подобно Лессингу или Гердеру, лишь опираясь на конкретное обоснование. Поэтому он не пошел с младогегельянами, а продолжал сражаться оружием буржуазного просвещения. Но старое оружие утратило остроту, которой обладало в дни Лессинга, Гердера и Вольтера. Удары, наносимые Гуцковым, не глубоко ранили, а лишь царапали врагов.

Не замечая еще умеренности и слабости этого литератора, Энгельс называет его «вполне превосходным, достойным уважения молодцом».

Именно этому вождю «Молодой Германии», который сумел привлечь в свой журнал много талантливых сотрудников, юный литератор и предложил свой первый опыт — «Письма из Вупперталя», состоящие из трех частей. Две первые были напечатаны анонимно в марте и апреле 1839 г., а последняя под заглавием «Из Эльберфельда» за подписью «Фр. Освальд» — в ноябре. Вторая часть «Писем» обнаруживает несомненное знакомство с поэзией, подлинный литературный вкус и критические способности. Чувствуется, что на поприще журналистики выступает, пусть еще не совсем сложившийся, но своеобразный, сильный талант. И недаром Гуцков предложил ему постоянно сотрудничать в «Телеграфе». Не без тонкого юмора восемнадцатилетний автор описывает в своих «Письмах» жалкую умственную жизнь Эльберфельда и Бармена.

Вупперталяцы и на самом деле не имели представления об истинном просвещении: среди них образованным человеком считался тот, кто умел играть в вист и на бильярде, с грехом пополам болтать о политике и ловко говорить комплименты. Эти провинциальные филистеры вели скучную жизнь и были очень довольны ею. Целый день рьяно подсчитывая прибыли и убытки, по вечерам они в определенный час собирались в клубах, где играли в карты, рассуждали о политике и курили, пока часы не били девяти: в это время все расходилось по домам. Так жизнь текла изо дня в день без всяких перемен, и горе тому, кто захотел бы ее нарушить!

Под литературой они понимали Поль де Кока, Марриэта, Тромлица, Нестроя и т. п. Литературное значение «Молодой Германии» было неизвестно: она считалась каким-то демагогическим тайным обществом под председательством Гейне, Гуцкова и Мундта. Некоторые юноши читали кое-что из Гейне, но в общем имели о литературе очень смутные представления, заимствованные у попов и чиновников. Фрейлигат, проживавший в Бармене, большинству был известен лично и пользовался славой доброго товарища. Сначала ему не было отбоя от посетителей, которые буквально преследовали поэта, хвалили его стихи и вино, всеми средствами старались выпить на брудершафт с тем, кто уже «печатался». Постепенно Фрейлигат прервал с ними отношения и стал встречаться лишь с очень немногими. Несмотря на затруднительное положение поэта, принципалы относились к нему дружелюбно, может быть, потому, что Фрейлигат был крайне точным и прилежным конторщиком.

В собственно вуппертальской литературе важнейшее место занимала журналистика. Среди прозаических вещей не было ничего достойного упоминания. Поэзия процветала в «благословенной долине», где поселилось довольно много поэтов. Впрочем, местные знаменитости наводнили всю округу пиетизмом и филистерством. Плодами их творчества были не прекрасные, цветущие острова, а лишь бесплодные и голые утесы или длинные песчаные отмели, среди которых «блуждает Фрейлигат, как выброшенный на берег моряк».<sup>5</sup> Короче, в Вуппертале или «долине святош» (Muckertal), как не без остроумия выразился однажды Энгельс, единственную светлую точку составлял Фрейлигат. Все остальное было убого, плоско, бездарно или пошло: Бармен, по словам Энгельса, совсем выдохся в литературном отношении. Все, что там печатается, кроме проповедей, — по меньшей мере чепуха. . . «Недаром называют Бармен и Эльберфельд обскурантистскими и мистическими городами. . .»<sup>6</sup>

Безотрадные впечатления нашли яркое и очень своеобразное выражение в «Письмах из Вупперталя», вызвавших большую сенсацию в Бармене и Эльберфельде. Не привыкшие к дерзким речам, вуппертальцы были крайне возбуждены беспощадной критикой Энгельса, как свидетельствует письмо его друга Вильгельма Бланка к Вильгельму Греберу от 24 мая 1839 г. В. Бланк сообщает, что все находившиеся тут экземпляры «Телеграфа» с «Письмами из Вупперталя» расхватили в одно мгновение. Жители Бармена и Эльберфельда всеми силами стараются найти автора: один говорит, что это Фрейлигат, другой — что Клаузен, третий — что Гольцапфель, и т. д., но истинного автора не угадывают; и это хорошо, замечает Бланк, ибо они задали бы Энгельсу ужасную головомойку при его возвращении, если бы узнали, что это он.

Понятно, Энгельс опасался попасть в «адскую передрагу» и потому взял с друзей честное слово не открывать его автор-

ства.<sup>7</sup> Это решение еще более упрочилось, когда из дружеских писем автор узнал, что статья породила «адскую суматоху». Получив «Эльберфельдскую газету» с резкими нападками на свое произведение, он тотчас же переправил номер к Гуцкову с просьбой и впредь сохранять его аноним,<sup>8</sup> а редактору газеты д-ру Рункелю написал ответ, исполненный чувства собственного достоинства.<sup>9</sup> При таких обстоятельствах Энгельс заслужил свои литературные шпоры.

В «Письмах из Вупперталя» эстетическая точка зрения продолжает еще преобладать, но сквозь художественные мерила уже просачивается политическая струя: сбросив «смирительную рубашку правоверия», Энгельс впадает и в «политическую ересь».

В страстном обличении жизни вуппертальцев заметна определенная политическая направленность. Молодой Энгельс проявляет ярко выраженную самостоятельность суждений, и видно, что он пойдет самостоятельным путем.

«Письма из Вупперталя» — это не только обличение невежества, ханжества и лицемерия вуппертальских пиетистов. Энгельс срывает благонравные маски с пиетизма вуппертальских предпринимателей, показывая их как жестоких эксплуататоров. Он противопоставляет материальному благополучию вуппертальских богатеев муки голода и нищеты, тяжелые условия труда и политическое бесправие трудящихся. В эксплуатации работников вуппертальскими владельцами предприятий он видит причину бедствий тружеников. Одновременно с тем, как крепнут политические интересы, он все большее внимание уделяет и содержанию поэтических произведений. Литература «Молодой Германии», которой так недавно юный Энгельс дал резкую отповедь, снискивает более благоприятную его оценку. Даже больше: Энгельс начинает думать, что «Молодая Германия» открывает новую эру в немецкой литературе.

Кто был у немцев до 1830 г.? — вопрошает Энгельс. — Теодор Хелль, Виллибальд Алексис, старик Гете и старик Тик. Вот и все. Но, как удар грома, грянула июльская революция, «со времен освободительной войны прекраснейшее проявление народной воли». После нее Гете умер, Тик все более дряхлел, Хелль понемногу впадал в дремоту, Менцель продолжал писать свои топорные критические статьи; но в литературу проникали новые веяния. Выдвинулись поэты Грюн и Ленау; Рюккерт начал вновь переживать творческий подъем; Иммерман постепенно приобретал значение, Платен — тоже. Гейне и Берне, характеры которых сложились еще до июльской революции, только теперь стали завоевывать положение. По их стопам пошло молодое поколение с Гуцковым во главе. К нему примкнул незначительный Мундт, Ради заработка пускавшийся во всевозможные литературные предприятия. Вскоре присоединились остроумный и тонкий наблюдатель Бейрман, а потом Людольф Винбарг и Густав Кюне.



Для последних пяти писателей Винбарг изобрел название: «Молодая Германия».<sup>10</sup> Так Энгельс пишет о возникновении последней.

Против «Молодой Германии» и выступил Менцель, до того корчивший из себя единомышленника Берне и Гейне. Его грязным пером руководили низменные побуждения. Дело в том, что он издавал в Штутгарте «Литературную газету». Между тем Гуцков тоже задумал издавать «Немецкое обозрение». Вместе с ним в новом предприятии должен был участвовать кильский приват-доцент Людольф Винбарг, недавно посвятивший «Молодой Германии» свои «Эстетические походы» как дань неопределенного стремления к свободе.<sup>11</sup> Менцель испугался конкуренции и, чтобы устранить ее, выступил с доносом.

В свое время Соути накинудся на английскую литературу в лице Байрона и Шелли, как «сатанинскую школу». Поколением позже на ниве русской литературы Катков пускал в Герцена, Огарева и Бакунина отравленные стрелы, называя их «школой государственной измены». Подобно этим соути и катковым, Менцель клеветнически превратил «Молодую Германию» во «франкфуртскую школу порока и богохульства»; по его уверению, она решила восстать «против христианства, брака, семьи, чувства стыда, против бога и бессмертия, против германской национальности, существующего строя». В довершение именуя ее «сектой», доносчик вероломно расчитывал, что невежественные немецкие правительства спутают мнимую школу с «Молодой Германией» революционных эмигрантов в Швейцарии. Так оно и случилось. Решение союзного сейма, наложившее запрет на произведения «Молодой Германии», не только в зародыше задушило задуманное Гуцковым «Немецкое обозрение», но убило также «Литературный зодиак» Мундта в Лейпциге и «Полунощную газету» Лаубе в Брауншвейге.

Затем ополчилась и «Евангелическая церковная газета», во всякой аллегории усматривавшая идолопоклонство, а в изображении чувственности — проявление первородного греха. В союзе с Менцелем она обвинила «Молодую Германию» в стремлении к эмансипации женщин, восстановлению плоти и в желании ниспровергнуть два-три королевства. Из всех подобных нападок было справедливо только обвинение в стремлении к эмансипации женщин. По словам Кюне и Мундта, идеи «Молодой Германии» отличались не догматическим или антихристианским характером, а основывались на естественных правах человека и были враждебны всем тем отношениям, которые противоречили последним. Естественными правами человека обосновывались: участие народа в управлении государством, т. е. конституционализм, устранение феодальных пережитков, предоставление равноправия евреям, эмансипация женщин, уничтожение всякого религиозного принуждения, всякой аристократии и т. д.

Именно к этому литературному направлению Энгельс склоняется все более и более. Переписка с братьями Греберами

убеждает, что его привлекают прежде всего свободолюбивые стремления младонемцев. Однако пасторские сыновья отрицательно относились к повороту в политических воззрениях Фридриха и, по-видимому, пытались убедить его в предосудительности избираемого пути. По крайней мере сам Энгельс считает нужным решительно заявить о своем присоединении к младонемцам: «То, что мой дух склоняется в сторону „Молодой Германии“, не повредит свободе, ибо эта группа писателей, в отличие от романтической, демагогической школы и т. д., — не замкнутое общество; они хотят и стремятся, чтобы идеи нашего века — эмансипация евреев и рабов, всеобщий конституционализм и другие хорошие идеи — вошли в плоть и кровь немецкого народа. Так как эти идеи не расходятся с направлением моего духа, то почему я должен отделиться от них? Ведь дело идет не о том — как ты говоришь, — чтобы подчиниться какому-нибудь направлению, а о том, чтобы примкнуть...»<sup>12</sup>

Энгельс и «примыкает»: младонемецкая литература начинает привлекать его и содержанием и формой. Его воодушевляют свободолюбивые мечты, защита прав на индивидуальность, борьба с закосневшими традициями и ненавистным филистерством; он питает отвращение к пресной морали, мещанскому самодовольству и политической ограниченности старого поколения. Чутко прислушиваясь к биению пульса современной жизни, юноша думает, что именно «Молодая Германия» защищает живую действительность против романтических фантазий, подлинные интересы — против метафизического умозрения. Это увлекает Энгельса в русло «Молодой Германии». Он обращает внимание своих товарищей на литературные новинки, с которыми сам успел ознакомиться; таковы «Царь Саул» и «Книга очерков» Гуцкова, «Стихотворения» Крейценаха, «Германия и немцы» Бейрмана, «Драматурги современности» Винбарга и т. д.<sup>13</sup>

Воспитанник немецких классиков литературы все еще продолжает напирать на форму и стилистику, но идеалом ее считает уже «современный стиль». Образцы последнего, по его мнению, можно найти в произведениях Гейне, особенно у Кюне и Гуцкова, а мастера — в Винбарге. Из прежних писателей, с точки зрения Энгельса, на новейший стиль оказали наиболее благотворное влияние Лессинг, Гете, Жан Поль и главным образом Берне. «О, Берне пишет превосходным стилем!» — восклицает Энгельс. Его «Менцель-французоед» в стилистическом отношении — первое произведение Германии. Современный стиль отличается всеми преимуществами всякого стиля вообще: сжатая краткость и точность, одним словом определяющая предмет, перемежается со спокойным, эпическим повествованием; простой язык сменяется яркими картинками и сверкающими искрами остроумия.

Из нынешних писателей, по мнению Энгельса, Гейне пишет ослепительно, Винбарг — сердечно-тепло и лучезарно, Гуцков —

поразительно метко, Кюне — с интимной живописностью; Лаубе подражает Гейне и не совсем удачно Гете; Мундт тоже подражает гетеанцу Варнхагену. Если сочетать цветистость Жан Поля с точностью Берне, получатся отличительные черты современного стиля. Гуцков сумел удачно усвоить блестящий, легкий, но суховатый стиль французов. Этот французский стиль подобен летней паутинке; современный немецкий напоминает шелковую прядь. Из-за новых писателей Энгельс не забывает и старых: он прилежно изучает песни Гете, по поводу которых делает меткое замечание, что их следует штудировать с музыкальной точки зрения, «лучше всего в различных композициях».<sup>14</sup>

Таков взгляд Энгельса на младо немецкую литературу, брошенный, так сказать, с высоты птичьего полета. Сразу чувствуется, что он горячо симпатизирует «Молодой Германии» и в политическом, и в эстетическом отношениях: «...теперь „Молодая Германия“ королевой восседает на троне современной германской литературы».<sup>15</sup> Но как ни высоко ее ценит наш юный критик, он сохраняет полную самостоятельность суждений. Он неоднократно делает различные оговорки, проводя некоторую границу между собой и своими новыми единомышленниками. Энгельс недоволен модными словечками, как «мировая скорбь», «всемирно-историческое», «скорбь еврейства» и т. п., ибо «теперь они уже устарели»;<sup>16</sup> он берет под защиту народную поэзию, находя в одном из ее героев (Агасфере) «больше глубины и поэзии, чем во всем Теодоре Крейценахе вместе с его милой компанией».<sup>17</sup>

Все эти оговорки и замечания Энгельса очень характерны. Энгельс обладал слишком тонким литературным вкусом, чтобы не чувствовать поэзии там, где она действительно имеется. Его литературный диапазон был так велик, что он мог восторгаться поэтическими искрами, даже если их заволакивал дым суеверия или политических предрассудков.

В его критическую оценку литературных произведений органически вплеталась политическая тенденция. Он чувствует себя неуютно среди «певцов» мировой и «еврейской скорби». Его тянет к действенной поэзии, которая бы пробуждала в народе мужество, сознание своей силы и стремление к борьбе за свободу. Между тем критики «Молодой Германии» Гуцков и Лаубе отличались некоторой узостью. Холодно относясь к лирической поэзии, они зачастую не замечали жемчужин, заключенных, например, в народных книгах. Эти неуловимые оттенки в литературных вкусах и политических настроениях вносили некоторый холодок в отношения Энгельса к «Молодой Германии».

С указанной точки зрения очень поучительна его статья о народных книгах, помещенная в «Телеграфе» за ноябрь 1839 г. По мнению автора, никто не станет отрицать, что они истинно поэтичны. В частности, «История о неуязвимом Зигфриде» блещет роскошной поэзией, выраженной то с величайшей наивно-

стью, то с неподражаемым юмористическим пафосом. Легенды о Фаусте и Вечном жиде принадлежат к наиболее глубоким произведениям народной поэзии. Они обладают такими неисчерпаемыми богатствами, которыми каждая эпоха может пользоваться, не изменяя по существу самих легенд. «Уленшпигель», «Соломон и Морельф», «Поп с Каленберга», «Семеро швабов», «Простаки» отличаются замечательным остроумием, естественностью, добродушным юмором, всегда смягчающим язвительную насмешку, и таким поразительным комизмом положений, что, воистину, большая часть современной литературы может устыдиться. Кто из нынешних авторов в достаточной степени обладает даром выдумки, чтобы написать книгу вроде «Простаков»? Как прозаичен юмор Мундта в сравнении с юмором «Семерых швабов»! «Дети Хеймона» и «Фортунат» — подлинно народные книги; в одной из них сын Фортуната с неподражаемо веселым юмором переживает свои приключения; в другой царят дерзкое упорство, неукротимый дух оппозиции, восстающий против абсолютной, тиранической власти Карла Великого и отважно мстящий на его глазах за полученное оскорбление. Если в народных книгах господствует подобное юношески бодрое настроение, им можно простить многие недостатки. Почему? Потому, что оно содействует политическому пробуждению народа.

Народная книга предназначена развлекать крестьянина, когда он, утомленный, возвращается вечером с тяжелой работы; она должна позабавить, оживить его и отвлечь от сурового труда. Но вместе с тем народная книга обязана уяснить народу его нравственное чувство, дать ему сознание своей силы, своих прав и своей свободы, пробудить в нем мужество и любовь к родине.

Так Энгельс в чисто поэтическую ткань вплетает явно политические нити. Народные книги, думает он, должны обладать богатым поэтическим содержанием, нравственной чистотой и правдивым немецким духом. Но кроме того, мы вправе требовать, чтобы они отвечали своему времени или в противоположном случае перестали быть народными книгами. Наше же время замечательно борьбой за свободу, растущим конституционализмом, сопротивлением гнету аристократии, борьбой мышления с пиетизмом и жизнерадостности с мрачной аскезой. Народные книги должны в поэтических образах объяснить истинность, разумность и справедливость этих стремлений, а вовсе не потворствовать ханжеству, низкопоклонству перед дворянством или пиетизму. На этом основании Энгельс решительно осуждает многие произведения, издаваемые для народа в современный ему период, а также извращения подлинно народных поэтических произведений при позднейшей переработке.<sup>18</sup>

До какой степени он увлекался народной поэзией и в эстетическом и в политическом отношении, видно из некоторых неосуществившихся планов. Воображению юного поэта рисуются

величественные творения, пред которыми все прежние литературные попытки кажутся детской забавой. В «Сказочной новелле» он желает воплотить современные чаяния, мерцавшие еще в средние века; он мечтает воскресить духов, «погребенных под фундаментом церквей и подземелий, но даже под твердой земной корою алчущих искупления». Короче говоря, он предполагает разрешить хоть в некоторой доле задачу, поставленную Гуцковым: написать вторую часть «Фауста», в которой герой народной легенды был бы уже не эгоистом, а человеком, приносящим себя в жертву человечеству. «Фауст», «Вечный жид» и «Дикий охотник» — вот три типа, предчувствовавшие духовную свободу; их, кстати, легко можно связать с Яном Гусом. Перед художником открывается необъятная поэтическая перспектива! Энгельс твердо решает «вполне своеобразно» обработать намеченные образы народной поэзии. Чтобы придать произведению значительность в аксессуарах и в поэтическом отношении, он думает вплести туда кое-что из германских саг. Намерения его вполне серьезны: юноша связывает с ними даже надежды на литературное имя.<sup>19</sup>

На творческих замыслах Энгельса несомненно лежит печать «Молодой Германии». Его поэтические мечты переплетаются с политическими стремлениями. И все же он идет более или менее обособленной тропой. Младонемецкие критики не питали особого расположения к лирической поэзии. Энгельс же, напротив, жаждал такой лирики, которая воплотила бы его заветные думы о свободе, об юношески сильном и мужественно-смелом человеке. Одно время ему казалось, что желанный лирик пришел в лице Карла Бека, обнаруживавшего неопределенные позывы к свободе. Ознакомившись с его «Ночами», сборником песен, Энгельс тотчас поднял венгерского поэта на щит.<sup>20</sup>

Необходимо отметить, что вначале венгерский поэт пробудил великие надежды не у одного Энгельса. Гораздо более зрелые и вполне сложившиеся люди — Гуцков, Эдуард Бейрман и др. — сильно переоценивали Бека. Тем более знаменательно, что наш молодой критик очень скоро разошелся со своими временными единомышленниками: он быстро разглядел, что поэт преждевременно возведен на пьедестал гения. Статья Энгельса, посвященная специально Беку и напечатанная в «Телеграфе» за декабрь 1839 г., дает ему несравненно более трезвую оценку.

По мнению Энгельса, «Ночи» Бека — огонь, давно уже невиданный; но он сильно дымил, ибо горели слишком сырые дрова. «Ночи» — это хаос. В «Странствующем поэте» буря уже утихла, хаос рассеялся. Но прошел год, и Бек не создал ничего значительного. Наконец он выпустил «Тихие песни», разрушившие все очарование. От пылающего пламени, от благородного могучего ума трудно было ожидать подобного мут-

ного, отвратительного месива. Вообще беспорядочная, смятенная фантастика мешает Беку пластически изображать характеры и побуждает его вкладывать в уста всех действующих лиц одни и те же фразы. Другие произведения тоже таковы, что едва ли Бек сможет оправдать возлагавшиеся на него надежды.<sup>21</sup>

Преувеличения и последующее разочарование Энгельса не случайны. Прежде всего его тонкий литературный вкус с трудом выносил высокопарный тон в произведениях молодого поэта. Отдельные места он рассматривал даже как продукты «XVII в., погруженные в современную настылку из мировой скорби».<sup>22</sup> Энгельс жаждал подлинной лирики и не находил ее. Он знал утверждения противников, что «Молодая Германия» готова упразднить лирику, но не верил в эти намерения и не мог примириться с этой мыслью.

Правда, оптимизму нашего критика приходилось переживать тяжкие испытания: Гейне 11 октября 1839 г. писал младонемцу Кюне: «Я больше не имею особенного доверия к своей поэзии — именно написанной стихами. Мой возраст и все наше время больше не благоприятствуют стихам и требуют прозы».<sup>23</sup> Он же восставал против «швабов»,<sup>24</sup> а Гуцков насмешливо окрестил их «воскресными послеобеденными лириками с золотыми обрезками»; Винбарг горько сетовал на будничность лирики и ее вечное однообразие; Лаубе прославлял прозаическую форму за счет стихотворений; Мундт называл поклонение прозе евангелием новейшего времени, отрицая вообще всякую лирику, как нечто несвоевременное, и пророчествовал пришествие литературного мессии в прозе. Но все это, по мнению Энгельса, — преувеличения. Ведь немцы издавна гордились своими песнями. Если французы хвалились завоеванной в борьбе хартней и насмехались над германской цензурой, немцы всегда с гордостью указывали на философию от Канта до Гегеля и на ряд песен — от песни с Людвиге до Николауса Ленау. Неужели же этому лирическому сокровищу ныне суждено погибнуть? — Нет. Вот уже возникает лирика «молодой литературы»: Франц Дингельштедт, Эрнст фон дер Гайде (Карл Грюн), Теодор Крейценах и Карл Бек.<sup>25</sup>

Однако Энгельс скоро убеждается, что лирические звезды «Молодой Германии» мерцали слишком слабым, неверным и колеблющимся светом: лиризм Дингельштедта, по мнению Энгельса, стоял далеко не на высоте; Карл Грюн был не лирическим поэтом, а поверхностным фельетонистом, питавшим пристрастие к «ужасным гегелевским словечкам»;<sup>26</sup> Крейценах как «заурядный писака» и раньше не возбуждал у Энгельса особого энтузиазма;<sup>27</sup> Карл Бек не оправдал надежд, связанных с его первыми литературными дебютами. Кроме того, все они страдали проклятием половинчатости. Энгельса же не могла удовлетворить дешевая лирика, перепевающая старые погудки на новый лад.

Вскоре, когда была написана статья о Карле Беке, «старый сплетник», «Литературный указатель», поставил вопрос, почему у «современного пантеизма» нет лирической поэзии, которая имеется у пантеизма древнеперсидского и т. д.<sup>28</sup> Несмотря на нелепую форму, вопрос задел Энгельса за живое: «Газете, — пишет он, — остается только подождать, пока я и еще некоторые другие лица проникнутся этим пантеизмом, тогда появится и лирическая поэзия».<sup>29</sup> Как мы знаем, в «Ландшафтах» он действительно излил обуревавшие его пантеистические настроения.

Было бы, конечно, странно, если бы Энгельс не попытался вылить в стихотворной форме свои искания и настроения; ведь он обладал большими версификаторскими способностями и тонким чувством красоты. Даже в его прозаических литературных опытах нередко встречаются подлинно поэтические образы. И действительно, в письмах к бывшим школьным товарищам неоднократно говорится о «целых тетрадах» стихотворений и новелл, выходящих из-под его пера.<sup>30</sup> Между прочим, Энгельс, широко пользуясь правами юности, помещал под именем Теодора Гильденбрандта шуточные стихотворения в «Бременском городском вестнике».<sup>31</sup> Здесь он, по собственному выражению, давал волю своему «остроумию», искусно подделываясь под общий тон пиетистской газеты; когда же редакция попадалась в хитро расставленную ловушку, он едко вышучивал литературных простодильцев провинции.<sup>32</sup>

К сожалению, большая часть его стихотворных упражнений безвозвратно утрачена для потомства. Тем большего внимания заслуживает стихотворение под заглавием «Вечер», помещенное в «Телеграфе» за август 1840 г. Оно написано как раз в то время, когда Энгельс серьезно подумывал перевести лирика-пантеиста Шелли; недаром стихотворению предшествует характерный эпиграф из английского поэта: «То-morrow comes».\*<sup>33</sup> Оно проникнуто истинно поэтическим пафосом, очень удачно выражая как пантеистические, так и политические настроения нашего неутомимого правдоискателя.

Сидя в саду, юноша наблюдает, как погружается в волны солнца и как радостно вспыхивают искры вечерней зари. Наступающий вечер пробуждает в нем думы об утренней заре, когда взойдет солнце, солнце свободы, когда сгинет ночь с ее печальными заботами и вся земля превратится в цветущий сад.

Мечтая о будущем, поэт погружается в фантастические грезы. Юноша сравнивает поэтов с птицами, громким пением приветствующих восходящее солнце, когда облака склоняют свою влажную главу к глубоким долинам. Но в его воображении певцы не сидят уже в сторожевых башнях дворянских замков, давно разрушенных и павших, а с гордого дуба смело устремляют свои взоры к солнцу:

---

\* — День завтрашний придет! *Ред.*

«И я — один из вольных тех певцов;  
Дуб — это *Берне*, бывший мне поддержкой,  
Когда гонители, в тисках оков,  
Германию пятой сдавили дерзкой.  
Да, я один из этих смелых птах,  
Плывущих в море вольного эфира;  
Пусть воробьем я буду в их глазах, —  
Я лучше буду воробьем для мира,  
Чем заключенным в клетку соловьем,  
Для развлечения взятым в барский дом»<sup>34</sup>

Творя чудеса, свобода преобразует все социальные отношения. Вот корабль, пенящий волны, он не везет уже товаров для обогащения отдельных лиц, не служит жадному купцу для накопления. Он несет посев, из которого произрастает счастье человечества; это конь со всадником, несущим смерть всем лицемерам и лизоблюдам. Флаг корабля не украшен уже королевскими гербами, перед которыми экипаж склонялся со страхом и трепетом; флаг подобен туче после грозы: когда молния прорвет ее своими ударами, примирительно раскинется радуга. Тогда любовь перекинет от сердца к сердцу незримый мост. Промчится быстрый поток времени и страстей, но не поколеблется мост, крепкий, как алмаз; над ним будет реять знамя свободы, ибо построит его чистая вера. По мосту люди бесстрашно подымутся к небу, с горделивой скромностью смотря в очи предвечного творца. Люди вышли из его недр; на его же лоно они вернуться, чувствуя себя звеньями той духовной цепи, которая вечно охватывает материю.

Когда же взойдет снова солнце? Когда погибнет старый мир? Долго ли нас будет окутывать мрачная ночь? Все еще сквозь гокрывало облаков льет свет печальная луна, и туман стелется в глубине долин. Мы, бодрствующие в тумане, бродим ощупью, как слепые. Но терпенье! Облака, окружающие луну, уже бегут пред восходящим солнцем.

В таких поэтических образах юный Энгельс изливает свои политические настроения. Не будем останавливаться на недостатках стихотворения; не станем указывать на его тяжелую архитектурнику, на наивное подражание Кальдерону и Шелли; не будем, наконец, касаться гипертрофии образов, их громоздкости и искусственности. Сквозь все недостатки все-таки лучится энергия борца; под поэтической дымкой таится бодрый, мужественный и сильный темперамент. Несовершенство формы возмещается искренностью чувства, глубиной мысли и смелостью фантазии. Прав был юный поэт, когда писал, что не украсит, но и не унизит немецкой поэзии: современные поэты были не намного лучше его. Даже больше. Цельностью настроения, силой выражения и широтой замысла Энгельс решительно превосходил многих своих собратьев.

«Вечер» представляет интерес и в другом отношении. Автор его, ранее преклонявшийся перед формой, ныне переносит центр



тяжести на содержание. Политические и философские идеи, прежде пробивавшиеся робкими струйками, теперь льются могучим потоком. Сын благочестивого фабриканта становится борцом и революционером; участник гимназических кружков выходит на литературную и политическую арену. Борьба с религиозными призраками уже почти закончена. Отныне религиозные вопросы все больше уступают место литературным, политическим и философским. Если в области философии Энгельс восторгается Гегелем, то на политической арене его привлекает «Молодая Германия» и ее главный предшественник — Людвиг Берне.

#### Глава IV

### ЛЮДВИГ БЕРНЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ Ф. ЭНГЕЛЬСА

«Молодая Германия» неразрывно сплетена с промышленным развитием и политическим оживлением в Германии. Зачатки капитализма и первые железные дороги пробудили в немецком обществе смутные либеральные стремления. Горячее дыхание июльской революции растопило лед в политической и литературной областях. Тогда предтеча революционно-политических поэтов в немецкой литературе Платек, сердце которого, по словам Лассала, «билось самым пылким стремлением к свободе своего народа», в железных стихах заклеил палачей Польши.<sup>1</sup> Берне и Гейне открыли жестокий перекрестный огонь против немецкого деспотизма. Все трое обстреливали вражеские позиции из-за границы. Но одновременно с экономическими изменениями и внутри самой страны зазвучали новые песни, предвещавшие скорое наступление утра. Примыкая к либеральной романтике Уланда, Николаус Ленау вступил в борьбу за духовную свободу, которая была по существу лишь псевдонимом свободы политической. Один из семи геттингенских профессоров, лишенных кафедр за протест против нарушения конституции ганноверским королем, Гервинус своей «Историей немецкой литературы» пытался вложить в руки буржуазии оружие освободительной борьбы. «Эпигоны» Иммермана изображали борьбу между феодальным и промышленным строем. Первые стихотворения Фрейлиграта рисовали заманчивые перспективы всемирной торговли. «Мадонна» Мундта и «Вали» Гуцкова изобличали реакцию в области религии и морали.

Тем не менее «Молодая Германия» вовсе не была единым, цельным и сплоченным сообществом, как воображали ее противники. Иммерман сам признавал, что не обладает политической жилкой. Представители более молодого поколения — Гуцков, Мундт, Лаубе и др. — не питали особенной симпатии друг к другу и едва были знакомы между собою.<sup>2</sup> Одаренный свежим талантом и бурной живостью, но слабохарактерный и трусли-

вый, Лаубе неоднократно давал отрицательные отзывы о Мундте и Кюне, а при наложении запрета на произведения «Молодой Германии» обнаружил крайнее малодушие. Он публично заявил, что, давая Гуцкову обещание о сотрудничестве в «Немецком обозрении», не имел в виду поддерживать нападки на существующую цивилизацию. Мундт, обладавший умом, но не остроумием, кое-какими знаниями, но не пронизательностью, восторженностью, но не энергией, живым воображением, но не грацией, тоже вел себя крайне двусмысленно. После первого же нападения Менцеля он проявил трусливость, поспешив написать целый ряд резких статей против Гейне, Гуцкова и Винбарга, а позднее отступил от своего путаного гегельянства к шеллинговскому учению об откровении.<sup>3</sup> Кюне прославлял не только радикальных поэтов вроде Шелли, но и таких старомодных людей, как Рюккерт и Шамиссо. Только Гуцков и Винбарг обладали некоторым мужеством, отказываясь от сделки со своими гонителями.

Среди младонемцев не было цельных характеров и стойких политических борцов. У Мундта встречаются симпатии к «прусскому главенству»; Лаубе по поручению прусского министра полиции ездил в Страсбург, чтобы представить донесение о боцапартистских интригах;<sup>4</sup> «Вали» Гуцкова, вызванная «Жизнью Иисуса» Штрауса, была крайне безобидна в своих скептических тенденциях. Это объясняется очень просто. Под воздействием политического возбуждения, охватившего Германию после июльской революции, младонемцы пытались выражать стремление буржуазии, но не встречали с ее стороны ни серьезной поддержки, ни открытого признания. Как жертвы своего смутного времени, они часто были непоследовательны, робки, слабы и малодушны, уныло блуждая среди классовых противоречий. Словом, в писаниях «Молодой Германии» делал первые, еще неверные шаги северогерманский либерализм, эта «от рождения путаная голова с гегельянской окраской, примесью романтики и налетом сен-симонизма».<sup>5</sup>

Молодой Энгельс не мог довольствоваться робостью, нерешительностью и половинчатостью младонемецких писателей.<sup>6</sup> Его восприимчивый ум искал глубины; его цельная натура требовала живого дела. Литература же «Молодой Германии» не давала ни того, ни другого. Отсюда отмеченное сдержанное отношение к ней Энгельса. Как мы знаем, незадолго до прибытия его в Бремен взволновались стоячие воды Ганновера. Король Эрнст Август нарушил конституцию. Арест кельского архиепископа привел в смятение католический мир. Протест семи геттингенских профессоров подкрепил дряблые силы либерализма; защитительная речь одного из них, Якова Гримма, привела Энгельса в восхищение.

События, происходившие так близко и в такой драматической форме, сильно поразили юношу и нашли свое отражение

В стихотворении «Июльские дни в Германии». Вот краткое содержание этого стихотворения. В годовщину июльской революции Фридрих плывет на лодке. Завывает бурный ветер, бушуют волны и качается утлая ладья. Пловец думает о «князьях и королях Германии», напоминая им, что из Франции уже надвигается буря и волнует народные массы; уже колеблется трон, как челн во время шторма, и дрожит скипетр в руках короля. Взор поэта «с гневным мужеством» устремляется на деспота Эрнста Августа, безрассудно поправшего закон; поэт замечает, что «меч уже с трудом покоится в ножнах». И юноша негодуя спрашивает короля-клятвопреступника: «Скажи, так ли спокойно сидишь ты на золотом троне, как я в утлой ладье?»<sup>7</sup> Таково настроение Энгельса.

В это время орбиту его жизни пересек Людвиг Берне. Родоначальник «Молодой Германии» обладал тем свойством, которое юный Энгельс тщетно искал у его приверженцев, — цельностью характера. Со страстным увлечением пережив последний энтузиазм июльской революции, Берне до дна испил и чашу горького разочарования. Ратуя за политическую свободу и равенство, он первоначально благословлял конституционную монархию. Но бесстыдное хозяйничание буржуазии и ее приказка на троне скоро исцелило его от романтического оптимизма. Бывший конституционалист стал осыпать язвительными насмешками Июльскую монархию, как уroda о двух спинах, осужденного получать удары с обеих сторон: абсолютная монархия или республика — такова единственная альтернатива.

Берне не видел разницы между либерализмом и демократией, называя себя то либералом, то республиканцем. Как убежденный индивидуалист, он считал государство лишь неизбежным злом и предостерегал от тирании законов. Выросши в гетто Франкфурта-на-Майне, он видел во всякой национальности только досадную препону братству народов и отвергал патриотизм в национальном смысле. Бесправный еврей восставал против гнета во всех формах, любил свободу, но любил и Германию. Он восставал против всех, кто презирал или терзал несчастную страну; его язвительное и остроумное перо неумолимо обличало пороки господствующего класса, трусость буржуазии и лицемерие правителей. Убедившись же в полной невозможности мирным путем преодолеть реакцию, Берне возвестил немецким князьям близкое пришествие страшного суда — революции. Так писатель стал ее красноречивым и неутомимым глашатаяем. В последнем государе он, по выражению одного писателя, все еще видел бы последнего врага свободы и думал, что лишь на развалинах последнего трона был бы упрочен храм свободы.<sup>8</sup>

Как политик, Берне был всецело поглощен животрепещущими вопросами дня. Но ему чужды философия, искусство, что подметил уже Гейне,<sup>9</sup> и тот исторический склад ума, которым в такой степени обладал Энгельс. С невыразимым высокомерием

пророк свободы бранил Гегеля «холопом нерифмованным», а Гете — «холопом рифмованным». В художественных произведениях он выискивал политические тенденции, равнодушно проходя мимо подлинной красоты. Всю историю он рассматривал сквозь призму современной злободневности и всюду видел только борьбу народов с правительствами и властью авторитетов вообще. Однако дальше этого Берне не шел. Искания сенсимионизма, облеченные еще в религиозную оболочку, были для него тайной за семью печатями: как буржуазный либерал, он осуждал общность имущества на том основании, что она противоречит интересам личности, и даже стремления к эмансипации женщин объявлял «заблуждением». Но увлечение вопросами политики позволяло Берне сосредоточить все внимание в одном фокусе и придавало несравненную мощь его гневному голосу.<sup>10</sup>

Вот этот-то вдохновитель «Молодой Германии» и ввел Энгельса в святилище западноевропейского радикализма. Революционный жар, тлевший в душе Фридриха, вспыхнул ярким пламенем. Не замечая узости, односторонности и ограниченности, юноша увидел в Берне «исполина — борца за свободу и право». Политический блеск его произведений сначала просто ослеплял Энгельса. Наиболее замечательны, по мнению Энгельса, критические замечания Берне о «Вильгельме Телле» Шиллера: статья, противоречащая обычным взглядам, не опровергнута вот уже более двадцати лет просто потому, что она неопровержима. Как великий человек, он завязал спор, чреватый большими последствиями. Словом, уже два первых только что вышедших тома сочинений Берне обеспечивают ему место «рядом с Лессингом».<sup>11</sup>

Новое увлечение Энгельса характерно не менее других. Штраус помогал ему разгонять религиозный мрак; Гегель освещал путь в области философии. Берне же, этот Лессинг XIX в., этот «Иоанн Креститель нового времени»,<sup>12</sup> стал его путеводителем в вопросах политики. Беспокойный ум юноши упорно искал опоры, за которую можно было бы ухватиться. Такой опорой на время стал предшественник «Молодой Германии», могила которого лишь недавно была засыпана. Он, по словам Энгельса, «пал героем» в феврале 1837 г. и в последние дни жизни с радостью видел, как его дети — Гуцков, Мундт, Винбарг, Бейрман — начали действовать подобно грозе. Правда, над их головами еще тяготели черные облака печали; Германия еще была скована длинной-длинной цепью, которую союзный сейм чинил в тех местах, где она грозила разорваться. Но Берне «даже теперь смеется над государями и, быть может, знает час, когда с их голов слетят украденные короны».<sup>13</sup>

У братьев Греберов, неизменных корреспондентов Энгельса, разумеется, волосы становились дыбом от подобных бунтовщических писем. Один из пастырских сыновей пожелал Фридриху приобрести верного Эккарта, который оградил бы его от явно

грозящего зла. Однако благожелательный совет запоздал. Юноша успел уже настолько заразиться «тлетворными» идеями, что не мог вернуть политической невинности; он написал насмешливый ответ: «Карпуз, чего ты кричишь о верном Эккарте? Смотри, ведь вот он: маленький человек, с резким еврейским профилем; его зовут Берне».<sup>14</sup> И Энгельс с восторгом отзывался об «удивительном» «Менцеле-французоеде»: его грация, геркулесовская сила, душевная глубина, убийственное остроумие просто неподражаемы.<sup>15</sup>

Энгельс отлично сознавал, что от половинчатых писателей «Молодой Германии» Берне выгодно отличается удивительной цельностью натуры.<sup>16</sup> Его кумир мог бы с полным правом сказать про себя словами нашего поэта:

Я знал одной лишь думы власть,  
Одну — но пламенную страсть:  
Она, как червь, во мне жила,  
Изгрызла душу и сожгла.

Всепоглощающей думой, пламенной страстью, которая изгрызла и сожгла душу Берне, была политика. Публицист первого ранга, он сознательно ограничился в конце концов политической областью, считая богословскую и философскую борьбу ненужной тратой времени. Вот почему он никогда не впадал в тон «мировой скорби» и желал быть только будильником сонного Михеля. По той же причине ему были чужды модные искания, манерничанье и легковесный фельетонный стиль, которого не избежал сам Энгельс:<sup>17</sup> «маленький человек, с резким еврейским профилем» писал «кровью собственного сердца и сокком своих нервов».<sup>18</sup>

Когда Энгельс ополчился против Карла Бека, он выразил, между прочим, недовольство тем, что венгерский поэт совершенно не понял Берне. Последний никогда не знал той отчаянной «мировой скорби», которую приписывал ему Бек. Разве им избражен ясный Берне, этот твердый, непреклонный характер, любовь которого согревала, но не обжигала? Нет, это неверно: это неопределенный идеал современного поэта, сотканный из гейневского кокетства и мундтовских фраз, идеал, от реализации которого избави нас боже. И разве Берне сам по себе недостаточно поэтичен, что его нужно посыпать перцем новомодной мировой скорби? Величие его заключается именно в том, что он стоит выше жалких фраз и мелочных лозунгов, раздающихся в наши дни.<sup>19</sup>

Для Энгельса Берне — прежде всего борец. Но юноша и сам был борцом. Немудрено, что он почувствовал в авторе «Менцеля-французоеда» родственную натуру и избрал его своим руководителем по политической области. «Молодая Германия» с Гукковым во главе была неспособна к решительным, энергичным действиям.

Лишенные подлинно философского образования, младонемцы питались плохо переваренными крохами сен-симонизма и в своих литературных выступлениях довольствовались боязливими политическими намеками. Это не то, что могло увлечь Энгельса. Вполне понятно, что он все более увлекается Берне и постепенно охладевает к «Молодой Германии». Даже значительно позднее он сохраняет теплое воспоминание о первом и очень пренебрежительно отзывается о последней.<sup>20</sup>

С обычной в годы юности склонностью к преувеличениям Энгельс ставит Берне на одну доску с Гегелем. В обоих он видит своих освободителей: в одном — «человека политической практики», в другом — «человека мышления». Юноша убежден, что без прямого и косвенного влияния Берне ему было бы гораздо труднее ориентироваться в направлении к свободе, которое намечал немецкий философ. Берне и Гегель стоят друг к другу ближе, чем кажется на первый взгляд, думает Энгельс. Непосредственность и здравые взгляды первого представляют в сущности практическую сторону того, что второй имел в виду теоретически.<sup>21</sup> Политик боролся за свободу, но и философ учил, что «всемирная история — развитие понятия свободы».<sup>22</sup>

Берне как человек политической практики сорвал с германомании ее суетную мишуру и безжалостно вскрыл тщету космополитизма, питавшего лишь бессильные благие пожелания. Он подошел к немцам со словами Сила: «Язык без рук, как держашь ты говорить?» Никто лучше его в то время не изображал превосходства дела. Вся жизнь, вся сила — в нем. Только о произведениях Берне можно сказать, что они — подвиг во имя свободы. Но, впервые поняв истинное отношение Германии к Франции, он оказал идее большие услуги, чем гегельянцы, на память заучившие «Энциклопедию» учителя и воображавшие, что этим достаточно сделали для своего века. Здравая односторонность так же необходима Берне, как преувеличенный схематизм Гегелю. Таков Берне в представлении Энгельса.

Рядом со своим современником и в противовес ему Гегель, человек мышления, представил нации готовую систему. Власть не потрудилась разобраться в ее темных формах. Откуда, спрашивает Энгельс, власть могла знать, что эта философия отважится выйти из спокойной гавани теории в бурное море житейских событий, что она уже извлекает меч, чтобы направить его против существующей практики? Сам Гегель был ведь такой солидный, ортодоксальный человек, который вел полемику именно против не признанных правительством направлений — против рационализма и космополитического либерализма. Но господа, стоявшие у власти, не замечали, что новое учение должно сначала укорениться в сознании нации, а уж затем свободно развить свои животворные выводы.

Если Берне нападал на Гегеля, с своей точки зрения он был прав, продолжает Энгельс. Но когда власть стала протести-

ровать Гегелю и возвела его учение в степень прусской государственной философии, она попала впросак и теперь, очевидно, раскаивается. После смерти Гегеля его доктрина была овеяна свежим дыханием жизни, а «пруская государственная философия» взрастила такие побеги, какие не снились ни одной партии. Штраус в теологической области, а Ганс и Руге в политической «составили целую эпоху». Только тогда неясные туманности спекуляции начали превращаться в яркие идейные звезды, освещающие путь движению века.

Руге открыто высказал свободомыслие гегельянства; к нему присоединился Кеппен. Оба, по мнению Энгельса, не испугались вражды и пошли по раз избранному пути, невзирая на опасность раскола школы. Честь и слава их мужеству! Воодушевленная, непоколебимая вера в идею, свойственная младогегельянству, — вот, по убеждению Энгельса, единственная крепость, где свободомыслящие могут найти верное убежище, когда покровительствуемая сверху реакция временно одерживает победу. Задача своего времени, по мнению Энгельса, состоит в том, чтобы завершить сближение Гегеля и Берне. В младогегельянстве он видит уже изрядную долю Берне, который без особых колебаний подписался бы под некоторыми статьями «Галлеских ежегодников». Но необходимость объединить мышление с практикой частью недостаточно осознана, а частью еще не проникла в нацию. Некоторые все еще считают Берне резкой противоположностью Гегелю. Но о практическом значении Гегеля для наших дней нельзя судить по чистой теории его системы; точно так же и к Берне не подходят плоские суждения о его неоспоримой односторонности и экстравагантности. Задачу своего времени Энгельс видит во взаимодействии науки и жизни, философии и современных тенденций, Гегеля и Берне.<sup>23</sup> «...Задача нашего времени заключается в том, чтобы завершить взаимопроникновение идей Гегеля и Берне».<sup>24</sup>

Эти оригинальные размышления Энгельс изложил в статье, посвященной известному германскому патриоту Эрнсту Морицу Арндту и напечатанной в «Телеграфе» за январь 1841 г. Они поучительны во многих отношениях. Прежде всего автор впервые начинает понимать ограниченность и односторонность Берне. Правда, он смягчает слабости своего героя, выдвигая его положительные стороны; но юноша уже сознает, что Берне требует дополнения. В чем оно заключается? — В философии Гегеля, выводы которой тоже несовместимы с «существующей практикой». Поэтому взаимодействие науки и жизни — настоящая задача дня.

Замечателен далее чисто практический подход и к Берне, и к Гегелю: по мнению Энгельса, величие одного заключается в том, что он призывал к практической деятельности, и сам неутомимо боролся за свободу; заслуга второго в том, что он выковал меч, острие которого последователи направили против церковной и

политической реакции. Когда младогегельянцы повернули на практический путь, началось сближение между «философией и современными тенденциями». Это движение настолько подвинулось вперед, что Берне охотно подписался бы под кое-какими статьями «Галлеских ежегодников». Таким образом, Энгельс, который, несомненно, уже познакомился с младогегельянами Гансом, Руге и Кеппенем, все время руководствуется одной идеей — идеей свободы: это арнадинна нить, позволяющая ему разбираться в гегельянской философии и пестрой чреде политических событий. Именно эта идея дает ему также возможность крайне своеобразно амальгамировать столь разнородные фигуры, как Берне и Гегель.

Свобода — вот прекрасная богиня, и Берне — ее верховный жрец. Энгельс благоговейно поклоняется им, но поклоняется не один: лучшие германские юноши того времени считали Берне властителем своих дум. Достаточно вспомнить о Гервеге и Лассале. Последний, прочитав «Парижские письма», заносит в дневник: «Если посмотреть на эту тюрьму — Германию, как в ней попираются человеческие права, сердце сжимается при виде глупости этих людей».<sup>25</sup> И пятнадцатилетний мальчик уже мечтает подобно Берне обратиться из Парижа, этого «приюта свободы, ко всем народам».

Георг Гервег тоже свято чтит в Берне своего духовного предка. Пылая к великому критику горячей любовью, поэт желает продолжать его дело борьбы за свободу. В своих ранних критических статьях он часто цитирует Берне то дословно, то в вольной передаче: в его замечаниях о Гете, Жорж Занд, Гельдерлине, Жан Поле, свободе, романтиках то и дело проскальзывают идеи Берне как борца за свободу.<sup>26</sup> Враги Берне в то же время и враги поэта. В распре Берне с Гейне и при расколе «Молодой Германии» на две группы он решительно становится на сторону первого: Берне — боевой клич одной группы, Гейне — другой; на одной стороне — Гуцков с немногими друзьями, на другой — Лаубе, Кюне и Мундт. Гервег не понимает сути критики Гейне в адрес Берне. Поэтому, удивляясь уму и неподражаемому лиризму Гейне, он все же с укором замечает: «Для Гейне все — только игра, гениальная игра, но все же игра. Берне умер непреклонным санкюлотом; Гейне, по всей видимости, закончит адъютантом князя Пюклера».<sup>27</sup>

Почитая Берне как пророка свободы, Энгельс тоже ставит его выше Аристофана XIX в. Поразительный стиль Гейне переливал всеми цветами радуги; его несравненная ирония неутомимо клеймила бесчисленные уродства любезного отечества; его едкая сатира беспощадно бичевала самодовольных властелинов; его пронизательный взор в педрах существующего общества предвидел плодотворные зародыши будущего; он симпатизировал сен-симонизму. Но Гейне не был приверженцем Берне и группировавшихся вокруг последнего немецких буржуазных радикалов



и демократов. От его пронизательного взора не укрылось псевдо-революционное фразерство последователей Берне. После смерти Берне Гейне выступил с книгой «Людвиг Берне», в которой подверг бичующей критике идеологию немецких радикалов и не остановился перед резкой оценкой их кумира — Берне. Книга вызвала бурную полемику в кругах немецкой буржуазной интеллигенции. Она была встречена большинством младонемцев с нескрываемым негодованием и привела к разрыву Гейне с «Молодой Германией»!

Энгельс, подобно Гервегу, не сумел разобраться в подлинной сути гейневской критики. Он возмущался резкостью отношения Гейне к знаменосцу освободительного движения — Берне. Подняв руку на Берне, Гейне, по мнению Энгельса, «изменял делу свободы».

Вот это-то мнимое предательство гениального поэта восстанавливает против него юношу, который не раз выражает свои враждебные чувства. Энгельс то говорит о «гейневском кокетстве», то называет поэта расслабленным и безвольным, «новым Тангейзером».<sup>28</sup> Позднее он утверждает, что Гейне понимал мысль об оправдании чувственности «грубо и плоско»; его книгу о Берне он рассматривает как «самое недостойное», что было когда-либо написано по-немецки. Наконец, он объявляет политический индифферентизм поэта «открытым отступничеством».<sup>29</sup>

Правда, подобные односторонние и несправедливые суждения относятся к тому времени, когда будущий творец «Зимней сказки» вызвал против себя сильное возмущение. На него нападали не только младонемцы, но и младогегельянцы, например Руге, Кеппен, Альфред Штар и Эдуард Мейен. Лишь после знакомства с Марксом и перелома в творчестве самого поэта Энгельс изменил одностороннее мнение о Гейне. И только после смерти Маркса Энгельс воздал запоздалую дань справедливости незабвенному певцу. Говоря о революционной стороне гегелевской философии, он, между прочим, добавляет: «...то, чего не замечали ни правительств, ни либералы, видел уже в 1833 г., по крайней мере, один человек; его звали, правда, Генрих Гейне».<sup>30</sup>

Отметим, кстати, совершенно иную позицию Маркса, позднее стоявшего в близких отношениях к поэту. Он был восприимчивым «Зимней сказки», «Песни ткачей» и бессмертных сатир на германских тиранов. Гениальный мыслитель дружил с гениальным поэтом всего несколько месяцев, но остался верен ему, когда возмущение либеральных мешан обрушилось на Гейне. Ознакомившись с письмами Берне, опубликованными по смерти автора, он писал поэту: «Я не считал бы его таким пошлым, мелочным и безвкусным, если бы не прочел сам черным по белому... Едва ли в каком-либо периоде литературы можно найти более тупоумный прием, чем оказанный Вашей книге (о Берне) христианско-германскими ослами, а ведь в любой период немец-

кой истории не было недостатка в тупоумии». <sup>31</sup> Маркс уплатил дань чувству дружбы к Г. Гейне даже в «Капитале»: «Если бы я обладал смелостью моего друга Г. Гейне, — писал он, — я назвал бы господина Иеремию (Бентама — М. С.) гением буржуазной глупости». <sup>32</sup> Маркс, сам когда-то мечтавший о поэтических лаврах, навсегда сохранил живые симпатии к поэтам и снисходительно относился к их маленьким слабостям: они чудаки, которых следует поощрять, а не охлаждать резкой критикой. <sup>33</sup>

Примечательно, между прочим, следующее: Энгельс считал Берне борцом за свободу и право; Маркс тоже видел в Гейне не только поэта, но и борца. Кроме того, их объединяли немецкая философия, французский социализм, а также непримиримая ненависть к ложному тевтонству. Разные Масманы и Венедей, которых обессмертила сатира поэта, шли в сущности по стопам Берне, хотя, конечно, значительно уступали ему в уме и остроумии. Да и сам Берне, порвав с великими традициями немецкой культуры, ничего не понял в новых явлениях западноевропейской истории. Гейне же, не отказываясь от Гете и Гегеля, использовал в некоторой степени французский социализм как новый источник духовной жизни. Немудрено, что Маркс, обратившийся к изучению того же источника, почувствовал в Гейне конгениальную натуру.

До 1842 г. Энгельс еще не мог понять противоречивую, но глубокую позицию Гейне и вместе со своими современниками восхвалял Берне. Подобное увлечение понятно: у юноши уже проснулась революционная страсть, которая бьет ключом и ищет выхода. Она находит исход в политике и гневных нападках на германских деспотов. Уже в июле 1839 г. Энгельс признает, что кротостью здесь ничего не поделаешь: таких уродов, как сервильизм, хозяйничание аристократии, цензуру и пр., нужно изгонять только мечом. Но ветер свободы уже дует и хорошо дует. Так «разве, — иронизирует Энгельс, — не были бы осламы мы, если бы не подняли паруса». <sup>34</sup>

И вот нетерпеливый пловец зорко наблюдает, не поднимают ли уже его спутники паруса. Как только Энгельс замечает хоть слабую попытку в этом отношении, он тотчас же радостно приветствует смельчака. С подобными чувствами встречена им посредственная книга того самого Венедей, которого позднее так жестоко вышутил Гейне. Почему Энгельс находит его книгу «превосходной»? Долгое время пребывая во Франции, Венедей имел возможность наблюдать менее замаскированную классовую борьбу, которая кое-чему научила его, уроженца Рейнской провинции. В своем памфлете он уже утверждал, что прусское правительство позволяет богатым купцам, ученым, землевладельцам дворянского и недворянского происхождения принимать участие в эксплуатации широких масс. Пруссия, писал он, погибнет, как только проснется немецкий народ. Все учреждения Пруссии преследуют лишь одну цель — под видом народного

блага, просвещения, прогресса и свободы упрочить эксплуатацию большинства народа привилегированным меньшинством, одурманивание, регресс, раболепие и холопство.<sup>35</sup>

Критика Венедеем прусских порядков импонировала революционно-демократическому настроению Энгельса. Его поразили радикальные выпады Венедеев против Пруссии, которая, по мнению памфлетиста, отличается от России только тем, что в последней свищет чисто русский национальный кнут. В письме к другу Энгельс отмечает, что Венедей, подвергая «строгому экзамену» прусское законодательство, государственное управление, податное обложение и т. д., вскрывает их результаты: покровительство денежной аристократии за счет бедняков и стремление к упрочению абсолютизма. Средства для осуществления этих целей: гонение на политическое просвещение, одурманивание народных масс, использование религии, показной блеск, безграничное хвастовство и лицемерная видимость, будто просвещение поощряется. Когда союзный сейм запретил и конфисковал книгу Венедеев, уже одного этого было достаточно, чтобы Энгельс стал на сторону опального писателя.<sup>36</sup> Вскоре радикализм Венедеев развеялся. Автор книги «Пруссия и пруссачество» превратился в умеренного либерала. А Энгельс неоднократно и зло его высмеивал. Вспоминая историю «Союза справедливых», Энгельс относил Венедеев к «самым бездеятельным элементам» этого Союза.

Да и может ли быть иначе? Может ли соблюдать хладнокровие юноша, в душе которого все бродит, кипит и пылает? «В моей груди, — пишет он сам, — постоянное брожение и кипение, в моей порой нетрезвой голове непрерывное горение; я томлюсь в поисках великой мысли, которая очистит от мути то, что бродит в моей душе, и превратит жар в яркое пламя». Великие идеи времени — вот основа творчества. Все остальное осуждено на гибель. Сентиментальные песенки одиноко замирают. Громкий звук рога вот-вот призовет молодежь на борьбу с тиранами. Германское юношество уже собирается в дубравах, потрясая мечами и подымая кубки. Пылают замки, колеблются троны, дрожат алтари... И если господь в грозу и бурю позовет: «вперед, вперед, — то кто осмелится сопротивляться нам?»

Охваченный революционной горячкой, Энгельс налаживает контрабанду запрещенных книг. Так, в только что цитированном письме он сообщает, что стал «важным поставщиком запрещенных книг в Пруссию» и заготовил партию литературы для отправки в Бармен. В эту партию включены: «Менцель-французоед» (4 экземпляра) и «Парижские письма» (6 томов) Берне, а также строжайше запрещенная «Пруссия и пруссачество» — Венедеев (5 экземпляров).<sup>37</sup> Таким образом, от идейных исканий Энгельс переходит к революционной практике. Он иначе не может. Смертельная ненависть к тирании с такой силой клокочет в его душе, что требует живого дела. Монархов ничто не может

исправить: нужна революция. Так Энгельс превращается в революционного демократа.

Его революционное настроение выливается в письмах, дышащих подлинно революционной страстью. Особенно жгучую ненависть он питает к царствующему королю: для него это «грязный, подлый, богопротивный король», «высочайший сопляк» и т. п. Фридрих Вильгельм III вполне заслуживал подобной отповеди: в 1814 г. он признал испанскую конституцию, а в 1823 г. побдил французов уничтожить ее и снова навязать испанцам инквизицию и пытки. «Я ненавижу его так, — пишет Энгельс под впечатлением от „Парижских писем“ Берне, — как кроме него ненавижу, может быть, только еще двоих или троих; я смертельно ненавижу его; и если бы я не презирал до такой степени этого подлеца, то ненавидел бы его еще больше. Наполеон был ангелом по сравнению с ним, а король ганноверский — бог, если наш король — человек. Нет времени, более изобилующего преступлениями королей, чем время с 1816 по 1830 год; почти каждый государь, царствовавший тогда, заслужил смертную казнь. Благочестивый Карл X, коварный Фердинанд VII испанский, Франц австрийский — этот автомат, способный только на то, чтобы подписывать смертные приговоры и всюду видеть карбонариев; дон Мигель, который подлостью своей превосходит всех „героев“ французской революции вместе взятых и которого, однако, признали с радостью Пруссия, Россия и Австрия, когда он купался в крови лучших португальцев; и отцеубийца Александр российский, так же как и его достойный брат Николай, о чудовищных злодеяниях которых излишне было бы говорить, — о, я мог бы рассказать тебе интересные истории на тему о любви государей к своим подданным. От государя я жду чего-либо хорошего только тогда, когда у него гудит в голове от пощечин, которые он получил от народа, и когда стекла в его дворце выбиты революцией».<sup>38</sup>

Конечно, революционные порывы часто встречаются и в первых литературных опытах Энгельса. Даже в подцензурную статью о народных книгах он вкладывает революционные взгляды, замечая в одном месте: «Народ достаточно долго играл роли Гризельды и Геновефы; пусть он теперь сыграет хоть раз Зигфрида и Рейнальда»...<sup>39</sup> Бунтарские нотки звучат несколько громче в другой статье, напечатанной в том же «Телеграфе» за февраль 1840 г. под заглавием «Ретроградные знамена времени». Здесь Энгельс высмеивает «одну из счастливых псевдоистин»: ничто не ново под солнцем.

Форма истории, пишет Энгельс, рассматривается в одном «остроумном произведении», направленном против гегелевской философии истории, не как восхождение и нисхождение, не как центральный круг или спираль, а как этический параллелизм с линиями, то сближающимися, то расходящимися.<sup>40</sup> Подобный взгляд на историю не нов. Энгельс, напротив, склонен

сравнивать историю именно со спиралью, извивы которой не совсем правильны. История медленно начинает свой бег в какой-то невидимой точке, вокруг которой первоначально вращается довольно медленно; но все больше ее круги, все шире и живее размах; наконец, она начинает мчаться, подобно огненной комете от звезды к звезде, то касаясь своих прежних путей, то пересекая их. И вот, когда она, по-видимому, возвращается на старый путь, близорукость, не видящая дальше своего носа, с ликованием подымает крик: **ничто** не ново под солнцем. Так теперь ликуют китайские герои застоя, наши мандарины реакции; но они не замечают, что история несется самым прямым путем к новому созвездию идей, которое в своем солнечном величии скоро ослепит их близорукие глаза.

Ныне, продолжает Энгельс, мы переживаем именно такой исторический момент. Все идеи, выступавшие на арену со времен Карла Великого, все вкусы, вытеснявшие друг друга в течение столетий, пытаются еще раз утвердить в современности свои отжившие права. Феодализм средневековья и абсолютизм Людовика XIV, иерархия Рима и пиетизм прошлого века спорят из-за чести, кому выбить из седла свободную мысль. Этой колоссальной реакции в церковной и государственной жизни соответствуют некоторые направления в искусстве и литературе. Не говоря уже о каком-нибудь бароне фон Унгерн-Штернберге, даже Мундт, Кюне, Фрейлиграт и Бек возрождают романтику. В частности, Фрейлиграт порою не умеет отличить высокопарности от подлинно поэтического языка, восстанавливая александрийский стих и кокетничая иностранными словами. Реакция проявляется и в жизни, и в искусстве, и в литературе: крику современных обскурантов соответствует подчеркнутая темнота в некоторых произведениях новой немецкой поэзии.<sup>41</sup>

Энгельс сохраняет полную самостоятельность и сознательно не желает смешиваться с толпой модернизированных романтиков, хотя бы то были представители «Молодой Германии»: он революционер и жаждет дела. Поэтому-то юношу и привлекает бунтарь народной легенды Зигфрид, образ которого поразил его еще в отроческие годы. В юношескую же пору ему довелось посетить «родину» своего героя, небольшой городок Ксантен, расположенный на берегу Рейна. Описывая его в «Телеграфе», Фридрих по обыкновению предается политическим размышлениям. Его рассуждения характерны уже в том отношении, что под явным влиянием Берне наш автор судит о Зигфриде совсем не с исторической точки зрения, а видит в нем только представителя германской молодежи.

«Мы все, — пишет он, — чувствуем ту же жажду подвига, тот же бунт против традиций, который выгнал Зигфрида из замка его отца». Вечные колебания, филистерский страх перед живым делом нам ненавистны от всей души; мы хотим вырваться на вольный мир, хотим опрокинуть границы осмотрительности

и бороться за венец жизни — подвиг. О великанах и драконах позаботились сами филистеры, именно в области церкви и государства. Но ныне времена уже не те: нас бросают в тюрьмы, называемые школами; освободившись же от школьной дисциплины, мы попадаем в объятия современной богини — полиции. «Полиция, когда думаешь; полиция, когда говоришь; полиция, когда ходишь, едешь верхом, катаешься; паспорта, виды на жительство, таможенные квитанции, — пусть чорт поберет всех великанов и драконов! Они нам оставили только тень подвига, рапиру вместо меча, а к чему нам искусство фехтования рапирой, если его нельзя применить к мечу?»<sup>42</sup>

Между тем оружием, которым боролись представители «Молодой Германии», был не меч, а перо. Они вовсе не были склонны вмешиваться в самую сутолоку жизни и отважно поднимать знамя восстания. Да и пером младонемецкие писатели не умели пользоваться так, чтобы побуждать своих читателей к самоотверженной борьбе: их литературные стрелы опускались не с тугонатянутого лука, а потому часто совсем не достигали цели; их стиль обычно отражал не гневную речь отважного мужчины, а бессильную жалобу слабонервной женщины. Энгельс, к концу 1840 г. почувствовавший в себе силы борца, заметил внутреннюю дряблость «новой» литературы. Конечно, юноша стал иначе судить и о достоинствах ее стиля. Полтора годами ранее он утверждал: современный стиль — это «юношески сильный Ганимед с розами, повитыми вокруг чела, и дротиком в руках, поражающим питона». Теперь же его не ослепляет более блеск политических идей, светивших «Молодой Германии».

Когда появились «Воспоминания» Эрнста Морица Арндта, человека старого поколения, Энгельс посвятил им статью. Несмотря на глубокое различие в политических убеждениях, он тем не менее отдает предпочтение стилю автора: «Мы уже давно не слышали в нашей литературе, — пишет он, — такой сильной, выразительной речи, достойной иметь длительное влияние на многих представителей нашего молодого поколения. Лучше суровость, чем расслабленность! Ведь есть авторы, по мнению которых существо современного стиля заключается в том, чтобы всю остроту речи, всю ее мускулатуру облечь в красивые, мягкие формы, хотя бы даже с риском впасть в женственность. Нет, уж лучше мужественная суровость арндтовского стиля, чем расплывчатость иных „современных“ стилистов!»<sup>43</sup>

Таким образом, Энгельса отвращают от «Молодой Германии» несходство политических настроений. Он желает вступить в ряды борцов с тиранией. Борьба за независимость — сама по себе благо, ибо пробуждает самосознание народа. С этой точки зрения Энгельс по примеру Берне очень односторонне судит о значении освободительной борьбы с французами. Величайший результат войны заключается вовсе не в свержении иноземного владычества, вопиющая неестественность которого, покоясь исклю-

чительно на атлантовых плечах Наполеона, сама по себе пала бы раньше или позже. Важен самый факт борьбы: «...что мы осознали ценность потерянных национальных святынь, что мы вооружались, не ожидая всемилостивейшего дозволения государей, что мы даже *заставили* властителей стать во главе нас, словом, что мы выступили на одно мгновение как источник государственной власти, как суверенный народ, — вот что было величайшим достижением тех лет. Поэтому после войны те люди, которые яснее всего это чувствовали и решительнее всех в этом направлении действовали, должны были казаться правительствам опасными».<sup>44</sup>

Таковы революционно-демократические настроения Энгельса. Он становится тираноборцем, с величайшим презрением взирает на князей и государей, решительно отказываясь от знаков отличия: орден, золотая табакерка, почетный кубок от короля — это ныне «скорее позор, чем почеть». Все мы «благодарим покорно за такого рода вещи и, слава богу, застрахованы от них: с тех пор, как я поместил в „Telegraph“ свою статью об Э. М. Арндте, даже сумасшедшему баварскому королю не придет в голову нацепить мне подобный дурацкий бубенчик или же прилечь печать раболепия на спину. Теперь чем человек подлее, подобострастнее, раболепнее, тем больше он получает орденов».<sup>45</sup> Не меньшее презрение сквозит в письме Энгельса к сестре, воспитаннице аристократического пансиона в Маннгейме, которая сообщила брату, что была представлена великой герцогине Баденской: если в ближайшее время, — отвечает он, — ты снова будешь представлена какой-нибудь всемилостивейшей принцессе, напиши уж мне, пожалуйста, о том, хорошенькая ли она, — в остальных отношениях меня подобные личности совсем не интересуют.<sup>46</sup>

Так совершалось формирование политического сознания Энгельса в этот ранний период его жизни. В Бремене, как и под родительской кровлей, Энгельс еще не может наладить тесного общения с людьми, принимающими активное участие в разворачивающемся прогрессивном общественном движении. Но он прорывает оболочку буржуазной респектабельности и ортодоксального христианства, царивших в отчем доме и у бременского фабриканта. Энгельс зорко следит за развивающимся движением. Ему imponируют демократические элементы в движении, его привлекают революционные нотки, проскальзывающие в писаниях Берне. Он стремится к активной политической борьбе. Он тираноборец. В его сознании демократизм органически увязывается с революционным ниспровержением народом власти тиранов. Энгельс — революционный демократ.

---

## Ф. ЭНГЕЛЬС СРЕДИ МЛАДОГЕГЕЛЬЯНЦЕВ

## Глава V

## ОТ ГЕГЕЛЯ К МЛАДОГЕГЕЛЬЯНЦАМ

Умственная атмосфера Германии в первую треть прошлого века представляет величайший интерес. Трон в царстве философии неоспоримо занимал Гегель, один из величайших мыслителей-идеалистов. Животворящей душой вселенной он объявил абсолютную идею, философскими предками которой были субстанция Спинозы и самосознание Фихте; глубокомысленный философ объединил их в противоречивом синтезе — абсолютной идее. Идея, существующая «в себе и для себя», обнаруживается в непосредственном наличном бытии; она не противоположна конкретной действительности, но своею деятельностью производит ее как собственное содержание. Абсолютная идея находится в процессе непрерывного развития, проходя три главных ступени. Сознание соотносится с предметами и в то же время отлично от них; поэтому вещи и собственное «я» составляют содержание первых двух главных ступеней его: первая ступень — предметное сознание, вторая — самосознание. Высшей же ступенью будет чистое, раскрытое или абсолютное знание.

Предметное сознание и самосознание относятся друг к другу, как предметы и наше «я», как объективное и субъективное; единство или тождество их есть разум. Поэтому последний составляет содержание третьей главной ступени. Но разум — не субстанция, а субъект, т. е. самосознательный разум или дух. Раскрытие же духа есть миропорядок, а высшая ступень его развития — идея бога, или религия, как истинное богопознание. Последнее и является абсолютным знанием или абсолютным духом, постигающим самого себя. Поэтому в своей «Феноменологии духа» Гегель между самосознанием и абсолютным знанием помещает еще три главных ступени: разум, дух и религию.<sup>1</sup>

В природе абсолютный дух действует как слепая необходимость, а в истории непрерывно восходит от низших ступеней к высшим, пока, наконец, не постигает самого себя. В своем



развитии он следует строгим, неуклонным законам. Поэтому и все совершающееся подчинено тем же законам; в частности, исторический процесс представляет лишь «изложение и осуществление всемирного духа», лишь копию логического процесса, протекающего диалектически. Начало его — чистое бытие, которое в соединении с небытием порождает высшее понятие становления. Начинаясь с небытия и переходя в бытие, становление представляет возникновение или происхождение; начинаясь же с бытия и переходя в небытие, оно становится исчезновением или уничтожением. Единство этих противоречивых моментов составляет уже не чистое, а наличное бытие, или существование (Dasein).<sup>2</sup>

Таким образом, существование есть становление, «положенное в форме одного из своих моментов» — бытия (Sein). Оно определенное бытие, т. е. обладает определенным качеством. Поэтому оно является конечным и изменчивым, ибо особенность конечного заключается именно в том, что оно содержит в себе нечто иное и без остатка переходит в «бытие для иного», в небытие. Как мы знаем, единство бытия и небытия порождает становление; единство же инобытия и неинобытия есть становление иным, или изменение. Это непрерывный, никогда не завершающийся процесс, в котором прежде всего происходят качественные изменения. Но качество, диалектически развиваясь, приходит к собственному отрицанию и превращается в чисто количественные изменения. Так качество переходит в количество, которое достигает полной определенности в числе.<sup>3</sup> Затем путем сложных построений Гегель демонстрирует «двойной переход количества в качество». На нем мы останавливаться не будем. Важно, что принципы диалектики, развитые сначала в «Логике», затем в «Энциклопедии», Гегель применил также в области права.

Приглашенный в Берлин, он написал философию права, которое изобразил как строго закономерный, разумный, имманентно развившийся процесс. В основу своего учения о праве и государстве мыслитель положил известный принцип: что разумно, то действительно; что действительно, то разумно. Все, создаваемое историческим процессом, действительно и разумно, ибо необходимо; переставая же быть необходимым, оно становится недействительным и неразумным. С этой точки зрения прусская монархия тоже действительно и разумна, ибо при определенных исторических условиях не могла быть иной: народ не знал, чего хочет, и, следовательно, был неразумен. Если он станет разумным, прусская монархия превратится в совершенное государство; тогда она осуществит нравственную идею, воплотит абсолютный разум и станет абсолютной самоцелью.<sup>4</sup>

Каково же совершенное государство? — Только монархия, отвечает Гегель. Критика развитой идеи отвергает республику: народ без монарха — бесформенная, нерасчлененная масса, не знающая, чего она хочет. Над широкой народной массой дол-

жны возвышаться сословия в качестве законодательной власти, которая определяет общеобязательные нормы. Но их нужно применять в жизни. Лучше всего это могут сделать просвещенные чиновники — носители второй правительственной власти; они лучше всех понимают государственные нужды и являются подлинно государственными персонами. Третья власть принадлежит исключительно государю. Принимая окончательное решение, она представляет идеальность всех трех властей.<sup>5</sup> Обладая же идеальностью целого, власть государя является подлинной действительностью в противоположность субъективности печати, которая стремится к общему разложению. Печать как представительница общественного мнения — воплощенное противоречие. Поэтому Гегель, уступая реакционным настроениям эпохи, хочет подчинить прессу частью предупредительным, частью карательным полицейским распоряжениям.<sup>6</sup>

Так философ возвеличил в реакционном духе прусскую монархию и бюрократию. Но государство не поняло философии: «гордо опираясь на свою полицейскую дубину, оно не хотело, чтобы его действительность находила оправдание только в его разумности».<sup>7</sup> Недоразумение, впрочем, скоро рассеялось. Когда ловкие гегельянцы растолковали «ограниченному разуму подданных» темные слова учителя, прусская бюрократия почувствовала глубокоую признательность за сплетенный ей пышный венок. Правительство торопливо провозгласило учение Гегеля «прусской государственной философией» и при замещении академических кафедр отдавало предпочтение ее представителям. Так философия, чреватая разными жуткими тайнами, совершила мезальянс, вступив в брак с полуфеодалной властью. Некоторые шероховатости благополучно сходили с рук, пока мыслитель-идеалист умудрялся украшать глубины своего умозрения эмблемами христианских догм. Но с самого начала союз был непрочен. Возвеличивая на реакционный лад чиновничье государство, Гегель не предполагал поддерживать в народе религиозные верования. Напротив, по его мнению, повествования священного писания следует считать обыкновенными произведениями светской литературы: вера же не имеет ничего общего с заурядными рассказами из действительной жизни.

К. Э. Шубарт, Вольфганг Менцель и Генрих Лео с сокрушением покачивали головами, предостерегающе грозя перстами министру исповеданий Альтенштейну, терпимо относящемуся к философии Гегеля.<sup>8</sup> Эти рыцари романтической реакции неоднократно пытались убедить его, что, покровительствуя гегельянству, государство согревает на груди опасную змею: ведь уже сам Гегель, доказывая Шубарт, отрицал религию и государство, по существу призывая к бунту и восстанию. Восхваляя до небес «преславный род Гогенцоллернов» и объявляя гегелевское учение о государстве «гибельнейшим роком всякого высшего образования», реакционный Шубарт заклинал всех, кому не чуждо

или не совсем безразлично это личное образование и его ценность, отвергать и избегать гегелевское учение как «величайшее зло» и «бедствие человеческого рода».<sup>9</sup>

Однако «мудрые» предостережения были тщетны и лишь позднее нашли более благосклонное внимание. Вскоре прием, оказанный «Жизни Иисуса» Штрауса, показал воочию, что левое крыло гегельянства действительно утратило наивную веру в безусловную божественность библии. Как известно, по утверждению швабского богослова, разбор евангельских повествований нужно всецело предоставить исторической критике. Он и сам подверг евангелия такой основательной критике, что раз навсегда сделал невозможной простодушную веру в их историческую истинность. Тем не менее Штраус все еще видел в Иисусе историческую личность, а в рассказах о нем — некоторое историческое зерно: евангельские рассказы — не голый вымысел, а народные сказания, мифы, т. е. продукт, созданный бессознательным творчеством первых христианских общин; стало быть, христианство нельзя считать простым обманом, а апостолов — шайкой шарлатанов и плутов.<sup>10</sup>

Книга Штрауса произвела на современников потрясающее впечатление. Умеренный Гуцков, «Вали» которого написана под ее влиянием, сообщает, что «Жизнь Иисуса» Штрауса вызвала бурю негодования не только в теологическом, но и во всем образованном мире, и даже за пределами Германии. Голоса, раздававшиеся в пользу молодого тюрингенского ассистента, можно было пересчитать по пальцам. Что Штраус тогда был еще явным гегельянцем, повредило ему. Но потому-то книга проглатывалась и становилась закваской духовного брожения в Германии. Миф о Христе, объясненный восточными параллелями и мессианическими пророчествами евреев вообще, делал мифами множество других вещей в государстве и церкви, в науке и жизни. При всем том не приобреталось даже разумной веры относительно личности Христа. Миф о Христе расплывался «в ничто, в туман».<sup>11</sup> Против Штрауса выступил даже неутомимый борец за духовную свободу Николаус Ленау, в виде протеста написавший свою христианскую поэму «Саванаролла».<sup>12</sup>

Столь же сильное, но положительное впечатление произвела «Жизнь Иисуса» на Георга Гервега, в то время не питавшего еще отвращения к богословию и даже предполагавшего стать пастором: книга глубоко потрясла его веру.

Для романтической реакции этого было слишком много. Она держалась прежде всего на действительности евангельских повествований, а потому быстро почуяла опасность и не замедлила сплотиться. В прусском наследном принце она приобрела могущественного покровителя, в лице Ярхе, Лео и Хенгстенберга — самоуверенных глашатаев, а в «Евангелической церковной газете» и «Берлинском политическом еженедельнике» — влиятельные органы печати. Сплотившись же, вожди правоверия начали на-

ступление в религиозной области: они завязали спор скорее с гегелевской философией религии, чем с философией истории.<sup>12</sup> Через некоторое время умный и знающий, но развязный и грубый Лео выступил одним из застрельщиков. В своей брошюре «Гегелинги» он обрушился на левых гегельянцев, как на опасную для государства секту, которая отрицает личного бога, отвергает бессмертие души, загробный мир и таинства, объявляет евангелие мифом, проповедует религию земной жизни, пантеизм и откровенный атеизм. Больше всего Лео напал на профессора Михелета, которого обвинял в солидарности со Штраусом и «Галлеским ежегодником».<sup>14</sup>

Энгельс, обреченный на духовное одиночество в купеческом Бремене, со страстным увлечением следил за вспыхнувшей войной. Ее эпизоды, то драматические, то комические, находят живой отклик в душе юноши, питавшего «бешеную ненависть» ко всякому пиеитизму. Вскоре после того, как главари ортодоксии объявили открытый поход против «гегелингов», Энгельс познакомился со Штраусом, но не успел еще порвать пуповины, связывавшей его с христианством. Глубоко потрясенный в своей «вуппертальской вере», он все же сохранил веселое настроение и посвятил богословскому спору трагикомедию в стихах «Неуязвимый Зигфрид». Это шутивное произведение отчетливо рисует позицию, занимаемую Энгельсом.<sup>15</sup>

Совершив несколько подвигов в духе новгородского Василия Буслаева, любимый герой Фридриха попадает в лес и видит забавное зрелище. Два «тощих профессора» с книгами в руках ведут отчаянную перебранку и, наконец, вступают в драку: Лео бранит гегельянца Михелета гегельянской собакой и богохульником, запуская ему в голову библией; тот не остается в долгу: ругая противника простофилей, грубым фанатиком и неотесанным мужиком, он швыряет книгу Гегеля и грозит угодить в затылок тому, кто «Гегеля почитать не желает». Зигфрид недоумевает, почему два мирных ученых мужа так неистово нападают друг на друга. Наконец, он решает положить предел непристойному зрелищу и, обращаясь к Лео, убеждает обоих:

Но на коне сидел ты хромоногом,  
И, как не спас он гегельянства,  
Так не спасешь ты христианства.  
И без тебя проживет оно смело,  
А ты ищи себе другое дело!  
Но не испытывай напрасно бога  
Своим безумством! Разною дорогой  
Отсюда уходите вы  
И выбросьте всю дурь из головы!<sup>16</sup>

Таким образом, в резкой перебранке между Лео и Михелетом насмешливый автор соблюдает пока нейтралитет, не примыкая к гегельянкам; юноша, очевидно, думает, что спор бесплоден: христианства им не убить. Но критическая мысль Энгельса, как мы знаем, не успокоилась на подобном решении вопроса.

Ведь он то томился сомнениями, то кипел негодованием; то просматривал полемические упражнения Лео, то погружался в произведения младогегельянцев. Под влиянием последних нейтральный зритель постепенно все более отпадает от правоверия, не одобряя лихих кавалерийских атак Лео. По его собственным словам, автор «Гегелингов» напал на выводы, согласно своеобразной гегелевской диалектике необходимо вытекавших из общепринятых предпосылок, а не на самую диалектику, без которой должен был бы оставить в покое и эти выводы. Он опровергал возражения только грубостью и бранью, но не замечал одного: нападая на четырех противников (Штрауса, Руге, Бруно Бауэра и Михелета), он затрагивал целую школу; даже если Ганс и некоторые другие отмежевались от них в частностях, все же гегельянцы так тесно связаны, что Лео совершенно не в состоянии указать на важные пункты различия. Поэтому он лучше держал бы язык за зубами: «Кто хочет нападать на гегелевскую школу, должен сам быть равным Гегелю и создать на ее месте новую философию». То же можно сказать и о другом противнике великого философа — Шубарте: его нападки на политические стороны гегельянства похожи на аминь дьячка к поповскому сгедо Хенгстенберга, этого «галлеского льва, который, правда, не может скрывать своей кошачьей породы»...<sup>17</sup>

Основание новой философии было, разумеется, не по плечу романтикам-реакционерам. Немудрено, что революционно настроенный Энгельс с пренебрежением говорит об их бессилии и начинает явно симпатизировать гегельянству. С другой стороны, он имеет еще очень смутное представление о глубоких разногласиях в недрах школы Гегеля: он тесно связывает заплесневелых гегельянцев вроде Маргейнке с левым Эдуардом Гансом, уже при жизни учителя огорчавшим его своими крайними выводами. Именно в это же время Энгельс переживает период глубоких колебаний между религией сердца Шлейермахера и учением Штрауса о христианском мифотворчестве. Вскоре он начал критически штудировать Гегеля, принял гегелевскую идею божества и стал «современным пантеистом». Разобраться в остальном помогли «Галлеские ежегодники немецкой науки и искусства».

Этот орган был основан в 1838 г. Арнольдом Руге и Теодором Эхтермайером в противовес берлинским «Ежегодникам научной критики», сухому и скучному журналу старших гегельянцев.<sup>18</sup> До сих пор все они дружно выступали против ортодоксии. Вскоре, однако, единый фронт резко раскололся на левых и правых. Последние стали все настойчивее обвинять первых в измене гегелевскому учению. На самом деле старшие последователи Гегеля все еще продолжали «на память заучивать Энциклопедию учителя». Младшие же начали уже понимать, что сущность его философии составляет не покой, а беспокоейство, не неподвижность, а развитие, не система, а метод. Далеко не работав определенными политическими убеждениями, они тем не ме-

нее сгруппировались вокруг «Галлеского ежегодника». Журнал, первоначально посвященный литературе, науке и философии, превратился в пристанище всех беспокойных умов. Насколько, однако, была неопределенна его политическая программа, можно судить по уверениям самого Руге, что орган «оставался гегельянски-прусским и гегельянски-христианским». <sup>19</sup> Тем не менее «Ежегодник» очень скоро столкнулся с реакционной романтикой и вступили на путь политической борьбы.

Начался своеобразный переход от умозрительного мышления к практическому действию, от философии к политике. Молодое поколение, одушевленное июльской революцией, нашло в гегелевском учении арсенал теоретического оружия для борьбы за свободу. Чтобы использовать заржавленное оружие, младогегельянцы прежде всего постарались освободить диалектику от тормоза, наложенного самим учителем. Он, как уверял Руге, не претерпел мученичества за свой принцип только потому, что старательно избегал ссор с правительственными и церковными властями. Молодое же поколение не желало и слышать о подобных соображениях; оно требовало, чтобы философия перестала штопать старые чулки и с полной серьезностью признала, что история — действительно осуществление свободы. Но требование свободы только в теории, а не на практике противоречит даже абстрактной сущности протестантизма, порожденного реформацией.

Младогегельянцы считали реформацию наиболее крупной вехой по пути к преодолению того застывшего дуализма, который был самой отличительной чертой средневекового мышления. Бессюзьт и его духовные родичи вплоть до немецких романтиков относились к реформации отрицательно, ибо она представляла восстание против авторитета. Младогегельянцы же именно на этом основании приписывали ей большую освободительную роль. Задачи, поставленные реформацией, как думали младогегельянцы, были разрешены эпохой просвещения, ибо только она освободила разум от цепей традиции. Сначала этот освободительный процесс совершался исключительно в области теории. Но Французская революция воплотила идеи Вольтера, Дидро, Руссо и других просветителей в практической жизни. Подобно этому и в Германии теория перейдет наконец в практику. По указанным соображениям младогегельянцы и в особенности Арнольд Руге считали неотложной задачей поднять отсталую практику на высоту просвещенной теории. Эту задачу может и должна разрешить Пруссия как протестантское и просвещенное государство. <sup>20</sup>

Освобождая диалектику из плена системы, младогегельянцы постепенно пришли к выводу, что государство и церковь, политика и религия являются продуктами исторического процесса. Руге и его единомышленники перестали считать логически необходимыми такие «продукты истории», как наследственную монархию, майораты, двупалатную систему и т. д. Вообще политическое со-

стояние Пруссии казалось им неразумным, ибо перестало быть необходимым. Подобное положение дел они считали недопустимым: необходимо разбить оковы, наложенные на прусскую свободу. Чтобы историческое государство уступило место «государству разума», нужны все те великие учреждения, которых почти вовсе еще нет у немцев: народное представительство, суд присяжных, свобода печати и т. п.<sup>21</sup> Таким образом, «Галлеские ежегодники» вступили на путь политической оппозиции и, по признанию Руге, «против всякого желания» начали борьбу с реакцией.<sup>22</sup>

В 1840 г. младогегельянцы еще не погрязли в философских спекуляциях (что случилось с ними спустя два года) — свою философскую борьбу они увязывали с вопросами политической жизни. Это и привлекает Энгельса больше всего. Познакомившись с Гегелем и с его противниками, он добирается до «Галлеских ежегодников». <sup>23</sup> Со свойственной ему сообразительностью юноша быстро ориентируется и начинает сознавать, что нужно отличать философа от его правых последователей: «Гегелю никто не повредил больше, чем его собственные ученики; только немногие, как Ганс, Розенкранц, Руге и т. д., достойны его». <sup>24</sup> Почему? — Потому что большинство проглядело самый дух учения, которое величественно в своем стремлении к свободе. С этой точки зрения Энгельс язвительно высмеивает некоего Маллета, в «Бременском церковном вестнике» назвавшего систему Гегеля «бессвязной речью». «Будь это верно, самому пастору пришлось бы плохо; распались эти огромные плиты, эти гранитные мысли, то какой-нибудь отдельный кусок этой циклопической постройки мог бы раздавить не только господина пастора Маллета, но и весь Бремен. Свались, например, на шею какого-нибудь бременского пастора со всей своей силой мысль, что всемирная история есть развитие понятия свободы, — как бы он взвыл!». <sup>25</sup>

Слова Энгельса доносят отголоски бури, бушевавшей в его жаждущей свободы душе. Упоенный ароматом революции, юноша уже ценит доктрину Гегеля не саму по себе, а потому, что она «овеяна свежим дыханием жизни» и превратилась в яркий факел свободы. Когда Штраус выступил в богословской области, а Ганс и Руге — в политической, тогда «неясные туманности спекуляции начали превращаться в яркие идейные звезды, освещающие путь движению века». В частности, Ганс продолжил гегелевскую философию истории до последних дней, а Руге согласовал политическую сторону гегелевской системы с требованиями времени. Сверх того, он и Карл Фридрих Кеппен открыто провозгласили свободомыслие гегельянства. Поэтому республикански настроенный Энгельс видит в его левом крыле единственную крепость, «куда могут надежно укрыться свободомыслящие, если поощряемая свыше реакция одержит над ними временную победу». <sup>26</sup>

Эта непоколебимая вера в идею заполняет сердце молодого человека. Радостное ожидание борьбы царит в его душе. При помощи своего политического гида Берне он пробился, наконец, к бурному потоку «современных тенденций». Подобно новым единомышленникам из «Галлеских ежегодников», Энгельс по своему совершил поворот от мышления к действию, от умозрительной философии к практической политике и испытывает особенно приподнятое настроение.

С нескрываемой насмешкой он уже в ноябре 1840 г. пишет Вильгельму Греберу: «Не тебе бы, ночному колпаку в политике, хулить мои политические убеждения. Если оставить тебя в покое в твоём сельском приходе — высшей цели ты себе, конечно, и не ставишь — и дать возможность мирно прогуливаться каждый вечер с госпожой попадшей и несколькими молодыми поповичами, чтобы никакая напасть тебя не коснулась, то ты будешь утопать в блаженстве и не станешь думать о злодее Ф. Энгельсе, который выступает с рассуждениями против существующего порядка. Эх, вы — герои! Но вы будете все же вовлечены в политику; поток времени затопит ваше идиллическое царство, и тогда вы будете растерянно метаться в поисках убежища. Деятельность, жизнь, юношеское мужество — вот в чём истинный смысл».<sup>27</sup>

И затем Энгельс с бесподобным юмором высмеивает всенародную, «чудесную потеху», устроенную «нашим общим другом» Круммахером. Дело в том, что вуппертальский Златоуст, не довольствуясь домашними лаврами, приехал на гастроли в Бремен. Здесь он выступил с громовой проповедью против рационализма, к которому склонялись некоторые пастыри ганзейского города и особенно Паниель. Гастрольный дебют Круммахера дал повод к ожесточенной перебранке между попами, которая глубоко взволновала умы и сердца благочестивых бременцев: на три месяца прочие интересы отошли на задний план; полились потоки чернил и типографской краски... Конечно, Энгельс воспользовался случаем беспощадно вышутить поповскую расприю вообще и одного из ее участников, пастора Маллета, в особенности.<sup>28</sup>

В таком же духе написано задорно-насмешливое по форме и очень характерное по содержанию письмо Фридриху Греберу. Автор его решительно отмежевывается от бывшего товарища по школе, чувствуя свое неизмеримое превосходство. Он, видимо, не дорожит юношеской дружбой и не без язвительности замечает: «Радуйся, страж христианства, великий бичеватель Штрауса, звезда ортодоксии, утолитель печали пиетистов, князь экзегетики!!!...»<sup>29</sup> Заклинаю «тебя во имя всей ортодоксии разрушить все проклятое страусово гнездо и своим копьём святого Георгия проткнуть все, наполовину высиженные, страусовы яйца! Выезжай в пустыню пантеизма, мужественный драконоубийца, борись с *Leo rugiens*<sup>30</sup> Руге, рышущим и ищущим, кого проглотить, истреби проклятое страусово отродье и воздвигни



знамя креста на Синае спекулятивной теологии! Позволь умо-  
лить тебя, смотри, верующие уже пять лет ожидают того, кто  
раздавит главу страусова змия; они выбивались из сил, бросали  
в него камнями, грязью, даже навозом, но все выше вздымает-  
ся его налитый ядом гребень»...

Продолжая в тех же веселых тонах, Энгельс указывает, что  
опасность становится все грознее. «Галлеские ежегодники» ста-  
ли самым распространенным органом Северной Германии, на-  
столько распространенным, что прусское величество не может  
уже запретить их при всем своем желании: запрещение «Галле-  
ских ежегодников», каждодневно говорящих ему величайшие  
грубости, «сразу превратило бы во врагов короля миллион прус-  
саков, ныне еще не знающих, что о нем думать». Это, разумеет-  
ся, обычное у молодого Энгельса преувеличение: после почти  
двухлетнего существования «Галлеские ежегодники» имели всего  
313 подписчиков, как Руге сообщал под строгим секретом  
Фейербаху; лишь незадолго до запрещения журнала число его  
подписчиков превысило 500 человек.<sup>31</sup>

Найдя в этом журнале точку опоры, при помощи которой  
можно перевернуть чуть ли не «весь мир», Энгельс саркастически  
подчеркивает дряблость своих противников; «Вообще, вам не ме-  
шает набраться немножко больше мужества, чтобы потасовка по-  
шла как следует». Но, по утверждению Энгельса, все эти богосло-  
вы — Неандеры, Толуки, Ницши, Эрдманы и т. п. — эти мягки и  
чувствительны, так вялы и осмотрительны, так боятся скандала,  
что с ними ровно ничего не поделаешь. Правда, у Хенгстенберга  
и Лео есть еще храбрость; но первого столь часто выбивали из  
седла, что он совсем разбит в поясице; а у второго при послед-  
ней драке с «гегелингами» столь основательно выдрали бороду,  
что теперь он не может больше показаться в приличном виде.<sup>32</sup>

Это неистощимо-ироническое письмо к сыну пастора было  
последним. Опередив Гребера на много ступеней, Энгельс чув-  
ствовал, насколько чужды прогрессивным веяниям времени  
взгляды пасторского сына, и прекратил переписку. К тому же  
произошли и внешние перемены. Пробыв в имперском городе два  
с половиной года, Фридрих на пасху 1841 г. вернулся к родным  
пенатам.<sup>33</sup> Позади остались и саксонский консул с его экспорт-  
ной конторой, и главный пастор при церкви св. Мартина. В то  
же время жизнерадостный, общительный и рвущийся вперед  
юноша покинул духовно чуждую, но благожелательную среду,  
в тиши которой разворачивались его богатые дарования. Семья  
радушно встретила дорогого гостя, который тем острее и болез-  
неннее почувствовал свое душевное одиночество: его револю-  
ционные настроения менее всего гармонировали с консерватиз-  
мом и благочестием, царившими под родной кровлей. Противоречие с семьей, не последней опорой старых порядков в Герма-  
нии, вскоре нашло себе литературное выражение: в апреле  
1841 г. «Телеграф» поместил прочувствованную статью Энгельса,

написанную после возвращения в отчий дом и посвященную «Воспоминаниям» Иммермана.

Преждевременная смерть этого писателя нанесла жестокий удар молодым литературным силам, группировавшимся вокруг него на Рейне и в Вестфалии. Бывший романтик, прусский чиновник и монархист, уже в «Мюнхгаузене» стоявший на почве современного творчества, Иммерман своими «Воспоминаниями» доказал, как хорошо умел ценить новейшие литературные течения. С другой стороны, он питал симпатии к «пруссачеству» и пытался сочетать религиозное свободомыслие с консервативно-прусскими убеждениями.

Но Энгельса больше всего поражает, что творец «Эпигонов» не сумел освободиться от пристрастия к старому семейному укладу. Между тем «стародедовский уют», довольство семейным очагом начали уступать место неудовлетворенности и недовольству. Старый семейный быт расшатывался, ибо общество стало иным; литература, политика и наука вторгались в семью, которой трудно было разместить непрошенных гостей. Прежняя семья, построенная в старом стиле, нуждалась в перестройке.

Поэтому Энгельс думает, что от старого поколения ничего нельзя ждать. В литературе оно вымерло; теперь слово за молодежью. Будущее Германии зависит от подрастающего поколения: именно оно призвано разрешить противоречия, все более достигающие вершины. Правда, старики ужасно жалуются на молодежь; и верно — она очень непослушна. Но дайте ей идти своим путем; она уж найдет дорогу, а кто заблудится, сам будет виноват. Ведь у молодежи есть пробный камень в новой философии: в ней нужно только разобраться и не потерять воодушевления.

Энгельс желает быть сыном своего века и бороться за его идеалы. Поэтому, обращаясь к молодым читателям, он с большим пафосом заканчивает свою прекрасную статью: вам нет надобности становиться старогегельянцами, чтобы пересыпать свою речь «в себе и для себя бытием», «целостностью» и «посюсторонностью»; но вы не должны бояться работы мышления; ведь подлинным бывает лишь то воодушевление, которое, подобно орлу, не пугается сумрачных облаков спекуляции, не боится разреженного воздуха в горных областях абстракции, если нужно лететь навстречу солнцу истины. В этом именно смысле нынешняя молодежь и прошла школу Гегеля; кое-какие зерна из высохшей оболочки его системы уже прекрасно взошли в юношеской груди. Но это-то и дает большую уверенность в настоящем. Уверенность в том, что судьбы его связаны не с нерешительной рассудительностью и обычным филистерством старости, а с благородным неукротимым огнем молодости. «Будем же поэтому бороться за свободу, пока мы молоды и полны пламенной силы; кто знает, окажемся ли мы еще способными на это, когда к нам подкрадется старость!».<sup>34</sup>

Почему же Энгельс с такой неистовостью обрушивается на старогегельянцев? Глубокое отвращение к «пруссачеству», вспенное относительно либеральной атмосферой рейнской провинции, заронило в его душу первое семя свободы. Познакомившись с «Молодой Германией», а особенно с Берне, он сделался демократом, республиканцем и революционером. Идея политической свободы стала той путеводной звездой, которая привела Энгельса сложными извилистыми путями в лагерь передовых для того времени немецких идеологов — младогегельянцев. С учением же Гегеля о государстве он познакомился лишь после того, как Ганс, Руге, Кеппен и Науверк вложили в таинственные слова учителя прогрессивное политическое содержание. Иными словами, политика помогла Энгельсу разобраться в философии и «не потерять воодушевления». Преимущественно политика привела его к противоречию с отцовским семейным укладом. Но она же помогла ему самостоятельно преодолеть и третью опору дореволюционной Германии — «стародедовский уют» или старомодную семью.

Пробыв некоторое время под крылышком благочестивых родителей, Энгельс в мае 1841 г. вместе с отцом отправился в Швейцарию и Северную Италию.<sup>35</sup> Юному демократу не понравилась патрицианское довольство «сухого и скучного» Базеля. Напротив, он пришел в восхищение от Цюриха, хотя и не мог простить «сионским стражам» нелюбезного обращения с Д. Ф. Штраусом. Романский Хур впервые дал ему возможность блеснуть в живой разговорной речи своими замечательными лингвистическими способностями. Величественная панорама Альп поразила его, как титаническая борьба горных великанов со всепобеждающей мощью человека. Но и здесь он увидел дух, побеждающий природу. Проехав обширные снежные равнины, он достиг австрийской пограничной таможни, удачно провез свой американский табак и через Киавенну прибыл на озеро Комо в «австрийской почтовой карете с итальянским кондотьером в сопровождении карабинера».

Описание путешествия Энгельс посвятил статью «Скитания по Ломбардии», которую в декабре напечатал «Атеней», еженедельник берлинских младогегельянцев. Между прочим, автор излагает размышления, пришедшие ему в голову при виде могилы Ульриха фон Гуттена. Они ярко отражают революционное настроение туриста: «Посреди озера всплывает остров Уфнау, могила Ульриха фон Гуттена. Так бороться за свободную идею и так отдыхать от бранных трудов, — блажен, кто этого удостоился! Вокруг могилы героя журчат зеленые волны озера, словно шум далекой битвы, а на страже стоят закованные в лед, вечно юные великаны — Альпы. И сюда, в качестве представителя германской молодежи, приходит паломником Георг Гервег, чтобы возложить на могилу свои песни, в которых прекраснее, чем где бы то ни было, выражены чувства, одушевляющие новое по-

коление. Какие памятники и статуи могут сравниться с этим?»<sup>56</sup> Ульрих фон Гуттен — вот еще один борец, поражающий воображение Энгельса, как позднее творческую фантазию Рудольфа Готшала<sup>57</sup> или Фердинанда Лассалья. Неукротимый бунтарь Зигфрид, пророк свободы Берне, трагический Ульрих фон Гуттен и «железный жаворонок» революции Георг Гервег — эти любимые герои Фридриха — еще раз объясняют, почему он так быстро перешел в лагерь младогегельянства: в последнем он увидел рычаг, посредством которого можно повернуть маховое колесо германской политической машины в сторону свободы.

## Глава VI

### УНИВЕРСИТЕТ И ШЕЛЛИНГ

Осенью 1841 г. Энгельс достиг совершеннолетия и должен был отбывать воинскую повинность. Правда, по его позднему свидетельству в то «доброе старое время» состоятельные люди могли с помощью подкупа легко освободиться от обременительной обязанности.<sup>1</sup> Но молодой человек не пожелал прибегнуть к родительскому кошельку. К тому же он надеялся пополнить крупные пробелы своего образования. Отбывание же воинской повинности в университетском городе, где можно слушать лекции в свободное от службы время, представляло благовидный предлог. После зрелых размышлений выбор Фридриха пал на Берлин. Разумеется, его несколько не привлекала бюрократическая столица ненавистной Пруссии: холодная чопорность Берлина не могла прититься по сердцу подвижному уроженцу веселых прирейнских долин.<sup>2</sup> Он пылко стремился попасть не в столицу самое по себе, а в центр умственного движения, на арену той идейной борьбы, эпизоды которой так глубоко захватили его в бременском одиночестве. Уже осенью Энгельс прибыл в Берлин и очень скоро оказался в фокусе философских, литературных и политических течений.<sup>3</sup>

К сожалению, сведения о его первых шагах в Берлине очень скудны. Известно, однако, что он поступает вольноопределяющимся в гвардейский пехотно-артиллерийский полк,<sup>4</sup> казармы которого были расположены у Купферграбена, неподалеку от университета, а также от того дома, где жил и умер Гегель. Здесь наш артиллерист проводит целый год, в течение которого казарменная выучка превращает его в бравого солдата.<sup>5</sup> За время службы он поддерживает сношения с семьей и, в частности, с сестрой Марией. Но о чем может беседовать юный революционер в гвардейском мундире с воспитанницей великогерцогского пансиона? Из их переписки сохранилось всего несколько писем; на них лежит налет добродушной иронии, обычной в тех случаях, когда Энгельсу приходилось иметь дело с симпа-

тичными, но духовно чуждыми людьми. Он, естественно, болтает о всяких пустяках, интересующих младшую сестру.

Брат занимает любопытную сестрицу не только описанием военной формы, но и мелкими эпизодами из своей берлинской жизни. Между прочим, он самодовольно пишет, что до сих пор успешно, за исключением одного раза, «отлынивал» от обязанности ежемесячно посещать церковь. Едва ли подобное вольнодумство могло понравиться дочери благочестивого фабриканта. И, наверное, ей пришлось совсем не по душе насмешливый ответ брата на вопрос, видел ли он нового короля: «Что ты в своем письме так много болтаешь о старом Фрице-Вильме и молодом Фрицхен-Вильмхене? Вам, женщинам, не следует вмешиваться в политику; вы в ней ничего не смыслите».<sup>6</sup>

Было бы смешно думать, что Энгельса серьезно занимают погоны, галуны или канты. Его живой, восприимчивый ум поглощен совсем иными интересами. С целью удовлетворить свои настоятельные умственные запросы он вскоре по приезде поступает вольнослушателем в университет.<sup>7</sup> По его глубокому убеждению, всякий, приезжающий в Берлин, совершит истинное преступление, если не обратит внимание на достопримечательности. Однако очень часто приезжие упускают из виду самое значительное, то, чем прусская столица так сильно отличается от всех остальных — университет.

Конечно, Энгельс разумеет не импозантный фасад на Оперной площади, не анатомический и минералогический музеи, а аудитории с остроумными и педантичными профессорами, с молодыми и старыми, веселыми и серьезными студентами. Слава Берлинского университета зиждилась на том, что, в отличие от прочих, он сделался центром умственного движения и ареной идейной борьбы. Многие другие университеты — в Бонне, Иене, Гессене, Грейфсвальде, даже в Лейпциге, Бреславле и Гейдельберге — уклонились от этой борьбы. Берлин же среди своих академических преподавателей насчитывал представителей всех направлений. Это создало почву для оживленной полемики, которая позволяла учащимся составлять ясное представление о борющихся направлениях. Жаждающий знаний Энгельс получил возможность слушать таких профессоров, как Шеллинг, Вердер, Маргейнеке, Геннинг, Михелет и др.

Атмосфера университета так сильно увлекла нового вольнослушателя, что нашла яркое отражение в его литературных работах. Он не только реферировал лекции, но и дает живо набросанные портреты профессоров. Вот перед нами Шеллинг, вступительную лекцию которого Энгельс прослушал уже в ноябре 1841 г. Это человек среднего роста, с седыми волосами и светлоголубыми, ясными глазами; выражение их игривое, но не импонирующее, в сочетании с некоторой полнотой производит впечатление скорее добродушного отца семейства, чем гениального мыслителя; резкий и сильный голос, швабско-баварский диалект

со своеобразными особенностями — такова наружность знаменитого философа.<sup>8</sup>

С гораздо большей теплотой Энгельс рисует старого гегельянца Маргейнеке. У него статная, крепкая фигура, серьезная и решительная наружность мыслителя, высокий лоб в венце волос, поседевших в тяжелой мыслительной работе. Даже на лекции он сохраняет благородную осанку: ни одной черты ученого, читающего, уткнув нос в тетрадку, никакой театрально-искусственной жестикуляции. Сама лекция, спокойная, исполненная достоинства, течет медленно, плавно; она лишена прикрас, но зато изобилует убедительными мыслями, из которых каждая последующая вытесняет остальные и поражает более предыдущих. На кафедре Маргейнеке импонирует уверенностью, непоколебимой твердостью, достоинством и в то же время свободным образом мыслей.<sup>9</sup>

Воображение нашего вольнослушателя занимает «один из старейших учеников Гегеля» Леопольд фон Геннинг. Это стройный человек, во цвете лет, со светлыми волосами; он обладает быстротекущей речью и излагает свой предмет, пожалуй, слишком обстоятельно. Энгельса интересует также Вердер и в особенности Михелет, с которым он вошел в более близкие сношения; Михелет, «вечный жид гегелевской школы», по позднешему прозвищу Фридриха, даже называл его своим «уважаемым учеником».

Жадно припав к «первоисточнику» умственного движения; Энгельс старательно и вполне самостоятельно разбирается в его оттенках. Наделенный завидным здоровьем и крепкими нервами, он каждый свободный часок посвящает усиленным занятиям, скоро достигая заметных результатов. Теперь уже он не сваливает всех гегельянцев в одну беспорядочную кучу, а составляет о каждом определенное суждение. На его философскую оценку по-прежнему оказывает решительное влияние та позиция, какую занимает тот или иной профессор по отношению к «современным тенденциям». Этому помогли события, значительно содействовавшие политическому пробуждению Германии и вызвавшие потребность в переоценке многих ценностей.

Пока был жив король Фридрих Вильгельм III, во главе министерства исповеданий стоял Альтенштейн, типичный представитель просвещенного абсолютизма. Вспоенный эпохой просвещения, этот «эллин среди варваров старой бюрократии» довольно терпимо относился к религиозным спорам и не покушался вытравить свободу науки. Даже еретическую «Жизнь Иисуса» Штрауса он оставил в покое, хотя «Церковная евангелическая газета» и «Берлинский политический еженедельник» настаивали на ее запрещении. Благодаря этому министр пользовался некоторыми симпатиями среди левых.<sup>10</sup> Младогегельянцы наивно воображали, будто он будет содействовать развитию государства в духе Фридриха II. Когда в 1840 г. наступило столетие

со дня воцарения последнего, сотрудники «Галлеских ежегодников» восхваляли старого Фрица с наибольшим энтузиазмом.

В частности, будущий пайщик «Рейнской газеты» Густав Мевиссен (который, «впрочем, не сотрудничал в журнале Руге») признавал государство нравственным организмом, подчиняющим себе все частные интересы, объединяющим все духовные и физические силы народа. Для осуществления своей цели оно обязано призвать к политическому сотрудничеству граждан, предоставив им свободу мышления и убеждений. Поэтому все германские государства должны превратиться в конституционные под главенством Пруссии как государства интеллигенции и образцового порядка. Завершая реформы Штейна и Гарденберга, «Германия должна получить свободные сословные формы».<sup>11</sup>

Верховным вождем разумного государства должен стать просвещенный король, герой духовной свободы. Эта благородная и возвышенная роль предназначалась наследнику. Правда, младогегельянцы знали об его дружбе с католическим романтиком Радовицем, об его близости к фанатику правоверия Хенгстенбергу, об его христианском благочестии и капризном характере. Тем не менее восшествие на престол Фридриха Вильгельма IV в июне 1840 г. возбудило самые радужные надежды. Либерально настроенным людям оно казалось счастливым предзнаменованием, потому что новый король представлял во многих отношениях противоположность своему предшественнику. Его отец, ограниченный солдат и близорукий политик, слепо верил в нерушимость бюрократического строя, никогда не понимал насущных нужд своей страны и с суеверным страхом избегал новшеств. Сын же отличался подвижностью, любил искусство, интересовался литературой и понимал кое-какие веяния времени. Он недолго любил спесивую бюрократию отца, не всегда чувствовал себя приятно в душной казарме и был склонен несколько освежить затхлый воздух чиновничьих канцелярий.<sup>12</sup>

Это давало повод надеяться, что король проявит ту терпимость в области религии и науки, образец которой либеральная традиция связывала с именем Фридриха II. Наиболее талантливым сотрудником «Галлеских ежегодников» Карл Фридрих Кеппен еще при жизни старого короля выразил чаяния младогегельянцев классическим изречением: «Небо покоится на плечах Атланта не прочнее, чем Пруссия на своевременном развитии принципов Фридриха Великого. Есть старое народное поверье, что через сто лет люди возрождаются. Время исполнилось: да воссияет над нами его воскресший дух и да истребит огненным мечом всех врагов, заграждающих нам доступ в обетованную землю! Мы же клянемся жить и умереть в его духе!»<sup>13</sup> С неменьшим энтузиазмом относились к Фридриху II и другие младогегельянцы; так, например, Людвиг Буль называл его «подлинным творцом», «провидением», «ангелом-хранителем» Пруссии и «носителем прусского величия».<sup>14</sup>

Ознаменовав начало своего царствования полулиберальными жестами и речами, Фридрих Вильгельм IV некоторое время поддерживал подобные иллюзии и по недоразумению прослыл даже приверженцем либеральных реформ. Его первые шаги давали повод верить в «новую эру» и мирное обновление Пруссии. Старый, заслуженный сотрудник Шарнгорста и Гнейзенау военный министр генерал фон Бойен, получивший в 1819 г. вынужденную отставку, был 6 июня снова назначен членом Государственного Совета. В тот же день Эрнст Мориц Арндт, тоже оказавший крупные услуги во время освободительной войны и тем не менее лишенный кафедры, был восстановлен в качестве профессора Боннского университета. 10 августа король объявил амнистию, вызвавшую общее ликование. 22 сентября он пригласил в Берлин братьев Гриммов, в 1837 г. протестовавших против нарушения ганноверским королем конституции и лишенных за это кафедр в Геттингенском университете.<sup>15</sup>

Новый король отличался словоохотливостью, не был лишен ораторских способностей, пытаясь свои истинные намерения завуалировать красивыми фразами и жестами, и таким образом ввести слушателей в заблуждение. Так, например, 10 сентября при приеме кенигсбергской депутации, подняв руку к небу как бы для клятвы, король торжественно обещал: соблюдать право и справедливость, заботиться о благе, процветании, чести всех сословий. Все вероисповедания подданных он объявил священными для себя. «У нас глава находится в единении с членами, государь — с народом»; «объединение всех сословий» в их стремлении к единой цели — ко всеобщему благу на основе священной верности и истинной чести — «прекрасно», вещал монарх.<sup>16</sup> Туманные фразы коронованного оратора немедленно были истолкованы в желательном смысле: слушатели усмотрели в них намерение ввести конституцию. На самом деле король ничего подобного не думал.

Недоразумение повторилось в Берлине, когда 15 октября он принимал присягу. Присягая, он обещал сохранить Пруссию такой, какая она есть; развивать те особенности, благодаря которым Пруссия заняла место среди великих держав, а именно: честь, верность, стремление к свету, праву и истине, к прогрессу, осуществляемому мудростью старцев и героической силой юности.<sup>17</sup> И снова опьянение охватило всех тех, кто вообразил, что король говорит о конституции.

Но, делая красивые жесты или произнося пышные фразы, он менее всего думал о буржуазном народном представительстве. В действительности он был глубоко предан романтическим идеалам реставрации, благоговейно почитал церковь, оставался заклятым врагом религиозного свободомыслия и питал непреодолимое отвращение к революциям. Уже в молодости будущий король мечтал внести побольше тепла и красок в этот «жалкий»



мир, пропитанный «душу иссушающим» разумом. Чтобы соорудить против революций прочную плотину, он, еще будучи наследником, выдвигал правоверных попов и консервативных ученых. Однако его нашептывания не имели особенного успеха ни у Альтенштейна, ни у старого короля.

Почти одновременно смерть монарха и его министра развязала руки романтику, вступающему на трон. В начале царствования он еще хотел допустить благожелательную критику и на свой лад признавал свободу печати. На исходе 1841 г. даже был обнародован королевский эдикт, предписывавший более мягкое применение цензуры.

Этот цензурный эдикт вызвал опромное ликование, которое совсем не соответствовало ни его прямому смыслу, ни политическому значению. Особенно ликовала либеральная печать. Берлинский корреспондент даже такого демократического органа, как «Рейнская газета», прямо захлебывался от восторга: «Яркий луч света», — распинался он в конце января, — внезапно пронизывает нашу атмосферу, за последнее время омраченную разными туманами. «Мы вновь взираем истинно королевскую волю в ее первоначальной чистоте».<sup>18</sup>

Другие либеральные органы тоже связывали с эдиктом несбыточные надежды. Так, например, «Лейпцигская всеобщая газета» через несколько дней успокоительно писала, что новая цензурная инструкция вызывает радость, и хотя она еще не узаконивает свободу печати, но предоставляет политической жизни бесконечное поощрение.<sup>19</sup> Наконец, «Аугсбургская всеобщая газета» совсем пришла в восторг и расточала похвалы милостивому королю.<sup>20</sup>

Расточая похвалы королевскому эдикту о цензуре, либеральные буржуа надеялись на более существенные реформы. Экономическая и политическая раздробленность страны, абсолютистско-бюрократический режим сковывали развитие капитализма в Германии. Они же препятствовали классовому объединению немецкой буржуазии. На рубеже 30-х—40-х годов оппозиционные настроения глубоко проникали в сознание последней. Недовольство существующей системой начала выражать даже прусская буржуазия, отличавшаяся своими верно-подданническими чувствами к королю. Немецкая буржуазия хотела получить конституцию, представительные учреждения, кое-какие свободы. Она ратовала за объединение Германии. Правда, оппозиция была неоднородной, по вопросу о путях и формах объединения существовали разные мнения. Но «все соглашались, что старая система прогнила, обанкротилась и с ней следует покончить; все то, что молча терпели при старом короле, теперь громко объявили невыносимым».\* Но король не сдавался.

---

\* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 8, стр. 18.

Но слегка ослабляя вожжи в одном направлении, король туже натягивал их во всех остальных. Через несколько месяцев после смерти престарелого Альтенштейна министром исповеданий был назначен Эйхгорн. Этот тупой пиетист немедленно принялся искоренять единственную свободу, с грехом пополам прозябавшую при прежнем короле, — академическую свободу преподавания. Гегелевская школа, господствовавшая около двадцати лет, с удивлением заметила, что ее стали систематически обходить при замещении университетских кафедр. Вместо гегельянцев в стенах университетов появились ортодоксы, пиетисты, романтики и вожди исторической школы права. Кафедру умершего Ганса занял Юлиус Шталь, пытавшийся подновить христианско-германский принцип фразеологией современной философии.<sup>21</sup> Из Мюнхена в Берлин был вызван престарелый Шеллинг, чтобы своей философией откровения искоренить, как выражался король, «драконъев посев гегелевского пантеизма, пошлое всезнайство» и якобы «легальный распад домашней дисциплины», иными словами, чтобы защищать устои прусской монархии и ортодоксальной религии. По этому поводу младогегельянский журнал «Атенея» поместил очень двусмысленную и ироническую заметку. Официальные газеты, отмечается в заметке, сообщают о приглашении Шеллинга в Берлин. Каким было бы замечательным совпадением, если бы этот знаменитый философ нашел место вечного успокоения рядом со своими былыми друзьями Фихте и Гегелем.<sup>22</sup>

Коронованный романтик всегда питал глубокую антипатию к учению Гегеля. Антипатия превратилась в подозрительность и страх, когда левое крыло школы перешло от умозрения к текущей политике; король усмотрел в нем государственную опасность и решил произвести надлежащее расследование. Тогда-то и оказалось, что распространению «Галлеских ежегодников» способствовали два обстоятельства: во-первых, «неоспоримая ловкость», с какою «редакция путем критики придавала учения гегелевской философии значение для всех научных дисциплин»; во-вторых, «решительно рационалистическая и либеральная тенденция его сотрудников», а также полемика против прусского государственного строя.<sup>23</sup> Почерпнув эту премудрость из полицейского донесения, романтический деспот по собственному почину предписал Руге и издателю Отто Виганду выпускать «Галлеские ежегодники» под прусской цензурой; в противном случае журналу грозила опасность остаться за пограничными рогатками прусских владений. Тогда Руге переселился в Дрезден, где с июля 1841 г. продолжал редактировать свой орган под новым названием: «Немецкие ежегодники». Студенты решили устроить в честь Руге шествие с факелами, но встретили помеху со стороны властей «предержащих».<sup>24</sup>

Последней каплей, переполнившей чашу младогегельянского терпения, была история с Бруно Бауэром. Последователь фило-

софа-идеалиста, обладавший несомненными дарованиями, сначала прильнул к правому крылу школы, но затем передвинулся влево, стал подлинным вождем берлинских младогегельянцев и пользовался среди них большим почетом.<sup>25</sup> По поводу «Жизни Иисуса» он вступил в литературное единоборство со Штраусом, от которого получил суровый отпор. Летом 1839 г. у него завязалась оживленная полемика с Хенгстенбергом, не выходящая, впрочем, за границы чисто академического спора.<sup>26</sup> Тем не менее под давлением богословов Альтенштейн счел за благо на время убраться неудобного богослова в Боннский университет доцентом, предполагая через год предоставить ему профессорскую кафедру. Вплотную занявшись в Бонне критикой евангелия, Бруно Бауэр выпустил сначала «Критику евангельской истории Иоанна»,<sup>27</sup> а в 1841 г. «Критику евангельской истории синоптиков». Последняя книга сыграла крупнейшую роль не только в разложении гегелевской философии, но и в жизни самого автора.<sup>28</sup>

По мнению Бауэра, Штраусу принадлежит та заслуга, что он порвал с ортодоксией. Но он сделал только первый шаг по пути правильного анализа евангельской истории. Его теория мифов не выдерживает критики, ибо сама страдает мистицизмом. Указывая, что евангельская история имеет свой источник в предании, Штраус объясняет еще очень немного: задача заключается в исследовании и объяснении именно того процесса, которому само предание обязано своим происхождением. Ведь само по себе предание не обладает ни руками для письма, ни вкусом для сочинения, ни силой суждения для объединения надлежащего материала и отсеечения чужого. Эту работу могут проделать только отдельные люди, наделенные самосознанием, а потому библейское слово — не что иное, как «определенность, дело и откровение самосознания». Стало быть, евангельские повествования созданы вовсе не субстанцией, как утверждал Штраус, а самосознанием самих евангелистов, не таинственной и бессознательной творческой деятельностью первых христианских общин, а, напротив, вполне сознательным творчеством отдельных лиц, которые преследовали определенные религиозные цели.<sup>29</sup>

Это бросается в глаза при чтении четвертого евангелия, но заметно и в остальных. Так называемый Лука переделывает по своему евангелие так называемого Марка, а так называемый Матвей переделывает их обоих, стараясь приспособить их рассказы к понятиям и умственным запросам своего времени. Он пытается согласовать их, но сам запутывается в бесчисленных противоречиях. Таким образом, в результате оказывается, что в евангелиях вообще нет ни слова исторической правды. Все их повествования — вольный и сознательный вымысел евангелистов. Последних можно сравнить просто с Гомером и Гесиодом, по меткому замечанию Геродота, создававшими преческих богов. В частности, Иисус совсем не историческая личность: все, являвшееся до сих пор историческим Христом, все, что о нем говорится,

все, что мы о нем знаем, относится к миру представления, а именно христианского представления, и, следовательно, не имеет ничего общего с человеком, принадлежащим действительному миру.<sup>30</sup>

Понятно, какое негодование вызвал Бруно Бауэр своим неслыханным кощунством. Вскоре ему пришлось испытать на себе пресловутую независимость прусских профессоров в области научного исследования. Взволнованные богословы и охранители священных традиций громко запротестовали, по обыкновению ухватившись за фалды министерского мундира. Эйхгорн внял внушению ханжей и поспешно направил в богословские факультеты прусских университетов запрос об авторе «Критики»: какую точку зрения на христианство занимает автор и можно ли по определению наших университетов, а особенно их богословских факультетов, предоставить ему *Licentia docendi*?<sup>31</sup>

Боннский богословский факультет немедленно отказался принять в свою среду Бауэра, руководствуясь соображением, что это нарушило бы единство преподавания. Только университеты в Галле и Кенигсберге имели мужество оказать сопротивление давлению министра. Из берлинских профессоров один Маргейнке остался при особом мнении; хотя он и занял позицию христианского богослова, тем не менее Эйхгорн потребовал от него объяснений.<sup>32</sup> Остальные богословские факультеты позорно изменили свободе преподавания и начали бешеную травлю дерзкого исследователя. В конце концов раздраженная ортодоксия добилась того, что у Бауэра было отнято право университетского преподавания: он принужден был сдаться и отказался от академической карьеры.<sup>33</sup>

Таким образом, в глазах младегелянцев Фридрих Вильгельм IV малодушно отрекся от своего исторического призвания — незыблемо утвердить «государство интеллигенции». Вместо того он круто повернул вспять к христианско-романтической реакции. Этот поворот проявился, между прочим, в попытках надеть намордник на всякое оппозиционное слово. Так случилось, например, с умеренно-либеральным профессором Бреславского университета по кафедре литературы и посредственным поэтом Гофманом фон Фаллерслебеном. Вторая часть скромных «Неполитических песен», в которых он старался отразить настроение своего времени и народа, была запрещена под конец 1841 г., а сам автор подвергся удалению из университета. Запрещение стихотворений вызвало большое возбуждение среди интеллигенции и панику среди книготорговцев.

Для левых гегельянцев пробил час, когда следовало в корне пересмотреть свои взгляды на роль прусского государства. Очень скоро они пришли к убеждению, что их оппозиционная точка зрения недостаточно ясно выражена и нуждается в принципиальном обосновании. Тогда в недрах левых гегельянцев начался бурный процесс революционизирования.

После своего изгнания их руководящий орган «Галлеские ежегодники» начал выступать все решительнее. Эдуард Мейен вполне справедливо писал, что гражданскую корону немецкого свободомыслия заслуживают «Галлеские ежегодники», которые начали настойчивее всех проводить идею свободы и развивать глубочайшие выводы из гегелевской философии, так что защищаемое ими мировоззрение представляет собою уже не волю или простое воображение отдельных философствующих личностей, а выражение немецкого народного сознания, т. е. нечто большее, чем общественное мнение.<sup>34</sup>

Как раз к этому времени в прусскую столицу прибыл Энгельс. Мы знаем, что до приезда он был уже революционным демократом, далеко опередив берлинских младогегельянцев своим революционным настроением.

Именно поэтому его гораздо больше занимают не политические словопрения, а вопросы мировоззрения и, в частности, те философские столкновения, которые неизбежно должны были завязаться вокруг имени Шеллинга.

Он сам писал: «Вообще говоря, первые лекции здешних гегельянцев в этом семестре имели совершенно особый интерес, так как некоторые уже заранее давали основание рассчитывать на прямую полемику против шеллинговой философии откровения, а от других ожидалось, что они не удержатся от попытки спасти честь потревоженной тени Гегеля».<sup>35</sup> Вскоре, действительно, стало известно, что престарелый мыслитель посвятит вступительную лекцию философии откровения. Эта весть послужила левым гегельянкам сигналом к бою: «Было бы непростительно, — еще раньше писал Руге Фейербаху, — не приветствовать этот вызов реакции бомбами и картечью».<sup>36</sup> Конечно, Энгельс тоже прослушал лекцию и по ее поводу написал статью, напечатанную в «Телеграфе» за декабрь 1841 г. Приписывая дебюту Шеллинга чуть не всемирно-историческое значение, он колоритно рисует настроение аудитории. «Если вы сейчас здесь, в Берлине, спросите кого-нибудь, кто имеет хоть малейшее представление о власти духа над миром, где находится арена, на которой ведется борьба за господство над общественным мнением Германии в политике и религии, следовательно, за господство над самой Германией, то вам ответят, что эта арена находится в университете, именно в аудитории № 6, где Шеллинг читает свои лекции по философии откровения. Ибо в настоящий момент все отдельные возражения, которые делали спорным господство гегелевской философии, потускнели, поблекли и отступили на задний план перед *одной* оппозицией Шеллинга. Все враги, стоящие вне философии, как Шталь, Хенгстенберг, Неандер, уступают место одному борцу, от которого ждут, что он победит непобедимого в его собственной области».<sup>37</sup>

Борьба на самом деле была довольно необычна. Два старых друга и товарища по Тюбингенскому институту через 40 лет пуб-

лично выступили противниками: один умер уже десять лет тому назад, но более чем когда-либо продолжал жить в лице своих учеников; другой, по утверждению последних, был духовно мертв три десятилетия, но совершенно неожиданно заявил притязания на жизнь и потребовал признания. Его выступление в Берлине, говорили тогда, равносильно объявлению о смерти Гегеля. Так называемые «беспартийные» усмотрели в этом месть богов за объявление о смерти Шеллинга, в свое время сделанное Гегелем. Король, министр Эйхгорн, придворные и пиетисты стояли на стороне Шеллинга, надеясь, что он принудит философию при помощи ее же самой подчиниться вере.<sup>38</sup>

Чтобы быть свидетелями предстоящей битвы, собралась значительная и пестрая аудитория. Во главе находились знаменитости университета, корифеи науки, люди, из которых каждый создал особое направление; им были предоставлены места у самой кафедры. За ними расположились представители всех званий, наций и вероисповеданий. Среди задорной молодежи сидел седобородый штаб-офицер; а рядом с полной непринужденностью поместился вольноопределяющийся, который в другом обществе трепетал бы перед высоким начальством. Старые доктора и лица духовного звания снова чувствовали себя буршами, хотя их матрикулы скоро могли праздновать свой юбилей: они шли на лекцию, желая узнать, что это за христианское откровение. Словом, наплыв слушателей был так велик, что многие проникали в аудиторию через окна.<sup>39</sup> Раздавался говор на немецком, французском, английском, венгерском, польском, русском, новогреческом и турецком языках. Но раздался призыв к молчанию, и Шеллинг поднялся на кафедру.

Затаив дыхание, Энгельс внемлет мировой знаменитости и тщательно записывает все выпады против «мертвого» Гегеля. Он, разумеется, вовсе не «беспартийный» слушатель и определенно желает «начать битву в защиту великого покойника». Но философ изрекал свои идеи несколько двусмысленно; предварительно нужно было «исправить канцелярский слог в шеллинговом смертном приговоре над гегелевской системой». Тогда его оракульские изречения приобретали своеобразный смысл. В сущности Гегель, видите ли, не имел собственной системы, а влачил жалкое существование, питаясь крохами шеллингианских идей. Шеллинг, мол, взял на себя *partie brillante*, положительную философию, Гегель же с головой ушел в *partie honteuse*, отрицательную философию. У первого просто не оставалось свободного времени; поэтому второй предпринял разработку и завершение отрицательной философии, бесконечно счастливый, что учитель доверил ему такую работу. Можно ли его порицать за это? Ведь он делал только то, что больше всего его касалось. Кроме того, Гегелю, по словам Шеллинга, принадлежит «место среди великих мыслителей». Почему? — Потому что «он был единственным человеком, признавшим основные идеи философии тождества, в то время как

все остальные понимали их плоско и поверхностно». Однако он допустил ошибку, пожелав полуфилософию сделать целой философией. Это напоминает известное изречение, приписываемое Гегелю, но, очевидно, принадлежащее Шеллингу: «Только один из моих учеников понимал меня, да и тот, к сожалению, понимал превратно».

Подобное несправедливое и лицемерное отношение к покойному мыслителю Энгельс называет «бранью над могильной плитой Гегеля». Глубоко возмущаясь, он тем не менее чувствует большое смущение. Ему, юноше, не подобает поучать старца и тем более Шеллинга: ведь последний, даже изменив свободе, остается творцом абсолюта. Но выручает одно спасительное соображение. Поскольку Шеллинг является предшественником Гегеля, наш вольнослушатель со своими единомышленниками называет его имя с глубочайшим почтением; после же Гегеля он имеет право лишь на относительное уважение, меньше всего может требовать спокойствия и холодности. «...Я выступил в защиту покойника, — замечает Энгельс, — а ведь борцу свойственна некоторая страстность; кто хладнокровно обнажает свой меч, тот редко бывает глубоко воодушевлен тем делом, за которое он сражается».<sup>40</sup>

Защита младогегельянство, Энгельс негодует больше всего потому, что Шеллинг осмелился поставить в зависимость от себя, а затем отвергнуть всю философию XIX в.: Гегеля, Ганса, Фейербаха, Штрауса, Руге и «Немецкие ежегодники». Мало того, с помощью простого риторического оборота он пытался представить развитие философии какой-то роскошью духа, коллекцией забавных недоразумений и галереей ненужных заблуждений. Конечно, Шеллингу трудно было найти средний путь, который не компрометировал бы ни его, ни Гегеля; пожалуй, был извинителен и эгоизм, побудивший его пожертвовать другом для собственного спасения. Но уделяя место Гегелю среди великих мыслителей только на том основании, что покойный — его создание, его прислужник, Шеллинг допускал нечто большее, чем простую иронию. Наконец, лишь мелочное тщеславие побуждало его рекламировать все, что он признавал у Гегеля как свою собственность, как плоть от своей плоти.

Негодующий и воинственно настроенный Энгельс считает нужным подвергнуть позицию Шеллинга жестокому перекрестному огню: «Нашей задачей, — пишет он, — будет следить за ходом его мысли и защищать могилу великого учителя от поругания. Мы не боимся борьбы. Мы ничего так не желаем, как быть некоторое время в положении *ecclesia pressa*.<sup>\*</sup> Здесь происходит размежевание умов. Все, что истинно, выдерживает испытание огнем, с недоброкачественными же элементами мы охотно расстанемся. Противники должны признать, что многочисленная, как никогда, молодежь стекается под наши знамена, что теперь,

\* — гонимой церкви. *Ред.*

больше чем когда-либо, круг идей, владеющих нами, получил богатое развитие, что никогда не было на нашей стороне столько людей мужественных, стойких и талантливых, как теперь. Итак, пойдем же смело в бой против нового врага; в конце концов найдется кто-нибудь среди нас, кто докажет, что меч воодушевления так же хорош, как и меч тения». <sup>41</sup>

Пусть Шеллинг — престарелый и заблудившийся человек; пусть он унижает философское мышление и понятие заменяет фразами; пусть, наконец, к нему приложимо язвительное изречение Мефистофеля: «коль недочет в понятиях случится, их можно словом заменить». Все же творец абсолюта — опасный враг; для борьбы с ним нужны союзники. Поэтому Энгельс разыскивает их всюду и, между прочим, в стане правых гегельянцев. Одним из таких союзников оказался и Маргейнеке. По утверждению Энгельса, старый ученик их общего учителя целый семестр терпеливо сносил недостойные отзывы Шеллинга о покойном Гегеле, внимательно выслушивая его лекции. Наконец, Маргейнеке решил возразить на нападки и «гордым словам противопоставить гордые мысли»: в летний семестр 1842 г. он приступил к чтению курса о введении гегелевской философии в теологию. Аудитория Маргейнеке была заполнена задолго до его прихода: юности и старики, студенты, офицеры и вообще разномастные слушатели сидели и стояли вперемежку густою толпой. Наконец, профессор вошел. Говор и жужжание сразу же стихли; словно по команде, все сняли шляпы. . .

Свою первую лекцию старый гегельянец начал общими замечаниями, в которых мастерски изложил современное отношение философии к теологии и, между прочим, с признательностью упомянул о Шлейермахере. Постепенно он перешел к гегелевской философии и скоро начал явно метить в Шеллинга. По словам лектора, Гегель был совсем не из тех, кто выступает с громкими обещаниями и ослепительными фразами; нет, он спокойно предоставлял самой философии говорить за себя. Он не miles gloriosus философии, занимающийся усиленным самовосхвалением. Ныне, правда, всякий считает себя способным опаривать Гегеля и его философию. Но, если бы у кого-либо нашлось в кармане ее основательное опровержение, он наверняка построил бы на этом свое благополучие. Разные же господа только обещают ее опровергнуть, а затем не исполняют своего обещания. И немудрено: желанное опровержение не явится на свет до тех пор, пока против этой философии будут применяться раздражение, смущение, зависть и вообще страсть вместо спокойного научного исследования, пока думают при помощи только гностики и фантастики свергнуть с трона философское мышление. Первое условие опровержения заключается в правильном понимании противника. Но его нет. Поэтому кое-кто из врагов Гегеля похож на карлика, вступившего в борьбу с великаном или, еще вернее, на безыизвестного рыцаря, сражавшегося с ветряными мельницами. <sup>42</sup>



Энгельс симпатизирует Маргейнеке потому, что тот «всегда стоит мужественно и неусыпно на арене борьбы, когда нужно защищать свободу науки». Это серьезная заслуга. Но старый гегельянец не мог, конечно, отказаться от своих убеждений, выработанных долготелетними усилиями, и принести их в жертву прогрессу, совершившемуся за последние пять лет. Он полезный союзник, защищающий Гегеля от поношений, но не может быть выразителем младогегельянских стремлений. Энгельс отважно принимает на себя эту задачу. Руководясь соображением, что «меч воодушевления так же хорош, как и меч гения», он выпускает целую книгу, посвященную специально Шеллингу, этому «Иуде Искаротию философии», по выражению Фейербаха. В апреле 1842 г. она анонимно появилась у Роберта Биндера, радикального издателя в Лейпциге под заглавием: «Шеллинг и откровение. Критика новейшего реакционного покушения на свободную философию».<sup>43</sup> Автор книги долго оставался неизвестен. Но ныне неизбежно установлено, что ее написал Энгельс.<sup>44</sup>

До сих пор он — абсолютный идеалист левого толка. Правда, в статье, направленной против Шеллинга, он упоминает о Фейербахе, которого справедливо считает продолжателем Гегеля и представителем современной философии. Но ни эта статья, ни даже «Дневник вольнослушателя», напечатанный в «Рейнской газете» 10 и 24 мая 1842 г., ничем не обнаруживают, что Фейербах оказал какое-либо влияние на автора. Он еще очень далек от мысли, что гегелевская философия неудержимо разлагается уже семь лет.

Как известно, первую крупную брешь в системе нанесли «Жизнь Иисуса» и «Догматика» Штрауса, разложившего абсолютную идею на элементы и выхватившего таинственную субстанцию. Бруно Бауэр на свой лад продолжал разрушительную работу критики. В полемике против Штрауса, а еще более в «Критике евангельской истории синоптиков» он остановил внимание на другой составной части абсолютной идеи и сделал не менее таинственное самосознание центральной осью своей шумевшей книги. Критика, утверждал он, должна обратиться против самой себя и разложить таинственную субстанциональность в том направлении, в каком совершается развитие самой субстанции: во всеобщности, определенности идеи и ее действительном существовании — бесконечном самосознании.<sup>45</sup> Если оба трансформировали философию духа и религии, то Ганс, Руге, Келпен и Науверк энергично разлагали гегелевскую философию права и государства.

До сих пор Энгельс (как и все остальные младогегельянцы) не отдавал себе отчета в значении этого процесса, ибо не выходил за пределы абсолютного идеализма. Он еще не старался преодолеть противоречия гегелевской философии, вскрытые процессом разложения. Ни в одной статье его нет следов даже простого знакомства с «Сущностью христианства». Вероятно, ему

и в голову не приходило, что знаменитая книга Фейербаха означает разрыв с идеализмом и переход к материализму. Иначе обстоит дело в брошюре «Шеллинг и откровение»: здесь впервые намечается некоторое влияние работы Фейербаха. Энгельс 44 года спустя писал: «Кто не пережил освободительного влияния этой книги («Сущности христианства», — М. С.), тот не может и представить его себе. Мы все были в восторге, и все мы стали на время последователями Фейербаха».<sup>46</sup> Энгельс познакомился с самой книгой не сразу, а только через шесть-семь месяцев после ее появления. Сейчас мы убедимся, как он ее воспринял и какую роль эта книга сыграла в формировании его мировоззрения.

## Глава VII ВЛИЯНИЕ ФЕЙЕРБАХА И ПЕРЕХОД Ф. ЭНГЕЛЬСА К АТЕИЗМУ

В предисловии ко второму изданию «Сущности христианства» Фейербах замечает, что эта книга поссорила его с «богом и миром». И действительно, он напал на умозрительную философию в ее наиболее уязвимом месте, «затронул ее подлинный point d'honneur», безжалостно разоблачил ее мнимое согласие с религией; он доказал, что ради этого согласия философия «лишила религию ее истинного, существенного содержания». С другой стороны, он представил в фатальном свете так называемую позитивную, т. е. шеллингианскую, философию, указав, что оригинал ее кумира — бог — есть в сущности человек и что личность не может существовать без плоти и крови. Конечно, «преступная дерзость» автора навлекла на него немилость тех политиков, которые считали религию политическим средством унижения и угнетения человека.<sup>1</sup>

В отличие от Давида Штрауса и Бруно Бауэра, Фейербах не просто разлагал гегельянство, не сознавая этого, а старался преодолеть его: он не выхватывал «субстанцию» или «самосознание», а прямо противопоставлял свою точку зрения гегелевской. Объясняя цель своей книги, автор сам говорит: «Мысли, высказанные в моем труде, вытекают из предпосылок, каковыми являются не отвлеченные мысли, а объективные, живые или исторические факты... Я вообще безусловно отвергаю абсолютное, нематериальное, самодовольное умозрение, черпающее материал из самого себя. Я не имею ничего общего с теми философами, которые закрывают глаза, чтобы легче было думать. Я мыслю при помощи чувств, главным образом зрения, основываю свои суждения на материалах, познаваемых нами посредством внешних чувств, произвожу не предмет от мысли, а мысль от предмета; предмет же есть только то, что существует вне моей головы. Я — идеалист только в области практической философии... Короче: я смотрю на идею, как на веру в историческую будущ-

ность, в торжество истины и добродетели, и поэтому идея имеет для меня только *политическое* и *нравственное* значение. Зато в области собственно теоретической философии я, в прямую противоположность философии Гегеля, где дело обстоит как раз наоборот, считаю только с реализмом и материализмом в указанном смысле».<sup>2</sup>

Фейербах считает себя «духовным естествоиспытателем», который не может обходиться без инструментов и материальных средств. По той же причине он противопоставляет прежней философии свою новую философию. Эта философия опирается не на абсолютный, неизвестно кому принадлежащий рассудок сам по себе, а на рассудок человека, не исковерканного умозрительными и христианскими воззрениями. Она говорит человеческим, а не беспредметным языком и объявляет истинной философией лишь такую, которая стала человеческой философией, т. е. облечена в плоть и кровь. Таким путем Фейербах разоблачил тайну религии, сорвал с нее противоречивый, отравленный ложью покров теологии и тем самым совершил «подлинное святотатство». Он допускает, что его труд отличается отрицательным, антирелигиозным и атеистическим характером, но объясняет это тем, что атеизм составляет тайну самой религии: ведь она не только внешне, но и по существу, не только в воображении, но и всем сердцем своим верит исключительно в истинность и божественность человеческого существа.<sup>3</sup>

В чем же заключается сущность человека? Что составляет его род или подлинную человечность? — Разум, воля и сердце. Совершенный человек обладает силой мышления, воли и сердца. Сила мышления есть свет познания, сила воли — энергия характера и сила сердца — любовь. Разум, любовь и воля — это совершенства, наивысшие силы, абсолютная сущность человека и цель его существования. Человек живет, чтобы познавать, любить и желать. Поэтому человек — ничто без предмета. Он познает самого себя из предмета или объекта: сознание предмета есть самосознание человека. По объекту мы познаем человека и его сущность: предмет есть видимая сущность, его истинное и объективное «я».<sup>4</sup>

Сознание — это самостоятельность, самоутверждение, это любовь к самому себе, радость от собственного совершенства; оно характерный признак совершенного существа. Но сознание относится различно к чувственным и религиозным объектам. Повторяя мысль Гегеля, Фейербах утверждает, что в отношении к чувственным объектам сознание предмета совершенно отличается от самосознания; в отношении же к религиозному предмету сознание непосредственно совпадает, тождественно с самосознанием. Чувственный предмет находится вне человека, а религиозный — в нем самом, внутри его. Поэтому последний, никогда не покидая человека, как его самосознание и его совесть, бывает самым интимным предметом. Отсюда ясно, что религиозный

предмет человека — не что иное, как его же собственная сущность. Каковы мысли и настроения человека, таков и его бог; какова ценность человека, такова же и ценность бога. Сознание бога есть самосознание человека, а богопознание — это познание человека. В боге всегда узнаешь человека, а в человеке — его бога: оба едины суть.<sup>5</sup>

Человек — и в этом тайна религии — объективирует свою сущность, а затем в свою очередь сам делается объектом этой объективированной сущности, превращенной в субъект, в лицо. Он мыслит себя как предмет, но предмет другого предмета, другого существа. Человек становится объектом бога. Чем субъективнее, чем человечнее бог, тем более человек отчуждает свою субъективность и человечность, ибо бог сам по себе есть отчужденная от человека сущность, которую он затем снова присваивает себе.

Таким образом, религия представляет раздвоение человека с самим собою: он противопоставляет себе бога как противоположное существо. Бог — не то, что человек, а человек не то, что бог. Бог — бесконечное, человек — конечное существо; бог совершенен, человек несовершенен; бог вечен, человек смертен; бог всемогущ, человек немощен; бог свят, человек преховен. Бог и человек суть две крайности: бог — просто нечто положительное, совокупность всех реальностей; человек — отрицательное, совокупность всего ничтожного. Но человек, как сказано, объективирует в религии свою собственную сокровенную сущность. Стало быть, нужно доказать, что то противоречие, тот разлад между богом и человеком, на котором основана религия, есть разлад человека со своей собственной сущностью. Последняя же — не что иное, как разум или рассудок.

В «Сущности христианства» Фейербах приходит к следующим выводам: содержание и предмет религии оказываются вполне человеческими; тайну теологии раскрывает антропология, а тайну божественного существа — человеческое существо. Но религия не создает человечности своего содержания и даже противопоставляет себя человеческому началу. Поэтому необходимый поворотный пункт истории заключается в признании и открытом исповедании того, что сознание бога есть не что иное, как сознание рода: человек может и должен возвыситься над границами своей индивидуальности или личности, но не над законами и существенными определениями своего рода; иными словами, он может мыслить, представлять, чувствовать, желать, любить и почитать в виде абсолютного божественного существа только человеческое существо. Именно в этом состоит гуманитарная, или антропологическая, точка зрения Фейербаха, оказавшая такое опромное влияние на младогегельянцев.

Фейербах пытался объяснить сущность религии вообще и христианства в частности, несомненно, с материалистической точки зрения. Однако в «Сущности христианства» он еще не форму-

лирует, не обосновывает и не развивает своих материалистических взглядов. Он уже «раскланялся», как однажды выразился о себе В. Г. Белинский, с «философским колпаком» Гегеля, но еще не противопоставляет идеалистическим воззрениям учителя своих собственных. Его произведение и не преследует подобных задач. Автор желает лишь разоблачить тайну религии, сорвать с нее богословский покров и показать ее внутренне противоречивый характер. По его мнению, всякая религия представляет разлад человека не только с самим собою, но и с природой; этот разлад выражается в противопоставлении индивида роду, природы богу, земли небу, посюсторонней жизни загробной. Но как бы ни удалялся человек от своей внутренней сущности, он вечно возвращается к ней же и таким образом «вращается вокруг самого себя», ибо он «начало, середина и конец религии». Чтобы устранить мучительный разлад, порожденный религией, нужно раздвинуть границы индивидуальности, подняться до сознания «рода» или человечества и почитать не какого-то бога, а человеческое существо, самый человеческий род. Именно эти идеи и произвели наибольшее впечатление на современников; лучшим доказательством является брошюра Энгельса «Шеллинг и отречение».

Шеллинг напал преимущественно на Гегеля. Поэтому Энгельс берет последнего под свою защиту и в начале брошюры констатирует следующий факт: «прошло уже несколько месяцев, как Шеллинг, этот новый Илья-пророк, был вызван из кимерийской ночи Мюнхена, но с тех пор ему не удалось изгнать жрецов Ваала из храма. Гегелевская философия, дыхание которой — пламя безбожия и дым мрака, по-прежнему процветает на кафедре, в литературе и среди молодежи; ее влияние на нацию продолжает быстро расти, и она спокойно шествует по пути своего внутреннего развития. Сам Гегель мало сделал для популяризации своей философии. Доверяя силе идеи, он старался устранить все воображаемое, фантастическое, чувственное и понять чистую идею в ее самотворчестве. Понятно, почему сочинения Гегеля написаны в строго научном, почти неудобопочитаемом стиле: «Языку нечего было стыдиться рубцов, приобретенных в борьбе с мыслью...»<sup>6</sup>

Только у последователей учение приняло более человеческую и наглядную форму; только при них молодежь начала с жадностью набрасываться на новые идеи, ибо стали подвергаться обсуждению наиболее важные вопросы науки и практики. Вместе с другими младогегельянцами Энгельс не одобряет философа за то, что под давлением реставрации он поставил запруды бурному потоку выводов, вытекавших из его собственного учения. По несколько произвольному толкованию Энгельса, принципы Гегеля сами по себе всегда отличались независимостью и свободомыслием, но его выводы нередко умеренны и даже консервативны. Этим основным грехом можно объяснить все его непоследова-

тельности и противоречия. Поэтому левое крыло школы сохранило только принципы, но отвергло выводы, поскольку они не могли найти себе оправдания.

Однако и это направление не решалось сразу же сделать все выводы. Даже после Штрауса его представители все еще думали, что стоят в пределах христианства и даже чванились своим христианством перед евреями. Это понятно: вопросы о личности бога и индивидуальном бессмертии были еще недостаточно освещены, чтобы можно было откровенно высказаться по поводу них. Только нападение Генриха Лео на «гегелингов» открыло им глаза на самих себя: оно пробудило гордое решение следовать за истиной, не отступая перед самыми крайними выводами, и открыто высказать ее, не страшась последствий. Теперь никому из них и в голову не приходит отрицать главные обвинения Лео. Какой сдвиг произошел с тех пор, лучше всего показывают «Сущность христианства» Фейербаха, «Догматика» Штрауса, «Немецкие ежегодники» и в особенности брошюра «Трубный глас страшного суда».

Ныне «гегельянская банда» уже не скрывает, что в ее глазах христианство не представляет предела. Основные принципы христианства, как и все, называвшееся до сих пор религией, повергнуты в прах беспощадной критикой разума. Отныне абсолютная идея выдвигает притязание быть основательницей новой эры. Теперь «...священной обязанностью всех тех, кто идет в ногу с саморазвивающимся духом, является — ввести в сознание нации и сделать жизненным принципом Германии этот грандиозный результат».<sup>7</sup>

В своем историческом введении, проникнутом крайне радикальными стремлениями, Энгельс часто употребляет такие чисто гегелевские обороты, как «абсолютная идея», «саморазвитие духа», «самотворчество чистого мышления» и т. п. При этом защитник Гегеля нисколько не отмежевывается от них, а, напротив, всемерно поддерживает. Это очень мало напоминает Фейербаха даже в тот момент, когда появилась «Сущность христианства». Зато все рассуждения Энгельса убедительно доказывают, что в левом гегельянстве он ценит и выдвигает прежде всего политические моменты. В области политики он ориентируется с гораздо большим искусством и в последующем изложении набрасывает довольно верную картину.

После смерти Альтенштейна, продолжает он, государство, с одной стороны, а философия — с другой, начали все сильнее подчеркивать свои принципы. Когда философия высказалась решительнее, христианско-монархическое государство Пруссии тоже с большей определенностью сделало свои выводы. Прежнее отношение государства к философии ставило ее в ложное положение, привлекая множество мнимых последователей, на которых нельзя было положиться в период борьбы. Теперь ее притворные друзья, состоявшие преимущественно из эгоистов, людей поверхностных,

половинчатых и несвободных, благополучно ретировались; теперь философия понимает свое положение и знает, на кого можно рассчитывать. В противовес ранее господствовавшим тенденциям на кафедры были приглашены люди противоположного направления. Наконец, на Шеллинга возложили миссию решить спор и разделаться с гегелевской школой.<sup>8</sup>

Что же он предпринимает по прибытии в Берлин? Он пытается контрабандой провезти в свободную науку, основанную на самостоятельном мышлении, веру в авторитет, чувственную мистику и гностические фантазии. Вместе с тем он разрывает единство философии и цельность мировоззрения во имя самого неудовлетворительного дуализма. Возводя в принцип философии противоречие, составляющее всемирно-историческое значение христианства, он теряет способность понимать вселенную как нечто разумное и целостное. Неспособный двигаться в сфере чистой мысли, он поминутно наталкивается на самые сказочные и причудливые фантомы; лошади его философской колесницы от испуга становятся на дыбы, а он сам, гонясь за фантастическими призраками, сворачивает с первоначально намеченного направления.<sup>9</sup>

В его представлении разум по отношению к действительному бытию занимает априорное положение. Все совершающееся в действительности разум постигает как логически необходимую возможность, или потенцию. У Шеллинга разум изобретает сверхмировое бытие, оторванное от всего сущего. Но вывод новейшей философии, сформулированный Фейербахом, гласит, что «разум может существовать только как дух, следовательно, только внутри и вместе с природой», а не изолированно от нее. Раз существует разум, его собственное существование доказывает и существование природы. Но «основной предпосылкой всякой философии является существование разума», доказуемое его собственной деятельностью. Именно поэтому Гегель мог доказать, что природа существует, т. е. является необходимым следствием существования разума.<sup>10</sup>

Шеллинг не желает этого признавать. Одержимый стремлением иметь абсолют в конце философии, он не понимает, каким путем Гегель действительно добился этого результата. Если бы у него была своя философия истории, самосознающий себя дух был бы не постулатом, а результатом. Но и сознающий себя дух далеко еще не стал бы понятием личного бога, с которым Шеллинг отождествляет идею. Подобная мысль совершенно чужда Гегелю. У него реальность идеи не что иное, как природа и дух, а абсолют — только единство природы и духа в идее. Шеллинг же все еще считает абсолют каким-то абсолютным субъектом, находящим реальность только в представлении личного бога.<sup>11</sup>

Шеллинг привез из Мюнхена не опровержение «Жизни Иисуса» и «Сущности христианства», что сулило бы ему кое-какой успех, а сокровища своей «позитивной» философии. Но его конструкция личного бога и христианского триединства лишь вуль-

гаризирует мысли Гегеля, лишая их всякого содержания. Поэтому Энгельс не считает нужным указывать на непоследовательности, пробелы, скачки, произвольные утверждения, подмену и путаницу понятий, которые лежат на совести Шеллинга. Столь же излишне, по его мнению, опровержение шеллинговской догматики и учения об откровении: он считает уже доказанной несоместимость философии с христианством и делает вывод, что Шеллинг запутывается еще в худших противоречиях, чем Гегель. У последнего по крайней мере была своя философия, хотя из ее горнила и вышло только мнимое христианство. У первого же нет ни того, ни другого, а есть лишь беспорядочное смешение свободы с произволом.<sup>12</sup>

В полном согласии с духом школы и собственными переживаниями Энгельс утверждает, что истинная свобода непременно включает в себя необходимость; она не что иное, как истинность, разумность и необходимость. Гегелевский бог, чуждый какого бы то ни было произвола, не может быть отдельной личностью: необходимое мышление со своей логической последовательностью исключает понятие божественной личности. Поэтому Шеллинг, желая в Берлине рассуждать о боге, вынужденный прибегать к «свободному» мышлению, попадает в западню религии и укрывается под сень веры. Прибыв же в мелкую гавань веры, он врезался килем в песок и безнадежно посадил на мель некогда такой смелый корабль своей философии. Но есть и другая гавань; там расположен целый флот гордых фрегатов, готовых выйти в бурное море. Завершив старую эру сознания, Гегель открыл пути к новой. Необходимым дополнением к обоснованному им спекулятивному учению о религии стала критика христианства, предпринятая Фейербахом.<sup>13</sup>

Итак, Энгельс ясно сознает что автор «Сущности христианства» сделал большой шаг вперед, дополнив учение Гегеля о религии. Но он не замечает еще принципиального разрыва между обоими философами. Не заметить этого можно было лишь материализировав философию Гегеля и идеализировав учение Фейербаха. Энгельс именно так и поступает. Первому он приписывает мысль, что реальность идеи не что иное, как природа и дух, а второму, — что природа доказывается существованием разума. Философ-материалист, наверное, согласился бы с утверждением своего юного последователя, что дух существует только в природе, вместе с природой и не может вести отдельного от нее существования. Но именно поэтому он отказался уже доказывать существование самой природы ссылками на существование разума. Вопреки мнению Энгельса, он прямо заявляет, что мир необходим только из самого себя и посредством самого себя. Но необходимость мира есть необходимость разума. В «Сущности христианства» же он с неменьшей ясностью говорит о самостоятельности и независимости мира и разума: истинное, чувственное бытие, с точки зрения Фейербаха, есть такое бытие,



которое не зависит от «моего самоопределения», от «моей деятельности», а «помимо «моей воли» определяет меня самого, и которое существует даже тогда, когда «меня совсем нет», когда «я» не мыслю и не чувствую его.

Когда появилась «Сущность христианства», Фейербах уже сознавал, что его новая, «гуманитарная», или «антропологическая», точка зрения противоречит гегелевской философии. Энгельс же еще не сознает этого противоречия и все-таки принимает критику христианства со всеми ее выводами. Мало того. Он особенно высоко ценит как раз новую точку зрения Фейербаха, которая возвращает человека к природе, неразрывно сплетает его с последней и упраздняет потусторонние силы. Он восторгается тем, что небо низведено на землю, что небесные представления объяснены земными явлениями, что таким образом изгнаны все мрачные призраки. Это ярко прорывается в заключительной части брошюры, написанной в необычайно восторженном тоне.

В глазах Энгельса все изменилось: «Мы проснулись от долгого сна, кошмар, который давил нашу грудь, рассеялся, мы протираем глаза и с удивлением осматриваемся кругом. Все изменилось. Мир, который был нам до сих пор так чужд, природа, скрытые силы которой пугали нас, как привидения, — как родственны, как близки стали они нам теперь! Мир, казавшийся нам какой-то тюрьмой, явился теперь в истинном свете, как чудный королевский дворец, доступный для всех — богатых и бедных, знатных и простолюдинов. Природа раскрывается перед нами и взывает к нам: не бегите от меня, я не отвержена, я не отреклась от истины, придите и смотрите, ведь именно ваша внутренняя собственная сущность дает мне жизненные силы и юношескую красоту! Небо спустилось на землю, сокровища его рассеяны, как камни на дороге, и нам стоит только нагнуться, чтобы их поднять. Всякая разорванность, всякий страх, всякий раскол исчезли. Мир опять стал целым, самостоятельным и свободным; он разбил запоры своего мрачного монастыря, сбросил с себя покаянную одежду и выбрал себе жилищем свободный, чистый эфир».<sup>14</sup>

И любимое дитя природы, человек, после продолжительной борьбы в юношеском возрасте, после долгого отчуждения возвращающийся к матери свободным мужем, преодолел обособление от самого себя, раскол в собственной груди. После бесконечно долгих усилий и домогательств для него наступил ясный день самосознания. Свободный и сильный, самоуверенный и гордый, он победил себя и надел на голову венок свободы. Все открылось перед ним, и нет силы, которая закрыла бы ему доступ. Теперь впервые наступает для него истинная жизнь! К чему он прежде стремился в темном предчувствии, того ныне достигает вполне свободно и сознательно. Все, что лежит, казалось, в туманной дали, оказывается его собственной плотью и кровью.

Наше призвание — стать рыцарями этого Грааля, ради него препоясать чресла мечом и радостно положить жизнь свою в последней священной войне, за которой последует тысячелетнее царство свободы. И такова власть идеи, что всякий, познавший ее, не может не говорить об ее величии и не возвещать ее всемогущество. И эта вера во всемогущество идеи, в победу вечной истины, эта твердая уверенность, что она не может поколебаться и уступить, даже если весь свет восстал бы против нее, — вот «истинная религия всякого подлинного философа, базис истинной положительной философии, философии всемирной истории».

Идея, самосознание человечества — вот чудесный феникс, который сооружает себе костер из величайших ценностей и выходит помолодевшим из пламени, пожирающего всю старину. «Понесем же на костер этого феникса все, что нам было дорого, все, что было нами любимо, все, что было свято и возвышенно для нас, прежде чем мы стали свободными! — восклицает Энгельс. — Пусть не будет для нас любви, выгоды, богатства, которые мы с радостью не принесли бы в жертву идее, — она воздаст нам сторицей! Будем бороться и проливать свою кровь, будем бестрепетно смотреть врагу в его гневные глаза и сражаться до последнего издыхания! Разве вы не видите, как знамена наши развеваются на вершинах гор? Как сверкают мечи наших товарищей, как колышатся перья на их шлемах? Со всех сторон надвигается их рать, они спешат к нам из долин, они спускаются с гор с песнями при звуках рогов. День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами!»<sup>15</sup>

Брошюра Энгельса была до такой степени оригинальна, что обратила на себя общее внимание литературных кругов. Некий Г. Гейне, не имевший с поэтом ничего общего, кроме фамилии, написал в защиту престарелого философа статью «Шеллинг в Берлине». Цитируя заключительные слова Энгельса, он ехидно замечает: «Я не вижу и не слышу всего этого. Я слышу разве только крик тех господ, которые любят шуметь на улице, пока их не разгонит полиция». Намекая на личность автора, он в том же ехидном тоне замечает: «Не является ли вашим вождем тот барменский приказчик, который печатает свои вздорные нападки то анонимно, то под псевдонимом в брошюрах и журналах?»<sup>16</sup>

Среди идеологов было немало трезвых мещан и близоруких мудрецов, которые со злорадством упрекали юношу Энгельса в излишней риторике и пустом фразерстве, в пристрастии к литературным фанфарам и прочих грехах. Но эти убогие слепцы не замечали, что под риторической оболочкой пылает огонь подлинного воодушевления, что за дифирамбами идей скрывается глубокая искренность, редкая душевная чистота и страстное стремление к истине. Кто с таким пламенным энтузиазмом посвящает себя в рыцари идеи, тот действительно будет служить ей верой и правдой до конца своих дней. Перед нами неукротимый борец, непримиримый враг мещанства, косности и застою. В под-

ходящую минуту он не колеблясь сожжет за собою все корабли. без размышлений перейдет в стан борющихся за великое дело идеи.

Именно так и понял Энгельса Арнольд Руге, несомненно обладавший довольно значительным критическим чутьем. Он заметил, что имеет дело с самостоятельным мыслителем, а потому сумел оценить брошюру справедливее и лучше многих филистеров. В большой статье, помещенной в «Немецких ежегодниках», он подробно излагает содержание брошюры и между прочим замечает, что и точка зрения, и характер автора указывают на его молодость; начало и конец книжки обнаруживают склонность к образному языку и яркий огонь воодушевления, которое порождается переживаемым нами великим развитием. Напротив, в середине книги, а также в изложении и критике шеллинговой философии господствует надлежащее спокойствие и очень ясная позиция.<sup>17</sup>

В частном письме Руге тоже лестно отзывается о брошюре Энгельса и выносит убийственный приговор Шеллингу. Руге писал, что называть Шеллинга философом — самое нелепое, что можно делать. Эту его (Шеллинга) манеру выдумал сам дьявол, чтобы всю философию поднять на смех. Представь себе эту похабщину с потенцией (в брошюре, за несколько дней появившейся у Биндера, выдержки совершенно верны). Все это гнуснейшая схоластика, и все из желания оболванить Гегеля до того, что становится незаметно, как он (Шеллинг) использует его, чтобы обосновать и конструировать окаянное христианство со всеми его абсурдами.<sup>18</sup>

Произведение Энгельса обратило на себя внимание не только литературных, но и университетских крутов. Так, например, знакомый нам профессор Берлинского университета Маргейнке признает брошюру достоверным источником: по крайней мере в своей «Критике шеллинговой философии откровения» он прямо опирается на то изложение лекций престарелого философа, которое дает Энгельс.<sup>19</sup> Известный представитель рационального богословия д-р Паулулс тоже одобрительно отзывается о брошюре. В «Предварительной апелляции», направленной против Шеллинга, он, между прочим, пишет: «Люди мыслящие, слушавшие Шеллинга, как Фрауэнштедт, Алексис Шмидт, Фр. Освальд и др., взяли на себя труд в написанных ими статьях внести мысли, какой-нибудь порядок в диктаторскую болтовню, которую они не отважились изложить полностью».<sup>20</sup>

Но брошюра и с иной точки зрения представляет богатейший рудник. Кто сумеет извлечь его сокровища, тот поймет огромный перелом в сознании Энгельса. Он, глубоко религиозный юноша, под влиянием «Молодой Германии» и Штрауса утратил детскую веру в личного бога и примкнул к гегелевской идее божества. Но потребность в религии не утасла и облеклась лишь в новый покров. Диалектика Гегеля, переплетаясь с освободительными

стремлениями, постепенно расшатывала религиозно-философское сооружение, казавшееся таким прочным. Снова возрождались мучительные вопросы о личности бога и индивидуальном бессмертии; недостаточно освещенные, они не допускали решительного приговора. Понятно, какую неудовлетворенность испытывал Энгельс: мир казался чем-то чуждым, таинственная природа пугала своими призраками, небо было враждебно, а он сам чувствовал неустрашимый разлад в собственной душе.

Но вот «Сущность христианства» принесла желанное освобождение. Фейербах разоблачил тайны религии, низвел небо на землю, примирил человека с природой и внес покой в его страдающую душу. Раздробленность, страх и разлад исчезли; мир снова стал единым, свободным и прекрасным космосом; для человека наступил ясный день «самосознания». В огне самосознания, в пламенных лучах идеи сгорело понятие бога. Но из пепла старой веры в бога возродилась новая вера в бесконечную способность самосознания к развитию. Энгельс в результате критической работы стал атеистом и догма разрушил культ бога. Но вместо него возникает «культ» человечества. Отныне Энгельс уверен в человеке, он проникнут верой во всемогущество идеи, в торжество самосознания и победу вечной истины.

Освобождение от старых религиозных представлений приводит Энгельса в восторг и, действительно, превращает в восторженного фейербахианца. Но, став атеистом, он не сразу стал материалистом. Правда, гегелевскую абсолютную идею Энгельс превращает в «самосознание человечества», которое наделяет способностью к бесконечному развитию. Однако, объявляя идеи проявлением человеческого сознания, он допускает возможность их самостоятельного развития. Это явно идеалистическая точка зрения. Короче, Энгельс далеко еще не продумал всех положений «Сущности христианства» и вытекающих из него выводов. Он занимает ту же философскую платформу, на которую уже забралась его новые соратники — Бруно и Эдгар Бауэры, Макс Штирнер, Людвиг Буль и другие участники кружка «Свободных». Он не преодолел еще идеализма и именно поэтому с такой несокрушимой уверенностью восхваляет «самосознающий себя дух», «всемогущество идеи», «самосознание человечества», «победу вечной истины» и т. п. Однако даже эти святыни впоследствии будут подвергнуты решительному осуждению и подчас жестокому осмеянию.

В своей брошюре Энгельс вполне самостоятельно подверг беспощадной критике только первые три лекции Шеллинга, мало уделив внимания его «положительной и христианской философии». Между тем запутавшийся мыслитель Шеллинг и далее продолжал излагать пресловутое учение об откровении, окончательно принявшее характер религиозного мракобесия; его нападки на гегелевскую, или «отрицательную», философию становились все более бесцеремонными. Естественно, что возмущенный

Энгельс решил нанести еще один удар «реакционному покушению на свободную философию» и снова взялся за перо. Вскоре работа была закончена. Уже в начале мая 1842 г. анонимно появилась его новая брошюра: «Шеллинг — философ во Христе, или преобразование мирской мудрости в мудрость божественную». Как гласит подзаголовок, она предназначалась якобы для верующих христиан, незнакомых с философским словоупотреблением.<sup>21</sup>

Соответственно своему мнимому назначению новое произведение нашего автора отличается от предыдущего и по форме и по содержанию. Прежнее написано серьезно, обстоятельно, с опомным душевным подъемом, но в резко отрицательном и полемическом тоне. Во втором случае Энгельс берет за образец известный памфлет Бруно Бауэра «Трубный глас страшного суда над Гегелем, атеистом и антихристом». Его новый прием заключается в следующем: одев маску достопочтенных вуппертальских пиетистов, он выдает себя за правоверного богослова, цитирует Библию, евангелие и вообще очень искусно подделывается под человека верующего. Он уже так далек от богословской схоластики, что считает безопасным превозносить Шеллинга как философа во Христе. Сатирически настроенный, он непоколебимо убежден, что философия откровения нанесла христианству сокрушительный удар, воочию обличила все его нелепости и сама превратилась в какой-то бессвязный философский бред. Чтобы наглядно показать ее бездонную глупость, Энгельс апологетически утверждает всевозможную религиозную чепуху: чудеса, сатану, святую троицу, беспорочное зачатие, воскресение, вознесение, сошествие святого духа и т. п.

С лукаво-серьезным видом аноним вещает, что Шеллинг, подобно Савлу, превратился в Павла и воспринял «чудеса божественной благодати, дабы прославить имя господне». Милосердный спаситель простер свою длань основателю презренной мирской мудрости и присоединил его к сонму своих ратников по борьбе с неверием и безбожием. Раньше он жалко коснел в так называемом пантеизме, обожании мира и самого себя; ныне господь отклонил его от пагубного пути, направил на узкую стезю, ведущую к небу, и таким образом наперекор всем врагам веры проявил свое всемогущество. Так господь простирал спасительную длань, чтобы вывести из гибельной бездны тех, кто изрыгает хулы на него, кто неистово оспаривает бытие его. Но Шеллинг показал, как слаб и ничтожен человеческий разум.<sup>22</sup>

Философ исповедал свое верование во Христа в виде лекций, которые трудно разобрать простодушному христианину. Поэтому автор брошюры, не желая «оставаться праздным в вертограде господнем», счел за благо изложить кратко и ясно суть дела всем, у кого нет ни времени, ни охоты заниматься бесплодным изучением мирского суетумудрия. Да благословит господь его начинание, дабы оно пошло на пользу его царствию! Но предварительно следует заметить, что Шеллинг все-таки не может отрече-

шиться от своих прежних лжемудрствований и преодолеть высокомерие собственного разума; он как будто все еще стыдится открыто и с полной радостью признать, что его отношение к Христу претерпело перемену. Пусть же смелый борец за правду помнит о заносе в своем теле, когда его одолевает бес гордыни! Пусть он перестанет кичиться своей прежней философией, породившей лишь безбожных детей!<sup>23</sup>

За всем тем, продолжает Энгельс, Шеллинг открыто напал на философию и подорвал доверие к ее основе — разуму. Он доказал, что разум сам по себе вовсе не способен ни обосновать существование хоть одной былинки, ни возвыситься до божества при помощи своих доводов и умозаключений: он вообще непригоден для познания истины и создает лишь пустые, вздорные фантазии. Посему святотатственно желание познать всевышнего посредством разума, запятнанного преховностью и подверженному всяческому искушению сатаны. Когда мудрецы своим порочным разумом критикуют слово божие, они не только посягают на святость библии, но и отрицают бытие самого бога. Возможно ли согласие между Христом и Велиалом? Желание познать естественным разумом смерть господина-искупителя, воскресение и вознесение его равносильно хулению против бога. Вместе с Шеллингом следует изгнать разум из христианства в язычество, где он может оправдывать все грехи и пороки мира, ужасы пьянства и распутства или выдавать за достойные подражания образцы самоубийство Катона, блудодеяние Лаисы и Аспазии, убийство Брутом своих родственников, стоицизм Марка Аврелия и его яростное гонение на христиан.<sup>24</sup>

Ныне Шеллинг расчистил почву: уродливые порождения похотливого разума устранены, его слушатели способны питаться млеком евангелия. В этом задача положительной философии: с помощью «свободного», т. е. просветленного, мышления и божественного откровения разум вновь способен просветиться духом истины и приобщиться к дарам христианской благодати; он сразу постигает чудесную связь в истории царства божия, ибо только очи, просветленные господом, становятся прозревшими глазами. Кто верует в откровение, тому нужна не философия, а истинное христианство. Шеллинг восстановил доброе, старое время, когда разум покорялся вере, а мирская мудрость, как служанка, подчинялась теологии и преображалась в мудрость божественную.<sup>25</sup>

Вступив на путь просветленного мышления, Шеллинг тотчас же приходит к основному учению христианства — троице божией. Следуя святому писанию, он затем очень хорошо описывает, как бог создал мир из ничего, как человек, обольщенный дьяволом в образе змия, утратил способность вести первоначальный образ жизни и стал добычей князя тьмы. Этим человек отделил мир от бога и отдал его во власть сатаны. Все силы, ранее сдерживаемые божественным единством, разъединились и стали непримиримо враждебны друг другу. Но едиnorodный сын божий

в своей неизреченной благодати и любви остался при бедном, отверженном мире. Он отделился от отца, посему стал некторым образом соучастником вины и не мог притязать на божественность, пока отец не умилился.

Пока мир не примирился с богом, Христос тоже не был богом, а пребывал в промежуточном состоянии. Чтобы обрести утраченное божественное состояние, он должен был вновь передать отцу мир, отвоеванный у дьявола принятием на себя наказания за преступления мира. Он смиренно подчинился отцу, когда воплотился в человека, рожденного женщиной, и пребывал в послушании вплоть до крестной своей смерти. Решение воплотиться в человека есть чудо божественной мысли: тот, кто ранее был у бога и сам был богом, а после грехопадения пребывал в «божественном виде», теперь как человек силою духа святого родился в Вифлееме от Марии, без содействия мужа. Шеллинг, осмелившийся высказать это убеждение, имеет право на признательность всякого верующего. Кто не узрит длани господней в сей чудесной, славной судьбе?<sup>26</sup>

В таких же истинно-христианских выражениях Шеллинг упоминает о смерти господя. С самого сотворения мира она была решена на совете стражей и явилась жертвой, коей требовала божественная мысль. Бог справедлив даже к сатане и настолько считался с его правом, что отдал на закление собственного сына. Христос должен был претерпеть смерть на кресте, дабы через смерть одного воскресли многие: он принял ответственность за грешников перед отцом и искупил нашу вину, чтобы открыть нам доступ к престолу благодати. Так, венец веры — очищение от грехов в крови Христа — вновь чудесно спасен от когтей древнего дракона, ныне представшего в образе мирской мудрости. И Шеллинг прекрасно говорит: смерть Христа — такое великое чудо, что мы не смели бы в нее верить, если бы не знали о ней столь достоверно.<sup>27</sup>

Что касается распятия на кресте, оно есть лишь разрешение противоречивого положения, в котором Христос долгое время находился среди язычников: со смертью прекратилось его небожественное состояние, и он воссоединился с богом. А о воскресении господя Шеллинг тоже очень хорошо говорит: оно служит доказательством, что Христос не для виду принял человеческий образ, а навсегда стал человеком и вновь допустил к благодати все человечество. Он вознесся на небо и предстал заступником человечества перед отцом. В полном согласии с учением святого писания Шеллинг признает, что воскресение Христово доказывает бессмертие нашей души и воскресение плоти: если в сей жизни плоть господствует над духом, должна воспоследовать иная жизнь, где дух преодолет плоть и в конце концов наступит их равновесие.

Наконец, Шеллинг приводит и еще одно «драгоценное свидетельство» о воскресении господя нашего и спасителя Иисуса

Христа: это воскресение есть просвет, открывающийся из внутренней истории во внешнюю. Кто отвергает такие факты, тому история царства божия кажется рядом внешних случайных событий без всякого божественного, трансцендентального содержания, которое только и есть история в собственном смысле слова. Болтовня мирских мудрецов о боге в истории и развитии родового сознания представляет отвратительное пустословие и богохуление: если эти надменные совратители молодежи видят своего бога в истории всех человеческих грехов и преступлений, где же тогда бог вне этих грехов? Они не хотят понять, что всемирная история вообще есть ряд всяческих несправедливостей, зол, убийств, прелюбодеяний, краж, богохулений, святотатств, ярости и пьяных оргий. Эта-то скандальная сцена является их небом, их бессмертием, о чем они сами бесстыдно заявили. Главным виновником подобного взгляда на историю нужно считать Гегеля, который пользуется дурной славой у всех хороших христиан.<sup>28</sup>

В лице Шеллинга господь воздвиг избранное орудие своей церкви. Сей «достойный муж» прогонит «современных язычников»: светских людей, «Молодую Германию» и философов. Но всего хуже ядовитое племя политиков и болтунов. Эти лицемеры пренахально суются в дела государственного управления и совсем не заботятся о спасении своей бессмертной души: они хотят вынуть соломинку из глаза правительства и не замечают бревна в собственном неверующем глазу. Ныне вообще все враги бога соединяются и нападают на верующих. Мудрецы-атеисты открыто отрицают все, чего нельзя видеть глазами: бога и загробную жизнь, а выше всего ставят сей мир с его плотскими наслаждениями, обжорством, пьянством и развратом. Это наихудшие язычники, питающие явную вражду к господу. Отвратительные насмешки Вольтера — детская забава в сравнении с обдуманным богохульством этих соблазнительей. Они странствуют по Германии, всюду проникают украдкой, проповедуют свои сатанинские учения на площадях, увлекают бедную молодежь и низвергают ее в глубочайшую бездну ада.<sup>29</sup>

В таких своеобразных тонах написана вся брошюра Энгельса. Намерения его совершенно очевидны. Учение Шеллинга об откровении представляется ему позорным отречением от современной философии, бесстыдным попиранием разума и неслыханным возвратом к средневековой схоластике. Из шеллингианской «философии» вытекают такие бессмысленные, такие чудовищные выводы, от которых с отвращением отшатнется всякий мало-мальски мыслящий человек. Достаточно выступить с апологией их, чтобы Шеллинг стал мишенью громких насмешек. И вот Энгельс превращает учение об откровении в злую карикатуру, как две капли похожую на нелепые писания ортодоксов, пиетистов и всевозможных ханжей. Он руководствуется правилом: скажи, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты. Если Шеллинга прославляет какой-то



ортодокс и пиетист, ясно, что его песенка спета. Этим путем можно, пожалуй, быстрее всего опорочить его философское знамя в глазах мыслящих немцев.

Так и было понято намерение автора. Ко времени его выступления вокруг Бруно Бауэра уже складывался кружок левых гегельянцев. Один из них еще в начале мая поспешил сообщить «Рейнской газете» о брошюре Энгельса и довольно прозрачно намекнул, что она написана вовсе не правочерным богословом.<sup>31</sup> Хорошо осведомленный берлинский корреспондент либеральной «Кенигсбергской газеты» сделал вид, будто нападает на «ограниченно-ортодоксальную точку зрения» автора, которому якобы удалось «совершенно отказаться от ненавистного разума».<sup>31</sup>

18 мая кто-то из сподвижников Бруно Бауэра — вероятно, Мейен или Мюгге — разоблачил в «Рейнской газете» тайну, сообщив, что брошюра написана вовсе «не серьезно и не в пиетистском смысле», а что ее автор только «очень ловко подражал пиетистскому тону».<sup>32</sup>

Впрочем, и сами ортодоксы скоро смекнули, в чем дело. 18 же мая пиетистская «Эльберфельдская газета» с раздражением писала, что «молодой, легкомысленный писака» одел маску правочерного ханжи, приветствовал Шеллинга как реставратора ортодоксии и связал с этим массу страшных опасений, рассчитанных на людей слабых. Однако «шутка вышла слишком топорна, а потому не оказала действия».<sup>33</sup> «Аугсбургская всеобщая газета» тоже отлично поняла соль «неуклюжего памфлета» и обрушилась на «цинизм» сочинителя.<sup>34</sup>

Берлинские младогегельянцы, отлично знавшие, кем написаны обе брошюры, не остались в долгу. Один из них, вероятно, Эдгар Бауэр, начал энергично и задорно защищать Энгельса от злободневных выпадов. В «единодушном мнении» обеих газет он грежде всего усмотрел лучшее доказательство, что памфлеты «попали в большое место». Далее он издевается над раздраженными корреспондентами по тому поводу, что им так и не удалось разыскать автора брошюр: оба никак не могут установить хороших связей с толпой наших великих охранителей, ибо в противном случае они знали бы, кто написал эти брошюры, и позволили бы тонкий намек на этот счет: а теперь им остается только мучка с их источниками.<sup>35</sup>

Только Руге попал было впросак. В статье, которая 17 июня начала печататься в «Немецких ежегодниках», он пробовал утверждать, что в Германии еще имеются правочерные люди, способные вполне искренно писать подобные вещи. Но и он под конец приходит к заключению, что среди всех мракобесов только Круммахер, Арндт да, пожалуй, Лео могут сравняться с Шеллингом по смелости выступления против «отрицательной философии».<sup>36</sup> Так было встречено оригинальнейшее произведение Энгельса, написанное в общении с кружком «Свободных».

**Ф. ЭНГЕЛЬС В КРУЖКЕ «СВОБОДНЫХ»**

## Глава VIII

**«СВОБОДНЫЕ» И ИХ ВОЖДИ. «ХРИСТИАНСКАЯ  
ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЭМА» ЭНГЕЛЬСА**

На рубеже 40-х годов политическая атмосфера в Германии начала быстро накаляться. Надежды, возлагаемые буржуазией на нового короля, не оправдались. Тяжелое бремя феодальных пережитков давило немецкий народ. Подымался протест против старой системы. Назревала буржуазная революция. На темном небе реакции уже начали кое-где появляться ее первые предвестники. Литературные и философские направления все более обращались к политике. Совершалась, если не политическая, то идеологическая консолидация бесчисленных немецких отечеств. Этот стихийный процесс происходил прежде всего на родине Энгельса, где буржуазное самосознание опиралось на сравнительно развитые экономические отношения.

Центром умственной жизни в Германии был несомненно Берлин. Но когда идеологическая борьба стала сменяться острым столкновением материальных интересов, а философское умозрение уступило место практической политике, прусская столица отстала от Кельна, Лейпцига и даже Кенигсберга. Ее мелкобуржуазное и чиновничье население пробавлялось сплетнями о дворе и возлюбленном монархе, но не проявляло готовности к реальным политическим действиям. Порабощенное суровым деспотизмом, оно втихомолку изумлялось рейнским промышленникам или восточнопрусским дворянам, которые на заседаниях своих провинциальных ландтагов осмеливались требовать конституции и свободы печати. Но оппозиционное настроение столичного мещанства было не так велико, чтобы последовать хорошему примеру.<sup>1</sup>

Тем не менее в сентябре 1841 г. произошло неслыханное событие, всколыхнувшее стоячее болото столицы: группа литераторов устроила серенаду и банкет в честь либерального депутата баденского ландтага — известного публициста и издателя «Словаря государственных наук» Карла Теодора Велькера, прибывшего

в Берлин.<sup>2</sup> Во время пира Бруно Бауэр, еще состоявший доцентом Боннского университета, подверг критике его либеральную теорию государства и торжественно провозгласил тост за гегелевское воззрение на государство, о котором в Южной Германии все еще были распространены ошибочные представления. Боннский богослов хотел показать вождю южногерманской оппозиции, что взгляды младогегельянцев отличаются большим либерализмом, смелостью и решительностью, чем принято думать.<sup>3</sup> Велькер, этот «знаменосец немецкого либерализма», понял намерение оратора и был «очень шокирован». Банкет, превращенный, таким образом, в политическую манифестацию, разумеется, вызвал у короля припадок гнева. Приписав довольно безобидным намекам «возбуждающий характер», раздраженный король решил отдать под надзор полиции некоторых участников банкета и запретил принимать их в будущем на государственную службу.

Главными виновниками этой бури в стакане воды были молодые писатели, более или менее близкие, знакомые между собою. Днем они проглатывали газеты и журналы в кабинете для чтения Бернштейна или собирались в «красной комнате» кондитерской Штехели; здесь приятели сообщали друг другу все новости дня, чтобы потом поместить их в газетах, находившихся за пределами прусской досягаемости. По вечерам они снова заседали, шумно спорили, предавались критике и «уничтожали» весь существующий строй, если, конечно, были уверены, что... за ними не следит полицейский шпион. Так в середине 1842 г. сложился кружок, члены которого претенциозно называли себя «Свободными».

Ни сначала, ни впоследствии они не составляли какого-нибудь замкнутого, а тем более тайного сообщества: не было и помину о председателе, должностных лицах, членских взносах, уставе и тому подобных принадлежностях организации. Участников кружка объединяли возмущение против закоснелого мещанства, ненависть к прогнившим порядкам домартовской Пруссии и в особенности недовольство правительственной политикой Эйхгорна. Требования их были крайне расплывчаты, состав кружка весьма пестрый. Так, например, вместе со «Свободными» постоянно бывал цензор Сен-Поль, хитрый малый и искусный палач литературы. Именно он был послан в Кельн с целью задушить «Рейнскую газету» и ловко исполнил свой «культурный подвиг», между делом ввязываясь в драки с ночными сторожами.

Кто же посещал собрания «Свободных»? Либеральные журналисты, соперничавшие в остроумии по поводу разных высочеств и светлостей; молодые поэты, грезившие туманными мечтами о политической заре; начинающие художники, набивавшие руку на злободневных карикатурах; скромные приват-доценты, еще не успевшие с гордостью задрапироваться в тогу академической науки; учителя средних учебных заведений, питавшие интерес к вопросам литературы, науки и философии; кое-какие офицеры, не совсем поглощенные интересами казармы и конюшни, гарни-

вонного клуба или полусветского алькова; юные студенты, которым набили оскомину терпкие лекции университетских мудрецов. Среди «Свободных» бывали, наконец, дамы, слывшие за добрых товарищей и не морщившие носа, когда отпускала вольная шутка или срывалось крепкое словцо. Таково ядро кружка «Свободных».

Вначале среди «Свободных» вращались и очень видные люди. Наиболее усердным посетителем кружка был «маленький» Эдуард Мейен, соредатор младогегельянского еженедельного журнала «Атеней», выходявшего в 1841 г. Сначала он был студентом Гейдельбергского и Берлинского университетов, где изучал философию, а потом посвятил себя исключительно литературной деятельности.<sup>4</sup> Воспитавшись в школе Гегеля, этот истый сын Берлина участвовал во всех фазисах ее истории: он пережил и покровительственное отношение государства, и недоверие, а затем и ненависть к гегельянству. Мейен обладал бойким, острым пером и легко писал «злонамеренные» статьи. Скоро он стал деятельным сотрудником «Галлеских ежегодников», «Рейнской газеты» и других радикальных органов. Здесь он усердно защищал младогегельянцев от грубых наскоков Лео, против которого и раньше уже выпустил резко написанную книгу.<sup>5</sup>

Как предприимчивому и уважаемому литератору, ему удалось привлечь к сотрудничеству в «Атенеи» талантливых людей. Среди последних были также Энгельс и Маркс. В декабре 1841 г. Энгельс поместил там свои «Скитания по Ломбардии»,<sup>6</sup> а сотрудничество Маркса ограничилось двумя стихотворениями, красноречиво свидетельствующими, что служение музам не было его истинным призванием.<sup>7</sup> Позднее, когда у Маркса начались недоразумения со «Свободными», он резко упрекал Мейена в том, что «этот человек выступал с важностью павлина, бил себя торжественно в грудь, ударяя по шпаге, что-то болтал о „своей“ партии, упряжал мне немилостью, декламировал á la маркиз Поза, только немного похуже и т. д.»<sup>8</sup> Как бы то ни было, еженедельник Мейена, имевший, впрочем, не более 150 подписчиков и в конце года запрещенный из-за банкета в честь Велькера, на время сделался сборным пунктом берлинских младогегельянцев.

Не последнее место среди них занимал Людвиг Буль, тоже тесно примыкавший к «Свободным». Этот дельный литератор и сотрудник «Рейнской газеты» был связан узами тесной дружбы с Мейеном, а также Максом Штирнером. В начале 40-х годов он стремился исключительно к конституционной Пруссии и не возлагал серьезных надежд на революционный переворот. В его боязливом сердце еще теплилась вера, что Германией будет руководить именно либеральная Пруссия, естественными союзниками которой окажутся мелкие государства. Буль ранее других почувствовал огромное значение социальной проблемы, но полагал, что в этой области еще преждевременно переходить от теории

к практике. Вообще он чуждался крайних и решительных мер.

В полном согласии с духом младогегельянства этот человек переходного времени почтительно относился к государству, желал его видеть великим, могущественным, крепким, разумным. Каждый, по мнению Буля, должен стремиться поднять государство на такую ступень, где оно будет соответствовать «высшему понятию».<sup>9</sup> Совершенно естественно, что Людвиг Буль, приступив к изданию собственного журнала, присвоил ему наименование «Патриот». Лойляная этикетка, перенесенная друзьями на самого редактора, не спасла, однако, органа от правительственных преследований, а затем и запрещения.

Видным сотрудником «Атенея» и предполагаемым инициатором банкета в честь Велькера был также Адольф Рутенберг, которого Карл Маркс в одном из писем к отцу называл «ближайшим» своим другом.<sup>10</sup> Он преподавал географию в берлинском кадетском корпусе, но лишился должности за то, что однажды утром был якобы подобран пьяным в водосточной канаве. На самом деле подкладка увольнения сводилась к тому тяжкому преступлению, что он был автором «неблагоденных» статей в «Лейпцигской всеобщей газете» и «Гамбургской новой газете». Потом по рекомендации Маркса Рутенберг вошел в состав «Рейнской газеты», но, лишенный оригинальности, самостоятельности и критического чутья, оказался неудачным редактором. Тем не менее правительство, трепетавшее перед «опасным демагогом», осенью 1842 г. настояло на его увольнении. Последующее поведение экс-редактора дало повод Марксу очень язвительно писать в частном письме: «...этот Рутенберг благодаря чудовищной глупости нашего государственного провидения имел счастье прослыть опасным, хотя ни для кого, кроме „Rheinische Zeitung“ и себя самого, он опасен не был... новый мученик, Рутенберг, научившийся уже изображать с некоторой виртуозностью мученическое сознание — соответствующим выражением лица, манерой держать себя и манерой речи, — использовал этот подвернувшийся случай».<sup>11</sup>

Вместе с сотрудниками «Атенея» в банкете участвовал Карл Фридрих Кеппен, тоже примыкавший к «Свободным». Он состоял преподавателем реального училища в Доротеештадте и был на двенадцать лет старше Энгельса. В 1837 г. Кеппен выпустил «Литературное введение в северную мифологию» и вскоре занял почетное место рядом с Яковом Гриммом и Уландом, давшими новый толчок исследованиям в той же области. Вскоре ученый автор стал деятельным сотрудником «Галлеских ежегодников» и «Рейнской газеты». В журнале Руге и Виганда он поместил блестящую портретную галерею современных историков: Раумера, Шлоссера, Ранке и Лео.<sup>12</sup> Кеппен первый дал подлинную историческую оценку «красного террора» в эпоху Французской революции.<sup>13</sup> Обладая вообще обширными историческими познаниями, он уверенно группировал факты и умел пластически изо-

бражать события. Немаловажное достоинство его работ — бодрый, энергичный стиль, пересыпанный едкими эпитграммами и яркими образами. Не в самих «Ежегодниках», а у их издателя Отто Виганда появилась также упомянутая выше юбилейная брошюра о Фридрихе Великом и его противниках; на первом листе ее красовались многоговорящие слова: «Посвящается моему другу — Карлу Генриху Марксу из Трира».<sup>14</sup>

Истинная цель автора — защита просветительной эпохи. Он талантливо опровергает «плоские декламации» против философии XVIII в. и очень убедительно приглашает признать даже немецких просветителей, которым Германия многим обязана. Беда просветителей, с точки зрения Кепшена, состояла в том, что они были все еще недостаточно просвещенные и слишком нерешительные.<sup>15</sup>

Кепшен старается втолковать эту мысль «философам нового стиля», которые ополчаются против абстрактного разума XVIII в. Под «философами нового стиля» автор понимает преимущественно правых гегельянцев, «старых брахманов логики». Эти «уединенно кающиеся грешники понятия» не замечают, что царство Брахмы прошло: по водам уже плывет Вишну на фиговом листе, чтобы сотворить новый мир.<sup>16</sup>

Мягкий характер, спокойное благоразумие и серьезные научные занятия Кепшена плохо мирились с нравами литературной богемы. Естественно, что духовным вождем «Свободных» стал не он, а другой видный современник — Бруно Бауэр. Но и последний не сразу занял свой передовой пост. Состоя приват-доцентом Боннского университета, он лишь на каникулы приезжал в Шарлоттенбург, где жили его родители. В то время критик евангелия довольно пренебрежительно отзывался о будущих сподвижниках, называя «Атеней» «грязным листком», а его сотрудников, «атенейцев», — «литераторами берлинских пивных». Но по свойствам своего ума он вполне отвечал вкусам «Свободных». Вечное искание, разъедающая критика и внешне решительные нападки на укоренившиеся понятия составляли, так сказать, естественную атмосферу его духовной жизни. Гегелевская диалектика была как бы специально создана для его скептического ума. Бауэр стремился не столько к положительным результатам, сколько к разрушению прочно сложившихся убеждений. Его критика не считалась ни с историческими традициями, ни со здравым человеческим рассудком, ни, наконец, со всем реально существующим миром.<sup>17</sup>

Бесконечная борьба идей, думал Бауэр, происходит не в народном духе, который он отрицал, не в головах массы, которую презирал, а исключительно в бесконечном самосознании, которое в конце концов было его собственным сознанием. Именно поэтому развитие самосознания, самоосвобождение духа казалось ему единственно достойным содержанием истории. Религия как величайшее препятствие саморазвитию духа подвергалась, понимает-

ся, сугубо ожесточенной критике. В истории, по мнению Бауэра, она всегда стремилась поглотить или подчинить остальные силы духа — искусство и философию, семью и государство. Но просвещение, революция и философия убедительно показали, что всеобъемлющим воплощением нравственного самосознания является государство, а вовсе не религия. Если же государство действительно представляет «объективное существование нравственности», то церковь не смеет притязать на опеку над ним. С другой стороны, переживая бесконечный диалектический процесс становления, государство никогда не бывает тождественно с исторически сложившимся правительством. По той же причине его неотъемлемую часть составляет оппозиция как представительница правомерных стремлений, еще не нашедших выражения в установленных законами учреждениях.<sup>18</sup>

События, наступившие с восшествием на трон нового короля, довольно быстро излечили абстрактно мысливших младогегельянцев от политического прекраюдоушия. Смена министерства, культ реставрации, возрождение реакционной романтики, искоренение «младогегельянских плевел», вызов Шеллинга и Шталя в Берлинский университет, высочайший нагоняй студентам за почтительную просьбу к королю о приглашении Давида Штрауса в Галле, изгнание «Галлеских ежегодников» — все это говорило о том, что Пруссия сознательно желает быть христианским государством, а вовсе не государством разума и интеллигенции. Руге и его единомышленники вскоре убедились, что и протестантизм, в историческую миссию которого они раньше верили, не согласим с идеалом подлинно свободного государства. Разрыв же с протестантизмом облегчил переход к более радикальным воззрениям и критическому отношению к конституционно-монархическому принципу.

Настал час водрузить знамя атеизма, а вместе с тем и республиканские идеалы. Уже летом 1841 г. у Маркса и Бруно Бауэра возникла мысль о новом журнале, который открыто проповедовал бы атеизм и назывался бы прямо «Журнал атеизма». Руге, довольно тонкий наблюдатель, обладавший верным чутьем, скоро заметил перемену в настроениях гегельянцев. Уже осенью он отмечал, что Бруно Бауэр (а также Маркс и Христиансен) и Фейербах «провозгласят или уже провозгласили *montagne*» (гору), а атеизм и смертность превратят в знамя. Бог, религия и бессмертие отвергаются; провозглашаются философия, республика, люди. Теперь последует завершение, которое «партия горы» давно выжидала: появится «Журнал атеизма» и начнется убийственное зрелище, если только полиция допустит приступить к делу, чему ведь *enfin* (в конце концов) нельзя помешать.<sup>19</sup>

Окончательная отставка в марте 1842 г. немало помогла Бауэру протереть свои идеологические очки. Он сразу почувствовал, что «доброе дело свободы» является его собственным делом,

и вернулся в столицу, окруженный ореолом мученичества.<sup>20</sup> Здесь прозревший богослов, сначала угнетенный «духовной нищетою Берлина», вскоре сблизился со «Свободными» и начал более решительную борьбу с христиански-романтическим направлением. Впрочем, не вполне излечившись от прежнего оптимизма, он и в столице продолжал возлагать кое-какие надежды на «существующее государство».

Но при всей своей политической неустойчивости Бауэр оставался верен по крайней мере одному убеждению — воинствующему атеизму. Свое антирелигиозное настроение он выразил в «ультиматуме», который еще в ноябре 1841 г. анонимно появился под заглавием: «Трубный глас страшного суда над Гегелем, атеистом и антихристом». Цель этого дерзкого памфлета — доказать, что не правые, а левые гегельянцы унаследовали истинный дух учителя. В частности, автор счел убедительно показывать ловко подобранными выдержками, будто Гегель был действительно завзятым атеистом и архиякобинцем. Аноним оплакивал это горестное открытие в тоне библейских пророков. Искусно одев личину пиетиста, оскорбленного в своих правоверных чувствах, автор предостерегал благомыслящих людей, что младогегельянцы дойдут до «низвержения всего существующего».<sup>21</sup>

Уже в «Предисловии» автор велеречиво заявляет о своем замысле открыто обвинить Гегеля, охранить всех благомыслящих от злодея и раскрыть его козни. «Как подобает верующему», он обращается к христианским правительствам, проповедуя «перед царями, князьями и владыками», какой опасностью гегельянство грозит всем устоям и прежде всего религии, «этой единственной опоре государства». Гегельянцы отрицают и колеблют всякий авторитет. Решив нанести смертельный удар религии и церкви, они захотят ниспровергнуть и трон. Молодое отродье гегелевской школы уже ополчилось против церкви и государства. Правительство мудро решило смести с лица земли это антихристианское движение: нужно поддерживать государство, благоденствие граждан и семейную жизнь, а потому нельзя допускать «бесстыдную банду, предавшуюся атеизму», к занятию общественных должностей и кафедр.<sup>22</sup>

В святой ревности Европа задушила мерзости Французской революции и заключила священный союз, дабы заковав антихриста в цепи, заново воздвигнуть вечные алтари истинному богу. Но явился Гегель, этот «отец адского отродья». Он снова придал силу закона декретам конвента, обосновал и ввел их под вкрадчивым, соблазнительным именем философии. Преисполненный ненависти к божественному, священному, он под щитом философии стал нападать на все недостижимое и возвышенное. Его страшная шайка разрывая все старые связи и стремится ввести в святая святых блудливый разум, мерзость запустения. Отбросив всякий стыд, она открыто нападает на церковь и государ-



ство, опрокидывает знак креста, жаждет поколебать и трон. Ядро гегелевской философии ужасно, вызывает трепет и убивает всякое благочестие. Ведь она отрицает и единого бога, и тех богов, коих признавали даже язычники. Для нее существуют лишь люди с их суетным самосознанием.<sup>23</sup>

Во всяком случае ее невозможно согласовать с христианской верой в личного бога и спасителя. Пусть гегельянцы прекратят болтовню об абсолютном духе. Для Гегеля мировой дух не действительное существо, а выставляемый напоказ образ, представляющий только самосознание людей. Его-то философ и наделяет божественными атрибутами: возлагает на самосознание корону бога, вручает ему скипетр всемогущего и облачает его в пурпур. К истинному же, к действительному богу Гегель питает лишь ненависть и презрение. Прежние философы еще уделяли богу почетное место и из его святой воли выводили сотворение мира. У Гегеля же эта мысль вызывает недоумение, такое чувство, будто он блуждает в пустыне, где его дразнят демоны. По утверждению нечестивца, «бог имеет ту привилегию, что на него взваливают то, чего не могут понять», или «бог подобен желобу, куда стекаются все противоречия».<sup>24</sup>

Одержимый духом высокомерия и гордыни, Гегель провозглашает философов господами мира, которые «пишут оригиналы приказов мировой истории». Народы должны им повиноваться, а короли — быть переписчиками подлинных актов, составленных философами. Пресловутые философы — последовательные и решительные революционеры, играющие главную роль, когда колеблются установленные порядки, когда распадаются и гибнут положительные формы, государственные установления или религиозные утреждения. Подобная теория сама по себе — «самая опасная, всеобъемлющая и разрушительная практика», а Гегель — большой революционер, чем все его ученики, вместе взятые. Этот бунтовщик восстает не только против государства, но и против всего положительного — устоев церкви и религии. Неудивительно, что он считает Французскую революцию, породившую атеизм, величайшим событием истории, освобождением человечества и философским подвигом.<sup>25</sup>

Понятно также, почему он славословит французов и хулит немцев. В его глазах первые — настоящие люди, народ духа и подлинные философы, открывшие царство духа; вторые же — просто вяучные животные, ночные колпаки, критиканы и трусы, спрашивающие у чиновников, можно ли вкусить плода от древа познания; французы — герои свободы, а немцы — рабы, трепещущие при мысли, что им надлежит стать свободными. Словом, Гегель подобно какому-нибудь якобинцу с ликованием подбрасывает на воздух красную шапку и призывает своих учеников к революции. В частности, он защищает Робеспьера, утверждая, что этот изверг «относился серьезно к добродетели»; он же восхваляет злейшего врага немецкой нации Наполеона за покорение

ние Европы и повсеместное распространение либеральных учреждений. Конечно, его последователи тоже перестают питать патриотические чувства, восхищаются Французской революцией и собираются подражать ей. Нет ли уже среди них Дантона, Робеспьера или Марата? По тайному замыслу учителя, фанатизм мысли и отвлеченной идеологии должен у его учеников претвориться в фанатизм дела.<sup>26</sup>

Кто опустошает кубок вавилонских блудодеяний, тот не щадит «жемчужину небес» — религию. Гегель тоже жаждет уничтожить ее, утверждая, что «врата разума сильнее врат адовых» и что «философия понимает религию, а религия не понимает философии». Поклоняясь богу, кощунствует он, люди поклоняются только сущности своего духа. Они сами то божество, которое видят вне себя. Поэтому веру в живого бога нужно выплеснуть из себя, как воду из стакана, и откровенно исповедовать атеизм, это «освобождение человечества, до сих пор томившегося в плену». Тогда человек достигнет самосознания, которое всемогуще, ибо производит и истребляет все. Оно бог, владыка, всепоглощающее пламя, испепеляющее небо, землю и ад. Человек и бог — одно и то же. Превращая бога в самосознание, злодей Гегель бснуетя, порочит откровение и борется против ветхого завета, как боролись с ним все гностики и язычники — Кельс, Порфирий, Маркиан или Вольтер.<sup>27</sup>

Отвергая религию, атеист-философ поносит и церковь: монахи, квакеры, благочестивые люди и тому подобные «жалкие создания», злобствует он, не могут составить народа, ибо «паразитарные наросты существуют не сами по себе, а только на органическом теле». Универсальное общежитие любви, «мир благочестивых и святых людей, мир братства, овечек и духовных пастухов» — беспочвенная мечта, а, стало быть, церковь — ничто. Лишь государство — разумная действительность, основой которой являются закон, право и свобода. Государство — дух свободный, разумный и нравственный. Уверенное в себе, оно может терпеть церковь как безвредное паразитическое растение. Но если церковь наперекор ему пытается утвердить свои уверения, претензии и субъективные убеждения или напасть на науку и мышление, тогда государство должно противопоставить ей силу права и свободу самосознания. Тогда религию нужно поставить под подозрение, а церковь унижить, подавить и уничтожить. Само же государство обязано перестать быть христианским, чтобы развязать руки мышлению, философии и науке.<sup>28</sup>

С таким же презрением Гегель относится к священной истории и писанию, нередко называя их сумасшедшими, глупыми и причудливыми. Философ отвергает чудеса на том основании, что они нарушают законы природы, а потому неразумны, фальшивы и небожественны. Он глумится над христианством, утверждая, что оно возникло, когда люди стали презирать природу, разучились слышать и видеть и вообще утратили чувство дей-

ствительности. Поэтому христианство — это смесь причудливых басен, «гермафродит восточных и западных представлений», «амальгама естественного и неестественного, всякая всячина из мистерий», «создание жалкого воображения, мечтание свихнувшихся голов», а евангелия — просто собрание мифов и легенд. Христианству чужды живые нравственные и эстетические интересы, придающие прелесть другим религиям; оно растворяет в религиозном самосознании все: и прелесть, присущую созерцанию природы, и красоту искусства, и напряжение народного духа, и нравственные стремления государства и семьи.<sup>29</sup>

Короче, Гегель — опустошитель, разрушитель и осквернитель всего святого. Революционное неистовство этого человека порою принимает какой-то детский, смехотворный вид. Его ненависть против устоев таровата на выдумки, обладает глазами Аргуса и бесчисленными щупальцами, везде открывая контрреволюцию, всюду выхватывая свои жертвы для заклания в честь революции. Его система есть система якобинской подозрительности. Он очень изворотлив. Уловки этого архиякобинца неисчерпаемы, когда надо завлечь предмет подозрения в сети, напасть на него и, наконец, умертвить. Одержимый революционным неистовством, он ненавидит все прошлое вообще. Правда, он занимался историей и даже обладал необычайным богатством сведений в этой области. Но его задача — разрушить прошлое, превратить исторические факты в идеи, а саму историю подчинить произволу настоящего. Гегель — не только атеист, не только антихрист, но и архиреволюционер, с головы до пят пропитанный революционными вожделениями.

Так Бауэр, поддельваясь под тон пиетистов, совершенно произвольно перетолковывал гегелевскую философию, заигрывал с якобинством и под флагом благочестия провозил контрабандой атеизм. Имитация была проделана так искусно, что даже матерый литературный волк Руге попался в капкан, полагая, что она принадлежит перу пиетиста.

Несколько позже Руге признает «Ультиматум» «важным и замечательным документом, неизбежным разрывом со всей старой традицией в гегельянстве».

Эдуард Мейен, несомненно, знавший, кто был автором «Ультиматума», уделил ему в «Атене» особую статью. Подобно Руге, он приписывает большое значение памфлету. Из него мир сможет многому научиться, замечает Мейен. Он может увидеть, с какой энергией философия самосознания ушла вперед благодаря Гегелю и каково ее отношение к устаревшим формам государства и церкви. Кто берется за них подобно трубачу, тот прав, если хочет вырвать философию с корнем... Народ снова поставлен судьей. Но как он судит? Он становится на сторону философии и этим начинает новую эпоху всемирной истории.

Автор заметки в «Немецких ежегодниках» тоже хорошо уловил основную мысль памфлета: «Самые крайние гегельянцы, эти

враги божественного и общественного порядка, именно они — настоящие наследники (Гегеля), а те, старшие гегельянцы, — бастарды гегелевского учения».<sup>30</sup>

По приезде в Берлин Энгельс ознакомился с «Ультиматумом» и позднее кое-чем попользовался из него для своего произведения, на котором мы остановимся ниже.

Бруно Бауэр погрузился преимущественно в вопросы общетеоретического мировоззрения. Зато его младший брат Эдгар, ровесник и некоторое время закадычный друг Энгельса, посвятил себя исключительно политической публицистике. Сначала он мирно корпел над изучением богословия, но в 1842 г. с головой окунулся в водоворот политической борьбы. Свою литературную карьеру Эдгар начал в «Немецких ежегодниках», потом вместе со старшим братом рьяно сотрудничал в «Рейнской газете» и, наконец, выпустил ряд резких брошюр на злобу дня. Находясь под влиянием Бруно, он не отличался стойкостью убеждений и был то либералом, то радикалом и республиканцем, то анархистом, то консерватором и под конец даже вельфом. Живой ум, подвижной и непостоянный характер часто толкали его из одной крайности в другую.

Когда Энгельс появился в Берлине, Эдгар уже напояливал яacobинский колпак, считая лозунгом дня борьбу между ветхой традицией и юной истиной. Этот литературный сорвиголова знал только две партии: партию свободы, народа, человечества и партию порабощения, веры в авторитет, опеки милостью божией. Только первая воплощает определенный и притом крайний принцип. Что касается конституционализма, он вообще не представляет принципа: именно его «двуполость» повинна в том, что вопрос о свободе все еще не разрешен. Отвергая нерешительную «половинчатость», Эдгар вечно носился с Руссо, «Общественным договором» и Французской революцией. По его убеждению, революция воплотила понятие государства, на место отдельного человека поставив единое и неделимое государство. Вот это-то приобретение он и хотел довести до идеального совершенства. Кто теперь, полагал Эдгар, чуждается общественных вопросов, тот совершает преступление против нравственности, ибо из эгоизма замыкается в сфере частных интересов.

Братья Бауэры с Эдуардом Мейеном составляли стеновой хребет «Свободных». К ним тесно примыкал Каспар Шмидт, впоследствии выпустивший знаменитую книгу «Единственный и его достоинство» и вписанный в анналы истории под именем Макса Штирнера. Проф. Ноэль очень картинно изображает его жизнь: от колыбели до могилы Штирнер проходит с опущенным забралом и нарушает молчание только в своей книге; как преступник, он подкрадывается к нам в темноте и исчезает, бросив бомбу во мраке ночи.<sup>31</sup> К сожалению, красивый образ не вполне соответствует оригиналу. В действительности Макс Штирнер года за три до появления «Единственного» ревностно сотрудничал в:

«Лейпцигской всеобщей газете», «Рейнской газете» и других оппозиционных органах. В самом начале 1842 г. он опубликовал язвительный памфлет, конфискованный, впрочем, уже 3 февраля. Произошло это при следующих обстоятельствах.

Как мы знаем, в домартовской Пруссии государство и церковь, трон и алтарь были сплетены узами трогательной дружбы. Правоверные попы считали своим вернейшим оплотом церковную практику, охраняемую государством; последнее в свою очередь поддерживало слабеющую власть, опираясь на авторитет религии и церкви. Немудрено, что в таинственных недрах реакционного министерства Эйхгорна вскоре созрел глубокомысленный проект религиозного эдикта: предполагалось усилить церковную дисциплину, предписать чиновникам регулярное посещение богослужений и ввести обязательное празднование воскресных дней. Как раз в ноябре 1841 г., когда Энгельс приобщился к интересам Берлина, часть столичного духовенства с благословения некоторых сановников основала «Союз содействия достойному празднованию воскресенья».

Либеральные и радикальные круги усмотрели в этой затее первую попытку подчинить общественную жизнь церковной опеке. И действительно, за нею вскоре последовала другая. Под новый год 57 попов с ведома и одобрения короля распространили по всем церквям столицы послание к пастве «Христианское празднование воскресенья. Слово любви к нашим прихожанам». Однако призыв вызвал холодные насмешки и послужил оселком для обьчного столичного остроумия: берлинцы тотчас же стали сочинять пародии — «просительные письма» профессоров и артистов, недовольных малым посещением аудиторий и театров. Появился ряд более или менее язвительных памфлетов, среди которых обращает на себя внимание «Возрождение одного берлинского прихожанина». Автором этого анонимного произведения был Макс Штирнер, воспользовавшийся случаем, чтобы атаковать церковь.

Подобно Бруно Бауэру, он одевает маску благочестия, но по существу пускает отравленные стрелы в самое сердце религии. С хорошо рассчитанным негодованием «берлинский прихожанин» упрекает церковь в том, что она проповедует слепое послушание и насильственное отречение от земных радостей ради блаженства в загробной жизни. Но за христианином проповедники не желают замечать человека и его достоинство. И вот Штирнер обращается к читателям с вопросом: разве вы не люди прежде, чем христиане, и не остаетесь ли людьми, даже став христианами? Почему же вы хотите знать только то, в чем состоит назначение и призвание христианина, но не осведомитесь о том, что достоинство человека? «Вы просто думаете, что раз вы христиане, то и настоящие люди!» Что касается нас, продолжает Штирнер, так мы ничего не желаем знать о чем-либо христианском, если оно не является чисто человеческим.

В чем же заключается «человеческое»? — Это не то, что признано другими и чему я должен верить, а то, что я постигаю всею душою и называю своим достоянием (eigen). Истинный человек всегда считает себя богоподобным; ведь бог — это моя лучшая часть, моя внутренняя сущность, моя сокровенная и истинная самость (Selbst), а вовсе не какая-то обособленная личность или господин, находящийся надо мной. Поэтому для религии нет места рядом с другими убеждениями. Ваши прославленные учителя, снова обращается Штирнер к читателям, возвещают, что вы плохие христиане. Да, вы должны в этом сознаться и свободно исповедовать: Мы — уже неверующие! Мы больше не верим в ветхого господина бога и, если бы знали, как мог без него возникнуть и существовать мир, более не нуждались бы во всем этом необоснованном предположении. Словом, времена внешнего и мертвенного благочестия безвозвратно миновали. Ныне нужна нравственная и мужественная свобода, чтобы воспиталось поколение свободных людей.<sup>32</sup>

Таким образом, под покровом мнимой религиозности Штирнер проповедовал явный атеизм. Предпринятый им антирелигиозный поход оказался в высшей степени своевременным. Дело в том, что покровительство пиетизму сверху нашло некоторый отклик и снизу. Вскоре по внушению профессоров-пиетистов студенты богословского факультета в Берлине возымели намерение основать «Союз исторического Христа», ставивший целью борьбу с «пагубными новшествами неверия среди учащихся». Университетский сенат отклонил попытку, но получил нахлобучку от Эйхгорна: министр полагал, что «Союз исторического Христа» мог бы очень хорошо защищать среди учащейся молодежи христианство от нападков новой философии. В то же время недовольный министр выразил удивление, как сенат мог совершить такой шаг, если «высшие сферы» уже изъявили согласие на учреждение подобных союзов в других университетах. Наконец, он отмечал, что «именно теперь настало время, когда истинную веру надлежит охранять самыми энергичными средствами». На соображения, представленные по этому поводу сенатом, последовал строгий ответ: не чинить препятствий «Союзу исторического Христа», но пресекать попытки к учреждению иных союзов, как нехристианских и предосудительных.

Произвол министра вызвал, разумеется, горькие жалобы печати. Немудрено, что к приему, испытанному Бруно Бауэром и Максом Штирнером, прибег еще один из «Свободных» — Людвиг Буль: вскоре он тоже анонимно выпустил брошюру «Нужда церкви и христианское празднование воскресенья». По образцу «Трубного гласа» он тоже облекается в одеяние пиетиста, а затем разделяет под орех и религию и ее служителей. Но Буль прибегает к еще более сложному маскараду. Мнимо негодуя против «Возражения», он утверждает, будто за нападками Штирнера на религию скрывается «стремление к политическому перево-

роту», а за словами «рабы и свободные» — политические лозунги «социальный и либеральный». Как только они, поясняет Буль свою мысль, ниспровергнут бога, так, конечно, тотчас же вздумают разделаться и с его представителями на земле.

Оба памфлетиста находятся под несомненным влиянием Фейербаха и проповедуют «религию человечества», как это несколько позднее сделал Энгельс в своей брошюре «Шеллинг и откровение». Вообще к лету 1842 г. весь кружок «Свободных» занял откровенно атеистическую позицию. Атеистический лозунг был выброшен Бруно Бауэром, который объявил задачей критики низвержение не какой-нибудь одной, а вообще всякой религии.

На первый взгляд «Свободные» могут показаться очень смелыми и решительными людьми. На самом же деле они были смелы только в своей критике религии и христианства. В этой области буржуазные младогегельянцы действительно оставили после себя крупный след в истории. Напротив, политика составляла их ахиллесову пяту, а коммунизм прямо оказался таким барьером, которого они не могли взять. Преклонясь перед «критикой», «Свободные» очень кичились своим «самосознанием» и наивно воображали, будто преодолевали в действительности то, что отвергали в теории. «Эмансипированные» дамы, принадлежавшие к их кружку, курили сигары, посещали рестораны, открыто пили пиво, вино и коньяк и т. п., но они вовсе не желали бороться с филистерскими нравами или мещанскими предрассудками, а просто показывали свою свободу, свое превосходство и «зрелость» своего сознания. «Свободные», между прочим, отрицали брак, который, конечно, продолжал существовать в «презренной» действительности.

Только очень немногие среди «Свободных» отличались личным мужеством, и почти никто не вступил на истинно революционный путь. Переходная эпоха наложила неизгладимую печать на всех буржуазных членов кружка, среди которых не было ни закаленных борцов, ни твердых политических характеров. Немудрено, что большинство «Свободных» кончило жизнь более или менее печально. Оба Бауэра очень быстро отреклись от своих якобинских настроений и под конец перекочевали в консервативный лагерь «Крестовой газеты». Задорный и трудолюбивый Мейен стал подъяремым волом капитала, продав свое перо издателю ультрамонтанской «Данцигской газеты», и потом сам уныло подтрунивал над загубленной жизнью. Демагог Рутенберг, перед которым король трепетал еще в 1848 г., умер редактором «Прусского государственного вестника». Работоспособный и добросовестный Людвиг Буль опустился, придумывал сомнительные затеи и едва-едва не был привлечен к суду за вымогательство. Осторожный, рассудительный Штирнер занялся мелкими комиссионными операциями и уже при жизни бесследно исчез с литературной арены. Живой и остроумный Юлиус Фаухер сделался

немецким разносчиком свободной торговли. Не лишенный дарования поэт и журналист Герман Марон тоже стал ярким поборником капитала. Даже основательный Кеппен погрузился в буддийскую нирвану, хотя, по выражению Шопенгауэра, и не мог вполне излечиться от «венерического яда гегельянства». Берлинская трясина засосала и погубила всех «Свободных». Чуть ли не единственное исключение составил Энгельс.

Как он попал в кружок «Свободных», можно объяснить довольно просто. Статьи юного литератора в «Телеграфе» приковали к себе внимание не одного Вупперталя. Завоеванное таким образом литературное имя открыло автору доступ в кружки берлинских журналистов. Его живой, приветливый и открытый нрав еще более облегчал сближение с представителями богемы, вообще не особенно разборчивыми на новые знакомства. Первая встреча могла быть вполне естественна: Энгельс приезжает в Берлин с готовой статьей «Скитания по Ломбардии», обращается в редакцию «Атенея», и та печатает ее в декабрьской книжке. Во втором полугодии 1841 г. мы на обложке этого младогегельянского журнала встречаем имя Освальда среди других его ближайших сотрудников — Мейена, Буля, Кеппена, Науверка и Рутенберга. Наш Фридрих, так страстно жаждавший общения с единомышленниками, очень скоро сходитя на короткую ногу со «Свободными». Уже в ноябре он вместе с Мейеном, Штирнером, Эдуардом Флоттвелем и Эйхлером — всеми будущими сотрудниками «Рейнской газеты» — ведет горячие беседы на литературно-художественные и политические темы.

К этому времени и притом ранее младогегельянцев Энгельс стал уже на почву революционного демократизма. Ему по душе увлечение «Свободных» энциклопедистами и Руссо; его не пугает преклонение перед Вольтером, Дантоном, Робеспьером и вообще заигрывание «Свободных» с первой Французской революцией.<sup>33</sup> Ведь по решительности политических воззрений он ни в чем не уступает новым приятелям. Еще проживая в купеческом Бремене, Энгельс светлым умом сумел вполне самостоятельно выделить и разгадать наиболее плодотворные мысли Берне. По убеждениям он уже был республиканцем, а по настроению — революционером. Может быть, именно поэтому в Берлине его поглощают не столько политические споры, сколько вопросы общего мировоззрения, над разрешением которых он так мучительно бился.

В столице положение Энгельса изменилось. Пусть он связан с пехотно-артиллерийской казармой, подвергается солдатской муштре и не располагает временем. Тем не менее только здесь нашему артиллеристу удается вырваться из того гнетущего душевного одиночества, которое до сих пор было его уделом; только в центре умственной жизни он лицом к лицу сталкивается с людьми, о которых мечтал так часто, так горячо и так тщетно. По своим умственным интересам и настроению «Свободные»



были для него подходящими, хотя и временными, спутниками. Эти ненасытные пожиратели газет и журналов ловили всякий сенсационный слух, отмечали всякое крупное событие, подхватывали всякую парадоксальную мысль, а затем запальчиво обсуждали их в бесконечных спорах. Подчеркнутое презрение «Свободных» к буржуазным условностям, их всегдашняя готовность высмеять столичных мещан, их дерзкое глумление над мнимыми святынями — словом, все давало обильную пищу любознательному и живому уму Энгельса. Ведь ему было всего 21 год!

Как тесно Энгельс примыкал в ту пору к «Свободным», показывает приписываемая ему корреспонденция, 17 июня 1842 г. напечатанная в «Кенигсбергской газете», лейб-органе восточнопрусского либерализма. Сообщая об организации союза «Свободных», корреспондент выражает надежду, что «в ближайшее время он может приобрести большое значение». Подобно гольштинскому союзу филалетов, «Свободные» стремятся распространить в широких кругах основные положения новейшей философии: все так называемые откровения, на которые ссылаются положительные религии, вымышлены; только человеческий ум в состоянии дать нам правильное объяснение абстрактных понятий. Соответственно этому они отвергают Библию как источник истины, не желают ни заменять традиции определенным символом веры, ни устанавливать какие-либо догматы, а напротив, хотят поднять только одно знамя — исключительной автономии духа.

Таким образом, Энгельс откровенно заявляет, что «Свободные» ставят своей задачей антирелигиозную и атеистическую пропаганду. Но они решительнее филалетов. Последние внутренне порвали с церковью, но избегают каких бы то ни было конфликтов с государством. Поэтому, воздерживаясь от посещения церкви и от причащения, они по необходимости подчиняются таким церковным формальностям, как брак или крещение, исполнения которых требует государство. «Свободные» же с самого начала будут выступать решительнее и намерены официально за своими подписями заявить о выходе из церкви. Они считают своим долгом публично отказаться от чуждых традиций и таких обязанностей, которых не могут исполнять с чистой совестью.<sup>34</sup>

Эти благие пожелания не были осуществлены. Но знать о них мог только человек, посвященный в тайны «Свободных». Что Энгельс действительно был в подробностях знаком с интимной жизнью кружка, лучше всего обнаруживает его «Христианская героическая поэма в четырех песнях» — «Библии чудесное избавление от дерзкого покушения, или торжество веры». Это ярко антирелигиозное произведение было написано приблизительно в середине и анонимно появилось к концу 1842 г. в Неймюнстере близ Цюриха.<sup>35</sup> На титульном листе брошюры указан фиктивный издатель — И. Фр. Гесс, бывший только наборщиком «Литературной конторы». Истинный владелец предприятия Фребель

пользовался им как «громоотводом» в тех случаях, когда имелись серьезные основания опасаться сугубых цензурных скорпионов.

Поэма, заглавие которой несколько напоминает стиль русских раешников, излагает «ужасную, но правдивую и поучительную историю о блаженной памяти лиценциате Бруно Бауэре, иже, дьяволом соблазненный, от чистой веры отпавший, князем тьмы ставший, наконец, был уволен в отставку».<sup>36</sup> Эта остроумная сатира, пародирующая гетёвского «Фауста», облечена по примеру бауэровского «Трубного гласа» в покров ортодоксального пие-тизма. Прибегнуть к такому приему было нетрудно: Энгельс нашел готовые образцы его не только в «Трубном гласе» Бауэра, но и в пародиях Макса Штирнера и Людвига Буля. В письмах к школьным товарищам он и раньше на подобный же лад пародировал поповскую распрю между бременскими пиетистами и рационалистами. Таким же пародийным стилем написано начало того письма к Фридриху Греберу, где он иронически умолял своего верующего друга «уничтожить проклятое отродье Штрауса и водрузить знамение креста на Синае спекулятивной теологии». Наконец, он сам уже публично использовал оружие пародии, правда в прозаической форме, против Шеллинга и его учения об откровении. Таким образом, памфлет, облеченный в форму пародии, стал, можно сказать, литературной традицией среди младогегельянцев. Однако, в отличие от брошюры против Шеллинга, «Торжество веры» написано не прозой, а в стиле старинных духовных стихов. Автор довольно удачно справился со стихотворным размером: будучи посредственным лирическим поэтом, он оказался очень недурным и остроумным сатириком.

В самом начале поэмы Энгельс выражает намерение «воспеть славу вере». С мнимым смирением он признает слабость своих сил, умоляя стан верующих о снисхождении, благословении и поддержке. С задорным юмором он просит ненавистника гегельянства Лео поднять могучее рыкание; другого вождя правоверия Хенгстенберга — простереть к нему свою победоносную длань; «великого на кафедре» Зака — укрепить его слабое перо; «убежище истинной веры» Круммахера — преподать ему, как надлежит возвещать слово божие; «благочестивой душе», вуппертальскому поэту Кнаппу автор дает обет смело понести факел его песней в вертепы порока и просит помощи у Клопштока, мужественно встречавшего поколение насмешников крестом. Всем этим «столпам могучим веры» он обещает «искоренить дотла всю мерзость богохульства», ибо чаша терпения переполнилась и стонут души праведников.

Бог, повествует Энгельс, призывает страждущих праведников к терпению. Он стремится внушить мужество своим воителям, чтобы в последней брани они не обратились в бегство пред лицом сатаны. Всевышний уверен, что есть еще — а именно в Берлине — праведники, ищущие бога. Они, конечно, делают это на

своей лад, не желая простодушно верить, а пытаясь понять и сковать бога обручами мышления.

«И Бруно Бауэр сам — в душе мне верный раб —  
Все размышляет: плоть послушна, дух же слаб.  
Но уж недолго ждать. Он сбросит мыслей сети,  
И сатана его не сможет одолети;  
Взыскающий меня, в конце концов, найдет:  
Он дух свой вызволит из гибельных тенет  
Гордыни мышленья, что душу раздвояет,  
И в ликовании душа его взыграёт.  
Для философии вот будет-то подвох,  
Когда уверует он в то, что бог есть бог».<sup>37</sup>

Именно Бруно Бауэра господь считает самым подходящим воином, чтобы повести верующих в решительный бой за трон и алтарь. Но вот на небеса проникает дьявол. Пользуясь общим смятением, он приближается к престолу всевышнего и укоряет его в трусости: бог, мол, опасается, как бы в борьбе за господство над миром дьявол не разбил воинство ангелов и не овладел его небесными чертогами. В ответ на высокомерный вызов всевышний грозит вскоре показать, что он — царь царствующих и господь господствующих; он избрал уже верного раба своего Бруно проповедовать царство божие нечестивому поколению. Но дьяволу известно, что избранный сосуд веры служит богу на особый лад; лукавый достоверно знает, что «самые спекулятивные зерна всех догматов не успокаивают его глубоко взволнованную грудь» и что, сверх того, в голову Бруно «Гегель засел». Поэтому сатана предостерегает господя, что соблазнит Бауэра. Бог, однако, непоколебимо уверен в своем рабе. Князь тьмы, злорадно посмеиваясь, покидает небесные чертоги и направляется в преисподнюю.

Между тем в аду взбунтовались легионы грешников во главе с «двукратным поджигателем» Гегелем, Вольтером, Дантоном и Наполеоном. Эти исчадия Французской революции упрекают дьявола в бездеятельности. В частности, Вольтер с горечью восклицает, затем ли он всюду сеял и растил сомнение, чтобы ныне спекулятивная ночь обеславила философию, чтобы даже французы, веря попам, возненавидели его самого. Дантон тоже укоризненно спрашивает, зачем же он гильотинировал и вместо богослужения вводил культ разума, если снова царит глупость, а аристократические болваны делят власть с сумасбродными попами. Наконец, Гегель, которому до тех пор гнев смыкал уста, внезапно обретает дар слова и подымается во весь свой гигантский рост:

«Я жизнь свою науке посвятил,  
Учил безбожью, не жалея сил,  
Возвел самосознанье на престол я,  
На божество успешно штурм повел я.  
Но мне стать жертвою невежд пришлось,  
Меня истолковали вкривь и вкось;  
И, наложив на умозренье цепи,

Рождали чушь, одну другой нелепей.

Но вот явился *Штраус*. Когда ж смельчак,

Меня постичь сумел он кое-как,

Ему тотчас влиятельные лица

Из Цюриха велели удалиться.

Какой позор! Революционный нож

Я мудро изобрел — и что ж?

Нигде, нигде пристанища нет ныне

Поборнице свободы, гильотине!

Итак, я жил и мыслил столько лет

Напрасно, сатана? Держи ответ!

Когда ж придет за нас могучий мститель,

Отродья набожного истребитель?»<sup>38</sup>

С нежной усмешкой дьявол успокаивает своего «вернейшего раба» известием, что он давно уже нашел нужного человека — Бруно Бауэра. Но «дикий» Гегель закипает от гнева, смешанного с изумлением: как же может помочь человек, продавший науку верховному суду веры? Тем не менее лукавому удается рассеять сомнения. Тогда убежденные грешники с ликованием провожают своего господина к Бруно Бауэру.

Тот, подобно гетевскому Фаусту, размышляет в мрачной келье, окруженный книгами; перед ним — Пятикнижие, за спиной — дьявол; впереди его чарует вера, сзади гложет сомнение. Появляется дьявол и начинает совращать мыслителя. Помня, что Бауэр первый указал на государственного философа как на атеиста и антихриста, сатана убеждает его не покидать стези, предначертанной самим Гегелем.

Бауэр сначала противится соблазну и возражает, что спекуляция давно раскусила даже самого дьявола и изучила его плутни. Но сатана коварно защищает права духа: там, где дух не роется во прахе, подобно червю, он царствует победоносно, и пред его верховными правами склоняется вера, «рабыня пред-рассудка». Бауэр, этот рыцарь «свободного духа», начинает постепенно уступать. Наконец, он совсем сдается, когда дьявол объясняет, что в верующем Берлине нельзя упрочить свободомыслие и уготовить гибель вере. Лукавый убеждает мыслителя отправиться в Бонн: там он смоем грязь суеверия и начнет новую, прекрасную жизнь. Дьявол заканчивает свои соблазны словами:

«Там на развалинах духовной нишеты  
Свободомыслию алтарь воздвигнешь ты».<sup>39</sup>

И вот в Бонне, на самом благочестивом факультете, Бауэр начинает поучать с той кафедры, которую ранее занимали только праведники. Кипя от злобы, он стоит с чертом за спиной, нашептывающим, как нужно справляться с теологами. Бауэр убеждает слушателей не поддаваться козням, ханжеству и коварству богословов.

Проповедь Бауэра вызывает страшную бурю, порождая ожесточенную распрю между верующими и безбожниками, между

профессорами и студентами. Праведники требуют виселицы для богохульника. Атеисты же провозглашают здравицу Бауэру как оплоту свободной науки и свободного мышления. Начинается свалка. Нечестивцы одолевают, и праведники в ужасе бегут. Тогда на помощь им спешат педель, ректор, университетский сенат и попы: они хотят узнать причины драки, чтобы потом всесторонне расследовать дело; но общий поток увлекает их. Безбожники и на этот раз одерживают верх.

Но глаз божий бдит. В минуту грозной опасности всевышний решает вырвать у дьявола плоды победы и посылает самого благочестивого члена боннского богословского факультета — Зака «с гладко расчесанным пробором». Этот верный слуга господина и ожесточенный противник Бауэра сначала намеревается уклониться от борьбы. Но затем внемлет гласу бога. Прибыв к месту битвы, посланец небес укоряет Бауэра в том, что тот постыдно обманул ожидания божии. Зак громогласно возвещает, что господь повелел ему объединить верующих.

В таких сатирических тонах Энгельс изображает и стан верующих, и историю духовного развития, проделанную Бауэром. Сгущая краски, он приписывает первым мракобесие, средневековую поповщину и безнадежную отсталость. Но дух века сеет сомнения, отрицание и неверие. Его разлагающему влиянию подвергся даже избранный сосуд божий — Бруно Бауэр. Тщетно он «глубоко и не без успеха» изучил феноменологию, эстетику, логику, метафизику и, «к сожалению», богословие; тщетно вслед за Гегелем примирил «веру с понятием абсолютным»; напрасно, наконец, он понял все догматы о сотворении, грехопадении, искуплении и чудесном зачатии пречистой девы: вся эта «чепуха», весь этот «хлам» не могут объяснить, написано ли Пятикнижие действительно Моисеем или нет. Тем не менее Бауэр хочет верить и верит, пока не попадает в Бонн. Здесь лукавый его попутал и совратил в неверие. Его богохульная критика евангелий воочию показала, что он злостный атеист. Но столь же завзятым атеистом был и Гегель. Так представлял себе Энгельс умственные течения своего времени.

Пока описанные события происходят на небесах, в преисподней и боннском богословском факультете в Лейпциге тайно заседают три мужа, давно уготованные адскому племени: редактор незадолго до того запрещенных «Галлеских ежегодников» Арнольд Руге, издатель журнала Отто Виганд и поэт его Роберт Пруц. Все трое глубоко подавлены запрещением «Галлеских ежегодников». Руге указывает, что журнал едва-едва утолял кровожадность цезора, и выражает намерение впредь редактировать только «Альманах муз». «Не желая подышать с голоду», Пруц готов ворковать лишь любовные песенки. Наконец, Виганд решает издавать исключительно «кроткую беллетристику», которую цензор не вычеркивает, как «гегелевскую софистику». Он предлагает своим соратникам переменить направление, стать

лойяльными и выкинуть лозунг: «Да здравствует правительство!»

Но дьявол разрушает все эти намерения. Он лоявляется, изрыгая пламя, упрекает всех трсих в трусости. В виде наказания он грозит отправить их на небеса к гослоду богу. Виганд просит наставить их на лучший путь. Тогда сатана советует просто переименовать «Ежегодники».

Дьявол исчезает, а вместо него верхом на ослице показывается Зак. Он призывает нечестивцев покаяться и смиренно припасть к ступеням престола божия. Но благочестивая проповедь не имеет успеха. Вопреки ей, Руге выпускает манифест, обращенный ко всем «Свободным». Неисправимый грешник призывает их сплотиться для борьбы с романтикой, реакцией, цензурой и полицией, которые пытаются всюду вытравить словечко «свобода». Манифест приглашает всех «Свободных», подобно дипломатам, собраться на конгресс в Бокенгейм и там обсудить меры борьбы.

«Свободные» радостно встречают манифест и со всех сторон Германии направляются в Бокенгейм; Берлин, разумеется, посылает самых дерзких атеистов. Их возглавляет «царь атеистов» — Арнольд Руге. Потрясая палкой с привязанными «Галлескими ежегодниками», он приводит всех к месту назначения. Здесь их встречает иступленный Бруно Бауэр, размахивающий знаменем, которое составляют разрозненные листы его «позорной критики» библии. Но

«Кто мчится вслед за ним, как ураган степной?  
То *Трира* черный сын с *неистовой* душой.  
Он не идет, — бежит, нет, катится лавиной,  
Отвагой дерзостной сверкает взор орлиный,  
А руки он простер взволнованно вперед,  
Как бы желая вниз обрушить неба свод.  
Сжимая кулаки, силач неутомимый  
Все время мечется, как бесом одержимый!»<sup>40</sup>

Это Маркс, которого Энгельс лично еще не знал. От «Свободных» он многое слышал о своем будущем друге, удивляясь его глубокому уму, разносторонним познаниям и необузданному революционному темпераменту. За Марксом «патрицианской походкой» выступает полуаристократ, полусанкюлот из Кельна — Георг Юнг; он «слишком лукав для небесного царства, а для пасти ада слишком приличен». Еще дальше с вечной трубкой во рту тащится шурин братьев Бауэров — Рутенберг; свою трубку в локоть длиной он вынимает изо рта лишь для того, чтобы поворчать. Шествие замыкает Фейербах, которого Энгельс рисует следующими чертами:

«Но кто сей грозный муж, сей жуткий паладин,  
Что с юга на призыв пришел совсем один?  
Он сам — что целый стан безбожных и бесстыдных,  
Что целый кладезь дум и замыслов ехидных,  
И вечно с подлою хулою на устах;  
То *Людвиг* — господи, помилуй! — *Фейербах*».<sup>41</sup>

Ранее прибывшие «Свободные» встречают Фейербаха громким ревом, криками: «Ура!» Начинается шабаш... Тщетно «добрый» Кеппен, «поклонник порядка», призывает успокоиться. Руге, безмятежно доедая третий бифштекс и еще проглатывая последний кусок, тоже урезонивает шумную толпу. Но Освальд и Эдгар Бауэр перебивают его и требуют от слов перейти к делу. Этот призыв встречается шумным «браво!» и возгласами: «дела, дела, дела!» Насмешливо улыбаясь, Руге возражает, что самые слова еще долго будут делами, что практика стихийно заменит абстракцию. Это заявление Руге не удовлетворяет Бруно и Маркса. Оба спрашивают Руге, долго ли он намерен утолять их жажду одними словами. Маркс и Бауэр утверждают:

«Кроме того, что нас мучает Троица,  
Союз полиции и веры не дает успокоиться!»<sup>42</sup>

Выступление Маркса и Бауэра встречает сочувствие. Разгорается спор о союзах и совещаниях. Фейербах отзывается о них пренебрежительно. Поклонник Фридриха II Кеппен защищает их значение: союз, по его мнению, — оплот порядка; лишь при нем «поток прогресса спокойно будет течь» и — что лучше всего — «ни капли крови не прольется». Такая оценка союза полиции и веры вызывает негодование Освальда и Эдгара Бауэра:

«Тут Освальд с Эдгаром: „Какой ты атеист? —  
Вскривали вне себя: — Ты жалкий жирондист!“»<sup>43</sup>

Тогда Штирнер вступает за обиженного и начинает с важностью поучать молодых: они, дескать, стесняют чужую волю и пытаются навязать какой-то закон; «долой заповедь, долой законы!» — заканчивает он свое краткое нравоучение. Все это порождает ужасающий беспорядок.

Как раз в этот момент внезапно разверзается крыша и через отверстие в зал спускается Виганд. Он приглашает «Свободных» положить конец недостойному поведению, взяв пример с недалекого Франкфурта, где в полном единении и покое заседает союзный сейм. Полагая, что здешний ветер вреден для «Свободных», Виганд приглашает их в Лейпциг. Все принимают приглашение, и только Фейербах одиноко идет своим путем.

Между тем избранники божии собрались в Галле у историка Лео. Праведники поют в келье Лео молитву. После молитвы Лео с воодушевлением начинает проповедь против «великой вавилонской блудницы» — богини разума и революции, сравнивая Бауэра с Робеспьером, Руге с Дантоном, а Фейербаха с Маратом. Затем на сцене снова — как всегда неожиданно — появляется Зак и возглашает, что господь повелел ему проповедовать крестовый поход против козней дьявола: «Свободные» отправились уже в Лейпциг, укрепив дом Виганда грудами книг и кипами бумаги. Праведники решают тоже двинуться в Лейпциг. По прибытии на место божии ратники разбиваются на отряды с Лео во главе, который мужественно идет вперед, размахивая

пятью томами своей «Всемирной истории». За ним направляются отряды из разных мест: боннцев ведет профессор систематического и практического богословия Ницш, бременцев — старый знакомец Энгельса пастор Маллет, берлинцев — вождь правоверия Хенгстенберг, цюрихцев — противник Штрауса проф. Хирцель и, наконец, вуппертальцев — «человек божий» Круммахер.

Верхом на ослице Зак первый бросается в атаку с боевым кличем верующих: «Здесь меч господа и Гедонеа!» Но «Свободные» отчаянно защищаются: сам дьявол руководит сопротивлением, давая хорошие боевые советы и рассеивая малодушные сомнения. Вверху на развалине стоит Виганд, поддерживаемый Мейеном; Штирнер низвергает целые тюки книг, оглушающих верующих; Руге швыряет в лица нападающих свои «Ежегодники»; безумный Бруно стоит в передних рядах на высокой стене и дико размахивает трубой; Людвиг Буль бросает брошюры с тыла, стоя в безопасном месте, где ему ничего не грозит; Кеппен, хотя и бешено сражается, все же очень озабочен, как бы не пролить крови; напротив, Эдгар дерется, как мясник, а у Освальда шортук переченого цвета весь красен от крови; наконец, Маркс расправляет члены для борьбы.

Однако воинство праведников наступает все мужественнее, и «аллилуйя!» звучит все громче, они одолевают безбожников.

Дьявол, до той поры подстрекавший безбожников, убегает в преисподнюю и сообщает грешникам печальные вести. Стеная от безысходного горя, Гегель осыпает дьявола градом упреков. Но этим дело не ограничивается. В своем богоненавистничестве он, опираясь на Дантона, Вольтера, Робеспьера и Марата, производит революцию в аду. Философ объявляет, что дьявол всегда был и остался «мифической личностью», а потому — такой же враг, как и сын божий. «Мы сами должны стать дьяволами!» — восклицает он и воодушевляет грешников к борьбе.

Все устремляются за ним и прибывают в Лейпциг. Картина сразу меняется. Атеисты, получив поддержку, стремительно бросаются на праведников и обращают их в бегство. Но бог не покидает своих избранников и совершает чудо: Зак, подобно пророку Илье, возносится на небо, а за ним с песнопениями следует и все благочестивое воинство. Безбожники пускаются преследовать их.

Между тем дьявол, испугавшись возмущения, долго оставался в немом оцепенении, уставившись на порог, через который исчез Гегель со своей компанией. Наконец, он приходит в себя.

Дьявол устремляется на небеса и, припадая к стопам божим, умоляет о прощении. Господь в своей благодати обещает даровать ему прощение, если он очистится от мерзких грехов своих в крови богохульников. Обрадованный дьявол возвращается на место брани — теперь уже для помощи праведникам против «Свободных», грозящих штурмовать небеса. Они уже предвкушают сладость победы.



Безбожники уже на самом пороге в чертоги господни. Вере прозрит крайняя опасность. . .

Но вот, тихо скользя по воздуху, к ногам Бруно падает листок пергамента, окруженный небесным сиянием. Бауэр поднимает его и читает. . . Вдруг его члены начинают дрожать, лоб покрывается холодным потом, а губы глухо бормочут: «получил отставку!» Услышав неожиданную весть, «Свободные» останавливаются, пораженные оцепенением. В ужасе «Свободные» обращаются в повальное бегство. Ангелы с торжеством преследуют их до самой земли. Пусть впрямь любое зло постигает та же кара! — этими словами кончается «Христианская героическая поэма».

Таково ее содержание, крайне поучительное во многих отношениях. Прежде всего поэма представляет чисто биографический интерес, воочию убеждая, что автор был тесно связан со «Свободными». Безоговорочно причисляя себя к кружку, Энгельс видит в самом крайнем крыле левых гегельянцев своих единомышленников, а в Бруно Бауэре — их бесспорного вождя. По мнению Энгельса, «Свободные», идущие по стопам будто бы «атеиста и антихриста» Гегеля, — вот, кто унаследовал великие заветы Французской революции. Только они продолжают политические традиции ее крайней партии — якобинцев. Поэтому среди политических направлений Германии только они же вправе связывать свои имена с Вольтером, Дантоном, Робеспьером и Маратом. Словом, Энгельс убежден, что «Свободные» — единственная революционная группа, решительно выступившая на борьбу за свободу. В этом отношении примечательно одно обстоятельство. Среди «Свободных» он уделяет внимание даже Георгу Юнгу, никогда не принадлежавшему к «Свободным». В то же самое время он ни словом не упоминает о видном младогегельянце — Моисее Гессе, который одним из первых познакомил немецкое общество с идеями социализма и коммунизма.<sup>44</sup> Это показывает, что в то время Энгельс был только революционным демократом и что коммунистические стремления еще не овладели полем его зрения.

Кто же составляет немецкую партию горы? Отнюдь не все «Свободные»: хотя они и образуют одно содружество, тем не менее даже в их недрах уже начинается то «размежевание умов», которое Энгельс предвидел в одном из прежних своих произведений и так хорошо показал в «Христианской героической поэме». В частности, очень далеко от кружка стоял Арнольд Руге, посетивший лишь одно его собрание, да и то после того, как «Христианская поэма» была написана. Как мы знаем, он и его орган пользовались раньше большой благосклонностью Энгельса; ведь Руге «согласовал политическую сторону гегелевской системы с требованием времени», а «Галлеские ежегодники», самый распространенный орган Северной Германии, ежедневно говорил королю «величайшие прубости». Это немаловажная заслуга в глазах Энгельса.

Руге в сущности умело вел дела своей журнальной лавочки, и сам довольно метко называл себя «оптовым торговцем в области духа», но он не был ни самостоятельным мыслителем, ни, главное, решительным революционером. Даже этот тертый калач оказался между такими политическими жерновами, которые грозили стереть его в порошок. Он сам как-то признавался в минуту откровенности, что очутился среди трех направлений: старых доктринеров, или правых гегельянцев, штраусианцев, или «швабов», и атеистов, или тех, кто самого Штрауса объявляет «проклятым попом». Руге лавировал среди них. Вместе с тем он хорошо понимал, что среди этих направлений именно «атеисты» обладают наибольшей проницательностью и выражают действительные потребности Германии, особо отличая Кеппена, Бауэра и Маркса. И все же Руге колебался. Эта осторожная, оглядывающаяся по сторонам, расчетливая политика и побуждает Энгельса завуалировать изображение Руге тонкой иронией. Как же! Когда «Свободные» поглощены горячими спорами, он безмятежно съедает три бифштекса, а затем с истинно мещанским самодовольством предлагает ограничиться устной и печатной проповедью. Конечно, Бруно Бауэр и Карл Маркс как революционеры возмущены попыткой Руге «их жажду словами утолить». Энгельс, вполне сочувствующий своим друзьям, настоящему и будущему, мог бы воскликнуть вместе с нашим Добролюбовым:

Я ваш, друзья, хочу быть вашим,  
На труд и битву я готов,  
Лишь бы начать в союзе нашем  
Живое дело вместо слов.

С высоты своей революционной позиции Энгельс порицает миролюбие «доброего» Кеппена, а за приверженность к порядку называет его бессильным мечтателем, проклятым жирондистом и даже не признает атеистом. Таким же жирондистом ему кажется Людвиг Буль, только внешнею напоминающий саякюлота, а в душе мягкий и уступчивый человек. Недаром оба они оказываются плохими вояками: во время жаркой стычки с праведниками первый озабочен, как бы не пролить крови, а второй сидит в тылу, где ему не грозит опасность; в довершение оба покидают поле битвы и обращаются в бегство. Энгельс успел хорошенько раскусить и Штирнера, уже тогда щеголявшего радикализмом своих воззрений; он уверен, что во время решительной схватки этот «рассудительный» противник ограничений не рискнет своими боками и с обычной важностью будет бросать под ноги борцам свои звонкие парадоксы. Наконец, даже Фейербах, сам по себе представляющий «целое войско дерзких атеистов», не вполне удовлетворяет нашего революционера: он слишком полагается на силы отдельной личности, отрицает значение «союза», т. е. коллективных действий, а потому и не примыкает к общему походу «Свободных» против верующих.

К несомненным революционерам Энгельс помимо Бруно Бауэра причисляет только его брата Эдгарда, Карла Маркса и самого себя. Маркс, никогда не принадлежавший, вопреки утверждению Маккай,<sup>45</sup> к «Свободным», кажется ему каким-то огромным чудовищем, которое в своей революционной ярости готово совлечь на землю весь небесный свод, а пока расправляет члены для предстоящей борьбы. Эдгар Бауэр представляет прямую противоположность Людвигу Булю: по наружности он франт, а в душе истинный санкюлот и дерется, как мясник. Себя Энгельс причисляет к самым «красным». Его литературные произведения, а в особенности письма к друзьям, не прошедшие через горнила цензуры, дышат несомненным революционным настроением. «Христианская героическая поэма» свидетельствует о том, что в духовном развитии Энгельса произошли серьезные сдвиги в сравнении с предшествующим периодом. В ней юный автор проявляет оригинальность и значительную зрелость своих политических суждений. Он подвергает бичующей критике берлинских и боннских профессоров, услужливо раскрывающих двери университетов проповедникам обскурантизма и в тесном союзе с ортодоксальными теологами, государственными цензорами и полицией изгоняющих поборников свободы. Он ясно видит, куда ведут нити идеологической реакции. Изобличая воинство божие, Энгельс недвусмысленно заявляет, что оно выступает против свободы в союзе с полицией и является строгим блюстителем не только непоколебимости господства всевышнего, но и рьяным защитником и охранителем интересов короля, восседающего на прусском престоле. Реакционно настроенная профессура, ортодоксальные теологи, полиция, государственные цензоры, прусский король и его ближайшее окружение составляют единую линию борьбы против подлинной свободы в Германии.

Но и защитников свободы Энгельс не сваливает в одну кучу. Он видит, что в рядах гегельянцев происходит размежевание сил. Энгельса не удовлетворяют ни «поклонник порядка» Кеппен и др., ни колеблющийся и оглядывающийся по сторонам Арнольд Руге. Энгельса не удовлетворяет битва чистых идей. Симпатии Энгельса всецело на стороне крайнего левого крыла борцов за свободу, и сам он с ними.

Остроумную и неизменно веселую поэму, в которой рассыпаны меткие, часто злые характеристики видных общественных деятелей и популярных писателей, нельзя было не заметить. И действительно, ее появление отмечается периодической печатью. Лейпцигские органы «Железная дорога» и «Вольные пути» приводят из нее отрывки.<sup>46</sup> «Гамбургские литературные и критические листки»,<sup>47</sup> а также «Гамбургская новая газета»<sup>48</sup> помещают заметки о выходе поэмы. Откликнулся и «Эльбингский указатель», в котором нередко печатались статьи берлинских младогегельянцев: в заметке, помещенной 18 января 1843 г., сообщается о «недавно» выпущенной «книжечке», где «новейшие тео-

логические смуты» «ныне используются и поэзией в стихах старинного размера». <sup>49</sup>

## Глава IX

### ОТКРЫТЫЙ РАЗРЫВ Ф. ЭНГЕЛЬСА С «МОЛОДОЙ ГЕРМАНИЕЙ» И ЛИБЕРАЛИЗМОМ

Не удивительно, что Энгельс примыкал к самому левому крылу «Свободных». Отличаясь революционностью взглядов, он уже в Бремене самостоятельно сумел за высокопарными фразами младеи разглядеть их половинчатый и нерешительный характер. Неопоспособность «Молодой Германии» к энергичным действиям толкнула юношу в объятия Берне, под влиянием которого окрепли его демократические убеждения. Свои революционно-демократические идеи он неоднократно излагал в письмах и литературных произведениях. Но ярче всего юный литератор выразил их в статье, посвященной Эрнсту Морицу Арндту и напечатанной еще в январе 1841 г. Здесь он ожесточенно нападает на историческую школу права, которая упорно пыталась гальванизировать труп прошлого и реставрировать разный исторический хлам. В противоположность ей Энгельс принципиально отвергает вообще всякое покровительство «так называемым историческим росткам», в частности патримониальные суды, консервировавшие высшее дворянство, и цехи, возрождавшие «почтенное» бюргерство.

Его несколько не ослепляет «софистическая мишура» вроде «органического государства», которой козыряла историческая школа права. Напротив, он изумляется, как подобные затасканные фразы могли вообще ослеплять кого-нибудь: «Фразы об историческом развитии, об использовании данных обстоятельств, об организме и т. д., должно быть, имели для своего времени очарование, о котором мы не можем составить себе никакого представления, ибо мы видим, что это большей частью красивые слова...»<sup>1</sup> Что, собственно говоря, понимается под органическим государством? — «...Такое государство, установления которого развивались в течение столетий вместе с нацией и из нее, а не конструировались из теории. Очень хорошо. А в применении к Германии? Этот организм, видите ли, заключается в том, что граждане государства подразделяются на дворян, горожан и крестьян вкупе со всем, что этому сопутствует. Все это должно заключаться в слове „организм“ in pace.\* Разве это не жалкая, не позорная софистика?..»

Против подобной «софистики» Энгельс с возмущением возражает: «Не приверженцы сословных делений, а мы, их противники, хотим органической государственной жизни. Речь идет пока

\* — в зародыше. *Ред.*

вовсе не о „теоретической конструкции”; речь идет о том, чем нас хотят прельстить, — о саморазвитии нации. Только мы относимся серьезно и искренне к этому; но те господа не знают, что всякий организм становится неорганическим, коль скоро умирает; они приводят в движение гальваническим током трупы прошлого и хотят нас уверить, что это не механизм, а жизнь. Они хотят способствовать саморазвитию нации и заковывают ее ноги в колодки абсолютизма, чтобы она быстрее продвигалась вперед. Они не хотят знать, что то, что они называют теорией, идеологией или еще бог знает чем, давно уже перешло в плоть и кровь народа и частью уже вошло в жизнь, что в этом вопросе не мы, а *они* блуждают в области утопических теорий. Ибо то, что полстолетия тому назад действительно было еще теорией, развилось со времени революции как самостоятельный момент в государственном организме. И, что важнее всего, разве развитие человечества не стоит выше развития нации?» По изложенным критическим соображениям Энгельс уже тогда отчеканивает свою политическую программу в лозунге: «Никаких сословий, а лишь великая, единая, равноправная нация граждан!»<sup>2</sup>

Нас интересует, однако, не только политическая программа Энгельса, совпадающая с заветами Берне, сколько ее обоснование. Автор пытается уверить читателей, что не занимается «конструкциями из теории». И тем не менее именно теория кажется ему творческим началом, демиургом истории. Иначе и не могло быть. Во-первых, Энгельс все еще остается учеником Гегеля, видевшего содержание исторического процесса в саморазвитии понятий и действительно считавшего идею демиургом истории. Во-вторых, по воспитанию Энгельс принадлежал к интеллигенции, положение которой в начале 40-х годов было весьма своеобразным: обреченная на полную политическую бездеятельность, она естественно витала в сферах теоретических абстракций; оторванная от реальных интересов, она питалась их идеологическими отражениями; чуждая широкому массам народа, она неизбежно впадала в доктринерство. Атмосфера, перенасыщенная философскими умозрениями и крайне отвлеченными рассуждениями, принудительно побуждала интеллигенцию переоценивать значение теории.

Младогегельянцы чувствовали себя всемогущими великанами в теории и бессильными карликами на практике. Веря в силы духа, они были глубоко убеждены, что разум восторжествует, что идеи станут реальностью и теория претворится в практику. В этом отношении они следовали по стопам Гегеля, который еще в 1808 г. писал своему другу, что теоретическая работа, по его (Гегеля) глубокому убеждению, достигает в мире большего, чем практическая; раз революционизируется царство представления, действительность уже не выдержит.<sup>3</sup> По утверждению Арнольда Руге, идеи времени — базис всей будущей реальности.<sup>4</sup> Бруно Бауэр, последовательный в парадоксах, превращал это утверж-

дение в карикатуру, выдавая теорию за сильнейшую практику; он признавался, что «не в состоянии даже предсказать, в каком великом смысле теория станет практической».<sup>5</sup> Людвиг Буль тоже утешал себя размышлением: была бы хороша теория, а там уж наступит время, когда буквы сами выскочат из книги и слово станет поважнее целой армии. «Христианство, — писал он, — было теорией, реформация была теорией, революция — теорией, теперь они стали практикой». Словом, теория — это Иоанн Предтеча, предшествующий Христу — новой практике.<sup>6</sup> Наконец, Моисей Гесс, стоявший несколько в стороне от младогегельянцев, признавал, что в Германии теория — истинная практика.<sup>7</sup> Спасаясь от жалкой практической действительности, Энгельс тоже находит убежище в великолепных чертогах теории.

Прибыв в Берлин и «сблизившись со «Свободными», он ни на пядь не отступает от своей прежней позиции, а, напротив, еще основательнее укрепляется в ней. Энгельс и теперь независимо от «Свободных» продолжает думать, что наступило время решительно восстать против вечной болтовни об «историческом, органическом, естественном развитии» и «стихийно выросшем государстве»; он нетерпеливо восклицает, что пора, наконец, разоблачить перед народом эти формулы. В его глазах отсутствие исторических традиций и политическая отсталость Пруссии имеют даже свои преимущества. Ее прошлое погребено под развалинами доненской Пруссии и смыто потоком наполеоновского нашествия. Что же ее сковывает? У нее нет нужды тащить у себя на ногах те средневековые колодки, которые мешают некоторым государствам двигаться вперед; грязь минувших веков не пристаёт к ее подошвам. На этом основании Энгельс полагает, что возврат к прошлому, к старому режиму был бы позорнейшим отступлением и трусливым отречением от эпохи прусской истории, сознательной или бессознательной изменой нации. Он считает, что «спасение Пруссии лежит только в теории, науке, в развитии из духа».

На деле Пруссия, по мнению Энгельса, — государство не «стихийно выросшее», а возникшее благодаря «политике, целесообразной деятельности и духу». Как сознательный дух стоит выше бессознательной природы, так и Пруссия может при желании возвыситься над стихийно выросшими государствами. Ее провинциальные особенности очень велики. Чтобы не учинить какой-либо несправедливости, «государственный строй должен вырасти только из идеи»; затем уже само собой произойдет постепенное слияние отдельных провинций; все особенности их растворятся в высшем единстве свободного государственного сознания. В противном же случае и двух столетий не хватит, чтобы создать внутреннее законодательное и национальное единство Пруссии. Другим государствам определенный путь развития предначертан их национальным характером. Немцы освобождены от такой необходимости; они могут сделать из себя что угодно. Поэтому,

оставив все побочные соображения, Пруссия может следовать исключительно «внушениям разума»; как ни одно государство, она может учиться на опыте своих соседей и сделаться «образцовым для Европы государством»; наконец, она может воплотить в своих учреждениях самое совершенное государственное сознание своего века.<sup>8</sup>

Таким образом, будущий творец исторического материализма противопоставляет дух и разум «стихийно выросшему государству», а теорию и науку — «историческому, органическому, естественному развитию». Он непоколебимо уверен, что в Пруссии «государственный строй должен вырасти только из идеи» и, следуя исключительно «внушениям разума», сможет «воплотить в своих учреждениях совершенное государственное сознание своего века». Это чисто гегелевский ход мысли. Не иначе поступали и другие младогегельянцы, направляя свои критические копыя против действительного государства и пытаясь преобразовать его. Вместе с Энгельсом они видели два пути: либо мирное возрождение и реформаторскую деятельность, либо насильственный переворот и полное низвержение существующего строя. Новейшая история давала классические примеры и того и другого: более умеренное, либеральное направление ссылалось на так называемую прусскую эру реформ, которую либеральная традиция связывала с именем Фридриха II; более решительное, радикальное направление опиралось на поучительный опыт Французской революции. Литературные произведения Бруно и Эдгара Бауэров, Руте, Кеппена и Штирнера, Маркса, Энгельса и других младогегельянцев пересыпаны указаниями на многозначительные эпохи Пруссии и Франции. Это понятно: и прусскую эру реформ и Французскую революцию левые гегельянцы считали не результатом «органического развития», а продуктом творческой теории, просвещенного духа, абсолютного разума.

Младогегельянцы окружали ореолом эпоху Возрождения, связанную с освободительной войной, к которой, напротив, относились очень сдержанно. Они ожесточенно боролись с порождением этой войны — христианско-романтическим направлением. По их мнению, вследствие победы романтиков и пиетистов возникло вопиющее противоречие между развитием теории, идеи, духа и развитием действительности. Конечно, абсолютный дух, с точки зрения младогегельянцев, не мог склониться перед исторической действительностью. Напротив, последняя должна следовать «внушениям разума». Только в том случае, когда практика будет руководствоваться указаниями теории, Пруссия может стать образцовым государством Европы.<sup>9</sup>

Таковы те политические идеи, в сфере которых вращался Энгельс. Они перекрещивались с идеями других негегелевских направлений. К началу 40-х годов в Германии определенно наметились уже три течения: южногерманский, северогерманский и восточнопрусский либерализм.

Мелкая буржуазия Южной Германии стремилась в экономической области к упразднению феодальных оброков и барщины, а в политической — к свободе печати и расширению полномочий местного самоуправления; пожелания наиболее смелых простирались даже до «свободных объединенных государств Германии». Все движение отличалось особенностями, присущими каждому мелкобуржуазному движению: рядом с энергичными людьми было много пустых болтунов; мужественная стойкость сочеталась с раболепием и нерешительностью; радикализму фраз противоречила неопределенность идей. Центром этого движения был Рейнский Пфальц. Французское право давало местному населению большую свободу действий. Сверх того пфальцское мещанство и мелкое крестьянство терпели горькую материальную нужду: они не были в состоянии ни платить проценты по закладным, ни вносить общинные и государственные подати; продажа с молотка стала обычным явлением и в городах и в деревнях.

Во главе пфальцской агитации стояло несколько писателей, из которых наиболее энергичным и даровитым был Вирт из Франконии. Вместе со своими товарищами он решил 27 мая 1832 г. устроить собрание в гамбахском замке близ Нейштадтана-Гаардте, чтобы отпраздновать «немецкий май» в годовщину баварской конституции. Воззвание к немецкому народу, выпущенное вождем либеральной оппозиции Зибенпфейфером, было встречено очень сочувственно. Тотчас же начались оживленные приготовления к посылке представителей и делегаций. Встревоженные власти первоначально решили было запретить празднество, но неожиданно встретили такой дружный отпор, что не приняли никаких предупредительных мер.

Празднество носило очень торжественный характер. Утром огромная процессия со знаменами впереди отправилась из Нейштадта к развалинам гамбахского замка. Двадцатипяти тысячное собрание, происходившее под развевающимися немецкими и польскими флагами, воспламенялось шумными, подчас страстными фразами. Главными ораторами выступали Зибенпфейфер и Вирт. Они говорили о верховной воле народа и выражали уверенность, что в недалеком будущем Германия станет республикой. Вирт провозгласил «ура» в честь «свободных объединенных государств Германии» и, потрясая мечом, угрожал правителям Германии. Раздавались даже призывы: «К оружию! К оружию!»<sup>19</sup>

Гамбахское празднество, в котором принимали участие приехавший из Парижа Берне, будущий член Интернационала Иоганн Филипп Беккер, будущий руководитель парижского «Союза изгнанников» Яков Венедей и др., дало реакции желанный повод к бешеным преследованиям. Уже 5 июля были обнародованы пресловутые шесть статей, налагавшие ярмо союзного сейма на южногерманские ландтаги и учредившие союзную комиссию для полицейского надзора за ними. Открытая «травля демагогов» еще более подорвала силы либерального движения.



Тем не менее немногие радикальные люди, примыкавшие преимущественно к студенческим кружкам, организовались тайно и решили продолжать борьбу. Насчитывая в своих рядах 51 человек, они задумали произвести 3 апреля 1838 г. во франкфуртской гауптвахте переворот, направленный против союзного сейма. Это незрелое восстание было выдано полиции задолго до того, как вспыхнуло, и кончилось полной неудачей раньше, чем началось. Правительство превосходно знало о готовящейся попытке и умышленно приостановило репрессии; оно решило устроить западню для наиболее горячих и смелых «демагогов». Ему было известно, что заговорщики предполагают напасть прежде всего на городской пост, где постоянно дежурило всего 15 полицейских. Эта стража не была увеличена, чтобы не отпугнуть революционеров от их затеи. Все было разыграно как по нотам; восстание провалилось, и министр иностранных дел мог откровенно заявить: «Если использовать хорошенько это восстание, оно может спасти Германию». После него над страной прокатилась волна полицейских насилий: нежелательные газеты были запрещены, негодные книги изъяты из обращения, подозрительные лица брошены в тюрьмы и подвергнуты пыткам предварительного заключения; в довершение рабских суды приговаривали их к медленному умиранию в казематах, одиночных камерах каторжных тюрем или в далеком изгнании.

Второй очаг южногерманского движения образовался в великом герцогстве Гессенском. Вождем гессенских либералов был пастор Вейдих из Буцбаха, человек с путаной головой, но с твердым характером и развитым чувством справедливости. В тайном «Обществе прав человека» и нелегальных листках он энергично разжигал недовольство наглым самоуправством местных деспотов. В начале 1834 г. к нему примкнул Георг Бюхнер, двадцатилетний студент естественного факультета, через год написавший свою известную драму «Смерть Дантона». Руководя отделением тайного общества в Дармштадте, он убеждал своих товарищей присоединиться к освободительной борьбе буржуазии и пытался создать более широкое основание для тайной агитации. На этой почве он столкнулся с умеренным Вейдихом, который все же помог ему нелегально издать «Гессенский сельский вестник». В своем «Вестнике» Бюхнер поместил памфлет под боевым заглавием: «Мир хижинам! Война дворцам!» Он обращался к гессенским крестьянам с призывом: по примеру французских братьев 1789 г. разрушить твердыни землевладельцев. Это предприятие не встретило сочувствия у либералов, движение которых стало еще более нерешительным и робким.

Знамя либерализма было подхвачено в Бадене слабыми руками Карла Теодора Велькера и Карла Роттека. Этот единомышленник Берне был профессором истории естественного права и государственных наук во Фрейбургском университете. В 1827 г. он закончил свою «Всемирную историю», а с 1834 г. начал вме-

сте с Велькером издавать «Словарь государственных наук». На протяжении целого десятилетия карликовые знаменосцы умеренности не столько воспитывали, сколько развращали политическое сознание южногерманской буржуазии в духе либерального просвещения. Однако они приобрели такое влияние, что восторженные почитатели сравнивали их «Словарь» с французской «Энциклопедией». Буржуазные Диоскуры перепевали на немецкий лад старые политические песни: свои либеральные воззрения они обосновывали идеей естественного права, возникновение государства объясняли вслед за Ж.-Ж. Руссо общественным договором, а величайшим образцом всех южногерманских конституций объявляли «хартию», которую Людвик XVIII по приказанию интервентов в 1814 г. «даровал» французам.<sup>11</sup>

Как ни робко было либеральное движение, все же северяне, осужденные на полную политическую бездеятельность, считали юг единственной частью Германии, где господствовало более или менее решительное настроение. Даже младогегельянцы первоначально почитали Баден, Вюртемберг и Рейнскую Баварию теми алтарями, на которых мог гореть огонь истинного, независимого патриотизма. Им, и в частности Энгельсу, казалось, что напряжение освободительной войны породило в Северной Германии глубокую усталость и сонное равнодушие. На юге же, население которого почти не принимало участия в войне, политическая жизнь никогда не замирала окончательно. На этом основании южногерманские либералы уже начали было поглядывать сверху вниз на своих северных соседей, порицать их инертность и насмехаться над их терпением. Когда король ганноверский нарушил конституцию и вызвал протест семи геттингенских профессоров, лишенных за это кафедр, южане воспользовались политическим возбуждением, чтобы между прочим показать свое превосходство над севером. Во время ганноверских событий, произведших на Энгельса такое неизгладимое впечатление, север оставался совершенно бездеятелен и спокоен. Южане же проявляли некоторую активность, кичились своей «парламентской» жизнью, своими речами в ландтагах и своей оппозицией.

Но либерализм Южной Германии был вызван к жизни местными узкоклассовыми интересами мелкой буржуазии и вел борьбу в узких границах мелких южногерманских государств. Самое происхождение наложило на него неискоренимый отпечаток мелочной практичности, политической беспринципности и теоретической «доморощенности», как выражались младогегельянцы. Не видя леса за отдельными деревьями маленьких «парламентов», он не умел подняться на высоту общегерманских интересов. Эти особенности имели свои обычные последствия: вспышки южногерманского движения становились все бледнее и давали больше дыму, чем огня. К началу 40-х годов это движение уже успело настолько выдохнуться, что стало уступать место северогерманскому либерализму. Осенью 1841 г. на банкете в честь Велькера

северогерманский либерализм впервые окрестил шпаги со своим старшим братом и соперником.

Энгельс, которого уже занимал вопрос об отношении теории к практике, зорко разглядывал ахиллесову пяту южногерманского либерализма. Нашупав же слабое место, неистовый Роланд тотчас подверг его обстрелу и 12 апреля 1842 г. поместил в «Рейнской газете» небольшую статью под заглавием: «Северогерманский и южногерманский либерализм».<sup>12</sup> Автор охотно признает, что южногерманский либерализм породил политическую оппозицию. Но, как он совершенно самостоятельно полагает, южанам не удалось возвыситься над непосредственной практикой. Порожденный практикой, либерализм оставался ей верен и в области своей теории примыкал к ней. К несчастью, практика, из которой конструировалась теория, была слишком многослойной, состоя из французских, немецких, английских, испанских и иных элементов. Поэтому выходило так, что теория не представляла логически стройного сооружения, а ограничивалась общими местами, расплывчатыми и неясными; она не была ни французской, ни немецкой, ни национальной, ни последовательно космополитической, а оставалась чем-то абстрактным и половинчатым.

У южногерманского либерализма была общая цель — законно установленная свобода; но средства к ее достижению обычно бывали совершенно противоположны и исключали друг друга. Имелись в виду конституционные гарантии для Германии; но для осуществления их сегодня проектировалась большая независимость государей от союзного сейма, а завтра — большая зависимость их и в придачу еще палата представителей рядом с союзным собранием. Каждое из этих средств было одинаково непрактично. Чтобы достигнуть цели, либералы стремились то к единству Германии, то к независимости владетельных князей от Пруссии и Австрии. Энгельс проицательно видит слабую сторону движения и в том, что оно опиралось на временное возбуждение, на отраженное влияние чисто внешнего события — июльской революции: раз последняя прекратилась, оно и само должно было замереть.

Между тем северогерманский либерализм с самого начала связывал свое политическое бытие не с отдельным фактом, а с историей всего мира и особенно своей родины. Источник его происхождения струился не в Париже, а в сердце Германии: как полагал Энгельс, то была новейшая немецкая философия. Поэтому северогерманский либерализм отличался большей последовательностью, большей определенностью своих требований и большим соответствием между целью и средствами. Будучи необходимым продуктом национальных стремлений, он и сам оказывался тоже национальным. Южногерманский же либерализм вечно колебался между космополитическими и национальными тенденциями.

Северогерманский либерализм стремился к тому, чтобы Германия заняла одинаково достойное положение и во внутренней жизни и в международных отношениях. Перед ним не могла возникнуть комическая дилемма: следует ли быть сначала либералом, а потом немцем, или сначала немцем, а потом либералом. Он был свободен, как полагал Энгельс, от односторонностей, мудрствований и софистических уловок, на которые обрекался южногерманский либерализм вследствие присущих ему внутренних противоречий. По той же причине он был способен вести такую решительную, такую живую и такую плодотворную борьбу с реакцией. Наконец, по той же причине он чувствовал уверенность в конечной победе. Либерализм Южной Германии восходил от практики к теории, но не мог пробиться этим путем. «...Так начнем же с другого конца и попытаемся, отправляясь от теории, проникнуть в практику, — и, как хотите, я готов побиться об заклад, что мы таким образом в конце концов двинемся вперед».<sup>13</sup>

В чем же, собственно говоря, упрекает Энгельс своих противников? — В том, что они исходят не из теории, а из практики, не умея возвыситься над последней; именно потому они неспособны создать логически стройное сооружение, а их политические требования так туманны, половинчаты, непоследовательны и так бесплодны в борьбе с реакцией. Но каковы требования северогерманского либерализма, автор не объясняет. И немудрено, на это, кроме цензурных соображений, были и другие, глубокие причины. На рубеже 30-х и 40-х годов политические партии только-только начинали складываться; программы их были еще в зародыше, требования — расплывчаты и неопределенны. Следовало еще втолковать немецкому мещанству, что деятельность партий, не уничтожая государства, означает подлинную политическую жизнь; нужно было разъяснить, что они защищают не индивидуальные интересы, а воплощают определенный принцип. Таким образом, партийное самоопределение неизбежно превращалось в борьбу за общие принципы.

Защищать и развивать их могли только последователи двух мыслителей: Гегеля и Канта. Уже и раньше Руге писал, что существование партии гораздо лучше политической смерти: в борьбе принципов обнаруживается новая жизнь организма. Было бы «сумасшествием», по мнению Руге, «покой политической апатии предпочитать живой борьбе партий».<sup>14</sup>

По утверждению другого младогегельянца — Эдгара Бауэра, только партии, отдающие себе ясный отчет в принципах, могут привести к желанному концу свои взаимные трения; партии — соль мира; партии — те полюсы, которые превращают в закономерное движение безразличные, беспорядочные стремления хаотической массы. Без этих полюсов невозможен организм. Но партии должны также отдать себе вполне ясный отчет в своих принципах, если они таковые имеют. Только тогда они смогут отно-

ситься друг к другу с полным сознанием, только тогда смогут довести свою борьбу и свои трения до желанного конца.<sup>15</sup>

Людвиг Буль тоже утверждал, что вся историческая жизнь развивается из диалектики противоположностей, находящих свое воплощение в партиях: они рычаги, которыми история пользуется, чтобы изменять и развивать формы государства.<sup>16</sup> Тогда же Энгельс твердо заявлял: «Партии телерь должны определенно группироваться, овцы должны быть отделены от козлиц».<sup>17</sup>

Со своей стороны кантианцы обосновывали необходимость партий эстетическими и политическими соображениями. Как думал вождь восточнопрусского либерализма и редактор «Кенигсбергской газеты» Карл Витт, образование партий представляет решительный шаг вперед в просвещении народа; тому народу, у которого нет партий, грозит застой, разложение и равнодушие к убеждениям; кто не принадлежит к партии, тот доказывает, что он не интересуется государственной жизнью.<sup>18</sup> Даже умеренный Карл Розенкранц, колебавшийся между кантианством и гегельянством, считал трения между партиями тем условием, при котором только и образуется подлинно общественное мнение; задача последнего состоит в том, чтобы предварительно намечать направление для деятельности правительства.<sup>19</sup>

Поэтому кантианцы упрекали всякого «беспартийного», не исходившего из определенного принципа, что он лишен масштаба для оценки истины. «Партии построены на принципах», — объявлял Карл Витт и вменял себе в честь, а не в бесчестье, что его называют партийным человеком. Однако не все кантианцы сразу возвысились до такой точки зрения. Так, например, прежний богослов шлейермахеровской школы Александр Юнг, издававший «Кенигсбергский литературный листок», не отваживался пойти по стопам своего земляка: его пугала мысль, что человек может раствориться в партии.

Эта позиция служила выражением той половинчатости, робости и той непоследовательности, которые Энгельс ненавидел до глубины души. С отроческих лет он неустанно стремился творчески связать воедино свои политические убеждения с общими вопросами мировоззрения; самостоятельно найти определенный, объединяющий принцип — такова была важнейшая задача его жизни. Вполне естественно, что ту же меру он прилагал и к явлениям текущей литературы. Вот один из примеров. Когда друг Иоганна Якоби и сам видный кенигсбергский литератор Людвиг Валесроде выпустил свои четыре публичных лекции на злободневные темы,<sup>20</sup> Энгельс с удовольствием отметил его крупное юмористическое дарование. Однако он точас же сделал меткое замечание, что истинный юморист выдвинул бы основу положительного, великого мировоззрения, в котором всякая насмешка и всякое отрицание «растворяются наконец в полной гармонии».

В этом отношении, говорит Энгельс, Валесроде принял на себя известное обязательство: писатель должен как можно скорее

оправдать возбужденные им ожидания и доказать, что способен сочетать свои воззрения в единое целое. Исполнение обязательства тем более необходимо, что связь с Берне, подход к вопросам и самый стиль обнаруживают близкое родство лектора с «блаженной памяти» «Молодой Германией». Между тем именно младемецкие писатели не оправдали возлагающихся на них надежд и погрузились в апатию. Неспособность создать нечто цельное оказалась той подводной скалой, на которой они потерпели кораблекрушение, ибо сами не были цельными людьми. Валесроде же кое-где обнаруживает высшую и более законченную точку зрения. Этим оправдывается предъявляемое к нему требование — привести свои разрозненные суждения в гармонию друг с другом и с достижениями современной философии.<sup>21</sup>

На звание современной философии претендовали два направления — гегельянство и кантианство. Приверженцы обоих питались надеждами, что идеальное государство вопреки всем препятствиям станет подлинной действительностью и найдет осуществление в их собственном отечестве — Пруссии. Поэтому не только левые гегельянцы, но и последователи кенигсбергского мудреца Канта превозносили ее как будущее государство разума и интеллигенции; она должна лишь следовать заветам философии, чтобы исполнить великое предназначение, ниспосланное ей самой историей. Однако с самого начала между обоими течениями наметились кое-какие оттенки. Либеральные дворяне и буржуа Восточной Пруссии, во главе которых стоял обер-президент Теодор фон Шен, близкий сотрудник знаменитого реформатора барона Штейна, с благоговением преклонялись перед традициями прусской эры реформ. Младогегельянцы же черпали уроки политической мудрости преимущественно из истории Французской революции.

Но не следует думать, что по мановению какого-то волшебного жезла кантианцы внезапно превратились в умеренных либералов, а левые гегельянцы — в крайних радикалов. Напротив, вначале те и другие шли по одному политическому фарватеру, не замечая разницы между либерализмом, радикализмом и демократией. Неясность была так велика, что в свое время даже соратник фон Штейна Гарденберг, совершенно чуждый демократическим стремлениям, одним духом требовал «демократических учреждений при монархическом правительстве».<sup>22</sup>

Подобно ему, младегегельянец Карл Науверк, приват-доцент Берлинского университета, тоже уверял, что «самой могущественной монархией бывает демократическая». По его мнению, во время освободительной войны именно демократия спасла Германию от иноземного порабощения. Пруссии остзется лишь придать полноту и законченность демократическим чертам, которые у нее уже имеются. Вообще слияние и последовательное применение идей, высказанных фон Штейном и Гегелем, сами по себе якобы приведут к конституционно-демократической монархии.

Последнюю же Науверк, Кеппен и Руге считали в ту пору подлинным государственным принципом нового времени.<sup>23</sup>

А. Руге, одаренный способностью различать политические направления, тем не менее тоже считал, что «государство либерализма» или «республиканская монархия» должны быть общим делом всех граждан.

Насколько сливались границы между либерализмом и демократией, показывает пример еще одного младогегельянца. Осторожный Людвиг Буль считал возможным рекомендовать конституционную форму государственного устройства как самый верный промоотвод против революций. Она, по его мнению, приведет к мирной, бескровной демократии, установив противоположность между реставрацией и революцией. Пруссия, благонамеренно распинался Буль, обязана величием личным способностям своих государей; он сам твердо верит в кровь Гогенцоллернов. Но движущая, хотя бессознательная, сила исторического развития неотвратимо выдвигает новые цели; ныне целью истории является именно представительный строй. Только он создаст истинную, органическую форму государства. Поэтому, если бы король даровал конституцию, он облегчил бы Пруссии объединение разобщенных провинций и таким образом дал бы ей возможность разрешить свою немецкую задачу.<sup>24</sup> Бедняга Буль даже не подозревал, что Фридрих Вильгельм IV считал объединение «болезнью наших дней», вовсе не собираясь следовать примеру фон Штейна! Ни король, ни его правительство не собирались решать задачу демократизации государства.

Надежды младогегельянцев на мирное обновление Пруссии в духе Штейна и Гарденберга быстро увяли. В личных беседах и интимной переписке они стали открыто признавать, что прусский народ получит конституцию не в виде подарка, а в результате кровавой борьбы.<sup>25</sup>

Раньше их политический вождь Арнольд Руге рассчитывал на министерство фон Шена, которого прославлял как политического Давида Фридриха Штрауса. Теперь же он начинает жонглировать понятиями республики и революции: «Завоеванная свобода, — утверждает он, — действительна», дарованная «фальшива». . . Государственная конституция, если она действительна, — всегда республика, а республика не бывает действительной, если она не демократия.<sup>26</sup> Сама философская критика казалась младогегельянцам уже революцией.<sup>27</sup>

Именно в это время Эдгар Бауэр тоже решительно собрался под видом санколота выступить в поход против Роттека и Велькера, чтобы прежде всего «отделать этих людишек» за их ограниченные воззрения на революцию.<sup>28</sup> Вскоре он прямо заявил: «Характер нашего времени — революция».<sup>29</sup> Даже ученый филолог Карл Розенкранц занес в свой дневник, что левое крыло гегельянства «вместо гегелевской конституционной монархии прокламирует республику».<sup>30</sup> Так, левые гегельянцы постепенно

«сменяли вехи», переходя от смутного либерализма к более или менее ясному радикализму. Вступив на новые пути, они, разумеется, должны были размежеваться с кантианцами как знаменосцами восточнопрусского либерализма.

Его штаб-квартира находилась в части Пруссии, лежащей к востоку от Одера. Здесь имелись сравнительно многочисленные свободные крестьяне. От старого орденового времени среди них и других слоев населения сохранились еще следы мятежного духа, который никогда не удавалось окончательно сломить. В Кенигсберге всю свою долгую жизнь преподавал философ Кант; заветы его чтились всеми, кто обладал чувством гражданского достоинства. Во время наполеоновского нашествия провинция страдала более других немецких областей и энергичнее их поднялась для отпора иноземцу. Но, сбросив французское иго, она попала под прусское ярмо. Вспыхнувшее возмущение возросло еще более, когда закрытие русской границы перерезало все жизненные артерии провинции. Кенигсберг и Данциг стали бледной тенью цветущих торговых городов, какими были прежде, а Эльбинг совсем захирел. Все это вызвало глубокое озлобление, которым искусно пользовался полулиберальный фон Шен.

Он был образованным и энергичным человеком. Как обер-президент, он снискал у населения большое уважение своим административным талантом. Политические убеждения фон Шена были противоречивы. Он глубоко презирал бездарную и окаменелую бюрократию, правившую Пруссией; он считал прусский милитаризм явлением сомнительного достоинства и со свойственной ему резкостью высказал свои взгляды, когда некий член провинциального ландтага однажды одел офицерский мундир. Но в то же время он ненавидел таможенный союз, отвергал необходимость национального объединения и называл сумасбродным желание растворить Пруссию в Германии. Как поклонник Канта, Шен мечтал построить государство на основах чистого разума; но последний был в сущности разумом умного помещика, ясно понимавшего, что крупное землевладение может далее существовать не в феодальных, а в буржуазных формах собственности. Что такой человек мог оказаться популярным вождем восточнопрусского либерализма, само по себе показывает, насколько плохо понимала оппозиция положение вещей: либерализм Северной Германии был чужд Шену еще более, чем романтика короля, с которым его все-таки связывала неизменная дружба.<sup>31</sup>

Свои полулиберальные взгляды фон Шен изложил в докладной записке «Откуда и куда?», которую вручил королю, чтобы обосновать необходимость конституции. Он исходил из убеждения, что безвозвратно миновало время «патриархальных» правительств, для которых народ состоит из массы несовершеннолетних и должен позволить вести себя куда угодно. По мнению фон Шена, начиная с Фридриха II в истории Пруссии народное невежество служило удобной почвой только для чудовищного



развития бюрократии, которая под конец «вообразила, что не она существует для народа, а народ для нее». Поэтому в течение последних десятилетий беспощадно душилась всякая попытка общественной самодеятельности. Но депутаты провинциального собрания в Кенигсберге недавно ясно показали, отмечал фон Шен, что немецкий народ достаточно созрел для политического самоуправления.

Записка отмечала, что и буржуазия и дворянство становятся все более просвещенными. Правда, среднее сословие до некоторой степени мирится с господством чиновничества, само пытаясь заполнить его ряды; правда, таково же настроение и небогатого служилого дворянства, не имеющего земельной собственности. Все же опека бюрократии невыносима для человека состоятельного и в особенности для дворян-землевладельцев, не забывших о своем былом господстве. По изложенным соображениям Шен считает «народное» правительство безусловно необходимым. Только путем общесословного представительства, по мнению Шена, может процветать общественная жизнь, страна станет несокрушимой, и трон подыметься на такую высоту, на которой он заслуженно должен стоять соответственно культурному состоянию народа.

Король не внял советам друга. Однако по собственному соизволению он даровал провинциальным ландтагам право публиковать протоколы своих заседаний и обещал периодически созывать их через каждые два года. Во исполнение обещания ландтаги созывались на весну 1841 г. Но прежде чем они собрались; появился анонимный памфлет «Четыре вопроса с ответами на них восточного пруссака». Впоследствии открылось, что автором его был кенигсбергский врач Иоганн Якоби. Примыкая к записке Шена и ярче подчеркивая буржуазную точку зрения, он ставил следующие вопросы: чего хотят сословия? что оправдывало их действия? какой ответ они получили? что им остается делать?

Прусское население стало совершеннолетним, рассуждал Якоби, но участие в политической жизни не совсем соответствует степени его культурного развития. Исходя из этого, он доказывал, что полное ничтожество провинциальных ландтагов, административный произвол, тайное судопроизводство, раболепие судов и т. п. резко противоречат притязаниям, которые совершеннолетние граждане предъявляют на участие в государственных делах. Это участие должно основываться на твердых статьях закона; самому закону надлежит установить, может ли Пруссия управляться исключительно зависимыми и оплачиваемыми чиновниками, или граждане тоже должны принимать самостоятельное участие в государственном управлении.

По уверению автора, страна питает доверие к монарху, но не к министрам, ибо знает их чиновничий произвол, раболепие и пиетизм. Только свободная общественная жизнь и представи-

тельство могут установить доверие к правительству и успокоить взволнованную страну. На второй вопрос Якоби вкратце отвечал: провинциальные сословия считают себя вправе выставлять требования, ибо немецкий народ уже достиг совершеннолетия. Обещание конституции в 1815 г., от которого король отказался, и поныне сохраняет свою юридическую силу. Поэтому автор предлагал сословиям «требовать» своего бесспорного права, о чем до сих пор они просят как о милости.<sup>32</sup>

Докладная записка Шена и памфлет Якоби опирались в сущности на идею «гражданского совершеннолетия». Эта идея отражала в политической области идеал личности, давно провозглашенный Кантом, учителем их обоих и вдохновителем восточнопрусского либерализма вообще. Не без основания Александр Юнг называл мыслителя «полярной звездой» оппозиционного движения, желавшего утвердить права разума и свободу личности в политической, церковной, литературной и других областях общественной жизни.<sup>33</sup> В полном согласии со своим духовным вождем либералы кантианского толка считали высшей целью государства образование единой и цельной нации. Она, по их мнению, достижима лишь в том случае, если ограждаются прирожденные и приобретенные права личности, если каждому обеспечивается свободное развитие его способностей. В этом смысле конституционная монархия представляет наиболее подходящую форму для больших государств, ибо она специальными установлениями ограждает права народа от незаконных правительственных посягательств.<sup>34</sup>

Таким образом, либералы Восточной Пруссии в основу своих требований клали признание за разумом прав в политической области. Отождествляя же разум со свободой, они решительно отвергали «предрассудки и предубеждения», которые, с их точки зрения, представляют «неизбежный придаток всег исторического». Поэтому свою задачу они усматривали в освобождении человечества от исторических традиций. Вера в абсолютный, внеисторический разум, конкретное содержание которого либералы, разумеется, отождествляли с собственными политическими убеждениями, породила у них удивительную самоуверенность. С другой стороны, презрение к «историческому» зло отомстило за себя, когда от борьбы с идеями пришлось переходить к решительным политическим действиям. Тогда-то и обнаружилось, что самые видные вожди восточнопрусского либерализма неспособны справиться с поставленными историей задачами.

Но пока кантианские идеи и лозунги полновластно царили над умами провинциальной оппозиции. Чиновники разных рангов, духовные лица, учителя и литераторы, а также многие землевладельцы, охотно проводившие несколько семестров в Кенигсберге, прежде чем уединиться в своих поместьях, составляли политическую гвардию Канта: все они с обер-президентом во

главе прошли школу философа и образовали крепко сплоченное ядро. Широко распространенный памфлет Якоби был очень сочувственно принят не только горожанами, но и большинством восточнопрусского дворянства. Такого единодушия давно не бывало. Король и его министр растерялись. В Берлине распространился нелепый слух, что провинция намерена отделиться от монархии и избрать фон Шена герцогом.

Тогда раздраженный Фридрих Вильгельм IV приказал возбудить против Якоби судебное преследование по обвинению в «государственной измене, дерзком порицании существующих законов, возбуждении недовольства и оскорблении величества». К негоднованию короля суд первой инстанции приговорил Якоби только к лишению некоторых прав и заключению в крепости на два с половиной года. Задолго до исхода процесса король распространил свою ненависть вообще на либерализм Восточной Пруссии. Немало ненависти перепало на долю «Кенигсбергской газеты» и ее редактора Витта.

До некоторой степени ненависть короля была небезосновательной: газета действительно была лейб-органом восточнопрусского либерализма. Никогда еще вопросы внутренней политики не обсуждались так основательно, вдумчиво и с таким знанием дела. Руководясь определенными принципами, редактор вместе со всей группой сотрудников выражал политические пожелания либерализма в ясных и точных формулах. Общим их требованием была, понятно, конституционная монархия. В частности же, они настаивали преимущественно на необходимости ввести полную свободу печати, равноправие евреев, публичное и устное судопроизводство.

Как видим, программа газеты была очень умеренна. К несчастью для редактора, он состоял старшим учителем городской гимназии в Кенигсберге. Министр Эйхгорн воспользовался этим обстоятельством и потребовал, чтобы Витт отказался от участия в редакции. Но Витт представил вполне благоприятные отзывы своего начальства, что эти побочные занятия нисколько не отражаются на его служебной деятельности. В ответ министр отрешил злополучного учителя от должности и учинил над ним следствие. Городское самоуправление единогласно постановило обжаловать действия Эйхгорна королю, который, однако, оставил жалобу без последствий.<sup>35</sup>

Разумеется, христианское правительство злобно косилось на оппозицию и тщетно пыталось заглушить голоса, звучавшие все громче. Его гонения приводили только к тому результату, что либеральные и радикальные отряды шли некоторое время сомкнутым строем. Но насильственно сплавиваемые, они уже чувствовали глубокие внутренние противоречия. Восточнопрусский либерализм поголовно примыкал к Канту с его «общезначимыми категориями» и отсутствием исторического смысла; северо-германская оппозиция опиралась на гегелевское учение о госу-

дарстве, преобразованное в современном духе. Первый верил в абсолютный разум, вечный и неизменный; вторая утверждала, что сам разум представляет диалектический процесс, последовательные ступени которого воплощаются в формах государственного строя. Кантианцы, ослепленные прусской эрой реформ, склонялись к реформистской деятельности и выдвигали лишь мелкие требования; левые же гегельянцы, преклонявшиеся перед Французской революцией, готовились вступить на революционный путь и настаивали на радикальном преобразовании существующего государства. Лозунг одних гласил: реформа и мирное обновление; лозунг других — революция и ниспровержение старого строя.

Литературные стычки радикализма с либерализмом вскоре стали неизбежны. И они действительно завязались. Уже в феврале 1842 г. Эдгар Бауэр, стоявший плечом к плечу с Энгельсом на самом левом крыле «Свободных», писал старшему брату, что намерен усиленно бомбардировать «доморощенных» конституционалистов, вроде баденских профессоров Роттека и Велькера; он уже «пропахал» их «Словарь государственных наук», все более убеждаясь в поверхностном характере и «нефилософском чаде» этого труда.<sup>36</sup> Подобно своему тогдашнему другу Энгельсу, вскоре отделившемуся южногерманский либерализм, Эдгар презирал беспринципность восточнопрусского либерализма. По примеру же Фридриха этот скороспелый демократ отвергал «государство здравого человеческого рассудка», противопоставляя ему «государство принципов и теории».

В 1842 г. и Маркс признал конституционную монархию «двуполым существом, внутренне противоречивым и самоуничтожающимся».<sup>37</sup> В июне Эдгар Бауэр уже открыл поход вообще против конституционализма, насмешливо величая его «золотой серединой». Первоначально нападки носили скрытый характер и касались только «чистой теории», а не практических требований. Но осенью 1842 г. стало ясно, что соблазнительные надежды на мирное обновление Пруссии совершенно обманчивы. Тогда левые гегельянцы перешли в открытую атаку, не считая далее нужным идти общим фронтом.

Выступив против либералов Восточной Пруссии, Эдгар Бауэр сначала утверждал, что не объявляет войны «кенигсбержцам», а ищет соглашения с ними. Однако в глубине души он уже думал: «Кто не за нас, тот против нас». Этот умозрительный революционер не находил у либералов двух вещей — ненависти к существующему строю и теории. Истинная теория, по его мнению, рассчитывает на победу только путем уничтожения старого строя, а потому реформизм, который не увязан с истинной теорией, покоится на самообмане. В неустанном диалектическом процессе развития разум разрушает все, вещал Э. Бауэр, что существует и притязает на абсолютное значение; он преодолевает даже собственные формы, воплощенные в обществен-

ных отношениях. Пока же теория не нашла новых форм, она выражается и неизбежно должна выражаться в оппозиции.<sup>38</sup>

В современной борьбе оппозиция может победить лишь под знаком свободы. Но свобода, с точки зрения Э. Бауэра, невозможна ни в абсолютной, ни в конституционной монархии. Отличительный признак абсолютной монархии — рабство; его нужно упразднить, оно должно превратиться в такую свободу, при которой все равноправны и никто не подвергается опеке больше других. В конституционной монархии, «государстве привилегий», такая свобода невозможна: имущественный ценз создает здесь привилегированный и подчиненный классы; хотя народ и признается носителем верховной власти, но добровольно уступает ее правителю. Правительство же и народ — совершенно особые силы: правительство — прямая противоположность народу; чем сильнее правительство, тем слабее народ. В конституционном государстве народ — все еще поработанная масса, а у народного представительства нет «компактной основы, на которую оно может опираться». Вот почему оно способно исключительно говорить, а не действовать. Внутреннее противоречие, «трагедия конституционализма», заключается именно в том, что народ только ставит вопросы, но не принимает принципиальных решений. Чтобы достигнуть осязательных результатов, он должен стать революционным и республиканским, должен отказаться от желания быть посредником, «практичным», «золотой серединой»; иными словами, ему нужно закончить полным переворотом и уничтожить то самое состояние вечной войны правительства с народом, которое составляет сущность либерализма. Но разум никогда не сможет одержать победу, пользуясь легальными путями.

Революционная точка зрения и демократическое понимание государства, несомненно, почерпнутое у Руссо, позволяют Эдгару Бауэру небезуспешно атаковать восточнопрусский либерализм. Основной порок последнего, по мнению Э. Бауэра, заключается в том, что он считает себя просто необходимым «дополнением правительства», а не чем-то «самостоятельным с продуманной теорией и определенными целями». В этом коренится тот неисправимый реформизм, который тешит народ приятными мечтаниями вместо того, чтобы пробуждать его к насильственным и решительным действиям. Якоби, иронизирует Э. Бауэр, тоже считает себя необычайно «практичным», обосновывая требования конституции не на праве народа, а на обещании короля. Но он попросту связывает прогрессу ноги, когда желает сделать его легитимным. Он предается самообольщению, воображая, будто участие народа в политической жизни совместимо с христианским государством. Он желает остаться добрым пруссаком, а потому мучительно пытается придать разумность той государственной системе, которая не имеет с нею ничего об-

шего. Выступление Якоби, по мнению Э. Бауэра, служит ярким доказательством, что теория — лучшая практика.

Ошибочно полагаясь на мирное, органическое развитие Пруссии, кенигсбергские либералы все еще порицают отдельные законы, но не противопоставляют правительственной системе свою собственную. Они явно не понимают, что конституция лишь санкционирует привилегии короля и имущих классов, оставляя так называемые низшие классы в прежнем положении. Позволительно ли ныне питать иллюзии, будто подлинное обновление может быть связано со старыми, прогнившими условиями и беспочвенными представлениями? Против подобных вредных иллюзий нужно решительно восстать. Чтобы история могла основать государство разума, критика обязана подобно урагану смети всю гниль и разорвать цепи, приковывающие людей к старому.

Итак, прусское государство, заключает Э. Бауэр, нужно уничтожить и на его месте основать новое. Но последнее должно существенно отличаться не только от абсолютного, полицейского государства, но и от конституционного: монархия будет заменена республикой, опека и привилегии — самоуправлением народа. Каждый депутат станет действительным представителем народа и будет обязан только голосовать, а не дискутировать. Всякое представительство порождает аристократию, а потому не годится для политически сознательного народа: законы должны приниматься и отклоняться исключительно общинными собраниями. Таким путем Эдгар Бауэр надеялся, уничтожив противоречие между правительством и народом, спаять их воедино. Тем самым, по его мнению, устранялось бы также противоречие между законодательной и исполнительной властями, а правительство в старом смысле перестало бы существовать.

Политические идеи Бауэра, свидетельствующие о хорошем знакомстве с Руссо, представляют несомненный интерес. Прежде всего они наглядно показывают, как левые гегельянцы переходили от туманных либерально-оппозиционных настроений к демократической точке зрения. Но гораздо важнее, что Эдгар Бауэр часто виделся с Энгельсом, несомненно обменивался с ним взглядами и, наверное, читал ему свои рукописи. Правда, Фридрих был уже раньше настроен очень революционно. В середине 1839 г. он совершенно независимо от младогегельянцев утверждал, что сервиллизм, господство аристократии, цензуру и т. п. «нужно изгонять только мечом». Через полгода он прямо ждал чего-нибудь путного только от того государя, у которого звенит в голове от пощечины народа и окна во дворце которого разбиты камнями революции. Тем не менее, выступая сторонником революционных убеждений, Энгельс еще открыто не отмежевался от либерализма. Даже значительно позднее он продолжал сотрудничать в «Телеграфе» умеренного Гуцкова, а по при-

езде в Берлин «согрешил» несколькими «случайными» корреспонденциями в «Кенигсбергскую газету».<sup>39</sup> Наконец, в июле 1842 г. он открыто и решительно отмежевывается от либерализма.

К числу наиболее типичных соглашателей Энгельс относил видного вождя восточнопрусского либерализма Александра Юнга. Через голову последнего он решил нанести удар умеренному направлению, воспользовавшись тем, что Юнг выпустил в свет свои «Лекции о новейшей немецкой литературе».<sup>40</sup> По-настоящему книгу следовало бы просто игнорировать; но автор ее был издателем «Кенигсбергского литературного листка». Это меняло дело, заставляло Энгельса взяться за перо и написать интересную статью, помещенную в июльском номере «Немецких ежегодников».

Сразу принимая резко полемический тон, Энгельс сообщает кое-какие предварительные сведения о ненавистном представителе золотой середины. В свое время Юнг примкнул к «Молодой Германии» и таким образом перешел в оппозицию, сам того не желая. Каково положение для соглашателя! Александр Юнг на крайней левой! Легко вообразить все неудобства, им испытанные. Потом он выступил с книгой о крайностях пиетизма в Кенигсберге. Самый-то пиетизм он не отвергал, а боролся, видите ли, только с крайностями этого направления. Теперь «Кенигсбергский литературный листок» тоже борется с «крайностями»... младогегельянской школы: ведь все они от лукавого; чего-нибудь стоят только соглашательство и умеренность. Как будто «крайности» не представляют простых выводов! Так Юнг и застыл, видимо, все проспав после своего первого выступления. Rien appris, rien oublie! \*

Сошла со сцены «Молодая Германия» и народилась младогегельянская школа; Штраус, Фейербах, Бауэр и «Ежегодники» приковали к себе всеобщее внимание; борьба за принципы в полном разгаре и ведется не на живот, а на смерть; христианство поставлено на карту, и политическое движение заполняет все; а бедный Юнг все еще пребывает в наивной вере, будто у «нации» только и дела, что с замиранием сердца ждать новую вещь Гуцкова, обещанный роман Мундта или предполагаемые причуды Лаубе.<sup>41</sup>

Некогда Энгельс сам принадлежал к лагерю «Молодой Германии». Но ознакомившись с философией Гегеля, он довольно скоро подметил крайнюю ограниченность принципов младогерманских герольдов. Именно поэтому он особенно чутко относился к попыткам затушевать грани между первым и вторым, справедливо полагая, что в одну телегу нельзя запрячь коня и трепетную лань. Между тем Юнг, насквозь пропитанный соглашательством, упрямо пытался свалить Гегеля в одну корзину с

\* — Начему не научился, ничего не позабыл! *Ред.*

младонемцами. Это-то и возмущает Энгельса, ограждающего чистоту и определенность принципов. Чего-чего только не навязывают бедному Гегелю! — восклицает он. — Атеизм, еди-нодержавие самосознания, революционное учение о государстве да в придачу еще и «Молодую Германию». Но связывать Гегеля с какой-то кликой прямо смешно. Разве Юнг не знает, что Гуцков всегда полемизировал с гегелевской философией, что Мундт и Кюне ровно ничего не смыслили в ней, что специально Мундт в «Мадонне» и других местах наговорил о Гегеле нелепейшего вздора, а теперь открыто выступает противником его учения? Разве Юнгу неизвестно, что Винбарг тоже высказался против Гегеля, а Лаубе в своей истории литературы все время неверно применял гегелевские категории? Как видно, Юнг до сих пор двоился: в одной сердечной сумке носил Гегеля, в другой — «Молодую Германию». Теперь он захотел объединить их.<sup>42</sup>

Оглядываясь на пройденный путь, Энгельс мог бы воскликнуть: как мало прожито, как много пережито! Давно ли он питал горячие политические и эстетические симпатии к младонемцам? Давно ли называл их детьми Берне, которые «орудовали подобно грозе»? Давно ли утверждал, что вместе со своим духовным отцом они ждали часа, «когда украденные короны упадут с княжеских голов»? Но прошло два с половиной года — и Энгельс изменил свое отношение к младонемцам.

Он с таким пренебрежением смотрит на прежних любимцев, что даже пытается преуменьшить влияние, оказанное на них Берне. На самом деле, утверждает он, это влияние вовсе не так велико, как кажется: Мундт и Кюне объявляли Берне сумасшедшим; для Лаубе он был слишком демократичен и решителен; только на Гуцкова и Винбарга он оказал более длительное влияние. Такое положение вполне естественно: младонемцы были либералами, а Берне — республиканцем.<sup>43</sup>

Конечно, Юнг, одержимый страстью играть роль «литературного сводника и маклера», не замечал этого. Для него Берне — просто почтенный человек, который, обладая характером, имеет даже неоспоримые заслуги на манер какого-нибудь Варнгагена или Пюклера, ибо писал хорошие критические статьи о театре; но... он фанатик и террорист, а от сего боже упаси нас! Юнг просто не в состоянии понять такой простой характер, как Берне. Он не постигает, с какой необходимостью, с какой последовательностью даже самые крайние и радикальные изречения Берне вытекали из его внутренней природы: ведь автор «Парижских писем» по натуре был республиканцем. Юнг не знает, что Берне как личность занимает совершенно особое место в немецкой истории, что он был знаменосцем немецкой свободы. Кенигсбергский литератор не представляет себе, что значит восстать против сорока миллионов немцев и провозгласить царство идеи; он не понимает, что



Берне — Иоанн Креститель нового времени, проповедовавший самодовольным немцам покаяние и пришествие более сильного, того, кто будет крестить их огнем и безжалостно отделит пшеницу от плевел. К последним следует отнести и господина А. Юнга.<sup>44</sup>

Почему же Энгельс так яростно обрушился на младонемцев? В чем все-таки состоит их грехопадение? Ответ вовсе не труден. «Молодой Германии» не легко было бороться со смутным настроением своего времени, которым она сама была заражена. Бесформенные и неразвитые мысли, бродившие тогда в умах и осознанные только позднее, она использовала для игры фантазии. Отсюда неопределенность и смутность понятий, царившая среди самих младонемцев. Мысль об оправдании чувственности понималась грубо и плоско, либеральные принципы носили субъективную окраску, а вопрос о положении женщины давал повод к совершенно бесплодным и путаным спорам. Фантастические покровы, в которых пропагандировались эти представления, только увеличивали смуту.

Тем не менее блестящая форма младонемецких произведений, остроумный, пикантный и живой стиль, таинственная мистика, облекавшая главные лозунги, возрождение критики и оживление беллетристических журналов вскоре привлекли к молодым писателям симпатии широких кругов. Но, завоевав поле битвы, младонемцы сами раскололись на мелкие группки. Все разочаровались друг в друге, принципы исчезли, и дело сводилось к личностям. Дразги, взаимные колкости и пререкания из-за пустяков стали заполнять журналы. Легкая победа породила высокомерие и тщеславие. Младонемцы вообразили, что обладают всемирно-историческими характерами. Как только появлялся молодой писатель, к его груди тотчас приставлялся пистолет с требованием безусловной покорности. Каждый притязал на то, что исключительно он литературный бог. И самое ничтожное порицание возбуждало смертельную вражду. Таким образом, «Молодая Германия» утратила всякое духовное содержание.

Эта духовная пустота и отвращает взоры Энгельса от прежних соратников. Его возмущает отсутствие ясных, определенных и твердых принципов. «Мы, — пишет он, — требуем большего идейного содержания, чем либеральные фразы Паткуля или нежная чувствительность Вернера». Но Энгельс, горячо любивший литературу, настолько обладал историческим складом ума, что очень хорошо умел ценить достоинства отдельных младонемецких писателей. Среди последних Винбарга он считает самым «благородным».

Гуцков же наиболее ясен и вразумителен; рядом с Винбаргом он дал наиболее решительные доказательства своего политического настроения. Он, по мнению Энгельса, талантливый публицист и прирожденный журналист, сможет устоять лишь

в том случае, если усвоит новейшие достижения философии, религии и учения о государстве, посвятив «Телеграф» служению современному великому движению. В противном случае его орган будет не лучше других литературных журналов, которые представляют из себя «ни рыбу, ни мясо».

Идейная беспринципность, политическая отсталость или прямое отступничество Лаубе, Кюне и Мундта побуждают Энгельса высказаться очень резко. Лаубе «при всех своих дурных свойствах» еще до известной степени возбуждает симпатии. Но преодолеть суетность и верхоглядство ему мешает беспорядочная, беспринципная писательская деятельность: сегодня роман, завтра история литературы, послезавтра критические статьи, драмы и т. д. Мужество свободы ему так же чуждо, как и Кюне. Оба они забыли «тенденции» блаженной памяти «молодой литературы», оба захвачены пустыми литературными интересами.

Напротив, политический индифферентизм Гейне и Мундта превратился в открытое отступничество. Книга Гейне о Берне — «самое гнусное, что писалось когда-нибудь по-немецки». Мундт же утрачивает последние следы уважения со стороны нации. Вместе со своим оруженосцем Радевеллем он может сколько угодно заподозривать новейшую философию, искать якорь спасения в шеллинговом откровении и даже выставлять себя на смех бессмысленными попытками философствовать на собственный страх. Свободная философия может спокойно оставить без опровержения его ученические работы: они развалятся сами собой. На всем, что носит имя Мундта, наложено клеймо отступничества. Пожалуй, он вскоре приобретет нового подголоска в лице Юнга, который уже подает надежды в этом отношении.<sup>45</sup>

Недаром последний горько жалуется на «отрицание». Да, отрицание, отрицание! Бедные поклонники золотой середины видят, как его волны вздымаются все выше и пророчествуют пришествие «позитивного мессии». Кто же будет этим мессией? Кто выведет слабые, робкие души из пустыни отрицания? Кто из мрачной ночи отчаяния приведет их в страну с молочными реками и кисельными берегами? — Шеллинг, вот кто! Да, «гегельянец» Юнг не знает большего блаженства, чем сидеть во прахе у ног Шеллинга. Чтобы увенчать свое самоуничтожение, он падает ниц перед Шеллингом, первой лекции которого воскуряет фимиам величайшего удивления.<sup>46</sup>

Понятно, почему он протестует против радикализма, почему критикует книгу Фейербаха о христианстве, пытаясь доказать превосходство своей половинчатости над решительным радикализмом. И что за поразительные аргументы он вытаскивает! Фейербах, говорит Юнг, был бы совершенно прав, если бы земля представляла всю вселенную. С земной точки зрения вся книга его прекрасна, поразительна, превосходна, неопровержи-

ма; но с универсальной, вселенской точки зрения она ничтожна. Прекрасная теория! Как будто на луне дважды два — пять, как будто на Венере камни бегают, словно живые, а на солнце растения умеют говорить! Как будто за земной атмосферой начинается особый, новый разум, а дух измеряется расстоянием от солнца! Как будто, наконец, самосознание, к которому земля приходит в лице человечества, не является в то же время мировым сознанием!<sup>47</sup>

Юнг бродит в таком тумане, что воображает, будто он «боевой товарищ» радикалов и «защищает те же идеи». Но Энгельс резко, решительно и бесповоротно отмежевывается от подобных «товарищей». «...надо надеяться,—говорит Энгельс,—теперь он уразумел, что брататься с ним мы не хотим и не можем. Такие жалкие амфибии и двоедушные люди не пригодны для борьбы, которую начали и могут продолжать только люди с решительным характером... Но пусть он разрешит нам поблагодарить его за поддержку и сказать ему честно и открыто, за кого мы его принимаем... Приведенных доводов, полагаю, достаточно, чтобы мотивировать исключение г-на Юнга из стана решительных и „свободных“; ему самому теперь дана возможность видеть, что ему ставится в вину».<sup>48</sup>

Таким образом, юный Энгельс возмужал и в политическом отношении, перерос «Молодую Германию» на целую голову. Несходство литературных настроений превратилось в открытую политическую рознь. Перед нами не беспомощный ученик, которого ослепляют громкие имена, а оригинальный критик, творческий мыслитель и отважный боец, сознающий свои силы. Своим острым пером он уже умеет колоть противников в самые больные места. Мнимый «товарищ» Юнг испытал это хорошо на собственной шкуре. Но, конечно, он, видный литератор Восточной Пруссии, мог только свысока ответить какому-то «задорному, но отнюдь не талантливому мальчику». Так он и сделал, через неделю ответив Энгельсу статьей под заглавием: «Конфетка маленькому Освальду, моему противнику из „Немецких ежегодников“».<sup>49</sup> Но этот самый «ребенок» стал великим вождем многомиллионной рабочей армии, а Юнг, некогда предлагавший ему конфетку, даже немцам известен лишь по имени.

В лице Юнга Энгельс навсегда раскланялся с «Молодой Германией» и публично отмежевался от либерализма как умеренного, робкого, половинчатого движения. Он хорошо понимал, что его удел — не соглашательство, а открытый разрыв со старым строем, не борьба за конституционную монархию, а за республику и демократию. Таким образом, он пришел к последней черте прежнего мировоззрения, за которой был только один мир—коммунизм.

Решительно отвергая либерализм, Энгельс летом того же года посягнул и на особу короля прусского. Он набросал до-

вольно меткую характеристику Фридриха Вильгельма IV с целью поместить ее в «Немецком вестнике из Швейцарии», издавать который предполагал Георг Гервег. Однако это предприятие «по независящим причинам» натолкнулось на некоторые затруднения. Тогда поэт напечатал работы, полученные для первых выпусков от Бруно Бауэра, Давида Штрауса, Моисея Гесса, кенигсбержца Витта и Энгельса в особом сборнике «Двадцать один лист из Швейцарии». Как сам издатель, так и авторы рассчитывали на распространение «Вестника» в Германии. Поэтому они тщательно избегали резких нападок и рискованных сравнений, выражая свои идеи темным философским языком. Тем не менее под пером Энгельса получился портрет, не особенно лестный для оригинала.

По его мнению, четыре европейских государя обращают на себя внимание: Николай Российский той прямою и беззащитною откровенностью, с которой стремится к деспотизму; Луи Филипп, разыгрывающий Макиавелли нашего времени; Виктория Английская как законченный образец конституционной королевы; наконец, Фридрих Вильгельм IV, «вполне объяснимый развитием свободного духа и борьбой последнего с христианством». Он интересен как самый крайний вывод из «прусского принципа», проявляющего «полное бессилие перед свободным самосознанием». Царствующий король завершает развитие старой Пруссии; новая должна либо проникнуться совершенно иным принципом, а им может быть «только принцип свободного духа», либо с грохотом рухнуть.<sup>50</sup>

По собственному признанию, Фридрих Вильгельм стремится к христианскому государству. Но, чтобы восстановить его, король должен пропитать христианскими идеями рационалистическое, бюрократическое государство, ставшее почти языческим, возвысить культ и содействовать его соблюдению. Эту именно цель преследуют меры, поощряющие посещение церкви населением вообще и чиновниками в особенности, более строгое соблюдение воскресных дней, проектируемое усиление законов против брачных разводов, предпринятая уже чистка богословских факультетов, замещение многих должностных лиц людьми верующими и т. п. Но христианское государство не может на этом остановиться. Следующим шагом должно быть отделение церкви от государства. Здесь-то и возникает противоречие, окончательное разрешение которого возможно только путем подчинения одного из этих институтов другому, подчинения, для покорившейся стороны равносильного самоубийству. Что же сделал король? — В чисто теологическом духе он пытался затушить нескромные, неудобные принципы, ограничился только конкретными случаями и, окончательно запутываясь, думал разрешить их путем компромиссов. Но курия не уступала, и государство оставалось в дураках. Таково пресловутое разрешение церковных смут в Кельне.<sup>51</sup>

Аналогичные противоречия король встречает и во внутренней жизни государства. Он хватается за всевозможный средневековый хлам, но мечтает о прикрашенном средневековье; он стремится только к телеологической видимости, блеску и мишуре истинно христианского государства, а не к удовлетворению его нужд, уничтожению гнета, неурядиц.

Поэтому стремления Фридриха-Вильгельма IV не абсолютно реакционны и деспотичны. Боже упаси! Он намерен оставить своим пруссакам всяческие свободы, но... только в виде несвободы, монополии и привилегии. Не будучи решительным противником свободы печати, он охотно даст ее, но... опять-таки в виде монополии главным образом ученого сословия. Король не собирается упразднить народное представительство, но стремится к представительству не общегражданскому, а сословному. Словом, он знает не общие, гражданские или человеческие права, а только права корпоративные, монополии и привилегии. Он готов даровать их в изобилии, столько, сколько может дать, не ограничивая своей абсолютной власти установлением положительных законов. Быть может, он уже и сейчас питает тайное вожелание увенчать дело средневековья сословной конституцией.<sup>52</sup>

Остается под вопросом, удастся ли когда-нибудь королю осуществить свою систему? На это, к счастью, можно ответить только отрицательно. За год существования мнимосвободной печати, которая ныне оказалась снова самой несвободной, германский народ пережил огромный подъем. Гнет цензуры склывает такую массу сил, что малейшее послабление вызывает несоразмерно резкую реакцию. Ныне общественное мнение Германии все более сосредоточивается на двух вопросах — представительном строе и свободе печати. Как бы король ни вертелся, а его заставят дать свободу печати, за которую через год последует и конституция. При народном же представительстве даже невозможно предвидеть, по какому пути пойдет Пруссия. Одним из первых последствий, вероятно, будет расторжение союза с Россией, а за ним может наступить еще многое другое. Вообще современное положение Пруссии очень напоминает состояние Франции перед., но, заканчивает Энгельс статью, «я воздерживаюсь от всяких чересчур поспешных заключений».<sup>53</sup>

Энгельс дал довольно удачный портрет Фридриха-Вильгельма IV, который действительно грезил средневековым христианским и феодальным государством. Незирая на свои романтические фантазии, он все же имел точки соприкосновения с либеральной буржуазией, подобно последней, питая отвращение к бездарной и спесивой бюрократии. Король смутно чувствовал, что при такой форме государственной машины ему уже невозможно сохранять бразды правления. Поэтому он носился с «развитием сословных учреждений», «пристойной свободой пе-

чати» и т. п. Умеренно-либеральная оппозиция с ликованием рукоплескала туманным фразам короля, вкладывая в них свой собственный смысл. Но буржуазия не сумела обуздать христианские причуды короля; его же романтические грезы разбились о сухую прозу капиталистической действительности. Таким образом, невыносимое хозяйничание бюрократии продолжало давать населению предметные уроки политической мудрости. В конце концов тупая бюрократия вдолбила даже немецким мещанам сознание, что необходим насильственный переворот, и действительно поставила страну в положение, напоминающее Францию перед буржуазной революцией.

Статья о Фридрихе Вильгельме IV заслуживает внимания, ибо впервые обнаруживает влияние Маркса на Энгельса. Характеризуя короля, Энгельс стоит на той же точке зрения, которую проводил его будущий друг в статье, посвященной дебатам о свободе печати в Рейнском ландтаге и помещенной в майских номерах «Рейнской газеты» за 1842 г.

Маркс обращает острые философские понятия о «сущности человека» и «разуме вообще» против феодализма и его бессильных реставраторов. Пользуясь тем же оружием, он противопоставляет принципу привилегий принцип всеобщности, монополиям — «всеобщее право», дворянскому духу — «дух народа», ландтагу — всю провинцию. Наконец, согласно принципам гегелевской же философии, он конструирует идеальное правовое государство как полную реализацию духа свободы и законности. Это идеальное государство должно прежде всего упразднить привилегии сословий и отдельных лиц. Развитые идеи Маркс применяет и к вопросу о печати. Здесь он исходит из идеи о всеобщей свободе. Свобода настолько присуща человеку, говорит он, что осуществляется даже противниками, оспаривающими ее существо... Никто не борется против свободы вообще; борются только против свободы других. Поэтому во все времена существовали все виды свободы, только в одних случаях как особая привилегия, а в других — как общее право. Этот вопрос получил правильную постановку лишь теперь.<sup>54</sup>

Таким образом, и Маркс и Энгельс беспощадно бичуют романтический принцип. Оба прибегают к антитезам, противопоставляя корпоративным правам, монополиям и привилегиям общие гражданские или человеческие права. Наконец, оба на особый лад ратуют за свободу печати. По мнению Маркса, она существует иногда как «особая привилегия», а иногда как «общее право». Энгельс тоже полагает, что король стремится превратить ее в «монополию преимущественно ученого сословия». По существу — это одна и та же точка зрения.

Несомненно, Энгельс находился под сильным впечатлением от статьи Маркса, которая поражает остроумием, блеском, философской глубиной и полнотой аргументации. Во всяком случае их обоих, как и всех остальных младогегельянцев, сильно

волновал наболевший вопрос о свободе печати. Это видно хотя бы из того, что оба не раз отстаивали свои перья в ее защиту: не только Маркс, страстнейший из всех ее поборников, но и Энгельс выступил со специальной статьей, которая 14 июля была напечатана в «Рейнской газете» под заглавием: «К критике прусских законов о печати».<sup>55</sup>

Здесь он несколько сухоовато и сдержанно разбирает некоторые статьи Общего земского уложения и эдикт о цензуре от 18 октября 1819 г. Его занимают постановления законодателя, находящиеся под рубриками: государственная измена, оскорбление величества, а особенно «дерзкое, непочтительное порицание или насмешка над законами страны и правительственными распоряжениями». По его мнению, эти статьи Уложения сформулированы крайне неопределенно, допуская в отношении печати чрезвычайно широкие и «безусловно произвольные толкования».

В уголовном кодексе, отмечает Энгельс, не должно быть места такому неопределенному понятию, которое открывает простор для субъективного произвола; в особенности ему нет места там, где различие в политических воззрениях неизбежно выступает на сцену и где судьями бывают не присяжные, а правительственные чиновники. Осуществляемая последними, цензура бывает в разное время то более мягкой, то более суровой. Если она свирепствует, малейшее порицание оказывается непочтительным; если же она гуманна, признается еле-еле непочтительным даже то, что раньше считалось дерзким. Короче, цензура по самой природе — нечто шаткое; закон же должен стоять незыблемо, пока не отменен, и быть независимым от колебаний полицейской практики.<sup>56</sup>

Столь же непоследовательно, по словам Энгельса, стремление сделать наказуемым «возведение недовольства и негодования». Ведь это же явная задача всякой оппозиции. «Порицая какое-либо постановление закона, я, разумеется, намерен вызвать недовольство, и не только в народе, но даже у правительства». Как можно вообще порицать что-нибудь, не желая убедить других в несовершенстве порицаемого, т. е. не намереваясь вызвать их недовольство? «Я, — пишет Энгельс, — также достаточно честен, чтобы напрямик заявить о своем намерении вызвать этой статьей неудовлетворительность и недовольство § 151 прусского уголовного права, и при этом все же убежден, что порицаю этот параграф не „дерзко и непочтительно“, как говорится в самом этом параграфе, а „пристойно и благомысляще“, как выражается цензурный циркуляр». К чести прусского народа нужно сказать, что за несколько месяцев, когда применялся этот циркуляр, сделано уже многое, чтобы «пробудить негодование и недовольство».<sup>57</sup>

Характерно, что Энгельс по вопросу о цензуре высказывался в том же духе, что и Маркс. Еще 10 февраля Маркс послал

Руге свою работу о новейшей прусской инструкции с просьбой напечатать ее в «Немецких ежегодниках», добавляя при этом: «Если цензура не зацензирует моей цензуры».<sup>58</sup> К сожалению, предчувствие, выраженное остроумной шуткой, не обмануло его: журнал вскоре, действительно, был отдан под строжайшую цензуру, которая, конечно, не пропустила бы резкой статьи, направленной в ее собственное сердце. Тогда Руге решил «отборно красивые и пикантные вещи», скопившиеся в его редакционном портфеле, выпустить в Швейцарии особым сборником — «Anecdota philosophica». В этом сборнике, вышедшем только в начале следующего года, еще раз встретились покрытые рубцами ветераны младогегельянства — Руге, Бруно Бауэр, Фейербах, Науверк, Мориц Флейшер и Маркс.

В своей статье Энгельс нападает на логическую бессмыслицу эдикта о цензуре, который карал «дерзкое, непочтительное порицание или насмешку над законами страны и правительственными распоряжениями». Маркс по пунктам разбирает новую инструкцию, чтобы тоже обнаружить ее безнадежные противоречия, лишь слегка прикрытые мантией, мнимолиберальной по форме, но реакционно-романтической по содержанию. Подобно старому эдикту, новая инструкция о цензуре содержала предписание, что исследование истины в печати должно отличаться серьезностью и скромностью. Как Энгельс раскритиковал пресловутую фразу эдикта о дерзком, непочтительном порицании и насмешке, так Маркс вышучивает требования серьезности и скромности: «Вы, — пишет он, — восторгаетесь восхитительным разнообразием, неисчерпаемым богатством природы. Ведь не требуете же вы, чтобы роза благоухала фиалкой, — почему же вы требуете, чтобы величайшее богатство — дух — существовало в *одном* только виде? Я юморист, но закон велит писать серьезно. Я задорен, но закон предписывает, чтобы стиль мой был скромен. *Бесцветность* — вот единственный дозволенный цвет этой свободы. Каждая капля росы, озаряемая солнцем, отливает неисчерпаемой игрой цветов, но духовное солнце, в скольких бы индивидуальностях, в каких бы предметах лучи его ни преломлялись, смеет породить только один, только *официальный цвет!* Существенная форма духа — это *радость, свет*, вы же делаете единственно законным проявлением духа — *тьма*; он должен облачаться только в черное, а ведь в природе нет ни одного черного цветка. Сущность духа — это исключительно *истина сама по себе*, а что же вы делаете его сущностью? *Скромность*. Только нищий скромен, говорит Гете, и в такого нищего вы хотите превратить дух? Или же эта скромность должна быть той скромностью гения, о которой говорит Шиллер? В таком случае превратите сначала всех ваших граждан, и прежде всего ваших цензоров, в гениев».

С таким же блеском стиля, с такой же глубиной мысли, с такой же широтой замысла Маркс издевается над требованием



серьезности. Если только серьезность не соответствует тому определению Тристрама Шенди, по которому она есть лицемерная поза тела, скрывающая недостатки души, а означает деловую серьезность, тогда теряет смысл все предписание. Ведь смешное я осуждаю серьезно, если относиться к нему насмешливо, а быть скромным по отношению к нескромности — это самая серьезная нескромность духа.

«Серьезно и скромно! Какие неустойчивые, относительные понятия! Где кончается серьезность, где начинается шутка? Где кончается скромность, где начинается нескромность? Мы поставлены в зависимость от *темперамента* цензора. Было бы так же неправильно предписывать темперамент цензору, как стиль писателю. Если вы хотите быть последовательными в вашей эстетической критике, то запретите также *слишком серьезно* и *слишком скромно* исследовать истину, ибо чрезмерная серьезность — это самое комичное, а чрезмерная скромность — это самая горькая ирония».<sup>59</sup>

Новая инструкция отличалась от старого эдикта тем, что предписывала цензорам обращать особенное внимание на то, благонамеренна тенденция в печатных произведениях или нет. По этому поводу Маркс с убийственным сарказмом замечает: «Писатель, таким образом, становится жертвой *самого ужасного терроризма*, подвергается *юрисдикции подозрения*. Законы против *тенденции*, законы, не дающие объективных норм, являются террористическими законами, вроде тех, какие изобрела крайняя государственная необходимость при Робеспьере и испорченность государства при римских императорах. Законы, которые делают главным критерием не *действия*, как *таковые*, а *образ мыслей* действующего лица, — это не что иное, как *позитивные санкции беззакония*. Лучше стричь бороды у всех и каждого, — как это делал всем известный русский царь при помощи состоявших у него на службе казаков, — чем делать критерием для этого те убеждения, в силу которых я ношу бороду...»

Закон, направленный против тенденции, карает не только то, что я делаю, но и то, что думаю вне деяния. Он, следовательно, есть оскорбление для чести гражданина, закон, притеснительный для моего существования. Я могу вертеться и изворачиваться, как хочу, — сущность дела не меняется. Самое существо мое подозрительно, моя внутренняя сущность, моя индивидуальность считается дурной, и за это мнение я несу наказание. Закон карает меня не за неправду, которую я делаю, а за ту неправду, которую я не делаю. В сущности я подвергаюсь каре за то, что мое деяние непротивозаконно, ибо лишь этим путем я принуждаю мягкого, благожелательного судью налагать взыскание за мой дурной образ мыслей, который настолько осторожен, что не показывается на свет божий. Закон, карающий за образ мыслей, есть не закон государства для

граждан, а закон одной партии против другой партии. Закон, направленный против тенденции, уничтожает равенство граждан перед законом. Это закон не единения, а разделения; все же законы разъединения реакционны. «Это — не закон, а привилегия».

Новая цензурная инструкция, утверждает Маркс, запутывается в своеобразной диалектике. Она допускает противоречие, вменяя цензорам в обязанность исполнять все то, что она не осуждает в печати как противогосударственное. Так, инструкция возбраняет писателям заподозреть образ мыслей отдельных лиц или целых классов и тем же духом велит цензору разделять всех граждан на подозрительных и неподозрительных, на благонамеренных и неблагонамеренных. Критика, отнятая у печати, становится повседневной обязанностью правительственного критика... Так, инструкция хочет охранять религию — святость и неприкосновенность субъективного образа мыслей. Судьей сердца она делает вместо бога цензора. Так, она запрещает оскорбительные выражения и суждения, порочащие честь отдельных лиц, но ежедневно подвергает вас оскорбительному и порочающему вашу честь суждению цензора. Так, инструкция хочет прекращать сплетни, идущие от злонамеренных или дурно осведомленных лиц, и в то же время заставляет цензора всецело полагаться на подобные сплетни, на шпионство через дурно осведомленных и злонамеренных лиц, перенося суждение из сферы объективного содержания в сферу субъективного мнения или произвола.<sup>60</sup>

Независимо друг от друга Маркс и Энгельс уделяют внимание одной теме. Это характерно. Но не менее знаменательно и другое обстоятельство: несмотря на некоторые индивидуальные особенности обоих авторов, их статьи поражают оригинальностью, единством и выдержанностью направления. Мало того: даже в стиле их обнаруживается нечто общее. А между тем язык, обороты и самое построение работ, ранее опубликованных Энгельсом, значительно отличаются от статей Маркса. Это следует объяснить двумя причинами. С одной стороны, оба борца независимо друг от друга идут в одном и том же направлении. С другой стороны, Энгельс, по-видимому, тщательно следил за выходом «Рейнской газеты» и не пропускал ни одной из статей Маркса, публикуемых в этой газете. В них он находил поддержку своим взглядам.

---

## ПОВОРОТ Ф. ЭНГЕЛЬСА К КОММУНИЗМУ

## Глава X

## РОСТКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ГЕРМАНИИ

Экономическая и политическая отсталость Германии в конце 30-х — начале 40-х годов препятствовали развитию немецкого рабочего класса. Германский пролетариат того времени «неразвитый, выросший в полном духовном порабощении, неорганизованный, даже еще не способный к самостоятельной организации и только смутно чувствовал глубокую противоположность своих интересов интересам буржуазии».\* И все же передовые рабочие Германии уже начали создавать первые социалистические организации («Союз справедливых» 1836 г.), а бедственное положение немецких пролетариев привлекало внимание общественности.

В самом начале литературного поприща Энгельс в «Письмах из Вупперталя» очень ярко описывает положение пролетариев в долине реки Вуппер. Бармен и Эльберфельд были очень оживленными промышленными центрами, представляя наглядную иллюстрацию к «первоначальному накоплению». Пуританское скряжничество, безжалостная эксплуатация, рост богатства и лицемерная добродетель на одном полюсе общества противостояли нищете, невежеству, порокам, моральному отупению и физическому вырождению на другом.

Фабричные здания состояли из низких, смрадных и грязных помещений. С шестилетнего возраста рабочие дышали больше «угольным чадом и пылью, чем кислородом». Одиночки-кустари работали дома в невероятно тяжелых условиях. Здоровыми людьми изредка бывали только ремесленники, пришедшие из чужих местностей. Но даже наиболее крепкие среди них — кожевенники — года через три оказывались на краю физической и духовной гибели. В общем из пяти человек трое умирали от чахотки. Дети росли без родительского призора: в одном Эльберфельде из 2500 детей 1200 попадали не в школу, а на фабрику. Конечно, благочестивые капиталисты потирали

\* К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения, т. II, 1949, стр. 313.

руки от удовольствия, уплачивая малолетним за труд вдвое меньше того, что получал взрослый рабочий.

Веселой, здоровой народной жизни совсем не чувствовалось. Правда, на первый взгляд могло казаться иначе: каждый вечер по улицам бродили захмелевшие подмастерья, распевавшие песни; но то были грубые песни. По субботам и воскресеньям кабаки бывали особенно переполнены. Когда они закрывались часов в 11 вечера, пьяные толпами наводняли улицы и засыпали тут же в сточных канавах. Самые несчастные не имели ни определенного заработка, ни постоянного крова. Если они не проводили ночи на свалках или где-либо на лестнице, то спали на сеновалах, в конюшнях или каких-нибудь логовищах, которые покидали с наступлением дня. Так Энгельс рисует картину тяжелой жизни трудового люда долины реки Вуппер.

По дороге в училище Энгельс изо дня в день наблюдал эту безысходную нищету. Впечатлительный, чуткий мальчик видел и фабричные здания, и золотушных детей, и буйные ватаги; он слышал жалобы и недовольный ропот рабочих; он присутствовал при беседах своего отца с другими фабрикантами и знал хорошо их настроения. Вот почему наблюдательный и умный юноша нашел яркие краски, чтобы в своих «Письмах из Вупперталя» правдиво изобразить положение тамошних рабочих. Но, глубоко сочувствуя их бедствиям, начинающий литератор не имел еще представления о коммунизме. Тем не менее ему бросилось в глаза «расслоение на два враждебных лагеря»; он успел даже подметить «безобразное» хозяйничание и «растяжимую совесть» благочестивых фабрикантов: от того, что захочет одним ребенком больше или меньше, душа пиетиста еще не попадет в ад, тем более, если эта душа каждое воскресенье по два раза бывает в церкви.<sup>1</sup>

Детские и отроческие впечатления Энгельса, полученные не из книг, а от самой жизни, заронили первые симпатии к рабочим массам. Эти впечатления так глубоко врезались в его память, что никогда не могли изгладиться. Позднее литература «Молодой Германии» подогрела их своим сентиментальным сочувствием народным страданиям и кое-какими крохами сенсимонизма. Когда же в октябре 1839 г. юноша прочел Венедя «Пруссия и пруссачество», для него не прошел бесследно налет утопического социализма, в который была окрашена эта книга. Под свежим впечатлением он написал школьному товарищу письмо, где, между прочим, подчеркивал, что прусское правительство покровительствует «денежной аристократии за счет бедняков». Остальное содержание письма тоже указывает, что Энгельс возмущен существующими социальными порядками.<sup>2</sup>

Теми же неопределенно-социалистическими настроениями проникнуто и его стихотворение «Вечер», написанное летом 1840 г. Погружаясь в фантастические грезы, юный поэт воображает, как грядущая свобода преобразует социальные отноше-

ния. Будущий провозвестник классовой борьбы мечтает еще о «пальме мира», о «примирительной радуге» и любви. Но невзирая на свое религиозно-мечтательное настроение, наш поэт спускается с облаков и высказывает чисто земную мысль: пенящий волны корабль, думает он, не будет перевозить товары, содействующие обогащению отдельных лиц, и не станет служить жадному купцу для накопления: нет, он понесет посев, «из которого произрастает счастье человечества».<sup>3</sup>

Все это показывает, что Энгельс остро чувствовал несправедливости и несовершенства социального строя. Носившиеся в воздухе идеи сен-симонизма уже тогда глубоко запали ему в душу. Неудивительно, что в статье об Эрнсте Морице Арндте, напечатанной в январе 1841 г., он энергично восстает против майоратов и вообще аграрного законодательства, которое консервировало феодальные земельные отношения.

Энгельс решительно высказывается за «свободу землевладения». Он считает, что институт майората и аграрное законодательство немецких государств основаны на таком понимании собственности, которое не соответствует «нашим взглядам». Собственность отдельных лиц и семей на земельные участки не может сохраниться навеки. Когда же государство превращает лучшие земли в неотчуждаемое достояние аристократов, оно бросает прямой вызов народу. «Неотчуждаемое право работает прямо на революцию»,<sup>4</sup> так как оно порождает недовольство народа.

Таким образом, уже в ранних произведениях Энгельс предпринимает вылазки против трех столпов буржуазного общества — промышленников, купцов и помещиков. Отсюда не следует, впрочем, делать поспешный вывод, что уже на заре жизни он был сознательным социалистом. Его нападки выражают только кое-какие смутные социалистические искания. Но ничего мудреного здесь нет: революционно настроенные идеологи нередко идут дальше требований своего класса и в таком случае проявляют сочувствие социалистическим стремлениям пролетариата. Так было и с Энгельсом. До приезда в Берлин он уже стал революционером; как свободомыслящий, он нападал на пиелистов и попов, как демократ — на аристократию и князей, как республиканец — на реакционеров и монархию. Но он еще не предвидел, что эти нападки, ограниченные рамками буржуазного общества, со временем отойдут далеко на задний план перед иными, более глубокими противоречиями. Новые горизонты открылись перед ним только по приезде в Берлин.

Однако и в кружке «Свободных» он сначала продолжал питаться преимущественно идеями буржуазной демократии. Энгельс не мог, конечно, выпрыгнуть из тех условий, в которых формировалось его мировоззрение. Политическое самосознание буржуазии, хотя и проснулось, было еще облечено в оболочку умозрительной философии. Образованные люди с ве-

личайшими усилиями переходили от нее к политике, от «теории» к «практике». Незрелым социальным отношениям соответствовали незрелые, туманные или фантастические формы общественного сознания. Практические стремления переплетались со старыми предрассудками, трезвые взгляды — с пиетистскими грезами, факты — с иллюзиями. Словом, вся общественная атмосфера воспитывала людей переходного времени. Нужно было много мужества, настойчивости и характера, чтобы не сложить оружия на полдороге. Этими качествами обладали Энгельс и Маркс. К представителям этой эпохи принадлежит Моисей Гесс, сыгравший некоторую роль в формировании мировоззрения будущих друзей.

Он был старше их обоих, родившись в Бонне 31 января 1812 г. С шести лет воспитывался у деда, благочестивого еврея, ежедневно изучавшего Талмуд с его бесчисленными комментариями. Когда мальчику было 14 лет, умерла его мать. Отец, состоятельный сахарозаводчик, взял сына в Кельн, решив дать ему коммерческое образование у себя в конторе. Но обстоятельство толкнули Моисея к другому поприщу: его тянуло не к конторским книгам, а к Библии и творениям философов. Отец заметил, что торговля не прельщает сына, и против собственного желания дал в 1830 г. согласие на поступление его в Боннский университет. Впрочем, Гесс не изучал там определенных наук, а просто «учился», никогда не кончив курса. Вскоре религиозные разногласия с отцом и внутренняя неудовлетворенность побудили его оставить отчий дом. Он отправился странствовать. Некоторое время проживал в Голландии и Франции, а позднее пребывал в Швейцарии и Париже. Здесь Гесс впервые познакомился с теориями утопического социализма. Вскоре он стал убежденным последователем Спинозы и в 1837 г. выпустил первое объемистое, но очень хаотическое и бесформенное произведение: «Священная история человечества». Работая над своим первенцем, он, по собственному признанию, не был знаком в подлинниках ни с Сен-Симоном, ни с Сведенборгом, ни с Ламеннэ, ни с Бентамом, ни с Гегелем, ни с Гейне, ни с так называемой «Молодой Германией».<sup>5</sup>

Подобно будущим основателям научного социализма Гесс родился и вырос в Рейнской области; подобно Марксу происходил из еврейской семьи; подобно Энгельсу был сыном состоятельного промышленника, религиозно-консервативные убеждения которого не раз служили яблоком семейных раздоров. Старший по возрасту Гесс раньше Маркса и Энгельса познакомился с утопическим социализмом, но он, вечно создающий себе иллюзию, как впоследствии выразился Энгельс, жил в царстве мечты и фантазии.<sup>6</sup> Он мечтал о будущем прекрасном строе, но не отличался способностью выражать свои идеи ясно и определенно. Он видел далекие перспективы, но не умел ни бесстрашно анализировать действительность, ни систематически

обобщать, ни последовательно строить науку. И не без основания он однажды противопоставил свою «примирающую» натуру «разлагающей» натуре Маркса.<sup>7</sup>

Будучи последователем Спинозы, Гесс пытался примирить его учение с гегелевским. Уже в первом произведении он борется со стремлением Гегеля подчинить природу духу. Вместе с младогегельянами и в том числе Энгельсом он желает засыпать пропасть, вырытую между теорией и практикой, между мышлением и действием, ибо «история есть действие» прежде всего.

Гесс — не оригинальный мыслитель, а энтузиаст с энергичным и деятельным характером. Он вовсе не желал быть философом, только наблюдающим, систематизирующим и объясняющим действительность. Он пытался придать философии практический смысл и ратовал за ее решительное вмешательство в исторический процесс. С его точки зрения, философия истории, конечно, не может быть самоцелью. Вслед за Сен-Симоном Гесс утверждает, что познание исторических законов имеет смысл лишь в том случае, если оно выходит за границы прошлого и превращается в путеводную нить к грядущему: исходя из двух величин — прошлого и настоящего, важно сделать вывод относительно будущего. Философия истории должна переходить в «философию действия», потому что только благодаря действию личность приобретает историческое значение. Чем «священнее» история, т. е. чем значительнее расширяется человеческое сознание, тем более человек способен сознавать исторический процесс и творчески на него воздействовать.

Более подробно Гесс изложил эти идеи во втором большом произведении, которое, по его утверждению, было лишь «дальнейшим развитием» первого. В 1841 г. появилась «Европейская триархия» — работа, несравненно более продуманная, но напичканная смешными утверждениями, произвольными конструкциями, фантазиями и даже мистицизмом.<sup>8</sup> Лейтмотивом автора является желание осуществить философию, «собравшую всю истину». «Небо» должно вернуть свои сокровища «земле»; философии нужно придать практический или политический характер, «политизировать» ее. Этот вопрос сильно занимал Энгельса и других левых гегельянцев: они ведь тоже переходили от философии к политике и по-своему выдвигали «философию действия».<sup>9</sup>

Гесс попытался связать философию не только с политикой, но и с утопическим социализмом и приложил немало усилий к распространению последнего в Германии.

Пренебрегая фактами и втискивая историю человечества в прокрустово ложе предвзятых конструкций, Гесс в своей «Триархии» подразделяет историю на три главных периода. Первый, отличающийся абсолютным неравенством, начинается с Адама и «адамитов»; в течение его образуются язык, частная собствен-

ность и рабство, складываются роды, нации, государства и т. д. Средний период завершается Французской революцией; он отличается постепенным переходом к равенству, кое-какие зачатки которого заметны уже в средние века. Однако лишь Реформация, имевшая, по мнению Гесса, половинчатый характер, породила духовную свободу, а Французская революция — нравственную; немецкая философия, достигшая кульминационного пункта в лице Гегеля, осуществила свободу духа, но только в идее. Так как принципы нравственной свободы воплотила в жизнь Французская революция, завершившая религиозный переворот, в начале третьего периода возникает задача — связать духовную свободу с действительной, реальной. Вот почему во взаимодействии немецкой и французской свободы состоит существенная тенденция нашего времени.<sup>10</sup>

Гесс уверен, что со временем три великих государства — Германия, Франция и Англия — образуют Соединенные Штаты Европы. Но предварительно «необходимо Германию дополнить Францией, а последнюю в свою очередь Германией». Почему же? — По следующим основаниям: в Германии господствует социально-духовная свобода, потому что Германия — царство духа, во Франции — социально-нравственная свобода, ибо Франция отличается силой воли; в «светоче будущего» — Англии зачнется социально-политическая свобода, так как здесь больше, чем где-либо, развит практический смысл. Объединение этих трех форм свободы радикально преобразует отношения господствующих и подчиненных классов. Оно устранил, наконец, противоречие между пауперизмом и денежной аристократией, пока еще не достигшее «революционной высоты». Тогда союз трех государств, троевластие, или «триархия», осуществит единство высшей культуры, вечный мир и идеал государства. Образуется такая верховная власть, где не может быть коллизий, ибо она будет покоиться не на внешнем насилии, а на силе духа. Вместе с тем будет достигнута полная свобода, которая объединит в высшем союзе все противоречивые интересы: наибольшая свобода возможна лишь в наилучшем строе и наоборот.<sup>11</sup>

«Европейская триархия», ныне основательно забытая, в свое время обратила на себя внимание радикальных кругов и стала известна Энгельсу.

В марте 1841 г. появился благоприятный отзыв о книге Гесса, написанный Людвигом Булем. Замаскировавшись псевдонимом д-р Люциус, он признает, что стремления чартистов и последователей Оуэна означают практическую подготовку социальной революции.<sup>12</sup> 24 июля в том же журнале анонимный автор указывал, что и в Берлине имеется пролетариат, «полное обезчеловечение» которого можно предупредить только социальными реформами; поэтому он предлагал философам серьезно изучить «науку социализма», хорошо разработанную



французами и англичанами, но вместе с тем погрузиться в практику и основательно заняться ею.<sup>13</sup>

Наконец, в том же «Атене» молодой Константин Франц поместил статью под знаменитым заглавием: «О положении фабричных рабочих». В этой статье он указывал на опасности пауперизма. По его словам, нужда рабочих уже много раз обсуждалась и всесторонне рассматривалась. Нищета была признана бременем общества. Придумывались средства устранить или по крайней мере уменьшить это бремя; предлагалось, например, устроить колонии для бедных. Но это, по мнению Франца, не средство против обнищания: удалите 1000 бедняков, вновь обнищает 10 000! Частная благотворительность тоже может лишь содействовать росту нищеты. Между тем нищета порождает безнравственность и черствость, возбуждает зависть и недовольство законами, поощряет наклонность к праздности, а праздность — начало всех пороков.<sup>14</sup>

Но самое опасное последствие нищеты заключается в том, что фабричные рабочие не образуют сословия или корпорации, а «исключены из гражданского общества и государства»: они встают против законного порядка и создают собственную корпорацию, которая и приобретает все большую опасность для государства. Таковы, например, английские чартисты. Фабричные рабочие — не граждане; для них гражданский порядок — только внешнее принуждение. Поэтому они ненавидят и презирают закон. Вот каково настроение массы! Так «организуя эти массы, или они организуются сами — но для штурма».<sup>15</sup> Желая предупредить «штурм», Франц требовал помощи от государства, обязанного оградить рабочих от произвола и превратить их в независимых граждан.<sup>16</sup>

Социалистические идеи проникали в Германию не только через «Европейскую триархию», но и через другие каналы. Иначе не могло быть: заговор бланкистов 12 мая 1839 г. и волна чартизма вызывали самый живой интерес к социализму и тайным коммунистическим союзам. В 1840 г. Рохау, некогда участвовавший в штурме франкфуртской гауптвахты, выпустил криклическое изложение социальной системы Фурье. Берне сделал немецкий перевод «Слова верующего» Ламенне, которым зачитывались ремесленные подмастерья. В журналах все чаще стали писать об английских социалистах, особенно о Годвине и Оуэне. Один из будущих «истинных» социалистов Франц Шмидт напечатал две статьи, излагавшие различные социалистические системы, а также практические стремления чартистов и бланкистов. Он с теплотой отзывался о теоретических и практических усилиях великих утопистов, называя их «благородными сердцами», горячо «пылающими за благо человечества». Шмидт отдавал преимущество кооперативному производству перед существующими его формами и подчеркивал, что на горизонте ясно вырисовывается борьба неимущих классов за власть и богатство. Хотя автор и

смотрел на «наступающую бурю» с довольно беспомощным видом, тем не менее обе работы должны были поразить Энгельса, если только попали в его руки.<sup>17</sup>

Воцарение нового короля, ослабление цензуры и более яркое мерцание политической жизни на время заслонили социальные вопросы. Берлинские радикалы не сразу разочаровались в государстве и возлагали кое-какие надежды на мирное обновление. Исключительный интерес к чисто политическим вопросам содействовал сдержанному, недоверчивому и даже отрицательному отношению их к социалистическим требованиям. В этом смысле интересна статья Людвига Буля о международном положении революции. Он охотно соглашается с принципом равенства, составлявшим, так сказать, душу французского социализма, и даже допускает, что после организации государства следует подумать о лучшей организации общества. Однако робкого Буля пугает мысль, что чернь взойдет на трон и провозгласит грубое насилие. Поэтому он полагает, что осуществление принципа равенства должно заключаться не в унижении высших, а в нравственном и умственном возвышении низших. Чернь должна перестать быть чернью; образование должно устранить границы между нею и высшими классами. Буль думает, что еще не созрело время для осуществления этой цели. Словом, он предпочитает, чтобы образованные люди сами уничтожили границы между классами и таким образом разрешили социальную задачу без участия масс.<sup>18</sup>

В том же «Атенее», где была помещена статья Буля, видный представитель «Свободных» — Эдуард Мейен еще решительнее выступает против социализма. В сущности он вполне готов довольствоваться равенством в образовании и в политических правах. По его утверждению, имущественное равенство давно отвергнуто историей как пустая абстракция. История вообще стремится вовсе не к равенству, а к свободе. Она даже нуждается в неравенстве, чтобы в обществе были такие же постепенные переходы и такие же стимулы развития, как и в природе. По его мнению, не все могут господствовать, многие должны и служить; поэтому силы духа распределены неравномерно, точно так же как народы в целом подвергаются разной исторической судьбе в зависимости от своего естественного состояния и положения в мире.<sup>19</sup>

Буржуазные радикалы не могли взять в толк, на каком собственно основании Гесс утверждает, что общественные противоречия неизбежно вызовут в Англии социальную революцию. Им, пребывавшим в пустыне абсолютизма, все еще мерещилось марево «разумного государства»: разве оно путем просвещения и организации не сумеет оградить интересы пролетариата? Это суеверное почитание государства отличало радикалов от Гесса, который, напротив, относился к нему весьма недоверчиво. Чтобы избавиться от иллюзий, связанных с идеей государства, ну-

жен был прежде всего исторический опыт. Однако и им способны были воспользоваться лишь люди, обладавшие революционным темпераментом. Такими людьми являлись Маркс и Энгельс, современники Гесса. Вращаясь в сравнительно узком кругу интеллигенции, они должны были встречаться. И, действительно, Гесс вскоре познакомился с обоими — сначала с Марксом, а потом с Энгельсом.

Все современники, лично знавшие Маркса, удивлялись его необыкновенным умственным дарованиям, могучей силе воли и прочим душевным качествам. Но не все сознавали их размеры. Так, например, поэт «Галлеских ежегодников» Пруц видел в Марксе только «выдающийся талант».<sup>20</sup> Гесс же, познакомившись с ним в Кельне на одном из совещаний по поводу «Рейнской газеты», видел в Марксе «величайшего» философа, который привлечет к себе взоры всей Германии в ближайшем будущем, когда выступит публично (как в литературе, так и на кафедре). По мнению Гесса, Маркс, как по своей тенденции, так и по философской культуре превосходит не только Штрауса, но и Фейербаха. Маркс в будущем нанесет последний удар средневековой религии и политике; он соединит в себе с глубочайшей философской серьезностью самое язвительное остроумие; «представь себе Руссо, Вольтера, Гольбаха, Лессинга, Гейне и Гегеля объединенными в одном лице», — замечает Гесс, — и ты будешь иметь д-ра Маркса».<sup>21</sup>

Как раз ко времени первой встречи Гесса с Марксом среди левых гегельянцев наступило уже некоторое отрезвление: розовые надежды, возлагавшиеся ими на историческую миссию государства, начали постепенно блекнуть. Вера в мирное осуществление «государства разума и интеллигенции» быстро падала, а вместо нее вырастал вопрос: где же сила, которая произведет насильственный переворот? Гесс написал небольшую статью с намерением поместить ее в «Атенею». Возможно, что ему оказал содействие Маркс, там же напечатавший ранее свои «Неистовые песни». Как бы то ни было, статья Гесса появилась в «Атенею» 9 октября 1841 г. под заглавием: «Современный кризис немецкой философии».

Вслед за Руге, Энгельсом и другими младогегельянами Гесс проводит различие между ними и самим учителем. Младогегельянская школа вышла, по его мнению, за пределы гегелевской философии, решив осуществить ее достижения в жизни или, правильнее, преобразовать жизнь в духе приобретенного самосознания. С другой стороны, новое направление, бесспорно, продолжает опираться на прежнюю «идеальную» основу гегелевской философии.<sup>22</sup>

Вместе с «новым умственным движением» Гесс признает абсолютный дух принципом философии: только дух, только самознание можно почитать колыбелью истины и действительности. Но Гегель главным образом стремился объяснить, как раз-

личные формы жизни возникают из духа. Современная же «философия практики» преимущественно разоблачает необходимость их исчезновения и, следовательно, вскрывает их преходящий характер. Она отрицает бездушную, противоречащую разуму мистическую жизнь. Ее противники тоже отрицают и «беспощадно» полемизируют. Но они отрицают вечный дух, который кажется им жупелом, ибо ежеминутно грозит разбить их жалкое существование.

Помещая статью в «Атенеэ», Гесс одновременно принимал участие в подготовительных работах по изданию «Рейнской газеты», задуманной влиятельной группой буржуазии. С начала 1842 г. она действительно стала выходить под редакцией, в которую входил и Гесс. Однако сотрудничество его было очень затруднительно. Первоначально газета наметила сравнительно умеренную, чисто буржуазную программу. Она относилась к Пруссии безусловно дружественно, настаивала на ее гегемонии, начало которой видела в таможенном союзе, и стремилась к единству Германии на либеральной основе. Вместе с тем газета решительно отвергала романтическую идею «христианско-германского» государства, боролась с религиозной нетерпимостью и выступала за отделение церкви от государства. Она требовала, чтобы прусское правительство руководилось только государственными соображениями, признало историческую необходимость и вступило на путь буржуазного прогресса. Этот прогресс газета связывала со свободой печати и народным представительством, с контролем и экономией в финансовом хозяйстве, с постройкой железных дорог, общим флагом и общими консулами для таможенного союза. Она вовсе не питала особенных симпатий к Франции и была патриотическим органом в буржуазном смысле этого слова. Разумеется, основатели и руководители газеты ничего не желали слышать о коммунизме.

Между тем Гесс питал горячие симпатии к Франции, очень скептически относился к государству и уже стал утопическим коммунистом. При таких условиях нелегко было критиковать и даже отрицать государство, в котором младогегельянцы, задававшие тон газете, видели какой-то фетиш. Еще труднее было пропагандировать коммунистические идеи и доказать неизбежность социальной революции. Вскоре, однако, положение дел стало меняться. Хотя и с большими затруднениями, тем не менее Гессу иногда удавалось использовать столбцы газеты для изложения своих воззрений. Уже в апреле появилась его очень интересная заметка «Загадка XIX века». Здесь он независимо от Эдгара Бауэра и других младогегельянцев подвергает конституционализм резкой критике.

Считая его только переходной формой, Гесс упрекает конституционную монархию в «двуполости», как это делал Эдгар Бауэр, Маркс и другие младогегельянцы. В то время образованные немцы считали Англию образцовой конституционной монар-

хий. Гесс готов согласиться с общепринятым мнением именно потому, что Англия «еще по уши погружена» в средневековые и английское общество терпит подобную переходную форму политического правления. Однако подлинной родиной конституционализма автор считает Францию. Великая французская революция, полагает он, задала миру загадку: она вызвала всеобщее брожение, провозгласив свободу и равенство. Но разрешить загадку оказалось не так легко, как вначале думали. Санкюлотизм, эта первичная, стихийная, грубая форма свободы и равенства, был скоро изжит, породив империю. Лишь позднее началось подлинное разрешение загадки. И вот, невзирая на свое отрицательное отношение к конституционализму, Гесс признает, что Июльская монархия представляет первую разумную попытку осуществить свободу и равенство. В то же время он вместе с Берне понимает, что страх перед рецидивом санкюлотизма сделал июльскую революцию осторожной, слишком осторожной. Но можно ли за это порицать ее? Кто видит только внешность, кто судит о народной жизни по преходящим формам правительства, тот может заметить лишь попятное движение. Но если обратить внимание на метаморфозы, наступившие с 1830 г. в недрах французской, английской и немецкой наций, то можно надеяться, что «загадка сделала шаг вперед к своему разрешению».<sup>23</sup>

Гесс должен был считаться с требованиями не только цензуры, но и пайщиков, бывших хозяевами газеты. Поэтому он иногда прибегал к особым приемам, желая ознакомить читателей с коммунистическими стремлениями. Так, в апреле же он поместил передовицу под заглавием «Коммунисты во Франции», перепечатав материалы из французской консервативной газеты «La Presse». По словам Гесса, эти материалы содержат кое-какие «полезные истины» и «ценные признания»; все другие революционные, реформаторские и оппозиционные направления здесь излагаются как неосновательные и непоследовательные; только путем решительной переделки всего существующего строя можно обеспечить народам будущее.<sup>24</sup> Краткий очерк коммунизма во Франции, даваемый в статье, должен убедить немецких читателей, что по ту сторону Рейна происходит важное историческое явление: коммунизм завоевал очень многих приверженцев среди интеллигенции и народа. От него нельзя уже отделаться двумя-тремя высокомерными фразами; напротив, это явление нужно серьезно изучить и оценить по внутреннему его содержанию.<sup>25</sup>

Говоря о «загадке XIX века», Гесс пользовался эзоповским языком. Тем не менее его тайная мысль была понятна радикальным кругам, занимавшимся вопросами современной политики. В сущности «загадка» сводилась к тому, как осуществить свободу и равенство, не нанося ущерба ни первой, ни второму. Гесс неоднократно возвращается к затруднительному вопросу.

Между прочим, этому вопросу посвящена статья о централизации в Германии и Франции, напечатанная 17 мая в «Рейнской газете». Автор обсуждает этот вопрос, находясь под очевидным влиянием Фейербаха. Следует ли, спрашивает он, индивидуальную свободу принести в жертву всеобщей, т. е. закону, или же последним нужно пожертвовать ради индивидуальной свободы?

По мнению Гесса, при правильной, «высшей» точке зрения этот вопрос оказывается мнимым. Если «индивид соответствует своему понятию», если, иными словами, человек есть действительно то, чем должен быть по своей сущности, индивидуальную свободу нельзя противопоставить всеобщей; ведь истинный человек живет только жизнью рода, не обособляя своего индивидуального, отдельного существования от общего; его свобода никогда не может вступить в коллизию с законом, ибо закон является не чем-то внешним, а его собственной волей. Таким образом, если допустить, что народ состоит из справедливых людей, не может возникнуть и самый вопрос: центральная власть жила бы во всех членах, как это действительно бывает в каждом здоровом организме. Но в таком организме излишни не только внешний закон вообще, не только всякое положительное установление или конституция, но и всякая центральная, или верховная, государственная власть. Общество, состоящее из здоровых членов, вообще не было бы тем, что мы называем государством, а стало бы идеалом человечества. И именно государство должно воспитать и подготовить народ к этому идеалу.<sup>26</sup>

Как воспитательное учреждение, оно имеет две задачи: во-первых, положительно содействовать развитию, гуманному образованию; во-вторых, устранять всякое препятствие, стоящее на пути к этому развитию. Последняя задача решается с помощью закона, первая — с помощью свободы. Закон — это защита от антисоциальных, эгоистических тенденций; свобода — это сама жизнь, само развитие. Оба полюса государственной жизни нужно строго различать, чтобы свобода не перешла в эгоистический произвол, а закон — в нивелирующий деспотизм. Только при таком разграничении возможна гармония в государственной жизни. Если строго различать оба полюса, поставленная выше проблема разрешается сама собой.<sup>27</sup>

С этой точки зрения централизация предосудительна лишь в тех случаях, когда она выходит за границу своей области — политики или государственной жизни в узком смысле, т. е. правовой сферы, и осмеливается вторгнуться в пределы индивидуальной жизни. Напротив, если централизация подвергается ограничениям и в своей собственной области, то одновременно ограничивается господство самого закона, ибо он может исходить только от центральной власти. Поэтому централизация — враг не индивидуальной свободы, а субъективного произвола, эгоизма, местного и кастового духа, вообще всякого беззакония. Понятно, почему во Франции системе централизации были прине-

сены в жертву Людовик XVI, дворянство, духовенство и все корпорации, составлявшие государства в государстве. Впрочем, короли Франции делали то же, что и Французская революция. Но, желая установить исключение в том отношении, что одна личность, личность короля, должна стоять выше закона, они были не так последовательны, как революция. Людовик XIV говорил: «Государство — это я». Революция же говорит: «Государство — это закон». Центральная власть, представительница государства, есть воплощенный закон, независимый от личных влияний; она — лучший, единственный оплот общей свободы. Франция вступила в бой за централизацию, за господство закона, а Германия — за свободу духа, за индивидуальное развитие человека. Поэтому они представляют два полюса социальной жизни и взаимно дополняют одна другую.<sup>28</sup>

Так Гесс примирял индивидуальную свободу со «всеобщей». Совершенно ясно, что общество, состоящее из «справедливых» людей и осуществляющее «идеал человечества», предполагает равенство. Осуществить равенство значит сделать лишним государство и таким образом разгадать загадку XIX в. Но писать в «Рейнской газете» на подобные щекотливые темы было не совсем удобно. Поэтому Гесс выжидал внешнего повода, чтобы вернуться к излюбленным идеям. Вскоре благоприятный случай представился. Как уже было сказано, чартистское движение в Англии вызвало некоторое возбуждение и на континенте Европы. «Рейнской газете» не подобало обходить молчанием такое важное событие. Свои соображения по этому поводу Гесс с необычайной для него ясностью изложил в небольшой статье, появившейся в конце июня 1842 г.

Общественное зло, думает он, коренится не в налогах или хлебных законах, не в борьбе политических партий и не в недостатках правительства, а гораздо глубже.

В чем же заключается «социальное зло»? Его объективные причины, отвечает Гесс, знает каждый. Промышленность из рук народа перешла в руки капиталистов. Торговля, которой ранее занимались многие мелкие торговцы, ныне все больше сосредоточивается в руках немногих крупных предпринимателей и спекулянтов. Благодаря законам о наследовании земельная собственность тоже скопляется в руках немногих аристократов. Словом, крупные капиталы воспроизводятся и скопляются у отдельных семей. Эти не политические, а социальные условия имеются повсеместно и особенно в Англии. Они-то и представляют главную причину предстоящей катастрофы. Таково положение вещей, относительно которого Германия еще располагает временем для спокойных размышлений. Страстные французы хотят предупредить историю, с воодушевлением воспринимая фурьеристские, сен-симонистские и коммунистические идеи. В Англии же история, эта «великая разрушительница и созидатель-

ница всех общественных отношений», постепенно овладевает пока не решенной загадкой нашего века.

Для немцев такая постановка вопроса была новостью. Правда, она не отличалась особенной определенностью. Ведь сотрудник «Рейнской газеты» выражал свои идеи более или менее общими фразами: «зло» коренится в «социальных отношениях», «загадку» разрешит сама «история», революция порождается противоречием между «денежной аристократией и пауперизмом» и т. п. Но он не указывал, в чем будет состоять социальная революция и какой класс произведет ее, не подозревая, что на это способен только пролетариат. Он даже не употреблял самое слово «пролетариат» и предпочитал говорить о «народе». Наконец, самая постановка вопроса отличалась крайне отвлеченным характером, наивным сентиментализмом и чисто этическим пониманием «социального зла». Словом, воззрения Гесса обладали очень большими пробелами и отличались крайней туманностью. И все же он уже был утопическим социалистом. Не считая государство воплощением свободы и нравственности, он все более удалялся от буржуазной точки зрения, свойственной левым гегельянцам. Об этом свидетельствует, например, статья его «Политические партии в Германии», 11 сентября 1842 г. напечатанная в «Рейнской газете». Статья, сильно заинтересовавшая «Свободных» и в том числе, конечно, Энгельса, действительно заслуживает внимания.

Автор доказывает, что обе французские революции вручили власть вовсе не всему народу, а только буржуазии. Они закончили свой цикл; новое время требует и нового принципа. Задача XIX века — освободить весь народ. Только теперь поняли, что господство большинства не есть еще господство народа. Равновесие властей, к которому до сих пор так сильно стремились, само по себе тоже недостаточно. Даже при наиболее республиканских учреждениях свобода превращается в пустой звук вследствие нищеты, лишающей огромную часть общества возможности свободно развивать свои силы.

Идеи Гесса, контрабандой протаскивавшего утопический коммунизм и неизбежность социальной революции, далеко не совпадали с устремлением левых гегельянцев. Но Энгельс заинтересовался ими скорее других «Свободных», ибо ему было чуждо слепое преклонение перед учением Гегеля о праве и государстве. Кроме того, увлечение Французской революцией и якобинством сочеталось у него с отроческими воспоминаниями о невыразимой нищете фабричных рабочих. Мотивы, найденные в статьях Гесса, были хорошо ему знакомы: он сам чувствовал страдание к «униженным и оскорбленным», питал ненависть к политическим привилегиям, нападал на промышленников, купцов и землевладельцев. Наконец, Энгельс всегда относился с непреодолимым отвращением к робости, половинчатости и беспринципности, независимо от того, кто впадал в один из этих



смертных грехов: младонемцы, «Свободные», южногерманские или восточнопрусские либералы. По своему революционному темпераменту он независимо от разных влияний постоянно занимал самую крайнюю левую позицию. В июле же юноша открыто и резко напал на либерализм в лице Александра Юнга. Конечно, Энгельс прислушался к проповеди тех новых идей, глашатаем которых выступил Моисей Гесс.

К сожалению, нет точных и бесспорных данных о последних месяцах его пребывания в Берлине. Однако вместе с Густавом Мейером можно допустить, что перу Энгельса принадлежит статья о централизации и свободе, ровно через неделю помещенная в той же «Рейнской газете». Подобно Гессу, автор статьи оспаривает мнение, широко распространенное среди младогегельянцев, будто государство — реализация абсолютной свободы. Если бы оно даже реализовало свободу объективную, все же субъективная, истинная свобода нашла бы воплощение только в истории. Суверенная власть принадлежит лишь истории, так как она — дело человечества, жизнь рода, абсолютное право. Государственная же власть простирается исключительно на то, что имеет всеобщее значение, а не на то, что касается отдельных личностей. Поэтому английские рабочие, жестоко страдавшие от голода, с полным основанием жалуются на государственный строй и сэра Роберта Пилия, а не на историю, ибо последняя превращает их в «носителей и представителей нового правового принципа».<sup>29</sup>

Автор этой заметки еще поддерживает гегелевское противопоставление государства обществу или «истории», ему импонирует фейербаховское понимание истории как «дела человечества» и «жизни рода», вместе с тем у него так же, как и у Гесса, проявляется отрицательное отношение к государству. Слабое влияние Гесса пробивается и в другой заметке, тоже напечатанной в «Рейнской газете». Она посвящена противникам суда присяжных, ковыряющих «мертвое абстрактное право». Некоторые юристы, говорится здесь, объявляют безопасность жизни и собственности погибшей, если присяжные во Франции или Англии оправдывают бедного пролетария, который с отчаяния от голода стянул на грош хлеба и потому привлечен к ответственности за кражу. Разумеется, Энгельс издевается над подобными страхами.

До сих пор литературно-публицистическая деятельность Энгельса была очень велика. Внезапно она прерывается: если не считать незначительных (да и то сомнительных) заметок, с июля до начала декабря 1842 г. в печати не появлялось ни одной строчки, написанной Энгельсом. Не объясняется ли это переломом, который намечился в его мировоззрении? Слабый свет на неясный вопрос проливает письмо к Арнольду Руге от 27 июля 1842 г. Теряя свой обычный самоуверенный тон, который под старость Энгельс сам признавал за собой в молодости, он оста-

наваливается как бы в раздумии и собирается сделать передышку: «Я решил, — пишет он, — на некоторое время совершенно отказаться от литературной деятельности. Причины этого решения очевидны. Я молод и самоучка в философии. У меня достаточно сведений для того, чтобы составить себе убеждение и, в случае надобности, отстаивать его, но недостаточно для того, чтобы как следует действовать в его интересах. Ко мне будут тем более требовательны, что я — „философский коммивояжер“ и не приобрел права на философствование установленным дипломом».

Не следует ли видеть в этих словах намек на то, что автор письма наткнулся на какой-то камень преткновения? Не возникла ли перед ним, как и перед Гессом, великая «загадка XIX века», этот эдипов сфинкс? Может быть, именно она побудила Энгельса продолжать и углублять самокритику, начатую уже статьей против Александра Юнга и «Молодой Германии». По крайней мере конец письма подводит итоги его литературной деятельности. Энгельс сводит их «исключительно к попыткам». Он, по-видимому, нащупывает новые пути более активного участия в борьбе за прогресс общества. «До сих пор, — замечает он, — моя литературная деятельность, если оценивать ее субъективно, сводилась исключительно к попыткам, результат которых должен был выяснить мне, дозволяют ли мне мои природные способности плодотворно содействовать прогрессу, принять живое участие в современном движении. Я могу быть довольным результатом» и считаю своим долгом все более и более усваивать себе также то, что не дано природой, путем научных занятий, которые «я продолжаю еще с большим наслаждением».<sup>30</sup>

Идеи коммунизма, видимо, уже оставили заметный след в сознании Энгельса, и он с энтузиазмом обратился к их изучению. Энгельс быстро опередил и всех «Свободных», и Моисея Гесса, и еще многих других путаников.

Уже во второй половине 30-х годов германская интеллигенция получала кое-какие сведения о социализме и участии странствующих немецких подмастерьев в тайных коммунистических обществах. Обычно источниками этих сведений бывали путешественники, проникавшие в печать отрывки из полицейских донесений или случайные газетные корреспонденции из Франции и Швейцарии. Но они были слишком отрывочны, туманны и казались рассказами о каких-то курьезах. Даже Гесс, прибывший зимою 1842—1843 гг. в Париж, не знал, что там существуют коммунистические союзы немецких подмастерьев. Дело стало меняться лишь в начале 40-х годов.

В мгlistых даях будущего Гейне раньше всех остальных немцев угадал могучие очертания надвигающегося коммунизма. В своем парижском изгнании он напряженным взором следил, как в подземных глубинах буржуазного общества прорастали

зародыши новой таинственной жизни. Начиная с июня 1842 г. корреспонденции великого поэта в «Аугсбургской всеобщей газете» пугали сонливых немцев указаниями на приближение всемирной революции. Против Июльской монархии и Гизо, пророчески писал Гейне, когда-нибудь выступит новый противник, «неустранимый и бескорыстный, как мысль», «самый ужасный из всех, кто до сих пор выходил на бой с существующим строем». «Этот антагонист» пока сохраняет свое ужасное инкогнито и подобно неимущему претенденту обитает в том подвале официального общества, в тех катакомбах, где среди смерти и тления прорастает и пускает почки новая жизнь. Коммунизм — вот тайное имя страшного антагониста, противопоставляющего господство пролетариев со всеми его последствиями нынешнему правлению буржуазии. Это будет страшное единоборство. Чем оно может кончиться? Покажет будущее. Мы знаем только одно: хотя коммунизм теперь мало обсуждается, тем не менее он — тот герой, которому предназначена великая роль в современной трагедии и который выжидает только реплики, чтобы выступить на сцену. Посему мы не смеем терять из вида этого актера и по временам будем сообщать об его тайных попытках подготовиться к своему дебюту. Такого рода указания, быть может, важнее, нежели все сообщения об избирательных происках, партийных распрах и кабинетных интригах.<sup>31</sup>

Так Гейне обращает внимание на важнейший продукт буржуазного строя — коммунизм. Но, не отряхнув с себя ветхого Адама, он сохранил еще предрассудки индивидуализма и с тревогой ждал грозных событий. Гейне питал страх перед «уравнительным» коммунизмом, перед грозой революции.

Будущее пахнет юфтью, кровью, безбожием и очень многими бедствиями, писал Гейне и советовал обществу подготовиться к предстоящим грозным историческим событиям: «Советую нашим внукам приходить в мир с очень толстой кожей на спине».<sup>32</sup>

Невзирая на собственную тревогу, Гейне тонко подметил трусость буржуазии. Сама «охваченная демоном разрушения», она «питает инстинктивный страх перед коммунизмом, перед теми мрачными ребятами, которые, как крысы, выпрыгнут из развалин нынешнего правительства». Лавочники чувствуют, что республика была бы только формой, в которой выразилось бы «неслыханное господство пролетариев со всеми догмами общности имущества». Эти лавочники — консерваторы по внешней необходимости, а не по внутреннему побуждению. Их страх — опора существующих порядков.<sup>33</sup>

Несравненная талантливость и известность корреспондента, значение и влияние «Аугсбургской всеобщей газеты», наконец, неутомимая страсть самого Энгельса к чтению — все позволяет думать, что от его внимания не ускользнули указания поэта на европейское и даже всемирное значение грядущей ре-

волюции. О коммунизме ремесленников и рабочих он мог черпнуть некоторые сведения и из других источников. Даже либералы вроде Гуцкова начали писать о литературных проявлениях растущего движения. Во время пребывания в Париже издатель «Телеграфа» успел познакомиться с ними и в своих «Парижских письмах», появившихся поздним летом 1842 г., уже совершает экскурс в область проблем социализма и коммунизма.

Так, он замечает «неустойчивость» в положении пролетариата и ее серьезную «опасность» для общества. Гуцков отмечает, что противоречия между трудящимися и имущими классами все более обостряются, проявляясь в политической полемике, что коммунизм стал не просто «символом веры» нескольких сбитых с толку ремесленников, а «научной теорией некоторых мыслителей». Коммунизм — партия, которая ставит стихи ремесленников выше творений Ламартина или Виктора Гюго и т. д.

Правда, Гуцков не согласен с «новой коммунистической философией Франци». Совершенно не понимая ее, немецкий либерал воображает, что коммунистический путь не приводит к цели, губит науку, «отбрасывает нас назад к материализму прошлого века и предает либо революции, либо суеверию». Зато его «трогают» воодушевление и благороднейшие настроения фурьеристов. Он с симпатией, приправленной легкой иронией, описывает банкет фурьеристов, ежегодно устраиваемый в память учителя. Излагая речи Венедя и Консидерана, он между прочим замечает: если спросить фурьеризм, что он хочет дать, ответ будет гласить: мир всему миру, братский союз всем народам! Любовь и милость всем от бедняка, могущего только работать, до богача, сокровища которого оживляют промышленность, до ученого и художника, дух которых мыслит и творит! Дружный сбор земных плодов! Даже роскошь, гармоническую семейную жизнь, любовь и дружбу! Всяческое поощрение достойному честолюбию: жизнь, полную красоты, разнообразия и воодушевления! Вольную, счастливую подготовку к наивысшему небесному блаженству!

Этим соблазнительным обещаниям Гуцков в таком же сентиментальном тоне противопоставляет безотрадную действительность: жизнь всюду преподносит разбитые надежды, всюду развалины, всюду горести. Кто сочтет тысячи клянущих злополучие судьбы, ненавистные формы земли, эгоизм общества! Место, какое хотел бы занять один, уже занимает другой! Имущество свободно, принадлежит не тому, кто умеет достойно им распоряжаться, а случаю, наследнику, — всем, только не принадлежит мне! Потребность семьи — и нет очага! Потребность честолюбия — но нет положения!.. Все — цепи, все — рабство, и наибольшее рабство — так называемая свобода нашего общества, нашей цивилизации.<sup>34</sup>

Подобные безвкусные фразы, сдобренные пресной моралью,

конечно, не производили впечатления на Энгельса. Однако он мог обратить внимание на самое учение фурыеристов, которое Гуцков отражал в кривом зеркале своего либерализма. Еще более его должно было поразить сообщение «Парижских писем», что фурыеристский журнал «La Phalange» находит свыше тысячи покупателей и располагает капиталом в 400 тысяч франков.<sup>35</sup> Но особенно сильно могли заинтересовать Энгельса первые сведения о немецких ремесленниках-коммунистах — портном Вейтлинге, сапожнике Бауэре и «вероятно тоже ремесленнике» Иосифе Молле, которого Гуцков неверно называет Карлом. Ведь Вейтлинг руководил ежемесячным журналом «Молодое поколение», а раньше «Призывом немецкой молодежи», подзаголовок которого гласил: «Издается и редактируется некоторыми немецкими рабочими».

Литературный гурман Гуцков не устоял перед соблазном осветить коммунизм и под критическим соусом преподнести его своим читателям. Бывший «покровитель» Энгельса представляет Вейтлинга прежде всего как способного журналиста. Вейтлинг, замечает он, в течение всей литературной деятельности приобрел такую опытность в изложении, что «я не понимаю, почему он называет себя не журналистом, а все еще портным». Заслуживают, по мнению Гуцкова, внимания статьи, рисующие нищету и унижения трудящихся классов. Картина же «Парижа в 2000 году настолько удачна», что Гуцков даже сомневается, сам ли Вейтлинг написал эту статью, местами остроумную, оригинальную и от начала до конца стилистически хорошо обработанную. Его предположение, что через несколько столетий Парижу и всему миру будут совсем незнакомы деньги, солдаты и нации, его ослепительные, фантастические картины радикального переворота в положении рабочего класса и методически проведенное обобщение имуществ так смелы, что, по мнению Гуцкова, «следовало бы не запрещать, а опровергать подобные идеи», распространяемые среди немецких ремесленников, работающих в Париже и Швейцарии.<sup>36</sup>

Излагая некоторые из этих идей, Гуцков, между прочим, отмечает, что коммунизм питает ненависть к республиканизму, а также к преимуществам, которыми пользуется наука.

Конечно, Гуцков судил о коммунизме вкривь и вкось. Все же его поверхностные фельетоны показывали многое: коммунизм — серьезный вопрос, волнующий широкие массы трудящихся и доставляющий немало хлопот правительствам; им занимаются не только какие-нибудь «сбитые с толку» ремесленники, но и серьезные мыслители; его приверженцы не просто рисуют фантастические картины будущего общества, а талантливо критикуют несправедливости настоящего; его вожди — не буржуазные неудачники или свихнувшиеся интеллигенты, а благородные, решительные люди и выходцы из рабочей среды, как портной Вейтлинг, сапожник Бауэр и др.

Энгельса, разумеется, заинтересовал вопрос, что за журналы они издают.

Таким образом, немецкая интеллигенция была более или менее знакома с коммунизмом, открыто обсуждая животрепещущий вопрос на страницах газет, журналов и в отдельных брошюрах. Он составлял предмет горячих споров и под домашним кровом, куда не проникало недремлющее око политической цензуры. Интерес, проявляемый немецкой интеллигенцией к теориям утопического социализма и коммунизма, вполне понятен. Обострение экономических и политических отношений с неизбежностью приближало страну к буржуазной революции, которая должна была произойти при более высоком уровне развития капитализма в странах Европы, а следовательно, в условиях более развитого пролетарского движения. Подчеркивая эти обстоятельства, Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» отмечали, что «немецкая буржуазная революция, следовательно, может быть лишь непосредственным прологом пролетарской революции». В Германии, таким образом, перемещался центр революционного движения.

Известно, что революция 1848—1849 гг. в Германии привела в движение широкие народные массы. Главными ее движущими силами были пролетариат и крестьянство. Рабочий класс являлся самым решительным борцом за демократические преобразования в стране. Однако он был еще малочисленным, слабоорганизованным и не мог возглавить революционное движение. Руководящую роль в революции не могла выполнить и принимавшая в ней участие мелкая буржуазия. Последняя проявила трусливость и оказалась неспособной возглавить движение народных масс. Крупная буржуазия сыграла контрреволюционную роль. Воспользовавшись плодами борьбы народа, она захватила власть, пошла на соглашение с помещиками и душила революцию. Революция была подавлена. Ее главная задача — объединение Германии в единое национальное государство — не разрешена.

События 30-х — начала 40-х годов уже предвещали такую расстановку и роль классов в предстоящей революции. Немецкая крупная буржуазия задолго до революции уже проявила свою реакционность. Лионские восстания во Франции, чартистское движение в Англии приводили в трепет не только французских и английских буржуа. Немецкая буржуазия тоже со страхом взирала на грозные события, совершавшиеся за пределами Германии и ничего не забывала из виденного ею. Она надеялась добиться осуществления своих желаний мирным путем, боялась революции, шла на компромиссы с реакцией. Таким образом, еще до революции стало ясно, что немецкая буржуазия не сумеет возглавить революционное движение.

Вместе с тем в конце 30-х — начале 40-х годов происходит заметное оживление немецкого рабочего движения. Последнее

развивалось своеобразным путем. Германия в 30-х — 40-х годах переживала еще период капиталистической мануфактуры. Собственно промышленный пролетариат был крайне малочисленным. Он концентрировался на сравнительно крупных предприятиях, имевшихся в наиболее развитых в экономическом отношении районах страны — в Рейнской провинции, Саксонии, Силезии. Основную массу в рабочем движении составляли мелкие и разорившиеся ремесленники. Эти полупролетарии главным виновником своих бед считали банкира-ростовщика, являвшегося одновременно и предпринимателем. Рабочее движение еще не выделилось из буржуазно-демократического. Но к началу 40-х годов передовые пролетарии все же начали играть заметную роль как внутри, так и, в особенности, за пределами Германии.

В 1836 г. в Париже возник Союз справедливых, объединявший немецких рабочих, эмигрировавших за границу. Конечно, немецкие ремесленники и рабочие, жившие во Франции, вступали в тесное общение с местными тайными коммунистическими организациями. «Первоначально — писал Энгельс о Союзе справедливых, — он был немецким отпрыском французского, примыкавшего к бабувистским традициям, рабочего коммунизма, который складывался тогда в Париже»...<sup>\*</sup> Союз справедливых принял активное участие в организованном 12 мая 1839 г. в Париже бланкистском путче. Неудача, постигшая заговорщиков, вызвала глубокое разочарование бланкистской тактикой у немецких рабочих. На рубеже 40-х годов Союз справедливых переживал период кризиса. Некоторые деятели Союза повернули к мирному коммунизму Кабе, секции Союза распались. Однако кризис не привел к ликвидации Союза справедливых. Напротив, последний расширил сферу своей деятельности.

Видную роль в Союзе играл Вейтлинг. Он являлся идейным вдохновителем Союза, проповедовал теорию уравнительного коммунизма и прилагал большие усилия, чтобы наладить работу Союза. В 1841 г. он переехал из Франции в Швейцарию. Здесь он развернул пропаганду идей уравнительного коммунизма в открытых ремесленных обществах. Движение немецких рабочих, проживавших в Швейцарии, вскоре приняло довольно широкий размах. Вновь были созданы многочисленные секции Союза справедливых. Основанные Вейтлингом журналы — «Призыв о помощи немецкой молодежи» и «Молодое поколение» — пропагандировали идеи уравнительного коммунизма, фактически являлись органами всего Союза, распространялись во Франции, Англии и проникали в Германию. В декабре 1842 г. Вейтлинг издал свою работу «Гарантии гар-

---

<sup>\*</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения, т. II, стр. 321.

монии и свободы», завоевавшую большую известность в социалистическом и рабочем движении.

В 1840 г. развернулась работа среди немецких пролетариев в Англии. В феврале этого года было основано легальное Немецкое просветительное рабочее общество, в котором вербовались новые члены Союза справедливых; в Англии возникли вновь секции Союза. Наконец, как показывает Энгельс, секции этого Союза существовали и в самой Германии.

Немецкое рабочее движение того времени было еще слабым, неорганизованным, носило сектантский характер. Незрелому рабочему движению соответствовали незрелые идеи. В нем господствовали идеи грубого уравнительного утопического коммунизма, проповедуемого Вейтлингом. Но «вейтлингианский коммунизм», как показал Энгельс, выступал «в качестве первого самостоятельного теоретического движения германского пролетариата».

Таким образом, в начале 40-х годов рабочее движение в Германии делало свои первые, но весьма уже ощутимые шаги. Активизация рабочего класса Германии показывала, что революционное разрешение обостряющихся противоречий в немецком обществе не обойдется без его участия. Назревание революции в Германии, нарастание рабочего движения превращали ее в родину передовой пролетарской теории — марксизма.

Энгельс, находясь в гуще идеологической борьбы, следил за социалистическим и коммунистическим движением. Блестяще владея языками, он, по-видимому, мог знакомиться с теориями утопического социализма и коммунизма не только по статьям, публикуемым в Германии, но и по оригинальным источникам. В сентябре 1842 г., когда Энгельс обращается к коммунизму, появилась книга Лоренца фон Штейна «Социализм и коммунизм современной Франции».<sup>37</sup>

Еще 84 года тому назад Вильгельм Рошер писал, что, когда Лоренц фон Штейн опубликовал в 1842 г. свое сочинение о социализме и коммунизме современной Франции, содержание его казалось большинству немецкой публики какой-то «сказкой из прекрасного далека».<sup>38</sup> Впоследствии эту дифирамбическую мысль подхватил Вернер Зомбарт, считавший Штейна писателем, который, «быть может, сильнее всех других воздействовал на Маркса».<sup>39</sup> С тех пор подобные мнения поддерживались многими оппортунистами и буржуазными идеологами.

Против подобных утверждений очень резко восставал Франц Меринг. Штейн, по его мнению, был просто «ловким компилятором или прилежным регистратором выдающейся литературы и ничем больше». Его книга о социализме и коммунизме представляет «в общем довольно легковесный товар с сильным оттенком беллетристики». Во всяком случае это «поверхностная компиляция», из которой основательный и глубокий ум Маркса едва ли мог чему-нибудь научиться».<sup>40</sup>



Суждения Меринга сыграли положительную роль. По-видимому, под влиянием сделанных им замечаний многие, писавшие о Марксе, вынуждены были признать, что данные, приводимые Адлером, Зомбартом и Струве, «недостаточны для исторического объяснения социализма Маркса». <sup>41</sup>

Штейн принадлежал к гегельянцам центра и проживал в Париже, где прилежно изучал социалистические и коммунистические теории; знакомясь с французскими историками, он в то же время встречался с Консидераном, Кабе, Луи Бланом и кое-чему научился у них.

Штейн многое заимствует у Сен-Симона и его школы. Это сказывается прежде всего в том, что он подчеркивает не политическую сторону, а всегда имеет в виду все общество, «всю народную жизнь». Кладя в основу своего изложения понятие общества, Штейн считает его более общим, чем понятие государства.

Конечно, эти идеи не открывали новых горизонтов такому человеку, как Гесс. Подобно Штейну, он не только примыкал к Сен-Симону, но и разошелся с Гегелем в учении о государстве. Он, пожалуй, даже лучше Штейна понимал зависимость последнего от общества. Гесс превосходил своего современника и в другом, более важном отношении: он уже стал убежденным коммунистом утопического толка. Будущий же профессор был ярким сторонником частной собственности и, следовательно, непримиримым противником коммунизма, чувствуя его опасность. Общение с социалистами научило его, что социализм и коммунизм — необходимые продукты капиталистического общества, с которыми приходится считаться. Социалисты еще допускали возможность мирного перехода к будущему строю; коммунисты же обычно стремились к насильственному ниспровержению существующего общества. Отсюда попытки Штейна найти между ними принципиальные различия, а затем установить различное отношение к ним. И, действительно, к социализму он относился более или менее покровительственно, хотя и свысока; в коммунизме же он видит порождение невежества и грубых страстей, такое зло, с которым необходимо решительно бороться.

Как гегельянцу, Штейну, естественно, присущи особенности идеалистического мышления и, между прочим, пристрастие к абстрактному способу изложения. Тем не менее сквозь все идеалистические запруды у него пробивается реалистическая струя. Он уже начинает с грехом пополам понимать, что классовая борьба связана не только с идеей равенства, или «эгалитарным принципом», но и с экономическим строением общества. В частности, политическая борьба тоже покоится на экономической основе. Поэтому ее нельзя ни игнорировать, ни изолировать от единого социального процесса. Эти идеи, проходящие через всю книгу Штейна, были для немецкой интеллигенции большой новостью: по крайней мере, в таком концентрированном виде их не

выражали ни Гесс, ни Вейтлинг, ни другие немецкие коммунисты. Правда, книга Штейна была «довольно легковесным товаром»; но и такой товар не продавался на младогегельянском рынке. Она в некоторой степени содействовала знакомству радикальных кружков с социалистическими и коммунистическими движениями за границей.

С другой стороны, вопреки утверждениям буржуазных историков, как видно из предшествующего изложения, книга Штейна была далеко не единственным источником информации. Уже летом некоторые номера вейтлинговского журнала проникли через пограничные заграждения в кружок берлинских литераторов. Здесь они тайком передавались из рук в руки и, несомненно, попали к Энгельсу. У сочленов по кружку он мог также получить радикальный «Немецкий вестник из Швейцарии». В августовской книжке журнал поместил корреспонденцию из Лозанны, посвященную коммунистам: последний автор называл «новой европейской партией», которая обращается к «беднякам» различных стран; ей принадлежит будущее, потому что нужда издавна была матерью великих событий. Когда Вейтлинг выпустил свои «Гарантии гармонии и свободы», Энгельс находился уже за пределами Германии.<sup>42</sup>

Осенью истек срок его военной службы. Молодой человек покинул столицу, а вместе с ней и кружок «Свободных», с которыми вскоре разошелся навсегда. По пути в Бармен он остановился в Кельне, чтобы посетить редакцию «Рейнской газеты». В начале октября Маркс еще не входил в состав редакции и проживал в Трире. Поэтому Энгельс застал только Рутенберга и Гесса. Энгельс вел с автором «Триархии» весьма оживленные беседы, после которых он, по свидетельству Гесса, «объявил себя приверженцем коммунизма». По крайней мере в следующем году Гесс писал о своем собеседнике, что в 1842 году, когда он — Гесс собирался отправиться в Париж, Энгельс проезжал из Берлина через Кельн; «мы беседовали на современные темы, и он, уж год как революционер, ушел от меня резочнейшим коммунистом».<sup>43</sup> Конечно, Гесс чрезмерно преувеличивал свое влияние на Энгельса. Все же он сыграл эпизодическую роль в переходе Энгельса к коммунизму. Сам Энгельс впоследствии косвенно признал это, когда писал: «Уж осенью 1842 г. некоторые деятели партии пришли к выводу, что одних политических изменений недостаточно, и заявили, что только при *социальной* революции, основанной на коллективной собственности, установится общественный строй, отвечающий их абстрактным принципам... Коммунизм был столь *необходимым* следствием неогегельянской философии, что никакое противодействие не могло помешать его развитию, и в течение этого года первые его сторонники с удовлетворением отмечали, что республиканцы один за другим присоединялись к их рядам». И далее Энгельс свидетельствует, что «первым

коммунистом в партии» стал Гесс, которого он ошибочно именуется «доктором». <sup>44</sup> Даже когда Маркс и Энгельс завязали борьбу с «истинным социализмом», они признавали, что некоторые идеи Гесса, носившие весьма неопределенный и «мистический характер», все же «вначале заслуживали известного признания», лишь позднее, когда эти идеи устарели, они «стали скучны и реакционны». <sup>45</sup>

Совершенно иначе Энгельс судил о книге Штейна, по поводу которой высказывался неоднократно, но всегда только мимоходом и в резко отрицательной форме. Уже через восемь месяцев после появления книги Энгельс видит в ней только «жалкую беспомощность», <sup>46</sup> которую приходится «проглатывать» немецкому читателю. Позднее он пренебрежительно пишет о «тощих выдержках, приведенных Штейном» из французских социалистов и коммунистов, причисляя его книгу к «сомнительным источникам». <sup>47</sup> Наконец, когда взгляды Энгельса окончательно сложились, он считал Штейна только одним из тех «умничающих спекуляторов, которые переводили иностранные фразы на непереваренный гегелевский язык». <sup>48</sup>

Подобные резкие оценки неудивительны. Прежде всего Штейн занимал среди гегельянцев позицию центра, вовсе не примыкая к их левому крылу. Существующая действительность казалась ему «разумной», а государство—«абсолютно нравственным институтом» и «вечной необходимостью».

Штейн был убежденным поборником частной собственности, обеими ногами стоял на почве буржуазного общества и являлся врагом коммунистического движения. Когда министр полиции фон Рохов узнал, что молодой шлезвигский ученый изучает в Париже французский социализм и коммунизм, ему в голову пришла счастливая мысль обратить внимание Штейна на тамошние союзы немецких ремесленников и связь их с коммунистами. Многообещающий ученый не отказался от полицейских обязанностей и стал платным осведомителем; в своих донесениях он разъяснял министру различия между французской и немецкой оппозицией вообще, между французским и немецким пролетариатом в частности.

Теоретическую беспомощность Штейна подметил уже Гесс, когда осенью 1842 г. писал статью для Георга Гервега, позднее включившего ее в свой сборник «Двадцать один лист из Швейцарии».

В этой же статье — «Социализм и коммунизм» Гесс обращает внимание на явную неспособность Штейна понять требования рабочего класса. Там, где дело идет об оправдании притязаний пролетариата, он отделяется несколькими философскими фразами; в беспочвенности его рассуждений видна неспособность дойти здесь до какого-нибудь понимания. Конечно, он мог бы добиться этого понимания только путем проникновения в связь коммунизма с социализмом и наукой, проникновения.

которого у него совсем нет. Немудрено, что он «ежеминутно подвергается неприятности впасть в реакционные тенденции».

Реакционность Штейна бросилась в глаза и другим коммунистам. Так, например, Эвербек писал 15 мая 1843 г., что доктор Штейн совсем обескуражен критикой молодого кельнца д-ра Гесса и признался ему в разговоре, что представлял себе дело все же не в таком свете. Впрочем, запутавшийся Штейн — «филистер и старовер, украшающий себя философскими фразами».<sup>49</sup>

Впервые Энгельс высказал свое мнение о книге в письме из Лондона, написанном для «Швейцарского республиканца» 9 июня 1843 г. Прибыв в Англию «ревностнейшим коммунистом», он лично познакомился с чартистами и оуэнистами, у которых почерпнул гораздо более глубокое понимание социализма, чем из «тощих выдержек» Штейна. За истекшие восемь месяцев он понял, что коммунистические стремления порождаются в недрах самого пролетариата и коренятся в его материальном положении. Кроме того, как показывает письмо Эвербека, к тому времени вышел уже «Двадцать один лист из Швейцарии» со статьей Гесса. Энгельс, несомненно, ознакомился с его новой работой и очень резко высказался о книге Штейна. Он не увидел в книге Штейна ничего положительного. Между тем уже Гесс отметил «ясность и простоту», с какими Штейн указывал на противоречие между буржуазией и пролетариатом; кроме того, по его мнению, автор книги так часто повторялся, говоря о связи коммунизма с рабочим классом, что возбуждал у читателей даже «досаду». Но Гесс не обратил внимания на важную мысль Штейна, что классовая борьба связана с экономическим строением общества, а история государства с народным хозяйством, чего не упустили из виду Маркс и Энгельс.

Излагая в «Немецкой идеологии» материалистическое понимание истории, они, между прочим, признают и за Штейном маленькие заслуги: «Штейн,— пишут они,— сам крайне туманен, когда говорит о „государственном моменте“ в „науке о промышленности“». Но тотчас же прибавляя, что история государства теснейшим образом связана с историей народного хозяйства, он показывает, однако, что у него правильное чутье».<sup>50</sup> В другом месте авторы замечают, что Штейн «по крайней мере пытался изложить связь социалистической литературы с действительным развитием французского общества».<sup>51</sup>

Все это показывает, что книга Штейна ни в формировании мировоззрения Маркса и Энгельса, ни в немецком социалистическом движении не играла той роли, которую ей приписывали всевозможные оппортунисты и буржуазные идеологи.

## ВСТРЕЧА Ф. ЭНГЕЛЬСА С К. МАРКСОМ В КЕЛЬНЕ

Отбыв воинскую повинность в Берлине, Энгельс в начале октября 1842 г. вернулся к любезным родителям в Бармен, где провел несколько недель. Отец мечтал сделать из сына хорошего купца и с этой целью решил отправить его в Манчестер: там барменский фабрикант состоял компаньоном крупной бумагопрядильни «Эрмен и Энгельс». Сын не протестовал, решив изучить рабочее движение у самых истоков. С такими приятными перспективами он во второй половине ноября снова покинул отчий дом. По дороге в Англию он остановился в Кельне и посетил редакцию «Рейнской газеты». Не так давно в составе редакции произошла важная перемена: руководство органом принял на себя Маркс, круто изменивший его направление. Здесь Энгельс в первый раз увидел своего будущего друга. Как же они встретились?

С середины лета, как мы говорили выше, Энгельс тесно примыкал к так называемым «Свободным», жил младогегельянскими интересами и был даже герольдом кружка, послав в либеральную «Кенигсбергскую газету» сообщение об его организации. В своей корреспонденции автор выражал надежду, что кружок «в ближайшее время может приобрести большое значение»: он стремится распространить в широких кругах основные положения новейшей философии, отвергает Библию как источник истины, не желает заменять традицию определенным символом веры или устанавливать какие-либо догматы, наконец, ставит задачей антирелигиозную и атеистическую пропаганду; «Свободные», в отличие от филалетов, намерены официально за своими подписями заявить о выходе из церкви, ибо считают долгом публично отказаться от чуждых традиций и обязанностей, которые не могут исполнять с чистой совестью.<sup>1</sup>

Корреспонденция произвела впечатление на самые широкие и разнообразные круги. Известие возбудило общее внимание и притом среди всех партий. Однако это внимание было не очень-то лестно для инициаторов плана. В то время как правозверные призывали на безбожников небесный огонь, масса интеллигентных, образованных людей тоже приняла известие, покачивая головами, а отчасти и с громким неодобрением.<sup>2</sup> Как бы там ни было, но корреспонденция показывает, что Энгельс тесно примыкал к «Свободным», которые составляли сравнительно небольшой кружок литературной и философской богемы.

Маркс находился в ином положении. Состоя еще студентом Берлинского университета, он попал в «докторский клуб», куда входили доценты, учителя и писатели. Наиболее видные его члены впервые разъяснили многообещающему юноше тайны гегелевской философии.<sup>3</sup> Вскоре двадцатилетний студент стал умственным центром клуба, завязал тесную дружбу с главой бер-

линских младогегельянцев Бруно Бауэром и близко сошелся с Кеппенем, у которого заимствовал кое-какие литературные приемы. В продолжение трех лет он хорошо заметил уязвимые места Эдуарда Мейена, Рутенберга и других лиц, позднее вошедших в кружок «Свободных». Всецело погруженный в разрешенные глубоких и мучительных вопросов, Маркс никогда не был особенно высокого мнения о многих «берлинцах» с их нравами литературной богемы: по-видимому, уже тогда они проявляли склонность к разным глупостям, пошлостям и скоморошествам.

После окончания университета и заочного присуждения 15 апреля 1841 г. докторской степени Маркс<sup>4</sup> проживал то в Бонне, то у себя на родине, не получая сведений ни о судьбе «докторского клуба», ни о возникновении «Свободных». Впервые он узнал об их существовании только из «Кенигсбергской газеты» и сразу отнесся очень неодобрительно к корреспонденции Энгельса: «Не знаете ли Вы, — спрашивал он Руге 9 июля 1842 г., — каких-нибудь подробностей о так называемых „Свободных“? Статья в „Königsberger Zeitung“ была, по меньшей мере, не дипломатичной. Одно дело объявить себя приверженцем эмансипации — это честно; другое дело — заранее раскрасить о своей пропаганде, это отдаст бахвальством и раздражает филистера. А затем подумайте об этих „Свободных“, где подвизается какой-то Мейен и т. д. Но, разумеется, если уж есть подходящий город для подобных затей, то это Берлин».

Не зная «ничего достоверного» о новой группе, но вычитав из корреспонденции кое-что неладное, Маркс возлагал свои надежды на Бруно Бауэра, недавно получившего отставку и покинувшего Бонн: «Счастье, что Бауэр в Берлине. Он, по крайней мере, не допустит до „глупостей“, и единственное, что меня беспокоит в этой истории (если она соответствует действительности и не является умышленной газетной выдумкой), так это возможность того, что берлинская пошлость сделает как-нибудь смешным предпринятое ими хорошее дело и что в серьезном начинании они не обойдутся без разных „глупостей“. Кто провел среди этих людей столько времени, сколько я, тот найдет, что эти опасения не лишены основания».<sup>5</sup>

Опасения Маркса вполне оправдались. К сожалению, неосновательны оказались его надежды на благоразумие и сдерживающее влияние Бауэра. Несмотря на свои несомненные дарования и выдающийся ум, он с наслаждением принимал участие в шутовских проделках «Свободных». Берлинцы же все более кичились «зрелостью своего самосознания», свободой от предрассудков и умозрительно ниспровергали весь существующий строй. Их более или менее невинные клоунады постепенно превращались в грязные фарсы, а мнимая свобода — в безграничную распущенность.

Редактор «Немецких ежегодников» тоже неблагоприятно относился к «Свободным». В ответ на письмо Маркса он сооб-

шал, что ни «Свободные», ни филалеты не существуют. Руге считает, что манера «Свободных» стрелять «холостыми зарядами» показывает, насколько слабо они разбираются в практических проблемах.<sup>6</sup>

Маркс и Руге были плохо осведомлены. Можно согласиться, что заметка в «Кенигсбергской газете» недипломатична, бестактна, отдает саморекламой и потому вредна. Нет, однако, оснований сомневаться в правдивости автора, а самую заметку объявлять «пуфом», как сделал Меринг. Напротив, Энгельс вполне добросовестно передал намерения «Свободных» и царившие среди них настроения.

Это видно прежде всего из того, что корреспонденция появилась и в других органах, доступных «Свободным», например в «Рейнской газете»<sup>7</sup> и «Лейпцигской всеобщей газете». Далее, она обратила на себя внимание не только Маркса и Руге. В частности, именно она предоставила желанный повод Гермесу, редактору «Кельнской газеты», обвинить в передовице 179-го номера свою конкурентку «Рейнскую газету» в младогегельянских тенденциях. Наконец, Эдгар Бауэр, входивший в самое ядро «Свободных», вовсе не считал заметку выдумкой. Как раз наоборот: он придавал корреспонденции большое значение и вполне серьезно возражал против выхода из церкви путем простого заявления. «Нет, не отступление, не выход, а борьба, борьба и еще раз борьба», — писал он.<sup>8</sup>

Между тем с 15 октября Маркс приступил к своим редакторским обязанностям в «Рейнской газете». Он начал вести упорную, изнурительную борьбу с цензурой, переписывался с министерством, давал объяснения на обвинения обер-президента или жалобы ландтага и вдобавок вынужден был выслушивать вопли пайщиков. Наиболее же деятельными сотрудниками газеты были «Свободные». При редакторе немецкого отдела, несамостоятельном и бесхарактерном Рутенберге, они привыкли считать ее своим безвольным органом, к которому относились весьма халатно. Мейен и другие посылали туда кучи написанных статей, затрагивающих «мировые» проблемы, но бессмысленных и лишь слегка приправленных крупинцами атеизма и коммунизма (которого эти господа никогда не изучали). Как думал новый редактор, они видели свободу скорее в вольной, санкюлотской и притом удобной форме, чем в свободном, т. е. самостоятельном и глубоком, содержании. Конечно, поэтому принципиальный, требовательный к себе и другим руководитель газеты не меньше цензора браковал статьи «Свободных». Бесславная гибель творений «свободы», которая, по язвительному замечанию Маркса, «стремится преимущественно быть свободной от всякой мысли», значительно омрачила берлинское небо.<sup>9</sup>

Были и другие причины, заставлявшие «Свободных» брюзжать. Они явно тяготели к туманным рассуждениям, велеречивым фразам и самолюбованию, но презирали конкретную дей-

ствительность и подлинное знание дела. В случайных театральных заметках они пытались протаскивать коммунистические идеи. Маркс же настаивал на основательном обсуждении коммунизма, «раз уже его приходится обсуждать». Он требовал, чтобы религия рассматривалась «в критике политического положения, а не политическое положение в религии, ибо это более соответствует существу газетного дела и уровню читающей публики: сама по себе религия лишена содержания, живет не небом, а землей, и гибнет сама собой с уничтожением извращенной действительности, теорией которой является». Наконец, Маркс думал, что следует поменьше козырять атеизмом, но побольше популяризировать содержание философии.

Так же недружелюбно «Свободные» встретили глубокий интерес газеты к экономическим и особенно политическим вопросам. «Герои свободы на берегах Шпрее», как саркастически выражался Маркс, были крайне недовольны его отношением и к правительству, и к ним самим, словом, «новым редакционным принципом». Упрека газету в умеренности и приспособленчестве, они желали довести дело «до крайности», т. е. по существу уступить поле сражения полиции и цензуре. Взаимное раздражение быстро нарастало. Рутенберг же, удаленный из редакции по требованию правительства, подливал масла в огонь: он провозгласил себя «изгнанным принципом» газеты, которая, дескать, начинает занимать новую позицию к правительству. В конце концов между Марксом и «Свободными» сложились чрезвычайно напряженные отношения.

Именно в тот момент Энгельс прибыл в Кельн. Незадолго до своей смерти он вспоминал о знаменательной встрече: «Когда я, — писал он, — по дороге в Англию опять явился около конца ноября в редакцию „Рейнской газеты“, то застал там Маркса. При этом случае произошла наша первая, очень холодная встреча. Маркс выступил в это время против того, чтобы „Рейнская газета“ стала проводником главным образом богословской пропаганды, атеизма и т. д., — Маркс, напротив, хотел сделать газету чисто политическим органом, а также против фразерского коммунизма Эдгара Бауэра, основанного на одном стремлении „идти как можно дальше“ и действительно очень скоро замененного у Эдгара другими радикальными фразами; так как я переписывался с Бауэрами, то слыл за их союзника, а они с своей стороны возбудили во мне недоверие к Марксу».<sup>10</sup>

Это свидетельство заслуживает полного доверия. Не подлежит ни малейшему сомнению, что в момент этой встречи дело еще не дошло до разрыва Маркса со «Свободными», но было уже очень близко к нему. За месяц с лишком работы в газете у нового редактора накопилось очень много горючего материала. Он, понятно, не мог встретиться с распростертыми объятиями человека, слывшего союзником не только братьев Бауэров, но и «Свободных» вообще. Он, наверное, не считал нужным скры-



вать своего недовольства, а, напротив, высмеял их «фривольность, специфически берлинскую манеру выступлений, чисто обезьянье подражание парижским клубам», «скандалы и выходки».

Но раздражение, горечь и негодование не могли ослепить Маркса настолько, чтобы он забыл об интересах самой газеты. Между тем Энгельс был очень ценным и деятельным сотрудником. Его статьи нельзя было упрекнуть в тех пороках, которыми страдали «бессмертные творения» других «Свободных». Сверх того, он уехал из Берлина раньше, чем Маркс вступил в редакцию и потому не мог нести ответственности за выходки своих «союзников». Наконец, он отправлялся в Англию, где «Рейнская газета» не имела собственного корреспондента. Мог ли Маркс пренебречь всем этим и упустить драгоценного работника? Естественно, что между ними произошло объяснение, кончившееся обещанием Энгельса посылать корреспонденции из Англии. Последнее несомненно, но никак не противоречит словам самого Энгельса, что встреча все-таки была «очень холодна».

Есть и еще один пункт, заслуживающий внимания. Энгельс уже раньше очень хорошо понимал, что среди «Свободных», составляющих одно содружество, имеются не совсем сходные течения. К осени «размежевание умов» обозначилось резко. В частности, сам Энгельс, всегда занимавший крайнюю левую, склонялся к коммунизму и после встречи с Гессом стал его решительным сторонником. После этого «Свободные» и ему могли показаться в ином свете: быть может, он совершенно независимо от Маркса открыл их слабые и филистерские стороны. При объяснении с редактором Энгельс едва ли мог возражать против превращения газеты в чисто политический орган: он сам всегда прекрасно сознавал значение политической деятельности. Но Маркс напал и на «фразерский коммунизм Эдгара Бауэра». Это было уже совсем иное дело. Энгельс стал «ревностнейшим коммунистом», а его будущий друг совсем незадолго до встречи высказался о коммунизме того времени по меньшей мере сдержанно. Случилось это так.

Среди швейцарских корреспондентов газеты находились друзья Вейтлинга — Август Беккер и Себастьян Зейлер. Не без их участия газета — вероятно, по инициативе Гесса — предприняла несколько экскурсий в область социальных вопросов. 29 сентября в статье «Правительственная форма коммунистического принципа» газета цитировала статью из «Молодого поколения», автор которой высказывал некоторые соображения о правительственных формах коммунистического общества; между прочим, он заметил, что в правительство следует избирать «не лиц, а способности» (идея, которой «Рейнская газета» не хотела отказать в оригинальности).<sup>11</sup> На следующий день газета перепечатала из «Молодого поколения» статью о берлинских рабочих жилищах под заглавием «Берлинские семейные дома», как не лишнюю интереса для истории этого важного вопроса.

В правдивом изображении корреспондента дома для рабочих у Гамбургских ворот представляют очаги отчаянной нищеты — полудожину фабрикоподобных мышеловок, слепленных из глины, дранок и дерева, вышиною около 40 футов и длиною около 90 футов, выкрашенных в синию и белую краски.<sup>12</sup>

Вскоре на столбцах газеты прозвучало эхо французского социализма. В Страсбурге состоялся конгресс, на который явилось много немецких и французских ученых. Рядом с либералами вроде Велькера, Массмана или Гофмана фон Фаллерслебена на нем присутствовали социалисты, например Консидеран и Леру.<sup>13</sup> В экономической секции конгресса обсуждались системы французского социализма. Посланный туда сотрудник «Рейнской газеты», по-видимому Гесс, в своей корреспонденции подробнее остановился на вопросе: имеются ли законодательные пути к улучшению социального положения фабричных рабочих? Изложив дебаты по данному вопросу, Гесс сделал замечание, что средний класс занимает теперь положение, аналогичное положению дворянства в 1789 г.: тогда третье сословие возмущало притязания на привилегии дворянства и получило их, а теперь неимущие требуют своей доли в богатстве правящих классов; однако нынешнее третье сословие защищено лучше дворянства от внезапного переворота, а потому задача будет разрешена, вероятно, мирным путем.<sup>14</sup>

Такого рода экскурсии дали «Аугсбургской всеобщей газете» желанный повод обвинить «Рейнскую газету» в заигрывании с коммунизмом. Правда, у самой обвинительницы, вернее доносчицы, были тоже грехи: ведь именно она выпускала «зажигательные ракеты», иногда изготовленные пером Гейне. Однако Маркс поднял брошенную перчатку и 16 октября ответил энергичной отповедью. Прежде всего он саркастически спрашивал: «Или мы потому уже не должны считать коммунизм важным, современным вопросом, что он не является современным салонным вопросом, что он носит грязное белье и не пахнет розовой водой?» Нет, гласил его ответ, это современный вопрос, в высшей степени серьезный для Франции и Англии: что неимущие притязают на богатство средних классов — факт, всякому бросающийся в глаза на улицах Манчестера, Парижа и Лиона. Но Маркс вовсе не намеревался подсовывать удивленному читателю решение вопроса: «Мы, — честно признается он, — не обладаем искусством *одной* фразой разделяться с проблемами, над разрешением которых работают *два* народа».<sup>15</sup>

Отражая несправедливые нападки, Маркс откровенно заявил, что еще не составил самостоятельного суждения о коммунизме. «„Rheinische Zeitung“, — писал он, — которая не признает даже *теоретической реальности* за коммунистическими идеями в их теперешней форме, а следовательно, еще менее может желать их *практического осуществления* или же хотя бы считать его возможным, — „Rheinische Zeitung“ подвергнет эти идеи

основательной критике». Но такие произведения, как работы Леру, Консидерана и особенно остроумную книгу Прудона, можно критиковать не на основании поверхностного, минутного каприза, а лишь после упорного и тщательного изучения. Это признала бы сама «Аугсбургская газета», если бы была способна еще на что-нибудь, кроме салонных фраз.<sup>16</sup>

Таким образом, Маркс еще не составил отчетливого мнения о коммунизме, но уже признавал, что проблема заслуживает упорного и тщательного изучения. Он отрицал теоретическую ценность современных ему коммунистических идей, а потому находил нежелательным и даже невозможным их практическое осуществление. Но Маркс уже находил объективные доводы в пользу коммунистических идей. Ему предстояла еще большая критическая и самокритическая работа, чтобы самостоятельно решить «загадку XIX века». С изумительной энергией он принялся за дело, как только освободился от газетной «барщины».<sup>17</sup>

Энгельс же не испытывал таких мук, порывая со своими прежними воззрениями.<sup>18</sup> Сравним некоторые факты и даты. Оба дебютировали на литературной арене стихотворениями; но баллада Энгельса «Бедуины» была напечатана в «*Bremisches Conversationsblatt*» еще 16 сентября 1838 г., а «Неистовые песни» Маркса появились в «*Athenäum*» только 23 января 1841 г., хотя и были написаны значительно раньше. Оба оказались более или менее неудачными лирическими поэтами и лиру переменили на перо публициста; но «Письма из Вупперталя» были готовы уже в марте 1839 г., а Маркс закончил «Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции» лишь в феврале 1842 г.<sup>19</sup>

Все это, конечно, внешние рамки. Нельзя же забывать, что Маркс затратил много времени и умственной энергии на не напечатанную, но очень серьезную и основательную докторскую диссертацию «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура». Кроме того, его первые статьи, обширные по размерам, поражают продуманностью и глубиной мысли, необычайно широким охватом и разносторонним знанием вопроса, исключительным блеском изложения и меткостью аргументации. Во всех этих отношениях Энгельс уступал Марксу. Но, как легко вооруженный воин, он двигался быстрее, маневрировал свободнее и нападал на вражеские крепости раньше. Именно поэтому его умственное развитие происходило более скорыми темпами.

Так, он занял революционную позицию с середины 1839 г., придя к убеждению, что из Франции уже надвигается буря и волнует народные массы, что «меч уже с трудом покоится в ножнах». С этих пор он нетерпеливо ждал часа, когда «украденные короны упадут с княжеских голов», когда у государей «зазвенит в головах от пощечин народа», а окна во дворцах будут «разбиты камнями революции». Ему, охваченному революционной горячкой, казалось, что даже в Германии уже «пы-

дают объятые пламенем замки, колеблются троны и дрожат алтари». Напротив, Маркс еще в 1840 г. не возражал против того, чтобы памфлет Кеппена «Фридрих Великий и его противники» был посвящен «Карлу Генриху Марксу из Трира».

Энгельс с середины 1839 г. находился под обаянием Берне, с декабря начал производить выпады против «Молодой Германии», а в феврале 1840 г. обличал королевские преступления, за которые, по его глубокому убеждению, почти все монархи, царствовавшие с 1816 по 1830 г., «заслуживали смертной казни». В это время он уже стал демократом, республиканцем и тираноборцем. Маркс же, по свидетельству Руге, лишь осенью 1841 г. вместе с Бруно Бауэром, Фейербахом и Христиансенем провозгласил якобинскую гору и «философскую республику».<sup>20</sup> Сам же Маркс в марте 1842 г. высказывался определенно против конституционной монархии как ублюдка, «который от начала до конца сам себе противоречит и сам себя уничтожает».<sup>21</sup>

Таким образом, Энгельс быстро стал революционным демократом и республиканцем. Политика помогла ему разобраться и в философии. Вплотную занявшись ею, Энгельс глубоко проработал гегелевскую философию истории и тщательно изучил все вопросы, возникавшие в тесном кругу «Свободных». Но историю философии до Гегеля он знал гораздо меньше. Кроме того, Энгельс никогда не погружался с головой в «бездну гегелевского учения» о праве и государстве. С этим учением он познакомился только после того, как левые последователи философа вложили в таинственные слова учителя новое политическое содержание. Не превращая государство в фетиш, он увлекался Французской революцией и якобинством. Поэтому он сравнительно легко мог освободиться от многих идеологических иллюзий. И, действительно, он довольно скоро признал, что не государство, а само общество будет ареной решительной битвы, которая определит судьбы мира.

Напротив, Маркс немало бессонных ночей провел за глубоким изучением греческих философов, Спинозы, Лейбница, Фихте и пр.; немало он поломал голову над тайнами гегелевского учения. В частности, он всесторонне продумал глубину гегелевских умозрений о праве и государстве. Вместе со старшими младоггегельянами Маркс верил в «государство разума» и еще в июле 1842 г. считал его великим организмом, в котором должна осуществиться правовая, нравственная и политическая свобода. Лишь окончательное преодоление гегелевской философии могло освободить Маркса из плена прежнего мировоззрения. Это освобождение происходило постепенно и с такими же трудностями, как, по выражению самого Маркса, для гегелевского понятия переход от необходимости к свободе, для омара — сбрасывание своей скорлупы или для св. Иеронима — совлечение с себя ветхого Адама.<sup>22</sup>

В статье, посвященной дебатам рейнского ландтага по по-

воду закона о краже дров, он с гегелевских высот уже «спустился на землю» и начал сознавать недостаточность идеалистических воззрений на государство. Но и здесь он требовал, чтобы каждая «материальная задача» решалась политически, т. е. «в связи со всем государственным разумом и государственной нравственностью»; думать только о дровах и лесе, забывая о гражданах, значит допускать «грубый материализм», совершать «грех против святого духа народов и человечества». Государство выше частных интересов и располагает средствами поступать соответственно своему «размеру, всеобщности и достоинству». Но всеобщность государства предполагает единство и исключает расчленение. Не разбивается ли его разумность, справедливость и всеобщность о нищету, лишаящую массу населения возможности свободно развивать свои силы?<sup>23</sup>

Вот камень преткновения, совсем не предусмотренный гегелевским учением о государстве. Маркс решительно становится на сторону бедноты: «...мы — непрактичные люди, — пишет он, — выдвигаем в интересах бедной, политически и социально обездоленной массы то, что так называемые историки в своем ученом и ученически послушном лакействе придумали, в качестве настоящего философского камня, чтобы превращать всякое грязное притязание в чистое золото права. Мы требуем для бедноты *обычного права*, и притом не такого обычного права, которое ограничено данной местностью, а такого, которое присуще бедноте во всех странах». Маркс идет еще дальше и утверждает, что обычное право по самой природе может быть только правом низших, неимущих слоев населения. По другому поводу он даже задает вопрос: «Если всякое нарушение собственности, без различия, без более конкретного определения, есть кража, то не является ли в таком случае всякая частная собственность кражей?»<sup>24</sup>

В приводимых Марксом доводах явно обнаруживается глубокая трещина в гегелевском понимании государства. Она образовалась в двух местах: обсуждая дебаты о свободе печати, Маркс заметил разницу между буржуа и гражданином; вдумываясь в дебаты о краже дров, он открыл противоречие между собственностью и нищетой, между буржуа и неимущим. Таким образом, в октябре 1842 г. он вторично натолкнулся на тот самый вопрос о коммунизме, который Энгельсом уже был решен в положительном смысле. Могли ли будущие друзья умолчать о нем при встрече? Это тем более невероятно, что, по свидетельству самого Энгельса, Маркс подверг критике «фразерский коммунизм Эдгарда Бауэра». Энгельс же как «ревностнейший коммунист», не порвавший еще с другом своей юности, несомненно, стал защищать новый символ веры. Если дискуссия действительно завязалась, а это по меньшей мере правдоподобно, она едва ли растопила холод первой встречи и закончилась дружелюбным объяснением.

Именно в это время и Энгельс и Маркс стояли на великом повороте своей жизни: от идеализма — к материализму, от революционного демократизма — к пролетарскому научному коммунизму. Наметившийся разрыв со старым мировоззрением привел обоих и к разрыву с прежними соратниками — «Свободными». Но произошло это разными путями.

У Маркса разрыв совершился в драматической форме при следующих обстоятельствах. Весной 1841 г. в Цюрихе поэт Георг Гервег бурно пропел свои «Стихи живого человека» и, словно молнией, опалил сердца немцев, рвавшихся к свободе. Он пел о чувствах и думах народа, у которого впервые пробуждалось смутное политическое сознание. Бурные или замирающие аккорды «Стихов» с поразительной правдивостью отражали воодушевление и надежды, тревогу и опасения, борьбу и бедствия своего времени. Звонкая лира поэта дрожала и трепетным ожиданием волнующих событий, и захватывающей тревогой за судьбы своей страны. В ее звуках слышались неукротимые порывы к свободе и глубокое негодование против немецких деспотов. Поэт выступал то глашатаем свободы и всеобщего братства, то проповедником похода против тирании. Он неумолимо бичевал пороки и преступления королей или красноречиво защищал свободу печати и совести.<sup>25</sup>

Когда появились «Стихи живого человека», немедленно запрещенные прусской цензурой, революционно настроенная молодежь подняла поэта на щит. Горячие поклонники осыпали его похвалами. Повседневная и периодическая печать прославляла заслуги автора. Мемуаристы заносили на страницы своих воспоминаний встречи с Гервегом. Самые видные писатели уделяли ему внимание в интимной переписке. Даже противники воздавали дань уважения смелому певцу и провозглашали его «поэтом по божескому праву» или «королем поэтов». Политические поэты воспевали в нем героя.

В частности, стихи Гервега «На горе» Роберт Пруц встретил гимном «Дикие, дикие розы», в котором восхвалял «красное пламя» его песен за то, что они «согревают холодные сердца и вливают новые силы». <sup>26</sup> Рудольф Готшаль называл стихи Гервега «песнями свободе», в которых «шумит воодушевление»<sup>27</sup>; впоследствии, вспоминая о пребывании Гервега в Кенигсберге, Готшаль признавал себя и другого поэта — Вильгельма Йордана верными почитателями его выдающегося лирического таланта.<sup>28</sup> Отто Люнинг видел в поэте святого Георгия, копьём разящего ядовитых гадюк, ящеров, драконов.<sup>29</sup> Гейне сравнивал его с «железным жаворонком», который со звонким ликованием подымается ввысь.

Не только поэты, но и философы и журналисты восторгались «Стихами» Гервега. Так, Людвиг Фейербах в личном письме обращался к нему как «рыцарственному певцу свободы».<sup>30</sup> «Атений» называл его «величайшим лирическим талантом но-

вейшего времени».<sup>31</sup> «Рейнская газета» отмечала, что среди немецких поэтов он поистине первый и наиболее решительный представитель идеи прогресса и свободы; его песни коренятся в сердцах народа; наконец, вся современная Германия считает его своим истинным и своеобразным поэтом.<sup>32</sup> Сообщая о прибытии Гервега в Дюссельдорф, местная газета тоже провозглашала его превосходным передовым борцом на поле политической песни.<sup>33</sup> Арнольд Руге считал его лирику таким ребенком, которого старый Кронос в лице прусской бюрократии опасается уже в утробе матери и решил проглотить при самом рождении.<sup>34</sup> Эдгар Бауэр признавал, что Гервег первый выступил поэтом свободы.<sup>35</sup>

Возведенный на высочайший пьедестал, поэт в 1842 г. решил редактировать в Цюрихе ежемесячный журнал «Немецкий вестник из Швейцарии» в духе «Немецких ежегодников».<sup>36</sup> Чтобы нанять сотрудников, он предпринял осенью путешествие по Германии. Как триумфатор, Гервег проследовал с юго-западной ее границы до северо-восточной — через Кельн и Дюссельдорф в Иену, Веймар, Лейпциг, Дрезден вплоть до Берлина и Кенигсберга. В Кельне произошла его первая встреча с Марксом, который именно в это время должен был стать главным редактором «Рейнской газеты». Поэт и мыслитель, бывшие почти ровесниками, быстро подружились. Кружок «Рейнской газеты» организовал банкет в честь Гервега и Гуцкова, прибывшего одновременно с ним в Кельн.<sup>37</sup>

В Иене, где Гервег завязал узы дружбы с Пруцом, студенты устроили под его окнами серенаду.<sup>38</sup> В Лейпциге состоялось большое празднество, в котором принимали участие Генрих Лаубе и будущий участник мартовской революции Роберт Блюм.<sup>39</sup> В Дрездене поэт сошелся не только с Руге, но также с И. С. Тургеневым и М. А. Бакуниным.<sup>40</sup> В начале ноября он вместе с Руге прибыл в Берлин,<sup>41</sup> где у обоих произошло столкновение со «Свободными» и в первую голову — с Бруно Бауэром. Именно в это время Руге решительно готовился к практической борьбе с существующим государством. Между тем Бруно Бауэр начал говорить «смехотворные вещи»: по словам самого Руге, он утверждал, например, что «государство и религию, а в придачу собственность и семью нужно упразднить в понятии»; на положительную же сторону дела, на существование их в действительности нет, дескать, надобности обращать внимание. Эта попытка «защищать всевозможные теоретические и практические экстравагантности» раздражала Руге.

Он возымел намерение выяснить со «Свободными» некоторые практические вопросы. Однако посещение их кружка кончилось скандалом. После происшедшего скандала Гервег отказался от посещения «Свободных» и таким образом лично не столкнулся со взбесившимися филлистерами. Но и его поэтической натуре, находившей отраду во всех красках жизни, тоже

было не по сердцу вымученное «отрицание» пресловутого кружка. Подобно своему другу Руге, он, возмущенный поведением «Свободных», обратился к Марксу с письмом, где, между прочим, писал, что этой революционной романтикой, этим притязанием на гениальность, этой погоней за известностью «Свободные» компрометируют наше дело и партию. Руге и Гервег сказали им это напрямик. Они обиделись на нас — пусть! Гервег сам не хотел выступать против них и потому просил Маркса поместить в «Рейнской газете» заметку, которая представила бы дело «Свободных» в истинном свете. Если я не посетил общество «Свободных», которые в отдельности по большей части превосходные люди, это произошло не потому, что ненавижу и нахожу смешным эту фривольность, эту специфически берлинскую манеру выступлений, это чисто обезьянье подражание французским клубам, — ненавижу, как человек, который при всем уважении и энтузиазме к Французской революции, желает быть свободным от авторитета и этой революции.<sup>42</sup>

Маркс удовлетворил просьбу Гервега и 29 ноября поместил заметку в форме корреспонденции из Берлина. Она начиналась словами: «„Эльберфельдская газета“, а за ней „Дидаскалия“ сообщают, что Гервег посетил общество „Свободных“, но нашел его ниже всякой критики. Гервег не посещал этого общества и, следовательно, не мог найти его ни выше, ни ниже критики». Затем, повторяя почти дословно все письмо поэта, Маркс очень деликатно, но решительно осуждал «Свободных». Маркс как руководитель «Рейнской газеты», непоколебимо убедившись в огромной важности политической борьбы, тоже порывал со «Свободными»: они перестали быть его соратниками в серьезной и мужественной борьбе.

До какой степени «Свободные» не понимали реального положения вещей, видно из того, что корреспонденция «Рейнской газеты» поразила их, как удар грома с ясного неба. Лучшим доказательством тому служит смущенное письмо Бруно Бауэра к Марксу, где он защищает себя и берет под защиту своих друзей. После этого письма больше Бауэр не писал Марксу.

Энгельс узнал о разрыве уже в Англии. Как же он отнесся к данному событию? Можно ли допустить, что Энгельс «солидаризировался» со «Свободными» и именно поэтому прекратил сотрудничество в «Рейнской газете»? В пользу такого вывода имеется только простая дата, а именно: последняя корреспонденция Энгельса из Англии помечена 22-м декабря. Но сама по себе дата ровно ничего не доказывает. Можно, напротив, утверждать, что умственное развитие самого Энгельса — наиболее надежный источник — неотвратимо отчуждало его от былых единомышленников: именно к концу 1842 г. между воззрениями Энгельса и «Свободных» разверзалась пропасть.

Буржуазные младогегельянцы сумели значительно преобразовать учение немецкого философа о религии и христианстве.



Здесь они были смелыми мыслителями. Потому-то Энгельс с таким воодушевлением и сражался в их рядах. Но политика была большой мозолью «Свободных», а коммунизм — недосягаемой зоной. Особенную беспомощность обнаружили именно «берлинцы». В частности, Бруно Бауэр как раз к концу 1842 г. начал высокомерно относиться к политическим и социальным проблемам: философия не может заниматься ими, не роняя собственного достоинства. Да и к чему? Ведь даже христианство с его мутной смесью из греко-римской философии смогло преодолеть античное просвещение; абсолютная же критика созревшего самосознания и подавно справится с чудовищем христианско-германского принципа. Людвиг Буль, ранее других почувствовавший грядущее значение социализма, тоже боязливо сжился при мысли о «черни» и ее грубой силе. Даже Эдгар Бауэр, в отличие от брата усердно занимавшийся социально-политическими вопросами, не сумел порвать кандалы, которые приковали его, как каторжника, к буржуазной тачке.

Для Энгельса было истинным счастьем, что он вырвался из берлинской трясины, засосавшей таких крупных людей, как Бруно Бауэр или Кеппен. На раскаленной почве Англии самыми жгучими вопросами ему представляются уже не религия и атеизм, а социальная революция и коммунизм. И если раньше Энгельс лишь ознакомился с импонирующими его революционности идеями утопического социализма и коммунизма, то социалистом он «сделался только в Англии» (В. И. Ленин). Он неустрашимо и решительно приступил к разрешению как раз тех вопросов, которые для «Свободных» находились вне поля досягаемости. Но в стране, где резко сталкивались крупные интересы, зарево классовой борьбы ярко осветило прорехи его собственного идеологического умозрения. Постепенно освобождаясь от него, Энгельс, конечно, рассмотрел не одну ахиллесову пяту в воззрениях своих недавних друзей. Неизбежный разрыв с ними произошел, однако, совсем не в такой драматической форме, как у Маркса: всецело захваченный иными интересами, он просто и естественно уходит от «Свободных». Так нередко бывает с близкими друзьями: идя в разные стороны, они сначала не замечают этого, а заметив, мирно расходятся без печали и вздыханий. Именно так случилось и с Энгельсом: уже корреспонденции его «Рейнскую газету» из Англии обнаруживают крутой поворот в воззрениях. Разве после этого он мог «солидаризироваться» со своими былыми «союзниками»? — Конечно, нет: не даром он был независимым и творческим умом.

Итак, первая встреча Энгельса с Марксом, действительно, была «очень холодна». Решающую роль в жизни обоих сыграла вторая встреча в начале сентября 1844 г.: к этому времени между ними установилась полная общность взглядов, которая и повела к беспримерной дружбе.

---

**ПРЕБЫВАНИЕ Ф. ЭНГЕЛЬСА В АНГЛИИ**

---

## Глава XII

**ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ: КОРРЕСПОНДЕНЦИИ  
В «РЕЙНСКУЮ ГАЗЕТУ»**

Младогегельянская интеллигенция Германии жила в мире извращенных представлений и перевернутых понятий, ибо смотрела на действительную жизнь сквозь очки идеологического умозрения. Пытаясь объяснить реальные отношения в обществе, она сначала переводила их на привычный язык гегелевской логики и философии истории. Столкновения материальных интересов казались ей противоречием философских категорий — объекта и субъекта, субстанции и самосознания, природы и духа, необходимости и свободы. Так, например, исторически сложившееся государство представлялось левым гегельянцам анахронизмом вовсе не потому, что его формы противоречили потребностям растущей буржуазии; нет, оно было плохо и осуждено на гибель, ибо перестало быть «разумным», а следовательно, «действительным», и вступило в противоречие с историей как развитием понятия свободы. Даже Моисей Гесс, пошедший значительно дальше по пути реализма, обосновывал неизбежность социальной революции, исходя преимущественно из умозрительных соображений.

Энгельс, будучи в Германии, вращался в среде младогегельянцев. Как же велико было его удивление по прибытии в Англию! «Закоренелые британцы» совсем не желали слышать ни о революции, ни об ее философском обосновании. На вопрос, возможна ли в Англии революция, средний островитянин приводил Энгельсу тысячу доводов, что о ней не может быть и речи. Англичанин, пожалуй, и соглашался, что страна находится в критическом положении; но спешил добавить, что, опираясь на богатство, промышленность и свои учреждения, Англия сумеет справиться и без насильственных потрясений: конституция Англии настолько, мол, эластична, что страна преодолет самые резкие толчки в борьбе принципов и приспособится ко всем гереманам, не колебля своих основ; даже низший класс якобы

хорошо сознает, что революция нанесет ему ущерб, так как всякое нарушение общественного спокойствия может вызвать лишь застой в делах, а стало быть безработицу и голод. Словом, англичанин представлял столько доводов, что в конце концов можно было подумать: а ведь в Англии и на самом деле положение не так уж плохо.

Понятно, Энгельс до глубины души возмущался подобным «резвым» и сухим отношением к вопросу, который его так сильно волновал. Только что переплыв Ла-Манш, ревностный воспитанник немецкой философии увидел в рассуждениях англичан просто рабское преклонение перед грубой действительностью, не озаряемое светом теории, самосознания и идеи. Не менее понятно, что он клеймил соображения своих собеседников как «национально-английскую точку зрения непосредственной практики и материальных интересов». По мнению корреспондента «Рейнской газеты», высказанному уже 30 ноября 1842 г., эта точка зрения вполне естественна и даже единственно возможна, если только «упустить из виду побуждающую к движению мысль, если из-за поверхности явлений забыть об их основе, из-за деревьев не увидеть леса».

Горячий поклонник Фейербаха все еще продолжает считать совершенно очевидным, что «так называемые материальные интересы никогда не могут выступить в истории в качестве самостоятельных, руководящих целей, но что они всегда, сознательно или бессознательно, служат принципу, направляющему нити исторического прогресса».<sup>1</sup>

Опираясь на общую всем младогегельянцам догму, Энгельс красноречиво доказывает, что государственный строй Англии совсем не соответствует своему принципу. Ведь в конце концов это государство отстало от континента на несколько столетий; вместо свободы зная только произвол и по уши погрязши в средневековье, оно неизбежно должно вступить в конфликт с прогрессирующим духовным развитием. Есть ли еще хоть одна страна, где феодализм был бы так непоколебим не только в жизни, но и в общественном мнении? Не сводится ли прославленная английская свобода исключительно к формальному разрешению самоуправствовать в границах существующих законов. Разве нижняя палата — не чуждая народу корпорация, избираемая с помощью сплошного подкупа? Разве парламент не попирает беспрестанно волю народа? Разве в наиболее важных вопросах общественное мнение оказывает хоть малейшее влияние на правительство? Так может ли подобное состояние быть прочным?<sup>2</sup>

В сущности это риторический вопрос: ясно как день, что такой государственный строй не осуществляет свободы и абсолютной нравственности. Ясно, что англичане отстали даже от континента, где, например в Пруссии, идет по крайней мере оживленная борьба за философские принципы. В Англии же сопер-

начающие из-за власти партии — виги и тори — «знают только столкновения материальных интересов», но чуждаются принципиальной борьбы. Разумеется, гегельянская совесть Энгельса решительно восстает против допущения, что столкновения материальных интересов действительно обуславливают и порождают принципиальную борьбу. Он счел бы величайшей ересью мысль, что последняя служит только отражением первых. Тем не менее в такой промышленной стране, как Англия, Энгельс уже не может довольствоваться простой ссылкой на «прогрессирующее духовное развитие». С идеалистических высот он вынужден спуститься на грешную землю и внимательно заняться весьма прозаическими вещами. Покинув же область государства, он сразу вступает на почву тех самых материальных интересов, которые так резко бичевал.

Энгельс останавливает свое внимание на столь нефилософских явлениях, как географическое положение Англии, ее тучные пастбища, железные дороги и каменноугольные копи, ее торговля, судоходство и промышленность. Он утверждает, что Англия как промышленная страна должна охранять источники своих богатств запретительными пошлинами. Но повышая вследствие этого цены на заграничные товары, она вынуждена непрерывно увеличивать и самые пошлины, чтобы устранить иностранную конкуренцию. Ясно, что ни иностранцы, ни английские потребители не помирятся с бесконечным ростом пошлин: первые не нуждаются в продуктах Англии, ибо сами производят для своего потребления, а вторые единодушно настаивают на отмене запретительных пошлин.<sup>3</sup>

Благодаря последним Англия уже потеряла континентальный рынок. Ей остается только Америка да собственные колонии. Но по своим размерам колонии не так велики, чтобы потреблять все продукты промышленности; в других же местах они все более вытесняются продуктами немецкой и французской индустрии. Таким образом, Англии надо было бы сокращать размеры своего производства. Однако это так же невозможно, как перейти от запретительной системы к свободной торговле. Ведь промышленность, обогащая страну, в то же время создает быстрорастущий класс неимущих; а от него нельзя просто-напросто отделаться, ибо он никогда не в состоянии достигнуть прочного благосостояния; малейший застой в торговле лишает хлеба значительную часть его, а крупный кризис — и весь класс. Между тем он составляет треть и даже почти половину народа. Что же ему делать при таких обстоятельствах, как не производить насильственный переворот? Вот почему в Англии неизбежна революция. Но, добавляет Энгельс, «как во всем, что происходит в Англии, эта революция будет начата и проведена ради интересов, а не ради принципов; лишь из интересов могут развиваться принципы, т. е. революция будет не политической, а социальной».<sup>4</sup>

Первая корреспонденция Энгельса, отправленная еще из Лондона, представляет несомненный интерес. Прежде всего он, как мы видели, впервые переходит от философских категорий и умозрительных принципов к анализу материальных интересов. Правда, это происходит, можно сказать, вопреки воле самого автора, представления которого об «интересах» еще очень смутны; ведь, по его убеждению, материальные интересы не могут играть роль «самостоятельных руководящих целей»: не принципы сообразуются с интересами, а, наоборот, последние «служат принципу». Однако уже в конце той же корреспонденции Энгельс, не замечая противоречия, заявляет, что в Англии сами принципы могут развиваться только из интересов. Убедившись в очень важном факте, что развитие Англии определяется борьбой не принципов, а материальных интересов, он вовсе не пытается обобщить этот частный случай: воспитанник гегелевской школы считает его не общим законом, а не объяснимым пока исключением. И крайне поучительно проследить, как он, негосредственно наблюдая классовую борьбу промышленной страны, постепенно приходит к истинному пониманию соотношения между «принципами» и «интересами».

Первые строки, написанные Энгельсом в Англии, заслуживают внимания еще и потому, что здесь он тоже впервые выдвигает идею социальной революции. Среди немецких идеологов эта идея не была чем-то неслыханным. Не говоря уже о Вейтлинге, Германе Эвербеке и Теодоре Шустере, ее пропагандировал Моисей Гесс. Но в отличие от своих немецких предшественников, Энгельс придает социальной революции совершенно новый смысл, новое содержание и значение. Критически преодолевая философское умозрение, он именно в решении этого наиболее сложного и важного вопроса блестяще обнаруживает свои необычные творческие дарования. Первая же корреспонденция из Англии показывает, что Энгельс вступил в новый этап своего развития. В ней намечается переход Энгельса с позиций революционного демократизма на позиции пролетарского коммунизма. Правда, его представления о коммунизме еще очень неопределенны.

В письмах из Англии Энгельс оригинально обосновывает неизбежность социальной революции. Экономические познания Энгельса пока весьма ограничены. Может быть, поэтому он с такой невозмутимой уверенностью выставляет ряд чрезвычайно рискованных положений: если верить его словам, континентальная промышленность быстро догоняет английскую, а Франция и в особенности Германия, можно сказать, уже наступают на пятки Англии; иностранный рынок почти утрачен ею, а собственные колонии «далеко не настолько велики», чтобы поглотить продукты ее производства; между тем она не может ни сократить размеры своей промышленности, ни перейти от запретительной системы к свободной торговле. Вследствие этих

противоречий в стране неизбежна социальная революция. Как известно, Англия пережила длинный и сложный цикл социально-экономического развития, потребовалось много десятилетий, чтобы наступило то безвыходное положение, которое пришлось юному коммунисту уже в 1842 г.

Промышленный переворот в Англии вырастил и укрепил промышленную буржуазию. В первой трети XIX в. она играла уже очень важную экономическую роль, владела крупными богатствами, но не пользовалась преобладанием ни в парламенте, ни в правительстве. Партия вигов, выражавшая интересы аристократической верхушки буржуазии, только под давлением массового народного движения вынуждена была поддержать требования об изменении избирательной системы. В 1832 г. вигским кабинетом такая реформа была осуществлена. Она увеличила число избирателей с 400 тыс. до 800 тыс. человек и обеспечила вигам большинство в нижней палате. Достигнув власти, партия крупной буржуазии с беспримерным цинизмом изменила своим бывшим союзникам и откровенно стала защищать исключительно собственные интересы. Но самая реформа представляла компромисс ее с ториями, партийей землевладельцев, которые далеко не были разбиты: они еще надолго сохранили влияние в деревнях и в большинстве мелких городов. Итак, между обоими классами продолжалась открытая и ожесточенная борьба, вскоре сосредоточившаяся вокруг хлебных законов.

Энгельс со свойственной ему проницательностью сразу заметил эту борьбу. Но в любезном отечестве он наблюдал только богословские распри и философские пререкания, не сознавая, что за «борьбой принципов» скрывается тоже борьба классовых интересов. Свою идеологическую точку зрения он пытается приложить и к английским отношениям, классовый характер которых выступал с такой очевидностью. Энгельс полагает, что «повседневная, осязаемая действительность», «внешняя практика» составляют только «видимость» жизни: положение Англии гораздо проще можно объяснить, если «свести эту видимость к ее принципиальному содержанию». В чем же оно заключается? — В том, что здесь имеются три партии, выражающие интересы трех классов: аристократия земельной собственности (тории), аристократия денег (виги) и радикальная демократия (чартисты).

Перенося германские отношения на английскую почву, Энгельс считает ториев чем-то вроде прусских юнкеров. По своему происхождению и природе, думает он, это партия старогосударства, чисто средневековая, последовательно реакционная, родственная исторической школе права и образующая опору христианского государства. Ее природа лучше всего рисуется отношением к хлебным законам. Дворянство знает, что его сила заключается главным образом в богатстве. При свободном ввозе хлеба оно было бы вынуждено заключить с арендаторами новые

договоры на менее выгодных условиях. Между тем богатство дворянства состоит из земельной собственности, ценность которой находится в прямом отношении с высотой арендной платы и падает вместе с нею. Арендная плата настолько высока, что даже при существующих пошлинах арендаторы разоряются. Свободный же ввоз хлеба на целую треть понизил бы ее, а вместе с тем и ценность земельной собственности. Это, конечно, побуждает аристократию крепко держаться за свои права, разоряющие земледелие и обрекающие на голод деревенскую бедноту.

Во всяком случае аристократия будет упорно защищаться и, в частности, не согласится добровольно допустить свободный ввоз хлеба, замечает Энгельс. Правда, она согласилась на билль об избирательной реформе. Но разве можно сравнивать ослабление ее влияния на выборах в нижнюю палату с понижением ценности имущества на 30 процентов? Да и самый билль о реформе оказалось возможным провести лишь с помощью народных восстаний и бросания камней в окна аристократов. Ясно, что в вопросе о беспошлинном ввозе хлеба землевладельцы будут ждать до тех пор, пока сам народ не станет достаточно настойчив и силен, чтобы осуществить свою волю. На этот раз аристократия будет упорствовать, пока ей не приставят нож к горлу. С другой стороны, и народ, конечно, недолго уж будет платить аристократии по одному пенни за каждый фунт съеденного хлеба.<sup>5</sup>

Ядро второй партии — вигов — образуют купцы и фабриканты, из большинства которых состоит так называемое третье сословие. Это сословие является средним лишь сравнительно с богатыми дворянами и капиталистами; по отношению же к рабочим оно само занимает аристократическое положение. Вследствие этого виги обрекаются на двусмысленную роль золотой середины, как только рабочий класс начинает сознавать себя. Так именно и происходит в настоящий момент. Естественно, что средний класс никогда не изъявит согласия на всеобщее избирательное право: уступчивость его в данном пункте неизбежно дала бы голосам неимущих перевес в нижней палате и, стало быть, повела бы к утрате господства. Но и независимо от политических интересов средний класс может примыкать только к торжам или вигам. Его принцип — сохранение существующего. Между тем при современном положении Англии «легальный прогресс» и всеобщее избирательное право неотвратимо привели бы к революции.<sup>6</sup>

Стоя на позиции золотой середины, виги заняли место между двух стульев и в вопросе о хлебных законах. Они против существующих пошлин, но в то же время и против неограниченной свободы торговли, а потому предложили твердую пошлину в 8 шиллингов за кварталер. Предложенная пошлина настолько низка, что открывает иностранному хлебу доступ внутрь страны и портит арендаторам рынок; в то же время она настолько высока, что лишает арендатора всякого основания требовать новых

арендных условий и оставляет ныне существующие высокие цены на хлеб. Таким образом, мудрость золотой середины разоряет страну еще основательнее, чем закоснелость последовательной реакции.<sup>7</sup>

Принципами третьей, радикально-демократической партии все более проникается рабочий класс, признающий общим выражением своего сознания чартизм. Ныне эта партия еще только складывается и потому не может выступать с полной энергией. Но активное выступление необходимо. Если при настоящем положении дел чартисты будут терпеливо ждать, пока завоюют большинство в нижней палате, им придется еще несколько лет созывать митинги и требовать шесть пунктов «народной хартии». Уж и теперь скрытая сила чартизма быстро нарастает, хотя и не поддается учету. Впрочем, есть вещи, выходящие за пределы числовых отношений. Именно на этом сверхпроницательные виги и тории потерпят крушение, когда наступит надлежащий час.<sup>8</sup>

Понятно, что, кроме трех главных партий, имеются еще разные промежуточные оттенки. Среди них есть две значительные группы: первая — нечто среднее между вигами и ториями; вторая — середина между вигизмом и чартизмом — образует «радикальный» оттенок; его представляют полдюжины членов парламента и несколько органов печати — главным образом «*Examiner*», принципы которого неофициально легли в основу «Национальной лиги против хлебных законов». Само собой понятно, что чартисты знать ничего не хотят ни о каких хлебных пошлинах.<sup>9</sup>

Существующие хлебные законы быстро доживают свой век: народ питает настоящую ненависть к этим законам, тория не в состоянии противиться напору ожесточенной массы; деятельность Лиги, распространяющей свои публикации сотнями тысяч, огромна. Один из важнейших результатов, достигнутых отчасти хлебными законами, отчасти Лигою, заключается в том, что арендаторы освобождаются от морального влияния землевладельцев-дворян. Теперь у арендатора разбужен политический интерес. Он уразумел, что интересы его и лендлорда не тождественны, а прямо противоположны, и что хлебные законы наиболее неблагоприятны именно для него. Поэтому среди арендаторов произошла глубокая перемена. Большинство их теперь виги. Так как лендлордам будет трудно оказывать при выборах решающее влияние на голоса арендаторов, то скоро, пожалуй, 252 места, принадлежащие тори, перейдут к такому же количеству вигов. Если бы это осуществилось хоть наполовину, значительно изменилась бы физиономия палаты общин, и вигам было бы обеспечено постоянное большинство.<sup>10</sup>

Таково систематическое содержание разрозненных корреспонденций, которые Энгельс отправил из Англии в «Рейнскую газету» — первую 30 ноября, а последнюю 22 декабря 1842 г.



Сначала молодой сотрудник как левый гегельянец заговаривает еще о «прогрессирующем духовном развитии» и «борьбе принципов»; он даже считает принципы более важными, чем «материальные интересы». Но уже со второй заметки анализ социальных отношений производится чисто реалистически. Поразительна быстрота, с какой Энгельс вполне самостоятельно сумел разобраться в совершенно новой и очень сложной обстановке. Прежде всего он метко схватил основное противоречие капиталистического общества — между буржуазией и пролетариатом. Справедливо видя в обоих классах непримиримых антагонистов, он убежден, что средний класс, «среднее сословие может примыкать лишь к вигам или ториям, но не к чартистам». Но этим дело не ограничивается; так же хорошо он постигает противоречия, существующие между аристократией и капиталистами, с одной стороны, между землевладельцами и арендаторами — с другой.

Верно схватив основные черты капиталистического общества, Энгельс, однако, не замечает еще характерных особенностей, свойственных именно Англии. Он справедливо видит силу дворянства в земельной собственности, а выразителями его классовых интересов считает ториев. Но он допускает очевидную неточность, отождествляя английскую аристократию с прусскими юнкерами и называя ториев «чисто средневековой» партией. В действительности землевладельцы Англии и их партия к середине XIX в. представляли уже продукт капиталистического способа производства. Сама земельная собственность приобрела такие формы, которые допускали капиталистический способ ведения сельского хозяйства. Это выражалось, между прочим, в том, что лендлорды разбивали свои владения на отдельные участки и сдавали их формально свободным арендаторам. Таким образом, земельные собственники перестали быть руководителями и властелинами производства, превратившись в простых сдатчиков земли и получателей ренты, или, по выражению Маркса, в «земельных ростовщиков». Положение же прусских юнкеров было иное. Они сами обрабатывали свои имения и еще оставались «руководителями производства». Кроме того, они нажимали не свободных батраков, а эксплуатировали полукрепостных крестьян, опутанных сетью феодальных повинностей.

Разумеется, лендлорды и тории, подвергшись капиталистической трансформации, сохраняли многие исторические черты. Это и дало Энгельсу повод сблизить их с исторической школой права в Германии и считать «опорой христианского государства». Но не в пример партии христианско-романтической реставрации тории обладали большим умением приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Они, стало быть, не были так «последовательно реакционны», как тупоголовые феодалы Германии. Вот почему не совсем оправдалось предсказание Энгельса, что аристократия не согласится допустить свободный ввоз хлеба. Известно, что именно консервативный лидер сэра Роберта Пиль в

1846 г. примкнул к принципам свободной торговли и нашел в парламенте большинство в пользу своей новой торговой политики. Известно также, что после роспуска парламента и новых выборов хлебные законы были отменены: «свободная торговля» восторжествовала.

Гораздо удачнее Энгельс характеризует вигов. В этой партии он видит представителей ненавистной «золотой середины», с которыми так круто разделался на родине в лице Александра Юнга. Конечно, Энгельс не ждет ничего от английских соглашателей, даже в отношении хлебных законов сидящих между двух стульев и разоряющих страну «еще вернее, чем законсервисты последователей реакции». Не жалуется он и «радикалов», название которых неизменно заключает в иронические кавычки.

По его мнению, подлинно радикальными демократами являются только чартисты; они выражают «общее сознание» рабочего класса, пустили глубокие корни в народной гуще и быстро развивают свои скрытые силы. Все симпатии Энгельса принадлежат чартизму, нарастающая сила которого со временем сокрушит вигов и тори.<sup>11</sup>

Последнее очень знаменательно. Раньше он был революционным демократом «вообще»; теперь он нераздельно связывает радикальную демократию с «общим сознанием» рабочего класса. Энгельс уже хорошо понимает, что в буржуазном обществе пролетариат занимает совершенно особое положение, толкающее его к социальной революции. Ему глубоко запала в голову важная мысль, что рабочие скоро придут к организации самостоятельной политической партии, которая находится «в процессе образования».

Это убеждение он черпает в том, что положение рабочего класса становится с каждым днем все более шатким и тяжелым. Пожалуй, думает Энгельс, текстильные рабочие могут быть еще довольны, если станут сравнивать свою участь с судьбой сотоварищей в Германии и Франции. Там рабочий едва-едва зарабатывает, чтобы перебиваться с хлеба на картошку. Здесь ежедневно он ест говядину. Дважды в день он пьет чай и все-таки имеет еще деньги, чтобы за обедом выпить стакан портера, а вечером — брэнди или минеральной воды. Но надолго ли это? При самом незначительном застое в торговле тысячи рабочих останутся без хлеба, быстро израсходуют свои скудные сбережения и очутятся на пороге голодной смерти. А такой кризис снова должен наступить через два-три года.

При всем том положение текстильных рабочих наилучшее. В каменноугольных же копиях рабочим приходится за ничтожную плату выполнять самые тяжелые и нездоровые работы. При таких условиях они питают гораздо большую злобу к богачам, чем простой рабочий люд, особенно выделяясь грабежами, насилиями над богатыми и т. п. Если уже теперь рабочим приходится туго, что с ними станется при малейшем застое в делах?

Между тем в Шотландии мануфактуры уже стоят. Во всех окрестностях Глазго безработица ежедневно растет. Двумя неделями раньше в Песли, сравнительно маленьком городе, было 7 тыс. «незанятых», а теперь их уже 10 тыс. И без того ничтожные пособия из касс взаимопомощи уменьшаются, так как фонды иссякают.

В конце концов оказывается, что Англия своей промышленностью посадила себе на шею не только многочисленный класс неимущих, но и довольно значительный класс безработных, от которых не может избавиться. Эти люди обречены на произвол судьбы. Государство оставляет и даже отталкивает их от себя. Кто же станет осуждать их, если мужчины займутся грабежами и налетами, а женщины — воровством и проституцией? Но государство не интересуется тем: горек голод или сладок, а запирает их в тюрьмы и ссылает в колонии для преступников; если оно и выпускает безработных обратно, то с тем утешительным результатом, что они превращаются в людей развращенных. А премудрые виги и «радикалы» до сих пор не понимают, откуда берется чартизм и как может только придти чартистам в голову, что в Англии они имеют хоть малейший шанс на успех.

Картина, нарисованная Энгельсом, точно соответствовала действительности. В течение зимы 1841—1842 гг. рост чартистской агитации происходил параллельно с ростом нужды среди рабочих. Хотя разные попечители о бедных старательно пытались сократить пауперизм, усиливая строгие правила в рабочих домах, все же расходы на содержание безработных росли с каждым годом: от минимума в 5 ш. 5 п. на душу населения в 1836—1837 гг. они дошли до 6 ш. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> п. в 1841—1842 гг. и до 6 ш. 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> п. в 1842—1843 гг. Процент населения Англии и Уэльса, пользовавшегося помощью органов призрения, в 1842—1843 гг. поднялся до 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Число лиц, получавших пособие для бедных, угрожающе росло: в 1839 г. их было 1 137 000, в 1841 г. — уже 1 299 000, а в 1842 г. — даже 1 429 000. В одной Ирландии было чудовищное количество пауперов — 2 300 000 человек.<sup>12</sup>

В отдельных округах положение безработных было вопиющим. В Стокпорте, например, с каждого фунта стерлингов, получаемого за сдачу квартир, 8 ш. шли на уплату налога в пользу бедных. В Лидсе люди ухитрялись существовать на 11<sup>1</sup>/<sub>4</sub> п. в неделю. В Болтоне целая семья тратила на пищу, одежду и другие расходы менее 1 ш. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> п. в неделю; у большинства вещей были заложены в ломбардах. В Песли 15 000 лиц получило помощь от органов общественного призрения. В шерстяных районах Вильтшира рабочий получал заработную плату, составляющую лишь две трети того голодного пайка, который давался пауперам в рабочих домах. В 1841 г. 800 тыс. ручных ткачей имели заработок по 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> п. в день. В Манчестере десятая часть населения, а в Ливерпуле седьмая часть жила в смрадных и

грязных подвалах. Как ни ужасны эти цифры, они преуменьшены, по мнению даже буржуазных историков.<sup>13</sup>

Успешная борьба с капиталом в экономической области была невозможна вследствие промышленного кризиса. Профессиональные союзы все более теряли веру в собственные силы: в 1841 г. развалилась организация английских и шотландских каменщиков; деятельность профессиональных союзов ланкаширских текстильщиков замерла; вследствие массовой безработицы литейщики, котельщики и некоторые другие категории металлургических рабочих тоже не сумели сохранить свои союзы. Глазговские рабочие были терроризованы судебными преследованиями, возбужденными против их насильственных приемов в 1838 г. Словом, профессиональное движение зашло в такой тупик, выход из которого заключался лишь в революционной политической борьбе.

С приближением лета 1842 г. острое недовольство народных масс стало выражаться в более резких формах. Нужда рабочих дошла до последнего предела. Заработная плата резко упала, несмотря на усилия профессиональных союзов удержать ее на уровне прежних лет. Гвоздарям близ Вольвергемптона сбавили плату на 10½ проц. и перевели их на половинный рабочий день. Однородные явления наблюдались и в каменноугольных копях, где вслед за понижением поденной платы на 3 п. вспыхнула стачка. В окрестностях Тайна корабельные плотники забастовали, когда в начале августа плата их была уменьшена до 21 ш. в неделю. В головы рабочих настойчиво проникала мысль, что деятельность профессиональных союзов — просто сизифов труд. Пролетарии приходили к убеждению, что спасение их заключается в завоевании политических прав и осуществлению народной хартии. Им казалось, что промышленный кризис дошел до такой остроты, которая неминуемо вызовет спасительную катастрофу. Чем хуже шли дела, тем больше радовались революционно настроенные рабочие, восклицая: «Это ускорит кризис!»

Все слои общества были встревожены. Даже капиталистические мозги болезненно сверлила мысль, которую однажды выразил «Morning Chronicle»: «промышленность не может дать занятий большому числу рабочих рук». При открытии парламентской сессии королевский адрес тоже отметил, что ее величество «с глубоким прискорбнем наблюдала продолжающуюся нужду в рабочих округах страны»; вместе с тем адрес свидетельствовал, что «соединенные с этой нуждой страдания и лишения переносились с образцовым терпением и мужеством». В умах некоторых мыслителей естественно возникало опасение, не является ли капитализм симптомом упадка и национального разложения.

Благородные умы и горячие сердца давали волю негодованию в поэтических, публицистических и научных произведениях: Томас Гуд в «Песне о рубашке» и «Мосте вздохов» парисовал

потрясающие картины, изображавшие безмерные страдания женского пролетариата; Елизавета Броунинг потрясла современников своим «Криком детей»; Томас Карлейль в памфлете «Прошлое и настоящее» бичевал капиталистическое общество как век нового варварства; Диккенс создал трогательные рождественские рассказы; Дизраэли написал знаменитый роман «Сивилла», дав глубоко захватывающие сцены из стачки 1842 г.; наконец, Энгельс гениально продумал «Положение рабочего класса в Англии». Не только он, но и многие другие полагали, что страна действительно находится накануне социальной революции.<sup>14</sup>

Среди такого настроения вновь ожила старая надежда чартистов на спасение путем всеобщей забастовки. В конце июля 1842 г. рабочие Аштона, Стелибриджа и Гайда устроили митинги с целью обсудить положение. Большинство ораторов высказалось за прекращение работ, чтобы воспрепятствовать дальнейшим понижениям заработной платы и снова довести ее до уровня 1839 г. — 4 и 5 августа в Аштоне началась большая забастовка прядильщиков и ткачей. 7 августа в Мотрам-Муре состоялось два митинга, причем участники одного из них решили не приниматься за работу, пока хартия не станет законом. 8 августа был устроен еще один митинг близ Стелибриджа, на котором присутствовало от двух до трех тысяч человек.

Со знаменами и возгласами «ура» в честь хартии, своего вождя О'Коннора и его газеты «Северная звезда» («Northern Star») несколько тысяч рабочих, вооруженных дубинами, отправились в Манчестер. Переходя с одного места в другое, они прекращали работы на всех фабриках. Число присоединяющихся непрерывно возрастало, пока 9 августа громадная процессия не подошла к Манчестеру. При входе в город она была остановлена войсками, с которыми начались переговоры. Вождям удалось убедить представителей власти, что лозунгом рабочих был мир, закон и порядок. При этом они поручились, что никакого беспорядка не произойдет. Тогда власти приказали войскам удалиться, и сами присоединились к шествию рабочих. Через некоторое время толпа разделилась на группы, переходившие от фабрики к фабрике и приглашавшие рабочих присоединиться к забастовке. Из Манчестера как центра забастовка распространилась по всем направлениям. Вскоре она охватила Ланкашир, Йоркшир. Уоркшир, Стаффордшир, весь гончарный округ и перебросилась в Уэльс. В то же время происходила забастовка шотландских горнорабочих, а в Лондоне чартисты устраивали тайные ночные собрания, чтобы подготовиться к выступлению.<sup>15</sup>

Не везде начало забастовки происходило так мирно. Во многих местах рабочие, не желавшие прекращать работы, насильно удалялись из мастерских, фабричные ворота и окна разбивались, пробки у паровых котлов отвинчивались, а сопротивляющиеся фабриканты подвергались мерам физического воздей-

вия. В Стокпорте, Престоне и Стаффордшире произошли серьезные беспорядки. В Престоне и Блекберне дело дошло даже до столкновения с войсками, убившими шесть и ранившими несколько человек. Но в общем забастовка протекала без особенного нарушения порядка. Характерно, что голодные рабочие нигде не грабили и не уничтожали без нужды имущество. Правда, в Манчестере они требовали от некоторых лавочников хлеба или денег, что им и давали. Но нищенски бедные мятежники, почти неделю державшие в руках богатейший центр текстильной промышленности, не присвоили ни одной ценной вещи.

Вспыхнувшая забастовка с самого начала не носила чисто экономического характера. Конечно, раздавались кое-какие голоса против смешения стачки с политикой, но таких было меньшинство. Уже через несколько дней после начала забастовки вопрос о заработной плате отошел на задний план. Среди рабочих стала пробивать дорожку мысль, что путем стачки можно завоевать и хартию. Делегаты от тред-юнионов, подробно обсудив положение на митинге 11 и 12 августа, приняли резолюцию, в которой, между прочим, заявляли: «Пока не будет уничтожено классовое законодательство и не будет установлен принцип коллективного труда, до тех пор рабочие не получат возможности пользоваться полным продуктом своего труда. Настоящий митинг считает, что народная хартия содержит элементы справедливости и всеобщего благоденствия, и мы обязуемся продолжать агитацию в пользу наших требований, пока этот документ не станет законом страны». Через четыре дня в Манчестере состоялась конференция тред-юнионов, на которой присутствовало свыше 100 делегатов от Ланкашира и Йоркшира. Подавляющим большинством (против 6—7 голосов) они тоже высказались в пользу революции, предлагавшей превратить забастовку в борьбу за хартию.

И размах всего движения и заявления профессиональных союзов в пользу хартии были для чартистов полной неожиданностью. Тем сильнее получилось впечатление. Казалось, что «священный месяц», о котором они так давно мечтали, действительно облекается в плоть и кровь: промышленные центры северной и средней Англии находились в состоянии мятежа; рабочие всей страны стекались под знамя чартизма; профессиональные союзы признали необходимость политического движения и подчинились ему. Лондон легко было мобилизовать. Северная и средняя Англия, Шотландия и Уэльс ждали только сигнала вождей. Что же предприняли чартисты? 17 августа, тайком собравшись на конференции в одной сектантской церкви Манчестера, они стали обсуждать вопрос о всеобщей забастовке. Большинство полагало, что наступило, наконец, время предпринять с успехом попытку парализовать правительство. Д-р Мак-Дуолл от имени президиума внес предложение, чтобы конференция объявила себя солидарной с резолюцией профессиональных сою-

зов, которые настаивали на продолжении забастовки до тех пор, пока хартия не станет законом. Начались прения.

Чартистский поэт и бывший сапожник Томас Купер поддержал предложение президиума, мотивируя его весьма разумными соображениями. Он доказывал, что мирная всеобщая забастовка невозможна и неизбежно поведет ко всеобщей борьбе: государственная власть постарается обуздать забастовщиков и начнет преследовать их, а на это массы могут ответить только вооруженным восстанием; поэтому чартисты должны мобилизовать массы и сделать их мощь непреодолимой. Многие ораторы произнесли речи в том же духе и благодарили Купера, высказавшего их мысли. Но самый влиятельный вождь О'Коннор выступил против: «Мы, — сказал он, — собрались не для того, чтобы говорить об уличных боях. Мы находимся здесь, чтобы одобрить резолюцию тред-юнионов». Конференция действительно «одобрила» резолюцию, но не наметила ни определенной программы, ни ясной тактики. В результате ее работ президиум Национальной чартистской ассоциации ограничился лишь тем, что выпустил воззвание, составленное Мак-Дуоллом. Энергичное по языку и резкое по форме, оно было бедно и умеренно по содержанию, не давая практических директив. Вожди чартистов сочли свою задачу выполненной. О'Коннор предоставил инициативу массам и уехал обратно в Лондон.

Это была роковая ошибка. Покинутые вождями, преследуемые властями и придавленные нуждой, рабочие массы постепенно стали возвращаться на фабрики и в мастерские. К концу августа, за три месяца до прибытия Энгельса в Англию, забастовка явно пошла на убыль. Правда, частично она продолжалась еще в конце сентября, но то были последние тучи рассеянной бури. Чартизм, достигнув апогея, был разбит в момент наибольших ожиданий.<sup>16</sup>

Когда Энгельс прибыл в Англию, рабочие массы глухо волновались. Зорко подмечая всякое революционное настроение, он обратил, разумеется, внимание на забастовку, отзвуки которой еще продолжали раздаваться. Он полагает, что характер «возмущения совершенно не понят на континенте». Там опасались, не может ли дело принять серьезный оборот. Но об этом не было и речи для очевидцев самих волнений. Прежде всего, утверждает Энгельс, самое начинание покоилось на иллюзии: из-за того, что некоторые фабриканты решили понизить заработную плату, все рабочие хлопчатобумажных, каменноугольных и железоделательных районов вообразили, будто их положению грозит опасность, «чего вовсе не было». Дело оказалось не подготовлено, не организовано и не руководимо. У стачечников не имелось ни определенной цели, ни единодушия относительно плана действий. Поэтому при малейшем сопротивлении со стороны властей они становились нерешительны и не могли преодолеть уважение к закону.

Когда чартисты овладели движением и стали провозглашать перед собравшимися толпами народную хартию, было слишком поздно. Единственной руководящей идеей, рисовавшейся и рабочим и чартистам, была «революция законным путем» — внутреннее противоречие, практическая невозможность, на осуществлении которой они потерпели неудачу. Ведь первая же мера — приостановка фабрик — стала насильственной и незаконной. При такой неподготовленности все движение было бы подавлено в самом же начале, если бы администрация, для которой оно наступило неожиданно, тоже не проявила растерянности и беспомощности. Тем не менее оказалось достаточно незначительной военной и полицейской силы, чтобы удержать народ в узде. В Манчестере можно было наблюдать, как четыре или пять драгунов, из которых каждый занимал один проход, держали в скверах тысячи рабочих взаперти. «Легальная революция» все парализовала.

Так закончилось возмущение. Каждый рабочий снова принимался за работу, как только выходили его сбережения и нечего было есть. Все же движение принесло неимущим и некоторую пользу: «сознание, что революция мирным путем невозможна и что только насильственное ниспровержение существующих ненормальных отношений, только радикальное свержение дворянской и промышленной аристократии может улучшить материальное положение пролетариата». От насильственной революции его удерживает еще свойственное англичанам уважение к закону. Но при описанном выше положении Англии в недалеком будущем неизбежно наступление всеобщей безработицы; тогда страх голодной смерти окажется сильнее страха перед законом. Революция в Англии неизбежна.<sup>17</sup>

Осторожное скептическое отношение Энгельса к забастовке не совсем основательно. Хотя она и потерпела неудачу, все же приняла довольно «серьезный оборот»: даже по расчетам враждебного «Таймса», не склонного преувеличивать размеры движения, оно охватило от 50 до 80 тыс. рабочих. Едва ли можно согласиться и с замечанием Энгельса, что все движение «покоилось на иллюзии рабочих, будто их положению грозит опасность». Вопреки этому мнению, английским пролетариям угрожала вполне реальная опасность — агрессивное наступление капитала и связанное с ним понижение заработной платы. Чтобы предупредить его, рабочие и начали забастовку почти стихийно. Как часто бывает в подобных случаях, революционно настроенные массы быстро раздвинули первоначально поставленные ей рамки. Чартисты выступили только тогда, когда стачечная волна уже прокатилась по всей северной Англии. Это отчасти отмечает и сам Энгельс.

С другой стороны, он глубоко прав, указывая на неподготовленность, неорганизованность и стихийный характер движения. Если можно допустить, что у большинства забастовщиков име-



лась определенная цель — завоевание народной хартии, то единодушие в плане действий совсем не замечалось. В сущности и плана-то никакого не было. Еще более верно указание Энгельса на внутреннее противоречие в тактике тред-юнионов и чартистов, выдвигавших лозунги: «легальная революция», «революция законным путем» — Вожди движения твердили возбужденным массам о «революции законным путем» и не решались на большее. Уже это одно свидетельствует, насколько незрелым движением была знаменитая забастовка. И все-таки она принесла немалую пользу. По меткому замечанию Энгельса, рабочие поняли, что революция мирным путем невозможна, что только насильственное низвержение существующих отношений улучшит материальное положение пролетариата.

Это — очень важный практический вывод из чартистского движения. Он — огромное творческое достижение молодого Энгельса и почерпнут не из книг, а подсказан непосредственно самой классовой борьбой в Англии.

## Глава XIII

### ПОЛУГОДОВОЙ ОПЫТ: ПИСЬМА Ф. ЭНГЕЛЬСА В «ШВЕЙЦАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНЕЦ»

В последней корреспонденции в «Рейнскую газету» Энгельс, между прочим, обещал подробнее описать «огромную» деятельность «Лиги против хлебных законов». Хотя обещание и было исполнено, но иначе, чем полагал сам автор. В «Рейнской газете» перестали появляться корреспонденции из Англии. Это можно объяснить двояко. С одной стороны, в конце 1842 г. газета была обречена недремлющей цензурой на заклятие; Энгельс, уже в январе узнавший о предстоящей ей гибели, нашел нецелесообразным посылать далее свои корреспонденции. С другой стороны, и сама редакция газеты, истекающая кровью в борьбе с цензурой, не решалась печатать статьи с такими «опасными тенденциями». Вскоре «Рейнская газета» была окончательно закрыта, невзирая на некоторые попытки спасти ее.

«Немецкие ежегодники» были умерщвлены еще ранее. После двух насильственных смертей у младогегельянцев вообще не осталось своего органа. Другие же газеты не отважились бы предоставить убежище такому непреклонному революционеру, как Энгельс. Младогегельянцам оставался лишь один выход — создать собственный орган. Но восторжествовавшая реакция безнадёжно расколола их ряды: «Свободные» высокомерно отвернулись от политики; Маркс, Руге и Гервег на опыте убедились, что издавать свой орган в пределах Германии невозможно. У них естественно зародилась мысль о совместном изда-

нии журнала за границей. Однако прошло несколько месяцев, пока задуманный план начал осуществляться.

Тогда на сцену выступил цюрихский профессор, издатель и владелец «Литературной конторы» Юлиус Фребель. Он уже успел издать «Христианскую героическую поэму» Энгельса, а позднее «Анекдоты» Руге и «Двадцать один лист из Швейцарии» Гервега. Фребель находился под влиянием Моисея Гесса, вел с ним оживленную переписку и симпатизировал коммунизму. Друг Вейтлинга Август Беккер писал о цюрихском профессоре, что «он расположен к нашему принципу».<sup>1</sup> Действительно, Фребель стремился завязать «более близкое знакомство» с Вейтлингом, просил некоторых лиц передавать ему приветы и откровенно признавался, что в общем он согласен с коммунистическим направлением.<sup>2</sup>

В пору немецкого безвременья к этому радикальному издателю перешел «Швейцарский республиканец», издававшийся в Цюрихе и мужественно боровшийся со швейцарской реакцией. Фребель чувствовал ответственность за «судьбу всей цюрихской радикальной партии» и полагал, что проповедь коммунизма могла бы дать повод ко второй «штраусиаде».<sup>3</sup> Тем не менее он задумал ознакомить читателей своей газеты с судьбами братских демократических партий в Англии, Франции и Германии. С этой целью он наряду с другими «превосходными политическими писателями» пригласил и Энгельса. Приглашение было тем естественнее, что последний уже раньше поместил в изданном Фребелем сборнике свою статью о Фридрихе Вильгельме IV. Энгельс принял предложение: в мае и июне 1843 г. он отправил в «Швейцарский республиканец» четыре письма из Лондона. Эти статьи ясно показывают, что полугодовое пребывание в Англии прошло не даром для их автора.

В своих новых «Письмах из Лондона» Энгельс подробнее знакомит читателей с социальными отношениями Англии. По-прежнему полагая, что здесь «партии тождественны с социальными наслоениями и классами», он больше всего интересуется чартистами и социалистами. Хотя последние, по его мнению, не представляют сплоченной политической партии, тем не менее пополняются из низших слоев среднего класса и пролетариата. Ему, германскому интеллигенту, кажется «поразительным» одно обстоятельство, наблюдаемое в Англии: чем ниже в обществе стоит класс, чем он «необразованнее» в обычном смысле слова, тем он прогрессивнее и тем большую имеет будущность. Считая это характерным признаком всякой революционной эпохи, Энгельс думает, что предзнаменования великого переворота никогда еще не проявлялись так ярко и резко.

Для буржуазии характерно ее отношение к некоторым произведениям литературы. «Жизнь Иисуса» Штрауса была переведена на английский язык; ни один «солидный» книгоиздатель не хотел печатать перевода; наконец, он появился в издании со-

всем второстепенного, но энергичного антиквария. Та же судьба постигла переводы Руссо, Вольтера, Гольбаха и т. д. Байрон и Шелли читаются почти исключительно низшими классами; сочинения последнего ни один «уважаемый» человек не сможет держать у себя на столе под страхом самой ужасной репутации. Так и выходит: блаженны нищие, ибо их есть царствие небесное: «рано или поздно также и царство мира сего».<sup>4</sup>

Очутившись в водовороте классовой борьбы, Энгельс начинает отдавать себе все более ясный отчет об ее условиях. Он понимает, что необразованные пролетарии лучше усваивают прогрессивные идеи века, чем образованные буржуа. Его отрицательное отношение к господствующим классам находит обильную пищу в политических событиях. Одним из них было уклончивое по форме и враждебное по существу отношение либералов к законопроекту, внесенному торийским министром внутренних дел сэром Джемсом Грехемом. Согласно биллю, ограничивалось рабочее время детей на фабриках, вводилось обязательное обучение, а надзор за школами возлагался на англиканскую церковь. Билль вызвал всеобщее возбуждение и, по выражению Энгельса, «дал партиям повод померяться силами».

Тут-то и обнаружилась эксплуататорская душа вигов, решивших отвергнуть билль на том основании, что, сокращая рабочее время детей, он поставил фабрикантов в затруднительное положение. Либеральные фабриканты стали созывать митинги, чтобы подавать петиции против билля. Но победителями на митингах выходили обычно чартисты и социалисты. Так, по сообщению Энгельса, на митинге в Стокпорте за резолюцию вигов был подан только один голос, а за резолюцию чартистов голосовал весь митинг. В Солфорде виги, устроители митинга, пытались под шумок провести петицию в своем духе, но были принуждены позорно покинуть зал. Даже Манчестер, гнездо вигизма и центральный пункт «Лиги против хлебных законов», дал блестящее большинство радикальной демократии, расстроив все намерения «либералов».<sup>5</sup>

По сравнению с корреспонденциями в «Рейнскую газету» «Письма из Лондона» представляют крупную веху в политическом развитии Энгельса. После полугодового пребывания в Англии он занимает явно враждебную позицию не только к буржуазии вообще, но и к ее политическим организациям, лицемерно прикрывшимся «национальными» интересами. Одной из них была «Лига против хлебных законов», деятельность которой Энгельс не так давно признавал «огромной» и небесполезной. Теперь же он вполне вошел в круг чартистских идей и очень хорошо раскусил классовую подоплеку пресловутой Лиги.<sup>6</sup>

Она возникла в 1836 г. под именем Лондонской ассоциации против хлебных законов. Хотя Ассоциация имела популярных вождей и искусно руководимый орган в лице лондонского «Sun», тем не менее влачила жалкое существование: ей не хватало

масс. Вскоре эти массы самостоятельно выступили на политическую сцену. С 1837 г. рабочее движение, через год получившее известность под названием чартизма, начало привлекать к себе внимание. Промышленники заметили, что пролетариат серьезно намерен добиваться всеобщего избирательного права; руководимые верным классовым чутьем, они стали напрягать все усилия, чтобы отвлечь рабочих от этой цели. «Sun», конечно, сделал попытку привлечь возникающее движение на сторону Ассоциации. Буржуазный орган очень умно подошел к разрешению щекотливой задачи.

Радикально настроенные рабочие, рассуждал он, искони относились враждебно к аграриям: известная демонстрация их в Питерлоо (1819 г.) была направлена, между прочим, против хлебных пошлин; рабочая печать тоже всегда писала против хлебного ростовщичества; в частности, даже «Poor Man's Guardian» неоднократно высказывался за свободу торговли; наконец, выдающиеся вожди рабочих были в хороших отношениях с радикальными членами парламента. Почему бы в таком случае не провести массы на борьбу с хлебными законами? Правда, рабочие прежде всего стоят за введение всеобщего избирательного права. Но при всей своей справедливости это требование не может быть немедленно осуществлено. Пусть же рабочие сначала помогут среднему классу в его борьбе против хлебных пошлин: ведь успех борьбы принесет пользу самим же рабочим; сверх того, он экономически ослабит земельное дворянство и, стало быть, умалит его политическую власть, всегда направленную против прогресса. После отмены хлебных пошлин средний класс, разумеется, постарается провести всеобщее избирательное право.

Попытка радикального органа потерпела неудачу, вызвав естественное недоверие со стороны рабочих масс. Впрочем, радикалы и сами не очень-то доверяли чартистам. Вожди Ассоциации, объявляя себя сторонниками всеобщего избирательного права, утверждали, что в данный момент обстоятельства не благоприятствуют борьбе за него. Рабочие, говорили они, находятся в плохом материальном положении и воспользуются избирательным правом, чтобы голосовать против имущих классов, подавив их своей численностью. Северо-Американские Соединенные Штаты с их незначительными экономическими противоречиями могут позволить себе всеобщее избирательное право. Другое дело Англия, где резко выступают богатство и бедность, раскалывание населения на два противоположных лагеря. Поэтому гораздо разумнее путем здоровой экономической политики дать сначала рабочим дешевые пищевые средства, хорошую работу и вообще привести их в более спокойное состояние; когда же эта политика принесет определенные результаты, тогда уже следует предоставить им и избирательное право.

Конечно, различные представители чартизма решительно встали против подобных речей, смысл которых сводился к мудро-

му правилу: сначала успокоение, потом реформы. Они повели борьбу с лондонской, а затем и манчестерской Ассоциацией, основанной в октябре 1838 г. и через год получившей всемирную известность под названием «Лиги против хлебных законов». Огромное большинство рядовых чартистов ненавидело фабрикантов, справедливо не доверяло классовому законодательству парламента и не допускало, чтобы начинания, исходившие из буржуазного лагеря, принесли пользу рабочим массам. Радикалам не удалось обмануть даже умеренную Лондонскую ассоциацию рабочих. Ее вожди — Вильям Ловетт, Гетсерингтон и др. — были сторонниками свободной торговли, но считали тщетными надежды на отмену хлебных пошлин парламентским большинством. Надо, говорили они, с большой подозрительностью относиться к классу, который старается отвлечь внимание общества от большой задачи и обратить его на сравнительно неважные цели. Между тем вслед за принятием хартии, несомненно, тотчас же последует и отмена хлебных законов.

Представители наиболее влиятельного чартистского направления прямо утверждали, что при современном устройстве общества свободная торговля вовсе не окажет благотворного влияния, а напротив, принесет вред трудящемуся населению. Во главе этого направления стоял самый значительный вождь чартизма Джемс Бронтер О'Брайен, а за ним следовали Фергюс О'Коннор и большинство наиболее влиятельных вожаков. Питая непримиримую вражду к замлевладельцам, которых О'Брайен считал наследственными врагами общества, он с еще большей ненавистью относился к «средним классам» — капиталистам. Противоположность интересов, писал он, между средним и рабочим классами непримирима; свобода торговли представляет политику среднего класса; следовательно, она не может принести пользу рабочим. Высота заработной платы, завися от цен на средства питания, подымается и падает вместе с ними. Отмена же хлебных пошлин понизит эти цены, а стало быть, и высоту заработной платы, что нежелательно в интересах рабочих. Таким образом, свобода торговли не может доставить им те блага, которые предсказывают ее защитники.

О'Брайен был убежден, что народным массам необходимо сосредоточить все внимание на национальной петиции и отодвинуть в сторону остальные вопросы, с нею не связанные. Агитация за отмену хлебных законов с самого начала была задумана с тем, чтобы отвлечь рабочие массы от указанной цели. Сверх того, отмена хлебных пошлин, сделанная без всяких гарантий, скорее повредит, чем принесет пользу бедным классам. Поэтому О'Брайен предлагал решительно осудить всякую агитацию за или против отмены хлебных пошлин, пока парламентом не будет решена судьба национальной петиции и народной хартии. В период агитации против хлебных законов большинство чартистов следовало указаниям О'Брайена. Резолюция их исполнительного

комитета, принятая в 1842 г., выражала твердую уверенность, в том, что полная отмена хлебных и продовольственных законов может быть актом только такого парламента, который представляет интересы и мнения всего народа Великобритании и Ирландии.

Столкновения чартистов с фритредерами были неизбежны: борьба за хартию являлась решительно пролетарским движением, которое ставило целью завоевание политической власти, уничтожение классовых противоречий и замену частной собственности коллективной; борьба с хлебными законами, наоборот, представляла движение либеральной буржуазии, направленное против аристократии за преобладание промышленного капитала над землевладением. Чем яснее определялся характер обоих движений, тем больше росла вражда между чартистами и фритредерами, видевшими друг в друге непримиримых противников. Первые дали агитаторам за свободу торговли презрительную кличку «политических разносчиков»; вторые клеветали на чартистских вождей, утверждая, что они подкуплены хлебными ростовщиками.

В 1841—1844 гг. ни один из фритредерских митингов не проходил без появления чартистов, которые приглашали собравшихся ратовать в первую очередь за хартию. Передко дело доходило до враждебных столкновений между приверженцами обоих движений. Особенно часто это случалось в тех случаях, когда чартисты замечали, что их ораторам не дают надлежащим образом высказаться. Почти на всех открытых собраниях чартисты оказывались победителями, сильно действуя на нервы сторонников свободной торговли. Ричард Кобден, самый видный агитатор и вождь Лиги, даже полагал, что чартисты задались специальной целью расстраивать митинги, на которых он выступает.

К маю 1842 г. Энгельс очень хорошо понял классовый смысл фритредерской агитации и открыл резкую полемику с корреспондентом «Аугсбургской всеобщей газеты», который «в ужасно длинных и скучных статьях защищал происки вигов». Этот оракул вещал, будто Лига обладает властью. Энгельс же доказывает, что она не имеет власти ни в министерстве, где сидят Пиль, Грехем и Гладстон, ни в парламенте, где ее предложения проваливаются подавляющим большинством, ни, наконец, в народе и общественном мнении: из министерства и парламента ее выгнали тории, из общественного мнения — чартисты. Фергюс О'Коннор с триумфом гнал ее перед собой во всех городах Англии, всюду вызывая на публичную дискуссию, но она ни разу не подняла перчатки. Лига не может созвать ни одного открытого митинга, на котором чартисты не побивали бы ее позорнейшим образом. Немудрено, что на пышные митинги в Манчестере и собрания в лондонском Дрюри-Лен-театре допускались только члены самой Лиги да те, кому она раздавала билеты.

В чем же заключается мощь Лиги? В ее собственном воображении да в денежной мощи. Она богата, надеется вызвать новый подъем торговли отменой хлебных законов и потому дает лычко, чтобы получить ремешок. Ее подписки приносят значительные денежные суммы, покрывающие расходы на все помпезные собрания, на прочий блеск и мишуру. Но за блестящей внешностью нет ничего реального. Национальная ассоциация чартистов многочисленнее ее: скоро обнаружится, что Ассоциация может располагать даже большими денежными средствами, хотя и состоит только из бедных рабочих, между тем как Лига насчитывает в своих рядах всех богатых фабрикантов и купцов. Чартисты легко могут собирать еженедельно по миллиону пенсов — сомнительно, будет ли это по плечу Лиге.

Ее деятельность имеет только одну хорошую сторону, а именно движение, порождаемое агитацией против хлебных законов в том классе общества, который до сих пор оставался совершенно косным, — в земледельческом населении. Работа Лиги в его среде принесет свои плоды, но, несомненно, иные, чем она сама ожидает: вероятно, масса арендаторов перейдет к вигам; но еще вероятнее, что масса земледельческих батраков перебросится на сторону чартистов. Одно без другого невозможно. Царство «золотой середины» кончилось, и «власть в стране» распределилась между крайними флангами.<sup>7</sup>

Итак, Энгельс и в Англии восстал против «золотой середины». Как и на родине, его привлекает крайнее левое крыло классово-борьбы, которое он справедливо видит в чартистах и социалистах. Считая последних основательнее и практичнее французских социалистов, Энгельс объясняет замеченную особенность тем, что они находятся в открытой борьбе с различными церквами и знать ничего не хотят о религии. Их речи зачастую враждебны христианству и отличаются атеистическим содержанием, но нередко затрагивают также разные стороны рабочей жизни. При этом социалистические лекторы всегда выходят из опыта и доказуемых ими наглядных фактов. Фактическими же доказательствами они обосновывают и свои коммунистические принципы, пользуясь большим успехом среди масс. Без преувеличения можно утверждать, что в Манчестере половина рабочих разделяет их воззрения на собственность.

Своим антирелигиозным и атеистическим отпечатком английский социализм, по мнению Энгельса, в значительной степени обязан Роберту Оуэну. Приступив уже к изучению утопической теории Роберта Оуэна, Энгельс утверждает, что великий утопист пишет, «как немецкий философ, т. е. очень плохо». Все же последователи Оуэна сделали чрезвычайно много для просвещения рабочего класса. С первого взгляда просто не удивишься, слушая, как простые рабочие вполне сознательно говорят на политические, религиозные и социальные темы. Но, ознакомившись с замечательными популярными сочинениями, перестаешь

удивляться. Рабочие имеют в опрятных дешевых изданиях переводы произведений, принадлежащих французским философам прошлого века, — преимущественно «Contrat social» Руссо, «Système de la Nature» Гольбаха и разные сочинения Вольтера; кроме того, в журналах и брошюрах за один-два пенса они читают изложение коммунистических принципов; наконец, у них есть дешевые издания Томаса Пена и Шелли. Сюда же нужно отнести очень усердно посещаемые воскресные лекции крайне радикального содержания.

Считая подлинно революционным движением только чартизм и социализм, Энгельс до глубины души ненавидел «золотую середину». Неудивительно, что он встретил язвительной иронией ту шумную и хвастливую агитацию за отмену англо-ирландской унии, которую начал Даниель О'Коннел после неурожая в 1842 г. Под тогой народного трибуна Энгельс скоро разглядел просто «хитрого адвоката», который ворошит старую рухлядь. Он отлично разгадал хитроумные политические комбинации этого агитатора, его вечные шатания между вигами и ториями, его ходульные фразы и практическую трусость. Вместе с О'Коннором и «Северной звездой» Энгельс считает националистические стремления О'Коннела ничтожной пачкотней. В нем вызывает удивление вовсе не сам агитатор, а революционное воодушевление ирландских масс, слепо преданных своему эгоистичному и тщеславному вождю.

В руках О'Коннела — огромные массы ирландцев, питающих национальную ненависть к саксонцам и со старокатолическим фанатизмом смотрящих на протестантско-епископальную церковь. Если бы О'Коннел действительно желал народного блага и на деле стремился к уничтожению нищеты, а не преследовал «жалкие, ничтожные цели золотой середины», скрытые за всем шумом и агитацией в пользу отмены унии — чего он добился бы, опираясь на миллионы боеспособных, отчаянных ирландцев! Но он не в состоянии вырвать даже жалкую отмену унии, ибо несерьезно относится к делу и злоупотребляет угнетенным ирландским народом с целью поставить в затруднительное положение торийских министров.

Если бы О'Коннел был действительно человеком народа, обладал достаточным мужеством и сам не боялся народа, т. е. будь он не двуличным вигом, а решительным и последовательным демократом, в Ирландии давно не осталось бы ни одного английского солдата, в чисто католических округах — ни одного протестантского бездельника — попа, в замках — ни одного древненорманского барона. Но в том-то и беда! Освободись народ хоть на момент, Даниель О'Коннел и его денежные аристократы были бы скоро посажены на мель. Потому-то он так тесно примыкает к католическому духовенству, предостерегает ирландцев от «опасного социализма» и отклоняет предложенную чартистами поддержку, хотя для виду сам болтает там и сям о демократии,



подобно тому, как в свое время Луи Филипп говорил о республиканских учреждениях.<sup>8</sup>

Отрицательное отношение Энгельса к вождю ирландских масс, вопреки мнению Густава Майера, неудивительно даже «на первый взгляд».<sup>9</sup> Энгельс всей душой был на стороне чартистов и социалистов. Между тем О'Коннел как буржуазный радикал намеревался использовать чартистское движение в интересах «средних классов». Именно с этой целью он принимал участие в выработке народной хартии и, как гласит предание, вручил ее Вильяму Ловетту со словами: «Вот, Ловетт, хартия наших свобод. Агитируйте за нее и не довольствуйтесь меньшим». Своей подписью он даже обязался поддерживать хартию. Однако, по собственному признанию, «хитрый адвокат» и сам подписал и других уговаривал подписывать петицию с задней мыслью — помешать Лондонской ассоциации рабочих в осуществлении ее намерений. Как видно, в Англии буржуазная измена свила гнездо на самой заре политического рабочего движения.

Когда начал выясняться рабочий характер чартизма, предательство О'Коннела приняло особенно грубые и циничные формы. Он не только лично устранился от практической борьбы чартистов, подобно почти всем радикалам, участвовавшим в выработке хартии, но и начал оказывать ему упорное сопротивление. Угрожая правительству вооруженным сопротивлением ирландцев, он в то же время упрекал чартистов за бурную и резкую агитацию. Видоизменив потом свои старые угрозы, он начал кричать, что одна Ирландия сама по себе способна подавить революцию в Англии.<sup>10</sup> При обсуждении петиции в парламенте О'Коннел как член палаты общин прямо объявил чартистов государственными преступниками, ибо они проповедуют применение физической силы. После событий в Южном Уэльсе, когда буржуазная печать предприняла озлобленную травлю чартистов, «некоронованный король Ирландии» предложил правительству услуги палача — с помощью 500 тыс. ирландцев подавить движение чартистов. Неудивительно, что Энгельс бичует предателя. Энгельса возмущают не только «националистические тенденции» в агитации «двуличного вига», как думает Г. Майер; гораздо большее негодование в нем возбуждает нежелание О'Коннела уничтожить нищету ирландского народа.

Как видим, к середине 1843 г. Энгельс действительно сделал очень крупный шаг вперед. Покинув Германию, он был еще в плену младеггелянских идей: принципы, думал он, предрекают «пути исторического прогресса»; «материальные интересы никогда не могут играть в истории роль самостоятельных руководящих целей»; напротив, они «всегда сознательно или бессознательно служат принципу». Вопреки этой идеалистической точке зрения, Энгельс очень скоро сделал открытие, что в Англии грядущая социальная революция обуславливается вовсе не принципами, а именно материальными интересами, ибо «при-

ципы могут развиваться лишь из интересов». Придя к такому заключению, он естественно занялся вопросом о происхождении самих материальных интересов.

Вполне последовательно Энгельс пытался и интересы, «внешнюю практику», «видимость жизни» свести к «принципиальному содержанию». Но последнее, как оказалось, в свою очередь сводится к тому, что в Англии имеются три партии, выражающие интересы трех классов — землевладельцев, капиталистов и рабочих, — «партии, тождественные с социальными наслоениями и классами». Вскоре оказалось также, что интересы их определяются не умозрительными идеями или отвлеченными принципами, а материальными условиями существования самих классов: реакционная роль ториев объясняется тем, что богатство дворянства состоит в земельной собственности, требующей сохранения существующих отношений; двусмысленная и соглашательская позиция вигов тоже объясняется тем, что ядро этой партии состоит из купцов и фабрикантов, принцип которых — сохранение существующего порядка вещей.

Зависимость политических, экономических и иных стремлений от материальных интересов рельефнее всего проявляется среди рабочих. Они примыкают к социалистам и чартистам не из отвлеченных соображений о равенстве, свободе или демократии, а под непосредственным влиянием материальной нужды. Положение пролетариата настолько необеспеченно, неустойчиво и безвыходно, что при малейшем застое в делах ему приходится выбирать одно из двух. Нарастающая сила чартизма кроется именно в этих материальных интересах пролетариата, чего совсем не понимают «премудрые виги». Правда, массовое движение рабочих в августе 1842 г. кончилось неудачей, ибо их еще удерживало уважение к закону. Но страх голодной смерти, вызванной неизбежным наступлением всеобщей безработицы, окажется сильнее страха перед законом — и тогда пролетариат произведет социальную революцию.

Лишь после нее в Англии утвердится демократия. Но это будет не обычная демократия, противоположная только феодализму и монархии; противоречия между имущими и неимущими неизбежно приведут к новой, «чартистской» демократии, которой «с каждым днем все более проникается» рабочий класс. Именно поэтому осуществление ее невозможно мирным путем: ни консервативная, ни либеральная партии не пожелают провести реформу, которая одним ударом отдаст государственную власть в руки пролетариата. Естественно, что борьба чартистов за всеобщее избирательное право закончится революцией не просто политической, а социальной. Таким образом, практика классового борьбы убеждает Энгельса в том, что борьба бедных с богатыми не может разрешиться в области политической демократии или чистой политики: «выше демократического равенства стоит экономическое», а «выше политики — социализм».

Чартизм представлял собою социально-революционное движение английского пролетариата. Его лучшие представители — Бронтер О'Брайен, Фергюс О'Коннор, Джордж Джулиан Гарни и другие отстаивали и практически проводили точку зрения классовой борьбы. Именно это больше всего привлекало Энгельса: как решительный революционер, он очень скоро убедился, что «революция мирным путем невозможна»; стало быть, необходима беспощадная борьба с господствующими классами. Но каковы средства и пути? Самые передовые чартисты переоценивали значение чисто политических средств и, в частности, всеобщего избирательного права и парламентского законодательства. Даже они не освободились еще от иллюзии, будто уничтожение частной собственности и классовых противоречий возможно мирным законодательным путем. Поэтому они выдвигали не конечную цель, а средства к ней — чисто политические, демократические требования, сформулированные в шести пунктах народной хартии. Умолчание же о конечной цели затемняло социалистический характер всего движения.

Энгельс проявил замечательную проницательность, быстро заметив слабое место чартистов: «Если, — тонко замечает он, — чартизм будет терпеливо ждать до тех пор, пока не завоюет себе большинство в палате общин, то ему придется еще не один год созывать митинги и требовать выполнения шести пунктов Народной хартии». Но Энгельс надеется, что чартисты сами откажутся от внутреннего противоречия — «революции законным путем»: они скоро поймут, что приостановка фабрик сама по себе становится насильственной и незаконной мерой; опыт борьбы и сила обстоятельств исцелят их от веры в магическую силу всеобщего избирательного права и демократии вообще. Тогда, подобно социалистам, они будут тоже смеяться над чистыми республиканцами и убедятся, что «республика была бы так же нелогична и так же несправедлива в законах, как и монархия».

Таким образом, Энгельс перебрасывает мост от чартизма к второму течению английского пролетариата — социализму. Самым словом «социализм» начинает с 1833 г. пользоваться «Защитник бедняка» («Poor Man's Guardian»), — журнал, редактировавшийся сначала Гетсерингтоном, а потом О'Брайеном.<sup>11</sup> Позднее оно появляется в оуэнистском журнале «Новый нравственный мир» («New Moral World») и с 1836 г. прилагается к последователям Оуэна.<sup>12</sup> Английский социализм того времени — по преимуществу оуэнизм. Как сам Оуэн, так и его последователи, противопоставляли старый мир несправедливости, бедности, невежества новому нравственному миру, неразумный общественный строй — разумному, индивидуалистическую систему, основанную на конкуренции и деньгах, — системе гармонии и взаимного сотрудничества. Новый общественный строй Оуэн называл «социальной системой» (The Social System). Отсюда берет начало и самое слово «социализм».

Основы своей социальной системы Оуэн изложил к началу 1820-х годов преимущественно в «Докладе о бедных» (1817 г.), записке, адресованной Аахенскому конгрессу (22 октября 1818 г.), «Докладе графству Ленарк» (1 мая 1819 г.) и, наконец, «Социальной системе», написанной в 1821 г., но опубликованной через шесть-семь лет. Уже в этих ранних работах он с полной определенностью ставит вопрос о социальной нищете. По его мнению, нужда вопиет о помощи: целые общественные классы впадают в бедность; заработная плата рабочих непрерывно падает; пауперизм поглощает значительные денежные суммы; бедные питают все большую ненависть к существующему неразумному строю и все чаще прибегают к насилиям; филантропы приходят в ужас от нищеты, не умея побороть ее. Несомненно, она будет впредь становиться все больше, разрастаясь вширь и вглубь. Вообще ее нельзя устранить старыми средствами.

Каковы же причины этих общественных язв? — Изобретения Уатта и Аркрайта вызвали быстрый рост машинного производства и увеличили природные силы человека: они создали и сосредоточили кучу богатств в руках немногих лиц, которые при их помощи продолжали поглощать богатства, производимые промышленным трудом многих. Благодаря изобретению машин увеличились богатства, могущество и благосостояние крупных капиталистов, но возросли бедность, порабощение и несчастье рабочих. Их труд все более обесценивается, заработная плата падает, а потребительная способность уменьшается или в лучшем случае остается на прежнем уровне: окруженные самыми многочисленными средствами производства богатств, люди пребывают в нищете, охватившей большую часть населения, и среди опасностей, угрожающих всеми прочими последствиями этой нищеты. Недостаток работы, от которой страдает пролетариат, обусловлен именно избытком продуктов, не находящихся сбыта. Иными словами, избыток товаров объясняется, с одной стороны, развитием машинного способа производства, а с другой — недостатком потребления, т. е. «виной всему — несоответствие между потребительской силой и средствами производства». Этими же причинами, по мнению Оуэна, объясняется перепроизводство, которое при данной потребительской способности рабочих неизбежно станет хроническим.

Что же делать: следует ли ограничить применение машин или принести в жертву миллионы людей? — Ни то, ни другое. Главный вопрос, подлежащий разрешению, гласит: нельзя ли распределить всю массу богатств так, чтобы повысить потребительскую способность населения и, следовательно, устранить перерывы в процессе самого производства? Но вопрос о распределении богатств затрагивает устои существующих порядков: это вопрос не политический, а социальный. Необходимо, стало быть, новая «социальная система». Для установления ее достаточно разрешить две задачи: во-первых, найти рынок для сбыта

товаров и, во-вторых, доставить работу всем трудящимся. Замена искусственной меры стоимости — денег — естественно откроет безграничный сбыт; новая организация труда в «поселениях единения и взаимного сотрудничества» («villages of unity and mutual cooperation») обеспечит всем безработным здоровье, приятные занятия. Опасаясь скомпрометировать свой план помощи безработным, Оуэн сначала умалчивал о конечной цели. Убедившись же к концу 1819 г., что буржуазное общественное мнение безнадежно отвернулось от него, ньюленаркский реформатор уже в «Социальной системе» откровенно отстаивает социализм.

В новой социальной системе производство будет основано на совместном труде и взаимной поддержке, а распределение — на принципе равенства. Коммунистический способ производства создаст полную гармонию интересов: количество производимых продуктов будет настолько превышать потребление, что рассеются всякие тревожные опасения о будущем; избытки будут обмениваться на те продукты, которые данное общество не в состоянии производить. Равное же распределение продуктов устранил возможность какой бы то ни было эксплуатации; применение машин принесет работникам больше продуктов при меньшей затрате труда; изобретения и дары науки перестанут быть проклятием. В коммунистических обществах все будет производиться для потребления и ничего — для барыша. Вместе с тем равное распределение создаст такие общественные отношения, что образование человеческого характера будет происходить в разумных, благоприятных условиях. Наступит «новый нравственный мир».

Оуэн с тонкой наблюдательностью уловил и заклеил наиболее вопиющие недостатки капиталистического общества: нищету тружеников при избытке продуктов, произведенных их трудом и гниющих на складах; изнурительный труд детей на фабриках и в то же время безработицу взрослых мужчин, обрекаемых на гибель вместе с семьями; безмерную эксплуатацию машин; рост проституции и распад пролетарской семьи; физическое вырождение и моральную деградацию рабочего класса наряду с его сверхчеловеческим трудом; экономическое порабощение, «худшее, чем рабство в Индии и Америке», а в то же время громкие фразы о прелестях «наилучшей» конституции; расцвет политического могущества и полный упадок трудящихся масс; скопление огромных богатств в руках немногих и безмерные страдания подавляющего большинства.

Вместе с острой критикой существующего строя самую сильную сторону оуэнизма составляли два момента: мысль о социалистической организации труда и указание на значение распределения. Именно на эту сторону, которую чартисты недостаточно подчеркивали, Энгельс обращает особое внимание. Да иначе и не могло быть: ведь для него важна не политическая, а социаль-

ная революция, экономическое преобразование общества, с такой энергией отстаиваемое социалистами. Он хвалит социалистов именно за «английскую энергию», основательность, практичность, упорство и обоснование коммунистических принципов фактами, «в принятии которых они проявляют достаточную осторожность». В то же время Энгельс вместе с чартистами отвергает их слабую сторону — отрицательное отношение к классовой борьбе пролетариата.

Очень определенно это отношение выразил Оуэн, в марте 1819 г., обратившись к рабочим со специальным письмом. Совсем не понимая исторических условий борьбы пролетариата, реформатор предостерегает его против возбуждения и насилий; он решительно осуждает агитацию, апеллирующую к чувству ненависти и утверждающую, что богатые люди просто из удовольствия угнетают бедных. На самом деле они противятся домогательствам трудящихся только из убеждения, что освобождение неимущих непременно будет сопровождаться ограблением имущих. Но ничего подобного не произойдет: богатые и бедные, правящие и управляемые имеют одинаковые интересы. Правильное познание человеческой природы устранил вражду и ненависть между людьми; оно проложит путь для новых порядков, которые можно ввести без насилия и причинения кому-либо ущерба. Поэтому следует отказаться от насильственной борьбы, признав ее неразумной.<sup>13</sup>

По этим соображениям Оуэн обращался за поддержкой к министрам, князьям, герцогам и королям. Оуэн приглашает своих учеников не вмешиваться в политическую агитацию, а рабочих — отказаться от политической борьбы, стачек и классовой борьбы вообще.<sup>14</sup>

Проповедуя социальный мир, Оуэн и его приверженцы пытались убедить тред-юнионы в полной нецелесообразности стачек. В противоположность Оуэну чартисты считали стачку мощнейшим средством политической и экономической агитации; по мнению некоторых из них, стачка может переходить даже в вооруженное восстание и революцию. Вообще Оуэн проповедует социальный мир; такие чартисты, как О'Брайен, О'Коннор, Гарней или Купер, возлагают надежды не на «нравственное воздействие», а на «физическую силу». Оуэн обращается к правительству и парламенту с петициями или просьбами о поддержке; чартисты призывают народ к завоеванию политических прав. Словом, стремясь к общей конечной цели, оба движения решительно расходятся в путях и средствах; оуэнизм — социализм общественного мира; чартизм — социализм классовой борьбы.

Несмотря на эти своеобразные противоречия, Оуэн бессознательно содействовал чартизму: его проницательная критика современного общества, резкие протесты против народной нищеты и несправедливости, неустанная деятельность в пользу рабочего законодательства, настойчивая агитация за десятичасовой рабочий

день и т. д. подготовили умы рабочих к пламенным речам чартистов. Оуэнизм стал школой, воспитавшей научных комментаторов, популяризаторов, публицистов, памфлетистов, пропагандистов и агитаторов. Подхватив и отчасти изменив идеи великого социалиста, его последователи широко распространили и глубоко внедрились в сознание рабочего класса. Таким образом, между обоими движениями существовало глубокое духовное родство. Недаром и оуэнисты и чартисты стали родоначальниками кооперативного движения — «справедливыми роудельскими пионерами».

Конечно, Энгельс сразу заметил родство обоих направлений. Именно поэтому он становится на сторону и чартистов и социалистов. Но, пройдя диалектическую школу Гегеля, он бесконечно превосходит своим философским образованием тех и других. Рационализм Оуэна естественно кажется ему наивной точкой зрения, которую немецкая философия давным-давно преодолела. Наибольшее впечатление на него производят вовсе не философские воззрения великого утописта, а тот факт, что английские социалисты «находятся в открытой борьбе с различными церквами и ничего не хотят знать о религии». Особенно поражает его, что Оуэн открыто объявляет брак, религию и собственность единственными причинами всего зла, какое существовало от начала мира.<sup>15</sup> Разумеется, Энгельса поражает не новизна самой мысли, а откровенность, смелость и краткость, с какими она высказана: он сам упорно боролся с религиозными предрассудками и при содействии Фейербаха пришел к атеизму; лично на себе он испытал «прелести» буржуазной семьи и отвернулся от «стародедовского уюта»; наконец, он и раньше видел в частной собственности источник нищеты и несправедливости. Короче, подобно оуэнистам, Энгельс убежден, что лишь уничтожение «троицы зол» (trinity of evils) — частной собственности, религии и буржуазного брака — может освободить человечество.

Но как достигнуть той конечной цели, о которой так много пишут социалисты и нередко умалчивают чартисты? Она осуществима не мирными средствами, как думают первые, а лишь путем классовой борьбы, как утверждают вторые. Сочувствуя тем и другим, Энгельс целиком не примыкает ни к одному направлению, ибо замечает их слабости: зорко разглядев уязвимое место чартизма, он раз навсегда освобождается от демократических иллюзий; отвергнув мирную тактику оуэнизма, он преодолевает важнейший утопический момент социализма. Односторонности и слабости одного направления, думает он, можно парализовать сильными сторонами другого. После полугодового пребывания в Англии Энгельс уже начинает возлагать надежды на их слияние, а потому с одинаковым рвением следит за газетой чартистов «Северная звезда» и журналом оуэнистов «Новый нравственный мир». Таковы творческие итоги, о которых он самостоятельно приходит в середине 1843 г., обобщая опыт рабо-

чего движения. Основу этих итогов составляют критическая переработка коммунистической литературы и главным образом обобщение опыта пролетарской классовой борьбы.

## Глава XIV

### НАЧАЛО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ: СТАТЬИ Ф. ЭНГЕЛЬСА В «НОВОМ ПРАВСТВЕННОМ МИРЕ»

Горячо сочувствуя оуэнистам и чартистам, Энгельс стремился установить с ними личные связи. Прежде всего он познакомился с социалистическим лектором Джоном Уотсом, постоянно проживавшим в Манчестере. Этот «портной и доктор философии», по выражению Энгельса, находился под сильным влиянием юмовского скептицизма, но был оуэнистом. Интересуясь религиозными и экономическими вопросами, он написал несколько талантливых брошюр на соответствующие темы. Впоследствии Джон Уотс оказался не только «радикальным помещиком», как его называет Энгельс,<sup>1</sup> но и порядочным филистером: расширил свое портняжное дело, перебежал в лагерь буржуазного либерализма, распинался за «моральное воздействие», провозгласил Прудона своим учителем и перевел его «*Contradictions économiques*»; позднее он играл роль маклера при попытках буржуазии обмануть рабочих, поддерживал близкие отношения с епископом манчестерским, а под конец стал директором-распорядителем одного предприятия под странным названием «Народное страховое общество».<sup>2</sup>

Но помещиком Джон Уотс оказался лишь позже. В середине же 1843 г. Энгельс еще считал его «выдающимся человеком», с которым охотно беседовал на религиозные темы. В горячих спорах Уотс исходил из опыта, наглядных фактов и, по-видимому, умело защищал свои воззрения. Не придавая особенного значения умозрительным соображениям, он рассуждал: то, что не может быть удостоверено фактами, нас несколько не интересует; мы стоим на почве «доподлинных фактов», где не может быть речи о таких фантастических вещах, как бог и другие религиозные представления.<sup>3</sup> Конечно, атеист Энгельс и сам был всегда готов вести антирелигиозную пропаганду. Тем не менее даже в середине 40-х годов ему еще импонировал «нереспектабельный атеизм и социализм» Уотса.<sup>4</sup>

Из чартистов Энгельс познакомился прежде всего с Джемсом Личем (Leach), который стал его «добрым приятелем». Сначала Лич был сельским батраком, затем работал в угольных копях и на фабриках. Это был честный, надежный и дельный человек. Его здравый смысл, его объективные, основанные на фактах и статистических данных, речи производили большое впечатление на манчестерских рабочих. Пользуясь зна-



чительной популярностью, он при организации Национального чартистского союза в 1840 г. был избран председателем временного исполнительного комитета. Видное положение в Союзе позволило ему собрать через самих рабочих подробнейшие сведения о разных фабриках. На основании этих сведений он выпустил в 1844 г. книгу, изобилующую цифровыми материалами и таблицами. Энгельс не только часто ссылается на нее в своем труде «Положение рабочего класса в Англии», но и упоминает самого автора еще в 1851 г. Впрочем, к 1851 г. Джеймс Лич тоже утратил изрядную долю своей революционной энергии; в дразгах, разьедавших тогдашнее рабочее движение Англии, он прибегал к мелким военным хитростям и сделался решительным сторонником кооперативных товариществ именно потому, что они отвергали «политическую агитацию».<sup>5</sup>

С целью завязать еще более тесные отношения с чартистами, Энгельс прибыл летом 1843 г. из Бредфорда в Лидс, где находилась редакция «Северной звезды». Здесь он познакомился с Джорджем Джулианом Гарни, который незадолго до того вступил в состав редакции. Гарни был на три года старше Энгельса и с начала до конца участвовал в чартистском движении. Еще в 1833 г. он примкнул к Гетсерингтону, совместно с ним боролся против штемпельного сбора, этого «налога на знание» («taxe on Knowledge»), неоднократно подвергался арестам за торговлю нештмпелеванными газетами и в 1836 г. был приговорен к шестимесячному тюремному заключению. Талантливый, горячий, энергичный, он считал себя учеником О'Брайена, прочел все статьи, брошюры и книги своего учителя, от которого унаследовал любовь к французской революционной литературе. Под ее влиянием Гарни провозгласил Марата своим героем, самого себя называл «другом народа», под статьями подписывался «Ami du peuple» и вместо слов требовал решительных действий. Стоя на почве классовой борьбы, он, в отличие от других чартистов, говорил не просто о «рабочем классе» и «среднем классе», а называл вещи их собственными именами — пролетариатом и буржуазией.

Некоторое время Гарни состоял членом Лондонской ассоциации рабочих, но в 1838 г. разошелся с ее большинством, перешел на сторону О'Коннора и начал агитацию за применение «физической силы». Порвав со сторонниками «морального воздействия», он основал Демократический союз, который обратил внимание на беднейший слой лондонского населения — фабричных ткачей Спитальфильда. В чартистском Конвенте (General Convention of the industrial classes) 1839 г. Гарней занимал самую левую позицию. Он считал восстание единственным способом, с помощью которого можно получить хартию.<sup>6</sup> Неудачный исход стачки летом 1842 г. остудил революционный пыл Гарни и заставил его задуматься над своей бунтарской тактикой. Он глуже, чем раньше, понял задачи рабочего движения.

отдал себе более ясный отчет в значении международной пролетарской солидарности и с живым интересом начал следить за классовой борьбой на европейском континенте. Именно поэтому он особенно выдвинулся во второй половине 40-х годов, когда все более укоренялась мысль о необходимости объединить пролетариев всех стран.

Через 54 года престарелый Гарни еще очень живо вспоминал о своей первой встрече с Энгельсом в 1843 г.<sup>7</sup> С 1843 г. началась дружба Энгельса с Гарни, еще более окрепшая, когда летом 1845 г. последний сблизился с Марксом. В это время Маркс и Энгельс предпринимают поездку в Англию с целью изучения английской экономической литературы, а также для более близкого ознакомления с экономической и политической жизнью страны и с английским рабочим движением. В Лондоне они встретились с Гарни. Гарни — «Один из лучших английских народных ораторов»,<sup>8</sup> как его называет Маркс, и способный журналист, он стоял ближе к О'Брайену, Карлу Шапперу и даже Луи Блану, чем к основателям научного социализма. Тем не менее его имя нередко с симпатией упоминается в переписке Энгельса и Маркса. В 1869 г. он из Массачусетса очень тепло справлялся у Маркса об Энгельсе. Тогда же он просил выслать экземпляр «Капитала», надеясь найти в Нью-Йорке переводчиков и издателей.<sup>9</sup> Через десять лет в Джерсее Гарни еще раз встретил Маркса, который вместе с женой нанес ему визит.

Личное общение с чартистами и оуэнистами скоро показало Энгельсу, до какой степени смутны их представления о социальном движении на континенте Европы. Между тем сам он очень внимательно следил за ростом коммунистического движения и даже несколько преувеличивал его размеры. По уверению Энгельса, «в одной Франции насчитывается свыше 500 тыс. коммунистов»; в различных частях Швейцарии тоже рассеяны их группы, посылающие своих эмиссаров в Италию, Германию и Венгрию; наконец, даже «немецкая философия после продолжительных и трудных блужданий пришла к коммунизму». За очень редкими исключениями чартисты и оуэнисты не были осведомлены о подобных событиях. У Энгельса естественно возникла мысль познакомить их с социалистическими и коммунистическими направлениями на континенте. С этой целью он написал специальную статью, которую в ноябре 1843 г. напечатал «Новый нравственный мир» под заглавием: «Успехи движения за социальное преобразование на континенте». С этой статьи Энгельс начинает коммунистическую пропаганду за рубежом.

Его новая работа обнаруживает неплохое знакомство с различными течениями социализма и коммунизма. Но не только в этом состоит ее значение. Как мы знаем, до сих пор Энгельс с полной уверенностью ждал наступления социальной революции в самой Англии. Теперь он приходит к непоколебимому

убеждению, что «радикальная революция в общественном устройстве, имеющая своей основой коллективную собственность, стала теперь настоящей необходимостью» не в одной Англии, но также во Франции и Германии. Каждая из них пришла к такому выводу самостоятельно; стало быть, коммунизм порожден не специально английскими или какими-либо национальными условиями, а всей «современной цивилизацией». <sup>10</sup>

С другой стороны, полагает Энгельс, в каждой из указанных стран коммунистическое учение вытекало из различных источников: англичане обратились к нему практически, наблюдая быстрый рост нищеты, деморализации и пауперизма; французы политическим путем убедились, что сами по себе требования политической свободы и равенства недостаточны; немцы же вышли на дорогу к коммунизму теоретически — через философию. Простекающие отсюда расхождения по второстепенным вопросам не могут, конечно, мешать доброму согласию между социальными реформаторами разных стран: оно не только возможно, но и необходимо; для этого нужно лишь, чтобы коммунисты каждой из трех стран действительно знали и понимали стремления своих товарищей в других странах. Как видим, уже во второй половине 1842 г. у Энгельса встречаются первые проблески мысли о международном объединении коммунистов, а следовательно, и рабочих. Каковы же их стремления? <sup>11</sup>

Французская революция, отвечает он, означает собственно наступление демократии в Европе. Но подобно «всякой форме правительства», демократия внутренне противоречива, ложна и лицемерна; политическая свобода сама по себе — мнимая свобода, а стало быть, является рабством. Поэтому, демократия неизбежно разлагается: «либо рабство, т. е. неприкрытый деспотизм, либо истинная свобода, истинное равенство, т. е. коммунизм». Вывод в первом смысле сделал Наполеон, во втором — Бабеф. Энгельс лишь мимоходом упоминает о бабувизме, ибо книга Буонарроти «Заговор во имя равенства» появилась на английском языке в переводе О'Брайена.

Несколько больше он останавливается на Сен-Симоне и его последователях. Однако, по мнению Энгельса, «учение этой партии было окутано туманом непонятого мистицизма». Ее экономические принципы тоже далеко не безупречны; в частности, неправилен принцип распределения: прямо ссылаясь на Берне, Энгельс повторяет против этого принципа возражения, некогда вычитанные в «Парижских письмах». Словом, сен-симонизм ныне исчез с социального горизонта и забыт, время его миновало. <sup>12</sup> Беглая экскурсия в область сен-симонизма свидетельствует, что Энгельс еще не успел ознакомиться с этой «социальной поэзией» по трудам самого Сен-Симона, хотя они и были уже изданы. <sup>13</sup> На самом деле в учении гениального утописта скрывались плодотворные зародыши нового взгляда на общество.

Тем не менее Энгельса уже тогда глубоко поразили «ослепительные лучи ума Сен-Симона и некоторых его учеников». По-видимому, Энгельсу еще не стало известно и то изложение сенсимонизма, которое вскоре после смерти учителя было сделано наиболее видным его учеником — Базаром. Если бы Энгельс изучил и подлинные сочинения самого Сен-Симона и изложение его доктрины, он, несомненно, заметил бы, что последователи пошли дальше учителя: в частности, Базар уже выставил требование обобществления средств производства и видоизменил «принцип распределения».

Зато Энгельс «с большим удовольствием» читал произведения Фурье, хотя они тоже отличались мистицизмом, «подчас даже крайне сумасбродным». Сквозь дымку мистицизма Энгельс сумел разглядеть «трезвое, смелое, систематическое мышление» и выделить излюбленные мысли Фурье, и прежде всего: каждый человек склонен к определенному труду; применение индивидуальных склонностей может обеспечить удовлетворение всех общественных потребностей. Поэтому нет необходимости в тех принудительных мерах, которые применяет современное общество, не прибегая к принуждению, достаточно направить в надлежащее русло естественное влечение к деятельности; если же каждый будет следовать своим склонностям, труд станет наслаждением. Немаловажная заслуга Фурье состоит и в том, что он с особой силой подчеркнул выгоды ассоциации.<sup>14</sup>

Выдвигая положительные стороны утопического социализма, Энгельс уже хорошо замечает некоторые его слабости. Так, например, он отмечает, что фурьеризм не помышляет об отмене частной собственности, а потому грешит внутренними противоречиями: с одной стороны, фаланстер обладает общим фондом, сообща же занимается земледелием, торговлей и промышленностью, а с другой — распределяет выгоды так, что одна часть его членов получает заработную плату, вторая — вознаграждение за мастерство и талант, третья — прибыль на капитал. Сначала красивые теории об ассоциации и свободном труде, негодующие речи против своекорыстия, торговли и конкуренции, а затем старая система конкуренции на улучшенных основах.

Видимо, считаясь со своей оуэнистской аудиторией, Энгельс осторожно, но решительно наступает еще на одну из слабых сторон Сен-Симона и Фурье — их воздержание от политики; во Франции национальное значение приобретают лишь те умственные течения, которые носят политический характер; поэтому лишённые этого характера планы сенсимонистов и фурьеристов естественно остались предметом обсуждения в частных кружках, но не превратились в общее дело всей нации. Отсюда ясно, что Энгельс уже в 1843 г. вскрыл и критиковал очень характерную особенность утопического социализма — его аполитичность.<sup>15</sup>

Коммунизм окреп лишь после июльской революции. В 1834—1835 гг. республиканские рабочие убедились, что более одарен-

ные и лучше образованные вожаки постоянно обманывали их даже в тех случаях, когда демократические планы имели успех. Тогда же они пришли к выводу, что «нельзя осуществить никакого политического изменения без улучшения их социального положения». После этого коммунизм начал быстро распространяться в Париже, Лионе, Тулузе и других фабричных городах. Возникшие тайные общества существовали недолго и быстро сменяли друг друга.

Вскоре, однако, главная масса французских рабочих начала прислушиваться к проповеди Кабэ. Его учение быстро приобрело известность под именем икарийского коммунизма по заглавию книги «Путешествие в Икарию». Последователи Кабэ заимствовали у Сен-Симона и Фурье много разумных вещей, а потому «значительно превосходят прежних французских коммунистов». Энгельс особенно находит сходство порядков в оуэновских и икарийских колониях: у них одинаковое отношение к браку; свобода личности всячески оберегается; наказания отменены; вместо них большое место уделяется воспитанию молодежи и культурному воздействию на взрослых.<sup>16</sup> На этом основании Энгельс называет Кабэ «признанным представителем огромной массы французских пролетариев», хотя и считает его поверхностным писателем и даже упрекает в непонимании требований, предъявляемых к научному исследованию.<sup>17</sup>

При тождестве основных принципов между английскими и французскими коммунистами имелись важные различия. Энгельс объясняет их историческими причинами.

По историческим причинам французские коммунисты стремились насильственным путем низвергнуть существующее правительство и с этой целью неутомимо создавали тайные общества. Даже икарийцы, отвергавшие «физические революции» и тайные общества, с радостью ухватились бы за малейшую возможность насильственным путем учредить республику. Очевидно, имея в виду заговорщицкую тактику бланкистов, Энгельс отнюдь не склонен защищать подобную политику: по его мнению, тайные общества «во всяком случае являются преступлением против здравого смысла, ибо «без пользы подвергают партии законным преследованиям». Однако революционная тактика французских рабочих естественна и понятна: всевозможные конституции Франции, начиная с радикальной демократии и кончая открытым деспотизмом, освещали угнетение бедных богатыми. Угнетенные знают это и понимают, что им остается единственное оружие — прямая, насильственная борьба; они даже лишены возможности устраивать коммунистические колонии, ибо «первый же опыт был бы сокрушен при помощи солдат».<sup>18</sup> Итак, осуждая заговорщицкую тактику бланкистов или бабувистов, Энгельс явно приемлет «открытую» насильственную борьбу. Он даже видит существенное различие между социалистами и французскими коммунистами в том, что последние «стремятся на-

сильственно испровергнуть существующее ныне правительство своей страны».<sup>19</sup>

Уяснить это различие, по-видимому, помогли те «революционные пролетарии», с которыми Энгельс впервые свел личное знакомство в 1843 г., — Карл Шаппер, Иосиф Молль и Генрих Бауэр. Из них первый был наиболее значителен. Состоя студентом Лесного института в Гессене, он еще в 1833 г. участвовал в нападении на франкфуртскую гауптвахту. После неудачи он бежал в Швейцарию и принимал здесь участие в национал-республиканской организации немецких эмигрантов «Молодая Германия», за что в 1836 г. был выслан. Приехав в Париж, Шаппер начал работать наборщиком и скоро вступил в «Союз справедливых», среди которых пользовался большим влиянием. Тогда же он завязал сношения с тайным «Обществом времен года», которым руководили Бланки и Барбес. Вместе с бланкистами он участвовал в майском восстании 1839 г., был арестован и выслан из Франции. Перенеся свою агитацию в Лондон, он вместе с И. Моллем, Г. Бауэром и др. основал здесь в 1840 г. секции «Союза справедливых», а также немецкое «Рабочее просветительное общество».

Шаппер, человек богатырского сложения, решительный и энергичный, всегда был готов рискнуть своим материальным положением и даже жизнью. Он являл собой образец профессионального революционера — типа, игравшего определенную роль в 30-х годах. При некоторой медлительности мышления он был способен к правильному пониманию теоретических вопросов, как показывают его эволюция из «демагога» в коммуниста. Раз убедившись в истинности какой-нибудь мысли, он тем упорнее держался за нее. Именно поэтому его революционный пыл шел иногда вразрез с рассудком; но впоследствии он всегда замечал свои ошибки и открыто признавал их. Словом, Шаппер был цельной натурой и крупным человеком: незабвенными останутся его заслуги при основании германского рабочего движения.

Ему под стать был часовщик из Кельна Иосиф Молль — «Геркулес среднего роста»: сколько раз он и Шаппер победоносно оттаивали двери в залу против сотни противников! Как участник майского восстания, он был арестован, но удачно бежал и прибыл в Лондон. Энергией и решительностью равный своим товарищам, он превосходил обоих в умственном отношении. Как доказали успехи его многочисленных поездок в качестве уполномоченного, Молль был прирожденным дипломатом. Кроме того, он проявлял большую склонность к занятию теоретическими вопросами. К сожалению, уже во времена баденской революции богато одаренный боец пролетариата пал смертью храбрых в сражении у р. Мурги близ Раштата.

Плечом к плечу с ним боролся Генрих Бауэр из Франконии, по ремеслу сапожник. Он тоже участвовал в майском восстании и, отбыв предварительное заключение, вместе с Шаппером эми-

трировал в Лондон. Это был живой, бойкий и остроумный человек. Не в пример своим сподвижникам — атлетам, он отличался довольно щедушным телосложением; но в его хрупком теле скрывался большой запас изворотливости и решительности.<sup>20</sup>

Знакомясь с Энгельсом, эти немецкие коммунисты стояли на почве эгалитарного коммунизма, который опирался преимущественно на требование равенства. Все трое были деятельными членами «Союза справедливых» и не совсем освободились от его заговорщицкой тактики. Между тем Энгельс, уже далеко опередивший остальных младогегельянцев, все-таки сохранил еще «изрядную дозу ограниченного философского высокомерия» и противопоставлял его «ограниченному коммунизму равенства». Именно поэтому он отказался вступить в «Союз справедливых», чего хотели его новые знакомые. Однако едва ли Энгельс, как утверждает Густав Майер, «инстинктивно чувствовал, что он не может еще примкнуть к ним».<sup>21</sup>

Напротив, отказ был строго обдуман и вполне понятен: с одной стороны, непосредственные наблюдения над жизнью промышленной Англии и тщательное изучение социалистической литературы убедили Энгельса в том, что коммунизм не просто «опирается на требование равенства», а глубоко коренится в материальных условиях буржуазного общества; с другой стороны, опыт чартизма показал, что «загадку XIX века» разрешат не заговоры замкнутых тайных обществ, а открытое, массовое и сознательное движение самого пролетариата. Стало быть, тогдашние коммунистические убеждения Энгельса во многих «частностях» расходились со взглядами Шаппера, Молля и Бауэра. Тем не менее эти «три настоящих человека» произвели на него чрезвычайно «импонирующее впечатление», когда он сам «только хотел еще стать человеком».<sup>22</sup>

Энгельс независимо относился и к французским коммунистам. Он не одобрял их за попытки рядиться в христианские одежды и провозглашение лозунга «le christianisme est le communisme». И все же наиболее крупные умы Франции, «неверие которой общеизвестно», приветствуют рост коммунизма. Таковы «метафизик» Пьер Леру, мужественная защитница женских прав Жорж Занд, автор «Paroles d'un croyant» аббат Ламеннэ и многие другие. Наиболее крупным писателем этого направления Энгельс считает Прудона, незадолго до того выпустившего книгу «Что такое собственность?». «Это, — утверждает он, — наиболее философский труд, из всего написанного коммунистами на французском языке, из всех французских книг особенно эту мне хотелось бы видеть переведенной на английский язык».<sup>23</sup>

По мнению Густава Майера, здесь «впервые замечается» («sich bemerkbar macht») влияние Прудона на Энгельса; это влияние якобы содействовало тому, что теперь Энгельс отрицал, что только одна демократия способна исцелить социальное зло.<sup>24</sup> На первый взгляд, казалось бы, Майер совершенно прав: ведь

оценка Прудона, несомненно, очень высока. Но она не должна смущать нас. Следует лишь подробнее остановиться на вопросе, который этого вполне заслуживает. В отношении к Прудону Энгельс разделял участь самых видных своих современников: знаменитая книга вызвала у них величайшее удивление и нередко восхищение. Даже скупой на похвалы молодой Маркс называл ее «остроумной».<sup>25</sup> Но в этом нет ничего странного.

Книга Прудона решительно затмевает все последующие его произведения: оригинальный, образный и сильный стиль автора произвели глубокое впечатление; его смелые нападки на частную собственность, эту святыню капиталистического общества, раздавались, словно гул: набата; его остроумные парадоксы и убийственная критика противоречий, порождаемых собственностью, нарушали сон мирных буржуа; его искреннее возмущение конкуренцией, несправедливостью, гнетом и нищетой внушало испуганному воображению мещан картины гражданской войны; наконец, революционная убежденность, с которой Прудон бичевал частную собственность как коренную причину общественного неравенства и всех вызванных им революций, навела на мысль о всеобщем разрушении. Таковы главные достоинства его книги, вызвавшей подлинную сенсацию.

Беспощадная критика частной собственности произвела на Энгельса и Маркса большое впечатление. Она, несомненно, дала обоим толчок для размышлений в определенном направлении. Это с полной ясностью видно из той позиции, которую Маркс занял к Прудону в «Святом семействе». Здесь он писал: «Произведение Прудона „Что такое собственность?“ представляет собой критику *политической экономики* с точки зрения политической экономики. . . Прудон же подвергает основу политической экономики, *частную собственность*, критическому исследованию, и притом — первому решительному, беспощадному и в то же время научному исследованию. В этом и заключается большой научный прогресс, совершенный им, — прогресс, который революционизирует политическую экономию и впервые делает возможной действительную науку политической экономики. Произведение Прудона „Что такое собственность?“ имеет такое же значение для новейшей политической экономики, как произведение *Свейеса* „Что такое третье сословие?“ для новейшей политики».<sup>26</sup>

Как хорошо известно, в 1844 г. Маркс еще не вполне изучил английских экономистов. Именно поэтому он мог считать книгу Прудона дальнейшим развитием политической экономики, приводившим к отрицанию частной собственности.

Впоследствии Маркс и Энгельс изменили свое отношение к Прудону. И неудивительно. Невзирая на вызывающую смелость, Прудон обеими ногами стоял на почве буржуазной политической экономики. Правда, он пытался дать ответ на вопрос о сущности частной собственности; но самый вопрос был поставлен до такой степени неправильно, что исключал возможность правильного



ответа. Прудон нашел выход в моральном осуждении собственности и вслед за вождём жирондистов Бриссо назвал ее просто кражей. Однако по существу он вовсе не «отрицал» и не «упразднял» всякую частную собственность вообще, а боролся лишь против ее капиталистической формы. Частную собственность он очень наивно подменял «индивидуальным» и «равным» владением, которое, по его мнению, является условием общественной жизни.

Столь расхваливаемое Прудоном индивидуальное владение есть просто псевдоним мелкой частной собственности, основанной на личном труде. Поэтому его идеальное общество в конце концов оказывается крайне консервативной и совершенно невозможной мелкобуржуазной утопией — обществом самостоятельных, независимых мелких производителей.

Итак, уже в своей шумевшей книге Прудон утопически стремился повернуть колесо истории вспять и увековечить царство мелкой буржуазии. Между тем более основательное изучение Адама Смита и Рикардо скоро убедили Маркса и Энгельса, что теоретически он стоит гораздо ниже английских экономистов. Именно поэтому в некрологе о Прудоне Маркс прямо признал, что «его книга едва ли заслуживала упоминания в строго научной истории политической экономии», хотя «подобного рода сенсационные произведения играют такую же роль в науке, как и в изящной литературе». Будущие друзья основательно изучали не только английских экономистов, но и утопических социалистов. Знакомство с ними очень скоро показало Марксу, что своей книгой Прудон стал приблизительно в такое отношение к Сен-Симону и Фурье, в каком стоял Фейербах к Гегелю: в сравнении с Гегелем Фейербах крайне беден.<sup>27</sup>

Прудон крайне беден и в сравнении с Робертом Оуэном. Энгельс познакомился с работами последнего раньше, чем с книгой Прудона. Именно у Оуэна и его приверженцев Энгельс почерпнул гораздо более глубокую критику частной собственности со всеми противоречиями. Именно Оуэн убедительно показал, что машинный способ производства, вытеснение ручного труда и быстрый рост богатства порождают безграничное удлинение рабочего дня, падение заработной платы, невероятную эксплуатацию, гнет, нищету и рабство пролетариата. Как он настойчиво повторял, непрерывно скопляющиеся в немногих руках средства производства и вообще богатства вызывают несоответствие между растущим избытком продуктов и падающим потреблением рабочих, а вместе с тем кризисы, безработицу, замену взрослых рабочих детьми, мужчин женщинами и т. д. Можно ли найти что-нибудь подобное в книге Прудона? Разве он указывал на зависимость между распределением продуктов и производством их? Разве он настаивал на необходимости планомерно организовать не обращение, а производство товаров? Всеми теми зародышами подобных идей, которые Энгельс вскоре

так плодотворно развил, он обязан вовсе не Прудону, а именно Оуэну и его последователям.

Последние же упорно настаивали на том, что политические реформы сами по себе призрачны, что «все образы правления одинаково неприемлемы, будь то аристократия, демократия или монархия», что, в частности, «чистая» демократия не может разрешить социального вопроса, что, наконец, общество выше государства. Вот почему нельзя согласиться с приведенным выше мнением Густава Майера, что анархическая теория Прудона оказала на Энгельса заметное влияние.<sup>28</sup> Идеи о том, что собственность является могучим элементом истории, становятся общим достоянием сен-симонистов, фурьеристов и коммунистов. Энгельс впервые встретил их совсем не у Прудона, а у Роберта Оуэна. Стало быть, нет серьезных оснований говорить о «заметном влиянии» Прудона на Энгельса. По-видимому, в этом вопросе сам Майер подчинился заметному влиянию буржуазных историков, которые или умышленно, или по невежеству игнорировали подлинные источники марксизма.

Георг Адлер уже давно пустил слух, будто Прудон оказал «крайне важное поуждение и воздействие» на Маркса.<sup>29</sup> По его следам пошли такие «почтенные» и якобы беспристрастные исследователи, как Карл Диль, Адольф Венкштерн, М. Туган-Барановский, Гаммахер и т. п.

Почему же Энгельс утверждает, что книга Прудона написана коммунистом? Чтобы объяснить чье-либо неожиданное мнение, нужно знать, когда, где оно высказано и какие задачи при этом преследовал автор. Энгельс писал в 1843 г., когда важные принципиальные разногласия среди социалистов и коммунистов уже существовали, но еще не приобрели вполне актуального практического значения. Как полагал он сам, в то время еще было основание надеяться, что «расхождение по второстепенным вопросам незначительно» и «не может препятствовать доброму согласию между социальными реформаторами разных стран». С целью содействовать этому согласию он и поместил в «Новом нравственном Мире» свою статью, чрезвычайно важную для характеристики его умственного развития. Но самая цель статьи не позволяла особенно решительно настаивать на разногласиях в социалистическом лагере, существовавших, впрочем, не только «по второстепенным вопросам».

Далее следует помнить и еще одно важное обстоятельство. Энгельс, не так давно ставший коммунистом, совершает в 1843 г. огромную критическую и самокритическую работу. Как можно положительно утверждать, уже тогда он отвергает мирную тактику оуэнистов, враждебно относившихся к классовой борьбе, и защищает «открытую», «насильственную» борьбу пролетариата. Критикуя сен-симонистов и фурьеристов, он преодолевает также второй важнейший момент утопического социализма — его аполитичность, вместе с тем освобождается от демократических

иллюзий, которые имелись даже у лучших представителей чартизма. Одновременно он осуждает заговорщицкую тактику бланкистов и возлагает надежды только на массовое, сознательное движение самого пролетариата. Но утопический социализм, чартизм и бланкизм были направлениями внутри рабочего класса. К ним более или менее тесно примыкали умственные течения, представленные такими именами, как Пьер Леру, аббат Ламеннэ, Жорж Занд и Прудон. По мнению Энгельса, следовало не просто игнорировать эти направления, а содействовать их «доброму согласию». При подобном умонастроении легко упустить из виду даже существенные расхождения. Это может случиться тем легче, чем менее развиты самые воззрения: то, что теперь бросается в глаза, вовсе не отличалось такой ясностью сто с лишком лет тому назад.

В частности, мелкобуржуазная природа Прудона вполне раскрылась лишь позднее. В его же юншеской книге едкая критика частной собственности, словно щелочь, разъедала, казалось, все отношения буржуазного общества; она занимала такое значительное место, что оттесняла совсем на задний план и контрабандное восстановление собственности в виде «индивидуального» владения, и ожесточенные нападки на коммунизм. К тому же эти нападки делались не прямо, а косвенно: Прудон не употреблял даже слова «коммунизм», а предпочитал говорить о «коммуне» или, точнее, «общности благ». Конечно, подобное словоупотребление могло сбивать современников с толку. Очень, однако, возможно, что Энгельс, которого не так легко было поддеть на словесную удочку, писал статью просто по памяти, на этот раз ему изменившей.

Как ни тонко разбирается Энгельс в различных социалистических и коммунистических течениях, он все же еще не совсем освободился от «ограниченного философского высокомерия». Унаследованное от младогегельянства, оно особенно проявляется во второй части статьи, которую Энгельс посвящает возникновению и истории коммунистических движений в Германии. Здесь была мало развита фабричная промышленность. Поэтому рабочие массы состояли преимущественно из ремесленных подмастерьев. Прежде чем приобрести оседлость в качестве мастеров, они по несколько лет странствовали в Германии, Швейцарии и очень часто во Франции. Вследствие этого значительная часть их знакомилась с политическим и социальным движением французского рабочего класса. Наконец, один из них, «пруссак из Магдебурга» Вильгельм Вейтлинг, решил создать коммунистическое общество в своем отечестве.<sup>30</sup>

Энгельс признает именно его «основателем немецкого коммунизма». Превосходство Вейтлинга он усматривает, между прочим, в достоинствах его газеты «Молодое поколение»: «Хотя этот журнал писался только для рабочих и писал его рабочий, он с самого же начала превзошел большинство изданий фран-

музских коммунистов, в том числе даже „Populaire” отца Кабэ. Видно по журналу, что его редактор должен был очень усердно работать, чтобы приобрести те исторические и политические познания, без которых не может обойтись публицист и которых не дало ему скудное образование». Через год Вейтлинг опубликовал произведение «Гарантии гармонии и свободы», в котором критикует существующий общественный строй и рисует план нового общества.<sup>31</sup>

Подобно юношескому сочинению Прудона, это главное и наиболее талантливое произведение Вейтлинга тоже произвело на современников сильное впечатление. И немудрено. Гениальный портняжный подмастерье обладал блестящим литературным талантом. Он беспощадно бичевал пороки буржуазного общества. Он, например, насквозь видел ложь патриотизма господствующих классов, ложь, «которая служит самым яростным врагам прогресса и всеобщей свободы последним якорем спасения их заблуждений, спасительной доской их привилегий». Вейтлинг швыряет им под ноги эту доску, «чтобы бежать под знамя человечества, которое не будет считать среди своих защитников ни высших, ни низших, ни богатых, ни бедных, ни господ, ни рабов». С негодуемой меткостью он критикует буржуазный брак. Но его место в истории коммунистического движения определяется не только этим. В середине 30-х годов прибыв в Париж, молодой портняжный подмастерье с некоторыми перерывами прожил там до 1841 г. и как член «Союза справедливых» принимал активное участие в революционной борьбе рабочего класса. За это время его живой, впечатлительный ум жадно впитал учения французских социалистов-утопистов и в особенности Фурье. Неумолимый агитатор не довольствовался, однако, пережевыванием воспринятых идей и пытался перековать утопический социализм в оружие практической борьбы. По своим воззрениям он оставался еще ремесленным подмастерьем и в то же время уже стал пролетарием. Соответственно этому промежуточному положению он оказался звеном, связующим утопический социализм с пролетарским. Выйдя из недр угнетенных классов, Вейтлинг уже отлично понимает, насколько обманчивы надежды утопистов на королей, миллионеров, филантропов и вообще на разрешение социального вопроса путем мирных реформ; но он еще не совсем отказывается от этих надежд, утверждая лишь что на них не следует особенно полагаться. Он уже видел неизбежность классовой борьбы, но еще не отдает себе отчета во всемирно-исторической роли пролетариата.

Его коммунистическая теория основывается не на производственных отношениях, в лоне которых зарождаются и зреют классовые требования, а на бесплотной идее равенства, играющей такую большую роль в истории французского социализма. Вейтлинг уже успел возвыситься над буржуазным обществом, порвав с частной собственностью, товарным обращением и т. д.;

но, как ни блестяща его критика, он еще стоит на прежней нравственной точке зрения утопистов, а по уровню своего исторического понимания остается далеко позади Сен-Симона и Фурье. Его догадки о происхождении собственности наивны, а исторические воззрения вообще примыкают к французским просветителям.

Вейтлинг по-своему умеет разбираться в современных общественных явлениях, но делает это как пролетаризованный подмастерье, а не как рабочий, проникнутый классовым сознанием. Он, например, понимает значение политической свободы для экономической эмансипации пролетариата и даже прямо требует свободы союзов, печати, выборов; но в конце концов он все же думает, что со всеми этими политическими благами ничего не поделаешь при господстве денежного хозяйства. Он вышучивает химерические упования фурьеристов на денежных тузов и противопоставляет им пролетарскую ассоциацию; но она становится в руках Вейтлинга орудием не только революционной пропаганды, но и коммунистического сектанства.

Уступая утопистам в теоретическом отношении, он практически стоит выше Фурье, Кабэ и Прудона: гуманитарный, общечеловеческий социализм с его мирной пропагандой Вейтлинг заменяет коммунизмом, основанным на противоречии классовых интересов. Он пытается осуществить коммунистические идеи, полагаясь на люмпен-пролетариат. Он верил в силу заговоров, конспираций, коммунистических колоний. Он допускает насильственный путь осуществления социальной революции, но полагает, что пролетарская революция должна опираться не на растущую силу, а на прогрессивное обнищание рабочих. Не в их дисциплине, сплоченности и готовности к борьбе, а в отчаянии и нищете Вейтлинг видит наиболее мощный рычаг революции, а в люмпен-пролетариате — главную ее движущую силу. Не дойдя до научного коммунизма, он впадает в утопически бунтарский анархизм: возлагает беспочвенные надежды на босяков, рекомендует воровство как последнее оружие бедных против богатых и т. п.

Словом, уйдя от утопического социализма, Вейтлинг не дорос до вполне ясного пролетарского сознания и не сумел возвыситься над кругозором мелкого ремесленника. В этом отношении он разделит судьбу со своим современником Прудона. Последний ведь тоже не мог перешагнуть за пределы кругозора французского мелкого буржуа и с полным основанием сам себя называл «безансонским мужиком». И не случайно оба тяготели к анархизму; не случайно на долю обоих выпали сначала лавры громкой славы, а потом социальное одиночество и горькие разочарования; не случайно, наконец, оба разошлись с Марксом и Энгельсом. Но в отличие от Прудона, его немецкий собрат перерос не только всех буржуазных идеологов, но даже коммунизм Кабэ.<sup>32</sup>

Немецкие современники, бесконечно превосходившие Вейт-

линг философским образованием, широтой и систематичностью воззрений, тем не менее восторгались его умом, смелостью, достоинством и талантом. Когда Л. Фейербах получил сочинение Вейтлинга от одного ремесленника, он пришел в восхищение. По свидетельству Энгельса, ни одна книга не доставляла такого наслаждения Фейербаху, как первая часть «Гарантий»: «Я никогда, никому не посвящал своих книг, — сказал он (Л. Фейербах, — ред.), — но я чувствую большое желание посвятить Вейтлингу свою ближайшую работу».<sup>33</sup>

Несколько позднее Маркс называл сочинения Вейтлинга «гениальными» и полагал, что они в теоретическом отношении часто идут даже дальше Прудона, хотя и очень уступают ему по изложению. Разве буржуазия со всеми своими философами и учеными сможет указать на сочинение об эмансипации буржуазии, т. е. политической эмансипации, подобное сочинению Вейтлинга «Гарантии гармонии и свободы»? Стоит сравнить банальную и трусливую посредственность немецкой политической литературы с этим *беспримерным* и блестящим литературным дебютом немецких рабочих, стоит сравнить эти гигантские *детские башмаки* пролетариата с карликовыми стоптанными политическими башмаками немецкой буржуазии, чтобы предсказать *немецкой Золушке* в будущем *фигуру атлета*. Следует признать, что немецкий пролетариат является *теоретиком* европейского пролетариата, подобно тому как английский является его *экономистом*, а французский — его *политиком*.<sup>34</sup>

Даже на великого скептика и неисправимого насмешника Генриха Гейне личная встреча с Вейтлингом произвела большое впечатление, дав ему повод противопоставить германское рабочее движение английскому.

Подобно своим старшим современникам, Энгельс ставит Вейтлинга выше Прудона. Он тщательно изучает его работы и стремится подчеркнуть все ценные идеи, содержащиеся в них. Как мы знаем, Энгельс со свойственной ему независимостью суждений признает, что «Молодое поколение» с самого же начала превзошло все издания французских коммунистов и в том числе «*Populaire*» отца Кабэ. Превосходство немецкого коммуниста над французским Энгельс видит в следующем. Прежде всего, Вейтлинг высказал мысль о необходимости отменить всякую власть, основанную на насилии; по его мнению, эту власть следует заменить простым управлением, организующим различные отрасли промышленности и распределяющим продукты. Далее, Вейтлинг предложил назначать всех чиновников управления в каждой профессии не большинством коммуны, а только членами ее, которые знакомы с будущей специальной работой чиновника. Наконец, план Вейтлинга имеет и еще одну характерную особенность. Жюри должно выбирать подходящее лицо по своего рода конкурсу: судьи не знают самих конкурентов, имена которых написаны в запечатанных конвертах; из по-

следних вскрывается только конверт с именем победителя; таким образом устраняются все личные мотивы, которые могли бы повлиять на решение судей.<sup>35</sup>

Очевидно, мысль Энгельса работала вовсе не в направлении анархической теории Прудона. Уже в начале 1844 г. у него зародилась та же идея, которая позднее была развита им самим и Марксом, а именно: в коммунистическом обществе государственная власть неизбежно уступит место простому управлению процессами производства и распределения. Нет ничего удивительного, что даже накануне разрыва с Вейтлингом Энгельс признавал его единственным немцем, который «действительно кое-что сделал». В частности, «ни один немецкий социалист или коммунист за исключением Вейтлинга еще не написал чего-либо, что хотя бы лишь очень отдаленно могло сравниться» с тем отрывком Фурье о торговле, который впервые был опубликован фурьеристским журналом «Фаланга» в 1845 г.<sup>36</sup>

Хотя коммунизм ремесленников стал в Германии «предметом всеобщего внимания», тем не менее Энгельс еще не придает ему решающего значения, ибо находит сферу его влияния слишком ограниченной: ведь он вербует своих приверженцев исключительно среди ремесленных подмастерьев. Наряду с этим коммунизмом ремесленных подмастерьев Энгельс рассматривает философский коммунизм революционной интеллигенции. Это — партия философская, по своему возникновению не связанная с английскими или французскими коммунистами, а выросшая из той философии, которая в течение последнего полувека являлась гордостью Германии. Политической революции Франции сопутствовала философская революция в Германии. Ее начал Кант, выбросивший за борт устарелую метафизику Лейбница, продолжили Фихте и Шеллинг, а завершил Гегель.<sup>37</sup>

Энгельс платит дань удивления всеобъемлющему характеру его философии: «Никогда еще, с тех пор как люди мыслят, не было такой всеобъемлющей системы философии, как система Гегеля. Логика, метафизика, философия природы, философия духа, философия права, религии, истории — все было объединено в одну систему, сведено к одному основному принципу». Описав вкратце, как эта система была «взорвана изнутри» самими гегельянами, Энгельс не без преувеличения утверждает, что «очень скоро вся либеральная печать Германии» была в руках младогегельянцев: они имели друзей «в каждом значительном городе»; они «обеспечивали все либеральные газеты необходимым материалом и таким образом делали их своими органами»; они «наводнили страну памфлетами» и «вскоре в каждом вопросе руководили общественным мнением».<sup>38</sup>

Это движение, разумеется, вызвало правительственные репрессии. Но правители Германии, вообразившие, будто окончательно раздавили республиканскую идею, немедленно убедились, что из пепла политической агитации вырос коммунизм. На про-

тяжении 1842 г. философский коммунизм утвердился в Германии, вопреки всем усилиям правительств не дать ему развиваться. В чисто идеологическом духе Энгельс продолжает: «Немцы — нация философская, они не пожелают, не смогут отказаться от коммунизма, раз он покоится на здоровых философских основах, в особенности, когда он является неизбежным выводом из их *собственной* философии. И вот задача, которую нам предстоит теперь выполнить. Наша партия должна доказать, что либо все усилия немецкой философской мысли от Канта до Гегеля остались бесполезными или даже хуже чем бесполезными, либо их завершением должен быть коммунизм; что немцы должны либо отречься от своих великих философов, чьи имена составляют их национальную гордость, либо признать коммунизм».<sup>39</sup>

Энгельс нисколько не сомневается в том, что немецкий народ решит эту задачу. Он твердо убежден, что коммунизм восторжествует не только в Англии или Франции, но и в Германии. Однако, в отличие от двух первых стран, на его родине огромная роль должна принадлежать «философской партии», сформированной из довольно хорошо образованных людей. Чтобы объяснить это странное утверждение, надо иметь в виду, как Энгельс разрешает вопрос об отношении «интересов» к «принципам». Как мы знаем, очень скоро после приезда в Англию наблюдательный юноша пришел к выводу, что ее историческое развитие объясняется борьбой не принципов, а интересов. В то же время он считал этот факт не общим явлением, а частным случаем, не историческим законом, а необъяснимым исключением. Через год он заметил, что не только английские, но и французские рабочие обращаются к коммунизму вследствие материальных условий своего существования: англичане — благодаря быстрому росту нищеты, деморализации и пауперизма, французы — убедившись, что «требования политической свободы и равенства сами по себе недостаточны». Стало быть, теперь Германия превратилась в исключение: в этой стране «принцип» все еще «укрощает притязание интересов».

Именно благодаря его руководящей роли коммунизм стал «необходимым» и «неустранимым» последствием младогегельянской философии. Той же ролью — бескорыстием немцев, их страстием к абстрактным принципам и пренебрежением к собственной выгоде — Энгельс обосновывает надежды на создание коммунистической партии «среди образованных классов». Наконец, принцип служит разъяснением двух факторов, требующих, как теперь ему самому кажется, особенного объяснения: во-первых, почему коммунистическая партия «составляется из людей, которые сами являются собственниками»; во-вторых, почему пропаганда коммунизма среди них, интеллигенции и в коммерческих кругах не наталкивается на «ощутительные затруднения».

С другой стороны, в 1843 г. «философский коммунизм» далеко еще не приобрел сколько-нибудь определенных очертаний.



Это сказывается и в статье Энгельса. Он причисляет к «философской партии» таких людей, как Руге, который вовсе не питал склонности к коммунизму и даже не был в состоянии ни понять, ни оценить его. Та же неопределенность дает Энгельсу повод сближать немецких коммунистов с английскими: в отдельных пунктах, пишет он, «мы сходимся гораздо больше с английскими социалистами, чем с какой-либо другой партией. Их система, подобно нашей, покоится на философском принципе; как и мы, они борются против религиозных предрассудков, тогда как французы отвергают философию и увековечивают религию, протаскивая ее вместе с собой в проектируемый новый общественный строй».<sup>40</sup> «Мы», от имени которых говорит Энгельс, свидетельствует о том, что он и себя причисляет к «философскому коммунизму». Через некоторое время он убедился, что с «философским коммунизмом» ему совсем не по пути.

Таким образом, Энгельс еще не отмежевался от «философского коммунизма». Но был ли он утопическим социалистом? М. Бер отвечает на этот вопрос утвердительно и в данном отношении противопоставляет Энгельса Марксу: «Маркс, — пишет он, — никогда не был утопистом; его ум был в такой степени проникнут гегелевской диалектикой, что давал ему иммунитет против всех „вечных“ истин и окончательных социальных форм. Напротив, Энгельс был до 1844 года утопистом, — пока Маркс не объяснил ему значения политической и социальной борьбы, не объяснил ему фундамента и движущих сил, статики и динамики человеческих обществ».<sup>41</sup> Это мнение Бера ошибочно.

Несомненно, Энгельс, как и Маркс, пользовался гегелевской диалектикой. Он тоже был «застрахован» от погони за «вечными истинами и окончательными социальными формами». Независимо от Маркса он понял огромное значение и политической и социальной борьбы. Как мы знаем, он отверг оуэнистский мирный социализм, выступив в защиту насильственной пролетарской борьбы, критиковал аполитичность сен-симонистов и фурьеристов, был далек от чартистских демократических иллюзий и осудил заговорщическую тактику бланкистов. Наконец, Энгельс самостоятельно нащупывал «фундамент и движущие силы» общественного развития, усмотрев их в материальных интересах. Стало быть, уже в 1843 г. он стоял выше всевозможных утопических социалистов.

Но это, конечно, не значит, что он уже стал научным коммунистом. Напротив, в воззрениях Энгельса еще много родимых пятен. Пожалуй, самое заметное среди них — отношение «принципа» к «интересам». В этом важнейшем вопросе все еще сказываются идеалистические влияния. Об этом свидетельствует сам Энгельс много лет спустя. Вспоминая свою первую встречу с Шаппером, Моллем и Генрихом Бауэром, состоявшуюся в Лондоне в 1843 г., он замечает: «их ограниченному уравнительному коммунизму я в то время противоп-

ставлял немалую долю столь же ограниченного философского высокомерия». . . \* Чтобы обосновать научный социализм, нужно было освободиться от родимых пятен идеализма и этого «ограниченного философского высокомерия». Но рассмотренная статья уже убеждает нас в том, что преодоление философской ограниченности совершается Энгельсом довольно успешно, благодаря ознакомлению с опытом рабочего движения. Его критическое использование накладывает печать все большей оригинальности на последующие произведения Энгельса.

## Глава XV

### РАБОТЫ Ф. ЭНГЕЛЬСА В «НЕМЕЦКО-ФРАНЦУЗСКИХ ЕЖЕГОДНИКАХ»

Энгельс оставил Германию по настоянию своего отца. Некоторые другие младогегельянцы — Маркс, Руге, Гервег — покинули ее пределы под давлением политических событий. Смысл их Маркс объяснил весной 1843 г. в замечательных словах: «Пышный плащ либерализма упал с плеч, и отвратительнейший деспотизм предстал во всей своей наготе перед лицом всего мира. . . Комедия, которую разыгрывает над нами деспотизм, столь же опасна для него, как в свое время оказалась опасной трагедия для Стюартов и Бурбонов. И если бы даже еще долгое время не понимали, что в действительности представляет собой эта комедия, то все же она была бы уже в известном смысле революцией. Государство — слишком серьезная вещь, чтобы можно было превратить его в какую-то арлекинаду. Судно, полное глупцов, можно было бы еще, пожалуй, представить на некоторое время воле ветра, но оно плыло бы навстречу своей неминуемой судьбе именно потому, что глупцы этого и не подозревают. И эта судьба — предстоящая нам революция».<sup>1</sup>

Соратник Маркса Руге бичевал домартовский деспотизм преимущественно за то, что во всей Германии «душат» печать. Нападки Руге имели свое основание: упрямые попытки германских правительств удушить печать наносили болезненные раны именно левым гегельянцам как литераторам по убеждению и призванию. Когда состоялось решение умертвить «Рейнскую газету», из груди ее редактора тоже вырвался гневный стон: «Противно быть под ярмом — даже во имя свободы; противно действовать булавочными уколами, вместо того чтобы драться дубинами». Мне надоели лицемерие, глупость, грубый произвол. Мне надоело приспособляться, изворачиваться, считаться с каждой мелочной придиркой. Словом, правительство вернуло мне свободу».

Но Маркс вовсе не собирался сложить оружие. В том же письме к Руге он выражает намерение переменить диспозицию: «. . . если бы, например, представилась возможность редактиро-

\* К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения, т. II, стр. 322.

вать в Цюрихе, вместе с Гервегом, „Deutscher Bote“, то это было бы очень кстати. В Германии я не могу больше ничего предпринять».<sup>2</sup> Маркс был не в состоянии изменить самому себе: в его голове уже тогда зародилась мысль перенести свою деятельность за границу. Поэтому он вскоре обратился с предложением сотрудничества непосредственно к Гервегу. Поэт очень близко принял к сердцу невзгоды, постигшие мыслителя-борца. Но проживая в Швейцарии и хорошо зная настроения Цюриха, он довольно мрачно оценивал положение, опасаясь, что в угоду немецким правительствам в Швейцарии тоже начнется травля чужестранцев, которым не удалось приобрести прав гражданства.

После гибели «Немецких ежегодников» Руге тоже оказался не у дел. Он считал издание журнала в Германии «бессмыслицей», пока «продолжается полицейское бешенство». Естественно, он тоже обратил свои взоры на Швейцарию и те страны, где имелась свобода печати. Руге обладал практическим смыслом, сам себя называл «оптовым торговцем в области духа» и быстро сообразил, какие «прекрасные силы» освобождаются со смертью «Рейнской газеты». Кроме того, он признавал Маркса «совершенно исключительной головой», а потому находил продолжение «Ежегодников» совместно с молодым редактором делом само собой разумеющимся.

Об этом он писал и Гервегу. Сообщая о предстоящем освобождении Маркса от «Рейнской газеты», Руге высказывает предложение о привлечении Гервегом Маркса к работе в «Вестнике». Вместе с тем Руге оговаривается, что не отказался от мысли продолжать с ним «Ежегодники».<sup>3</sup> К этому предприятию был привлечен и владелец «Литературной конторы» в Цюрихе Юлиус Фребель. Руге приглашал радикального издателя прибыть к нему в Дрезден одновременно с Марксом.<sup>4</sup>

Однако надежды на совместное редактирование «Немецкого вестника из Швейцарии» рухнули, так как Гервег был выслан из Цюриха. Трудности не остановили Руге, который продолжал сочинять планы совместной работы. Считая Маркса более пригодным для редактирования журнала, а не газеты, Руге предложил ему соредакторство в реформированных «Ежегодниках».

Как намеревался Руге реформировать «Ежегодники», видно из его переписки с бывшими сотрудниками погибшего журнала: Марксом, Фейербахом, Флейшером и Штаром. В письме к Флейшеру он излагает общую идею журнала — идею духовного единения Франции и Германии. Понятно, что Руге предполагает пригласить французов сотрудничать в журнале на французском языке и постараться просветить их о себе, а себя самих о них. Это, по мнению Руге, приведет к изучению их литературы и взаимному ознакомлению прогрессивной интеллигенции с политическим и социальным движением в этих двух странах.<sup>5</sup>

Разъясняя программу журнала Штару, Руге отмечает, что необходимо придать «Ежегодникам» популярную и классиче-

скую форму по образцу великих и бессмертных французов. Программа журнала состоит в том, чтобы выяснить сущность «истинного государства».<sup>6</sup>

В письме к Марксу Руге приглашает его приехать в Лейпциг, настаивает на единении Франции с Германией и подчеркивает галло-германский принцип. Со своей стороны Маркс сообщает, что при первой возможности «отчалит прямо в Лейпциг» и очень остроумно высказывается о «нашем плане»: «Когда был взят Париж, то одни предполагали в государи сына Наполеона, с назначением регентства, другие — Бернадота, третьи, наконец, — Луи-Филиппа. Но Талейран ответил: „Либо Людовик XVIII, либо Наполеон. Это — принцип, все остальное — интрига“. Точно так же и я готов назвать почти все прочее, кроме Страсбурга (или, в крайнем случае, Швейцарии), не принципом, а интригой. Книги размером больше двадцати листов — это не книги для народа. Самое большее, на что здесь можно решиться, это — ежемесячные выпуски. Даже если бы выпуск „Deutsche Jahrbücher“ снова был разрешен, то в лучшем случае мы бы добились слабой копии почившего издания, а теперь этого уже недостаточно. Наоборот, „Deutsch-Französische Jahrbücher“ — вот это было бы принципом, событием, чреватым последствиями, делом, которое может вызвать энтузиазм».<sup>7</sup>

Договорившись с Марксом о принципах нового журнала, Руге старался привлечь к сотрудничеству и Фейербаха. Сообщая Фейербаху о программе журнала, Руге выражал надежду, что Фейербах выступит уже в первом выпуске, тем более, что «популярный» любимый философ уже давно высказался за галло-германский альянс.<sup>8</sup>

Фейербах нашел план Руге «превосходным», но тотчас же высказал сомнение, сможет ли он что-нибудь прислать «уже так скоро».<sup>9</sup> Возникли у него и другие сомнения. Он ровню ничего не имел против идеи самой по себе. Но практические соображения заставляли его колебаться: он опасался, что проектируемый журнал не достигнет цели. Между тем, по его мнению, конечная цель все еще заключалась в том, чтобы откровенно высказаться и освежить воздух. Но чтобы освежить воздух, нужно — по крайней мере в филистерской, тупой Германии, какова она теперь, — вызвать не ветер, а не меньше, чем бурю. Раз у нас будет воздух, со временем уже подыметя и ветер; он начнется при условиях, находящихся вне нашей власти. Тихие воздействия — наилучшие. Сначала тихо, потом громко, а не наоборот. Германию можно лечить только ядом, а не огнем и мечом. Мы еще не готовы к переходу от теории к практике потому, что у нас пока нет теории, по крайней мере в развитом, всесторонне разработанном виде. Доктрина — все еще главное. Не только злая воля, но и умственная ограниченность, ложные представления пытаются утвердиться или по меньшей мере не устраняются даже нашими лучшими умами — вот, что противодействует свету нового

духа. Нужны сочинения, большие и малые: только ими можно выгнать жеребцов на волю. Журналы могут лишь вторить.<sup>10</sup>

Фейербах долго не давал решительного ответа, а новый журнал нужно было уже готовить к печати. Наконец, Маркс тоже обратился к брукбергскому отшельнику с очень приветливым письмом, в котором убедительно просил его написать для первого номера критическую статью о Шеллинге: «Вы бы поэтому оказали предпринятому нами делу, а еще больше истине, большую услугу, если бы сейчас же, для первого выпуска, дали характеристику Шеллинга. Вы как раз самый подходящий человек для этого, так как Вы — *прямая противоположность Шеллингу. Искренняя юношеская мысль Шеллинга*, — мы должны признавать все хорошее и в нашем противнике, — для осуществления которой у него не было, однако, никаких способностей кроме воображения, никакой энергии кроме тщеславия, никакого возбуждающего средства кроме опиума, никакого органа кроме легко возбуждимой женственной восприимчивости — эта искренняя юношеская мысль Шеллинга, которая у него осталась фантастической юношеской мечтой, для Вас стала истиной, действительностью, серьезным мужественным делом. Шеллинг есть поэтому Ваша *предвосхищенная карикатура*, а как только действительность выступает против карикатуры, последняя должна рассеяться, как туман. Я считаю Вас поэтому необходимым, естественным, призванным их величествами природой и историей, противником Шеллинга. Ваша борьба с ним — это борьба подлинной философии против философии мнимой. . .»<sup>11</sup>

И все же Фейербах колебался. Не убедила мыслителя даже ссылка на его собственный галло-германский альянс. На все призывы он в конце концов дал дружеский, но отрицательный ответ. В жизни Фейербаха то был черный день, после которого он обрек себя на духовное одиночество. Таким образом, в союзе осталось три единомышленника: Маркс, Руге и Гервег. Они тщательно взвесили, с какого времени, где и на какие средства будет выходить новый журнал. Руге довольно скоро пришел к соглашению с Фребелем, что журнал должен появиться в октябре. После некоторых колебаний между Швейцарией, Брюсселем и Страсбургом было окончательно избрано и место издания — Париж. Со средствами же на журнал вышла большая заминка.

Фребель, обладавший издательским опытом, настаивал, что для предприятия нужен большой оборотный капитал. Тогда у изворотливого Руге возникла не лишенная иронического налета мысль — испытать, являются ли либералы простыми говорунами или же они готовы хоть немного раскошелиться. В конце концов Руге задумал за пределами Швейцарии учредить на паях свободное от цензуры книжное дело. По его проекту «друзья свободной печати» должны были в три месяца подписаться на 100 акций по 50 талеров, приносящих в каждую пасхальную

ярмарку 4 проц.<sup>12</sup> Этот смелый по своему времени проект не был осуществлен. Но очень состоятельный Руге решил рискнуть 6000 талеров.<sup>13</sup> С этой суммой он вступил в «Литературную контору» товарищем и, по собственному выражению, стал «полуторговцем».<sup>14</sup>

Поздней осенью 1843 г. три союзника — Маркс, Руге, Гервег — встретились в Париже и принялись за издание журнала. Но он родился не под счастливой звездой. Французские писатели, привлеченные Руге, по его же признанию, отличались «очень разной окраской». Но даже лица, обещавшие свое сотрудничество, встретили новое начинание с холодной сдержанностью. Гениальный типографский рабочий Пьер Леру углубился в изобретение наборной машины и на время забросил литературную деятельность. Его товарищ по профессии, но не по убеждениям, мелкобуржуазный анархист Прудон проживал в Безансоне, где вместе с одним компаньоном открыл небольшую типографию. Либеральный красной Ламартин выступил с опровержением газетной заметки, будто он обещал сотрудничать вместе с еретиком Ламеннэ. Да и сам аббат Ламеннэ, напичканный христианским вздором, воздержался по религиозным соображениям от вступления в компрометирующую связь с атеистами, хотя и признавал идею журнала «святой и возвышенной идеей» («une idée sublime et sainte»). Мирный и боязливый реформист Луи Блан тоже отказался от сотрудничества, уверяя, что атеизм в философии неизбежно порождает анархизм в политике. Под теми или иными благовидными предлогами отказались и другие писатели, например, коммунист Кабэ и фурьерист Консидеран, способные, по мнению Руге, скрепить «Alliance spirituelle» — интеллектуальный союз немцев с французами.

Успешнее дело наладилось с немецкими писателями. Правда, далеко не все надежды оправдались. В утробный период «Немецко-французских ежегодников» над ними незримо витал дух Фейербаха; но сам философ в своем брукбергском уединении наслаждался общением с природой и черпал в нем силы для борьбы. Бруно Бауэр продолжал пряхть воздушную паутину «бесконечного самосознания» и вопреки ожиданиям Руге тоже «отделился» от нового предприятия. Не примкнули к нему и многие другие младогегельянцы. Зато издателям удалось нанять передовой отряд таких отважных бойцов, как поэты Гейне и Гервег, заслуженные ветераны Иоганн Якоби и Моисей Гесс, молодой пфальцский юрист Фердинанд Целестин Бернайсс и самый юный среди них — Энгельс. По преданию, Маркс лично обратился к нему с предложением о сотрудничестве: по-видимому, соредатор журнала заметил своим орлиным взором, что в одном с ним направлении смело плывет и Энгельс на обломках прусского политического радикализма.<sup>15</sup> Впрочем, Руге тоже высоко ценил мужественного пловца и со своей стороны мог предпринять надлежащие шаги.

Письма ни того, ни другого не сохранились. Известно, что поздним летом и ранней осенью Гервег с женою отдыхали на курорте Остенде. Из его переписки мы узнаем, что в августе туда же прибыл Энгельс. Здесь он встретился не только с самим поэтом, но и с известным историком Гервинусом.<sup>16</sup> Несомненно, Гервег либо по поручению Маркса, либо по собственному почину подробно ознакомил юного коммуниста с идеей, программой и направлением журнала; вероятно, он уже устно предложил новому знакомому сотрудничество и назвал предполагаемый состав остальных сотрудников. Энгельс с радостью принял предложение, ибо его работа в «Швейцарском республиканце» уже в июле стала невозможна: арест Вейтлинга в Цюрихе нагнал такой страх на буржуазию, что Фребель вынужден был отказаться от редакции. А среди тех развалин, в которые политическая реакция превратила радикальную немецкую печать, Энгельс не мог найти хоть какой-нибудь пристани. По стечению всех этих обстоятельств он вместе с Марксом украсил страницы «Немецко-французских ежегодников» важнейшими статьями. Здесь же он впервые выступил не только в блестящем вооружении, но и с открытым забралом: обе статьи его подписаны уже не псевдонимом Фр. Освальд, а собственным именем и фамилией.

Статьи Маркса и Энгельса показывают, что они порвали с идеализмом. Дело в том, что между гибелью «Рейнской газеты» и основанием «Ежегодников» в «Анекдотах» Руге была напечатана работа Фейербаха «Предварительные тезисы к реформе философии». Из них далеко не все тезисы заключали такие идеи, которых не было бы уже в «Сущности христианства». Но новая работа в сжатых, кратких и ясных положениях порывала с гегелевской философией, решительно противопоставляя материальную действительность бесплотным абстракциям. Именно ясность и решительность тезисов произвели на Маркса и Энгельса особенно глубокое впечатление.

В «Сущности христианства» Фейербах еще ограничивался утверждением, что антропология разоблачает тайну теологии. В «Тезисах» он уже объявляет самую теологию тайной умоизрительной философии, родоначальником которой был Спиноза, реставратором — Шеллинг, а завершителем — Гегель. Пантеизм этой философии — такое же необходимое следствие теологии, как атеизм — необходимый вывод из пантеизма. Пантеизм есть отрицание теологии на ее собственной почве, а атеизм — это пантеизм наизнанку, или перевернутый пантеизм.<sup>17</sup>

Гегелевская логика, по мнению Фейербаха, тоже является своего рода теологией, лишь приспособленной к разуму и современности: это теология, превращенная в логику. И в самом деле: сущность теологии сводится к сущности самого человека, вынесенной, однако, за его пределы, или трансцендентной; сущность гегелевской логики также состоит в трансцендентном мышлении, утвержденном вне человека. Теология раздваивает и отчуждает

человека, а потом снова отождествляет эту отчужденную сущность с самим человеком. Подобно этому Гегель тоже сначала умножает и дробит простую единую сущность природы и человека, а потом сильно разъединенные элементы снова насильственно же воссоединяет.<sup>18</sup>

Учение Гегеля об абсолютном духе, с точки зрения Фейербаха, также отличается теологическим характером. По его утверждению, абсолютный дух раскрывается или осуществляется в искусстве, религии и философии. В переводе с философского языка на обычный это значит: дух искусства, религии, философии и есть абсолютный дух. Но искусство и религию нельзя обособить от человеческих ощущений, фантазии и созерцания, а философию — от мышления. Короче, абсолютный дух нельзя обособить от субъективного духа, или самого человека, не возвращаясь вспять к старой теологической точке зрения.<sup>19</sup>

«Абстрагировать» — значит видеть сущность природы вне самой природы, сущность человека — вне его, а сущность мышления — вне мыслительных процессов. Гегелевская философия так именно и поступает: она отчуждает себя от человека, ибо вся ее система покоится на подобных актах абстракции. Непосредственное отождествление сущности человека, отчужденной от него путем абстракции, с самим человеком можно вывести из гегелевской философии не положительным образом, а лишь ее отрицанием.<sup>20</sup>

Фейербах действительно отрицает ее: по его мнению, началом философии является вовсе не бог, абсолютное или бытие как предикат идеи, а нечто конечное, определенное и действительное.

Особенно поучительны замечания Фейербаха о пространстве и времени, признание или отрицание которых делит всю философию на два враждебных лагеря. По Фейербаху, пространство и время — формы всякого существования: только существование в пространстве и времени есть истинное существование. Ощущение, воля, мысль, существо вне времени — бессмыслица. Кто отрицает время вообще, у того нет ни времени, ни порыва, ни воли к мышлению. Отрицание пространства и времени при решении вопроса о сущности вещей влечет за собой роковые практические последствия. Только человек, признающий их, обладает тактом и практическим разумом, ибо пространство и время — первые категории практики.

Умозрительная философия провозгласила развитие, обособленное от времени, формой и атрибутом абсолюта. Подобное обособление развития от времени — верх умозрительного произвола, убийственное доказательство того, что умозрительные философы поступили с абсолютном так же, как богословы со своим богом: их бог наделен всеми аффектами человека, кроме страсти: любит без любви, гневается, но без гнева. Развитие без времени все равно, что развитие без развития. Словом, про-



странство и время суть формы проявления действительно бесконечного. А потому, где нет границ, времени, страданий и усилий, там нет ни качеств, ни энергии, ни воздушевления, ни страсти, ни любви. Только существо, имеющее нужду в чем-либо, бывает необходимым существом. Существование же без потребностей — ненужное существование.<sup>21</sup>

Гегелевская философия упраздняет противоречие между мышлением и бытием, но упраздняет только в пределах самого противоречия, в пределах одного элемента, а именно мышления. У Гегеля мысль и есть бытие, субъект, а бытие — предикат. Его логика — это мышление в элементах мышления; это мысль, мыслящая самое себя, субъект, лишенный предикатов, или мысль, которая является одновременно и субъектом и предикатом себя самой. Но именно поэтому Гегель и не пришел к подлинному бытию, к свободному, счастливому в себе бытию. Кто не отказывается от гегелевской философии, тот не отказывается и от теологии. Учение Гегеля о том, что природа, реальность полагается идеей, является лишь рациональным выражением богословского учения, будто природа сотворена богом, материальная сущность нематериальным, абстрактным существом. Гегелевская философия есть последнее убежище, последний рациональный оплот теологии.<sup>22</sup>

Между тем истинное отношение мышления к бытию лишь таково: бытие есть субъект, мышление — предикат, но такой предикат, который заключает в себе сущность своего субъекта. Мышление возникает из бытия, а не бытие из мышления. Бытие есть из себя и через себя, дано только бытием и имеет свое основание в себе самом, ибо только бытие есть смысл, разум, необходимость, истина, — словом, решительно все. Бытие есть потому, что небытие это просто небытие, т. е. ничто, бессмыслица. Сущность бытия есть сущность природы.

Бытием являются только природа и человек. Именно здесь скрыты тайны философии. Поэтому все рассуждения о праве, воле, свободе, личности без человека, вне его и даже поверх него лишены единства, необходимости, субстанции, основы и реальности. Человек есть бытие свободы, личности и права. Только он сам составляет основание для фиктеанского «Я», лейбницевской монады и абсолюта.<sup>23</sup>

С другой стороны, все науки должны основываться на природе. Любое учение остается простой гипотезой, пока не найдено его естественное основание. Это в особенности относится к учению о свободе. Лишь новой философии удастся натурализовать свободу, которая до сих пор была противоестественной и сверхединственной гипотезой. Поэтому философия снова должна соединиться с естествознанием, а естествознание — с философией. Этот союз, основанный на взаимной потребности и внутренней необходимости, будет продолжительнее, счастливее, плодотворнее, чем прежний мезальянс философии с теологией.<sup>24</sup>

В своем предпоследнем афоризме Фейербах лишь слегка трагивает вопрос о государстве, совсем обойденный в предыдущих тезисах. По мнению философа, человек составляет «единое и все» государства. Государство есть реализованная, развитая, раскрытая целостность человеческого существа. Существенные качества или деятельность человека осуществляются в государстве отдельными сословиями, но в лице его главы снова приводятся к тождеству. Глава государства должен представлять все сословия без различия; перед ними все они равно необходимы и правомочны. Глава государства — это представитель универсального человека.<sup>25</sup>

Таким образом, в своих «Тезисах» Фейербах категорически ствергал самостоятельное существование мышления и его абсолютный характер. Он решительно объявлял природу и человека единственным подлинным бытием, а пространство и время — объективными формами их существования. Стало быть, открыто поднимаемая знамя материализма, он окончательно порывал с гегелевской философией духа, природы и религии. Предметом истинной «реальной» философии, неразрывно спаянной с жизнью, могут быть только природа и сам человек с его ощущениями и чувствами, горестями и радостями, желаниями и мыслями. Нужно положить конец бесплотным абстракциям, отрывающим природу от естественных явлений, человека — от его переживаний, мышление — от мыслительных процессов. В этой борьбе с идеалистическими абстракциями во имя действительного, живого человека и состоит «гуманизм» Фейербаха.

Как ни точны и даже изящны тезисы Фейербаха, они, несколько иначе формулируя замечание Фрэнсиса Бэкона, что философия должна вступить в «законное супружество» с естественными науками, тем не менее страдают крупными недостатками. Мыслитель справедливо отстаивает «внутреннюю необходимость» союза, который ей следует заключить с естествознанием, расторгнув прежний «мезальянс» с богословием. Но он ни словом не упоминает о необходимости другого союза — с общественными науками. Далее Фейербах не менее справедливо объявляет гегелевскую философию последним убежищем и рациональным оплотом теологии. Но непримиримая борьба с религиозными предрассудками поглощает все его внимание и побуждает отодвигать на второй план чисто политические вопросы. Наконец, Фейербах решительно восстает против ненавистных отвлеченностей и обѣими руками держится за живой, действительный мир — природу и человека. Но и природа и «сущность человека» остаются у него пустыми словами; он не умеет сказать ничего определенного ни о действительной природе, ни о подлинном человеке. В частности, переход от отвлеченного человека к живым, действительным людям был возможен лишь путем тщательного изучения общественных отношений и их исторического развития. Последнего у Фейербаха нет и в помине.

Эти недостатки сразу бросились в глаза Марксу и Энгельсу. Уже скоро после выхода «Анекдотов» Маркс в письме к Руге отмечает первый из недостатков: «Афоризмы Фейербаха не удовлетворяют меня лишь в том отношении, что он слишком много напирает на природу и слишком мало — на политику. Между тем, это — единственный союз, благодаря которому теперешняя философия может стать истиной. Но все наладится, как это было в XVI столетии, когда рядом с энтузиастами природы существовали и энтузиасты государства».<sup>26</sup> В том же письме Маркс горячо приветствует «галло-германский принцип».

В своем ответе Руге полностью соглашается и с этим принципом, и с указанием на натурфилософскую односторонность брукбергского отшельника.

В переписке, которой открываются «Немецко-французские «жегодники», Маркс, в отличие от Фейербаха, уже настаивает на тщательном изучении действительных, исторически сложившихся людей. В мае 1843 г. он пишет: «Это верно — старый мир принадлежит филистеру. Но не следует относиться к филистеру, как к пугалу, от которого боязливо отворачиваются. Напротив, мы должны внимательно к нему присмотреться». Далее Маркс поясняет, что мир филистера — это мир политических животных. Их общественные отношения — система промышленности и торговли, собственности и эксплуатации человека — быстро ведут к ломке нынешнего общества, которое старая система не в состоянии залечить, потому что она вообще не исцеляет и не творит, а только существует и наслаждается. Но существование страждущего человечества, которое мыслит, и мыслящего человечества, которое угнетается, должно неизбежно стать поперек горла пассивному, бессмысленно наслаждающемуся животному миру филистерства. По убеждению Маркса, необходимо «разоблачать старый мир и совершать положительную работу для образования нового мира».<sup>27</sup>

Маркс не скрывал от себя трудностей и отлично знал о «всеобщей анархии» среди «реформаторов»: никто из них не имел точного представления о том, что следует предпринять. Но Маркс видел в этом даже преимущество «нового направления»: «...мы, — писал он, — не стремимся догматически предвосхитить будущее, а желаем только посредством критики старого мира найти новый мир. До сих пор философы имели в своем письменном столе разрешение всех загадок, и глупому непосвященному миру оставалось только раскрыть рот, чтобы ловить жареных рябчиков абсолютной науки». Теперь философское сознание само втянуто в водоворот внешней и внутренней борьбы. Поэтому, отвергая «конструкции будущего», Маркс видит свою задачу в беспощадной критике существующего общественного строя. Он желает не водружать какое-либо догматическое знамя, а разъяснять догматикам смысл их же собственных положений.<sup>28</sup>

В частности, Маркс считает догматической абстракцией именно коммунизм, который проповедует Кабэ, Дезами, Вейтлинг и др. Этот коммунизм есть, с одной стороны, своеобразное проявление гуманистического принципа, а с другой — только особое, одностороннее осуществление принципа социалистического. Да и последний тоже представляет собой лишь одну сторону реального бытия. Необходимо позаботиться также о другой стороне, «теоретическом существовании человека», т. е. подвергнуть критике религию, науку и т. д. Кроме того, нужно действовать на современников и, в частности, на немцев. В нынешней же Германии наибольший интерес возбуждают религия и наука. Именно из них и надо исходить, а не противопоставлять им какую-нибудь систему, вроде «Путешествия в Икарию».<sup>29</sup>

Маркс осуждает тех социалистов, которые воздерживались от обсуждения политических вопросов. Из противоречия между идеальным назначением государства и его реальными предпосылками всегда можно извлечь социальную истину. Ничто не мешает нам связать и отождествить свою критику с критикой политики, с партийной позицией в политике, а стало быть, с действительной борьбой. В таком случае мы не выступаем доктринеры перед миром с новым принципом: вот истина! здесь преклони колена! Мы развиваем для мира из его же принципозовые принципы. Мы не говорим ему: брось свою борьбу, она глупость; мы крикнем тебе истинный пароль борьбы. Мы только показываем миру, почему он собственно борется, а сознание — такая вещь, которую он должен усвоить себе, если даже не хочет. Вся наша задача может состоять исключительно в том, чтобы придать религиозным и политическим вопросам вполне сознательную человеческую форму, как и обстоит дело у Фейербаха с критикой религии.<sup>30</sup>

Переписка, относящаяся к тому времени, когда Маркс еще находился в пределах Германии, показывает очень многое. В первых, он уже примкнул к материалистическому знамени Фейербаха, порвав с идеалистической философией Гегеля. Во вторых, он подметил слабости брукбергского философа и, в частности, не достаточное внимание к политике. В третьих, он начал гораздо более решительную борьбу за «живых, действительных» людей, усмотрев их связь с историей и общественными отношениями. В четвертых, именно в этом смысле Маркс понимает «беспощадную» критику существующего общественного строя, а потому восстает против догматизма во всех его формах. Наконец, в пятых, восставая против догматизма, он так же критически относится к тогдашнему коммунизму и социализму: первый он считает «догматической абстракцией», а второй — односторонним выражением «реального бытия».

Независимо от Маркса в том же направлении совершалось умственное развитие Энгельса. К сожалению, мы не можем установить с полной точностью, когда же именно он познакомился с

«Тезисами» Фейербаха. Однако, как показывают статьи «Немецко-французских ежегодников», он проштудировал новую работу Фейербаха не позднее осени 1843 г. «Тезисы», несомненно, произвели на него глубокое впечатление: подобно Марксу, он тоже начал борьбу за живого, действительного человека. В этом отношении ему очень много помогли проявления ожесточенной классовой борьбы в Англии, а также непосредственные сношения с чартистами, оуэнистами и коммунистами. Помимо основательного знакомства с их теориями, Энгельс приступил к глубокому изучению английской истории и политической экономии. Работы его в «Немецко-французских ежегодниках» сохранили явные следы всех этих влияний.

В статье «Положение Англии» он рисует мрачную картину, изображающую духовное обнищание английской аристократии и буржуазии. Так называемые «образованные» англичане казались Энгельсу «презреннейшими рабами»: англичанин пресмыкается перед общественным предрассудком и каждодневно приносит себя ему в жертву; чем он либеральнее, тем покорнее повергается в прах перед этих кумиром. Скажите, саркастически замечает Энгельс, образованному англичанину, что вы чартист или демократ, он усомнится, в здравом ли вы уме, и начнет избегать вашего общества; заявите ему, что не верите в божественность Христа, — вы будете преданы и проданы; признайтесь откровенно, что вы атеист, — на следующий же день вас перестанут узнавать. Словом, высшие классы Англии глухи ко всякому прогрессу, и лишь под натиском рабочего класса они несколько приходят в движение.<sup>31</sup>

Из двух английских партий Энгельс был готов отдать предпочтение ториям, ибо находил у них менее пристрастный взгляд на вещи. Последнее можно объяснить общественными условиями. Промышленность — центр английского общества — находилась в руках вигов и обогащала их; виги считали развитие ее единственной целью законодательства, потому что она дала им богатство и власть. Напротив, тории, чье могущество было уничтожено, а принципы поколеблены промышленностью, считали ее в лучшем случае неизбежным злом. Именно вследствие этого некоторые филантропически настроенные тории во главе с лордом Эшли, Феррандом, Уолтером, Остлером и др. вменили себе в обязанность защищать интересы рабочих против фабрикантов. Томас Карлейль, выпустивший памфлет «Прошлое и настоящее», по мнению Энгельса, тоже был торием и до сих пор стоит к их партии ближе, чем к вигам. Во всяком случае виг не мог бы написать книгу, которая хоть наполовину была бы так гуманна, как «Прошлое и настоящее». Эта книга, по мнению Энгельса, является единственной, которая затрагивает человеческие струны, изображает человеческие отношения и несет на себе отпечаток человеческого образа мыслей.<sup>32</sup>

Памфлет действительно написан за семь-восемь недель как

бы в одном порыве вдохновенья. Карлейль сурово осуждает настоящее, ибо оно должно вызвать чувство жгучего стыда у всякого честного и искреннего человека. Каково положение современной Англии? — задает вопрос Карлейль. Тунеядствующая земельная аристократия, не умеющая сидеть смиренно и по крайней мере воздерживающаяся от зла; «работающая аристократия», погрязшая в служении Маммоне и являющаяся не руководителем труда, а бандой промышленных пиратов; парламент, избираемый путем сплошного подкупа; философия жизни, состоящая в праздности и пассивном созерцании; истасканная, мелочная и гниющая религия; всеобщее отчаяние в истине и человечестве; распад общества на отдельные враждебные атомы и война всех против всех; несоразмерно многочисленный рабочий класс, живущий под невыносимым гнетом и в нищете, пребывающий в состоянии дикого недовольства и мятежа против старого социального строя; отсюда неудержимо наступающая, грозная и всеразрушающая демократия; всюду хаос, беспорядок, анархия, разложение старых общественных связей; всюду духовная пустота, безнадежность и упадок сил.

Карлейль признает, что не располагает «моррисоновыми пилюлями» для врачевания социальных язв. Не располагая моррисоновыми пилюлями, Карлейль умел, однако, бичевать общественное зло с огромной силой. Именно благодаря этому Энгельс мог противостоять искушению и не привести самые лучшие места из «Прошлого и настоящего». Ими преимущественно оказываются те части книги, где резкими мазками рисуется белственное положение пролетариата или доказывается вопиющая безнравственность буржуазного строя.

Уже в 30-х годах Карлейль сумел сквозь политическую борьбу партий, сквозь богатство, блеск и мишуру буржуазной культуры разглядеть ее внутреннее противоречие. В своем «Заштопанном портном» (1831 г.) он противопоставлял господствующие и эксплуатируемые классы как две религиозные секты — с одной стороны, «щеголей», или «денди», с другой — «тружеников», «белых негров», «нищих оборванцев» и т. п. Первые строго охраняют свою сектантскую обособленность, проповедуют первобытную религию «самопоклонения», отличаются особыми одеждами, говорят на особом языке и вообще всеми мерами стараются поддержать свой чисто «назарейский» образ жизни; у них есть свои храмы, в которых поклонение совершается преимущественно по ночам, свои обряды, сохраняемые в строжайшей тайне, свои священные книги, именуемые «модными романами», свой символ веры, предписывающий формы фраков, воротничков, белых жилетов и панталон. Вторые связаны монашескими обетами бедности и послушания, постоянно роются в земле и любовно обрабатывают ее лоно, одеваются в лохмотья, подобно друидам обитают в темных лачугах, стекла которых разбиты и заткнуты тряпками или «иными непрозрачными субстанциями»; они пи-

таются корнем — картофелем, приготовляемым прямо на огне и обычно съедаемым без всякой приправы, а жажду утоляют водкой, джином или виски.<sup>33</sup>

Устами профессора Диогена Тейфельсдрека Карлейль пред-рекал, что взаимные отношения обеих сект чреваты раздорами и ненавистью. Принципы этих сект — самообожание щеголей и поклонение тружеников земле — глубоко коренятся в самом строе общества и рано или поздно приведут к жестокому столкновению. Секты щеголей и тружеников можно сравнить с двумя чудовищными электрическими машинами, батареи которых заряжены противоположным электричеством: одна — положительным, или деньгами, другая — отрицательным, или голодом. До сих пор замечались только слабые искры и глухое потрескивание. Но погодите немного, пока не наэлектризуется все общество. Когда обе мировых батареи будут заряжены окончательно, какой-нибудь ребенок вызовет их на контакт простым движением пальца и тогда... Что тогда?<sup>34</sup>

Когда грянул гром чартизма, Карлейль снова возбудил вопрос о безотрадном положении Англии. Вопреки широко распространенному мнению, писатель указывал, что чартизм — не химера: он означает недовольство английских рабочих, дошедшее до «неистовства» и «безумия», а стало быть, их невыносимое положение и мятежное настроение. Это новое название для той вещи, которая носила много имен и еще впредь будет иметь их немало. Чартизм — важнейший, закоренелый, широко разветвленный вопрос; он возник не вчера, а кончится не сегодня и не завтра. Вызванная им борьба разделяет общество на высших и низших в целой Европе, а более значительно и болезненно, чем где-либо, — в Англии.<sup>35</sup> Своими бедствиями она обязана преимущественно господству денежных отношений, «торжеству денег», при котором уплата наличными, по мнению Карлейля, стала единственной связью человека с человеком. Именно господство денег вызывает из-под земли мрачные немые миллионы рабочих, запачканных пылью и потом, подавленных темнотой, бешенством и заботами. Эти миллионы рабочих могут вызвать лишь опустошительное общественное землетрясение.<sup>36</sup>

Критика Карлейля красноречива и нередко превращается в язвительную сатиру, достойную Свифта или Рабле. Но он не революционер и даже не реформатор, а только моральный проповедник, желающий «глаголом жечь сердца людей». Бичуя господствующие классы за их развращенность и равнодушие, забвение социальных обязанностей, маммонизм, или погоню за наживой, он проповедует покаяние, но вовсе не стремится ни к уничтожению буржуазных имущественных отношений, ни к реформе капиталистического общества. Капиталисты остаются предпринимателями, а рабочие — пролетариями. Но первые, с точки зрения Карлейля, не могут быть просто пожирателями прибыли; отказавшись от индивидуализма и эгоизма, они должны стать

годлинными руководителями, вождами или «капитанами промышленности» («captains of industry»), выполнять свои социальные обязанности и гуманно относиться к рабочим. С другой стороны, и последние не могут быть простыми получателями заработной платы; здоровые, сильные и довольные, они должны быть заинтересованы в предприятии. Словом, каждый должен чувствовать себя органом общества и работать для общего блага: капиталисты — управлять и руководить, рабочие — повиноваться и быть руководимыми.<sup>37</sup>

Общие воззрения Карлейля объясняют и его своеобразное отношение к революционным течениям. Этот «Исайя XIX века», как выражается один биограф, искренно сочувствовал страданиям пролетариата, но стремился уничтожить нищету преимущественно потому, что она порождает мятежные стремления. Идеал Карлейля — здоровые, довольные, послушные и, так сказать, несовершеннолетние рабочие, которыми легко руководить. Гордые же, бунтующие и революционные пролетарии внушают ему страх, смешанный с уважением. В отличие от аристократа или буржуа, дрожащих за свой покой, свои привилегии и наслаждения, он вовсе не хочет искоренять те революционные партии, которые ставят задачей ниспровержение существующего общественного строя. Напротив, Карлейль относится к ним с таким же глубоким почтением, с каким благочестивый монах некогда взирал на Аттилу: они бич истории или карающий перст божий, указующий господствующим классам на их общественную обязанность — не тунеядствовать или поклоняться Маммоне, а быть энергичными правителями и неустанно работать на благо общества. Но сами по себе революционные партии и мятежные массы не могут укрывать общественных язв: они лишь кара божия, поразившая греховный мир; общество исправится и возродится, лишь полностью претерпев эту кару.<sup>38</sup>

Карлейль — талантливый писатель. В частности, его памфлет «Прошлое и настоящее» даже теперь читается с волнением. Немудрено, что пламенное воодушевление автора, его гневные нападки на господствующие классы и сочувствие страданиям пролетариата, его исключительно своеобразный слог, сильные, яркие образы и неожиданные обороты — все это поразило воображение Энгельса. Но между ним и Карлейлем лежала глубокая, непроходимая пропасть. Тем удивительнее замечание Густава Майера: «Прекрасным очерком „Положение Англии“ мы обязаны потребности Энгельса уяснить самому себе то, что было у него общего с Карлейлем и что отделяло его от последнего».<sup>39</sup> Подобное мнение решительно ни на чем не основано.

Прежде всего Карлейль не умел хоть сколько-нибудь понять требования, задачи и историческую миссию пролетариата. При первом подъеме чартизма он упорно твердил о «немых миллионах рабочих» и в лучшем случае отождествлял их громкий протест с криками боли и бешенства, выпускаемыми животными.



Напротив, Энгельс видел в нищете не только нищету, но и ее революционную сторону. Карлейль не ждал от рабочих ничего хорошего. Вопреки ему Энгельс выразительно писал: «Лишь неизвестная континенту часть английской нации, лишь рабочие, парии Англии, бедняки действительно достойны уважения, несмотря на всю их грубость и на всю их деморализацию. От них-то и придет спасение Англии; они представляют собой еще пригодный для творчества материал; у них нет образования, но нет и предрассудков, у них есть еще силы для великого национального дела, у них есть еще будущее».<sup>40</sup>

Энгельс сочувственно относится к сарказмам Карлейля по адресу буржуазного общества. Согласен он также с тем, что не может быть «моррисоновых пилюль» или какой-то панацеи от социального зла. Но этим и кончается его согласие с «Исайей XIX века». В отличие от него, Энгельс, подобно Марксу, выступает в защиту «изучения» и против «готовых результатов», т. е. догматизма: «Всякая социальная философия, — пишет он, — пока она еще провозглашает какие-нибудь два-три положения своим конечным выводом, пока она прописывает моррисоновы пилюли, еще очень далека от совершенства; не голые выводы, а, наоборот, *изучение* — вот что нам больше всего нужно: выводы — ничто без того развития, которое к ним привело, — это мы знаем уже со времен Гегеля, — и выводы более чем бесполезны, если они превращаются в нечто самодовлеющее, если они не становятся снова посылками для дальнейшего развития».<sup>41</sup>

У Карлейля же имелись моррисоновы пилюли собственного изделия. Иногда он заявлял, что все бесполезно, пока человечество погрязает в атеизме и вновь не обрело своей «души». Он называл атеизмом неверие не столько в личного бога, сколько в разум и бесконечность вселенной; он вел борьбу не против неверия в откровения библии, а против самого «страшного» неверия — неверия в «библию всемирной истории». Эта библия — вечная книга божия; всякий, в ком не угасла душа, может там прочитать начертания перста божьего. Осмеивать ее — величайшее неверие; виновные в подобном преступлении подвергнутся каре не мечом и кострами, а решительным приказом молчать, если не имеют сказать чего-либо лучшего.<sup>42</sup>

Но, продолжал Карлейль, наш век далеко не так забыт богом. За диссонансами так называемой «литературы» Карлейль уже слышал новые мелодии сфер. Он был уверен, что уже явился пророк «религии будущего» Гете и создается ее культ — труд. На труде лежит печать вечного благородства и даже святости. Всякая истинная работа священна: вычисления Коперника и размышления Ньютона, все науки и поэтические поэмы, все подвиги геройства и мученичества, и та «смертная борьба до кровавого пота», которую все прозвали божественной. Если уже это не культ, тогда к черту всякий культ! В мире есть лишь одно чудовище — лентяй. Ведь его религия сводится к тому, что

природа — фантом, бог — ложь, а человек и его жизнь — тоже ложь.<sup>43</sup>

Но в современных условиях, с точки зрения Карлейля, даже труд вовлечен в дикий водоворот хаоса. Это обстоятельство ставит в порядок дня главный вопрос — о будущности труда. До сих пор все интересы людей, все общественные учреждения на известной ступени развития нуждались в организации; а теперь ее требует величайший из всех человеческих интересов — труд. Чтобы осуществить эту организацию и вместо ложного руководства трудящимися добиться настоящего, Карлейль жаждал «кистинной аристократии» и настаивал на «культе героев». Поэтому он выдвинул задачу — найти «лучших людей», под руководством которых можно соединить неизбежную демократию с необходимым суверенитетом.<sup>44</sup>

Конечно, Энгельсу подобные воззрения совершенно чужды. Он объясняет мировоззрение Карлейля двумя истоками — английским скептицизмом и гуманистической философией Гете. Англичане знают не пантеизм, а только скептицизм. Но в отличие от практических и скептических англичан, Карлейль — приверженец того пантеизма, который ведет свое происхождение от немецкой литературы. Как все пантеисты, он еще не преодолел противоречий; его дуализм тем хуже, что, зная немецкую литературу, он не знаком с ее необходимым дополнением — современной немецкой философией. Поэтому-то, заключает Энгельс, все его воззрения непосредственны, больше в духе Шеллинга, чем Гегеля. С молодым Шеллингом у него действительно много точек соприкосновения. Словом, пантеизм Карлейля — последняя форма религии, но все еще религии.

Против воззрений Карлейля Энгельс выдвигает возражения, почерпнутые у Бруно Бауэра и преимущественно Фейербаха, на «Тезисы» которого прямо ссылается. Обращая внимание, что сетования Карлейля на суетность и пустоту века или внутреннее загнивание всех социальных учреждений справедливы, Энгельс замечает, что одних сетований мало: чтобы устранить зло, надо вскрыть его причины. Если бы Карлейль сделал это, он убедился бы, что разложение, «бездушие», пустота, неверие и «атеизм» современного общества коренятся в самой религии. Именно она, утверждает Энгельс вслед за Фейербахом, лишает природу и человека всякого содержания; именно она переносит это содержание на фантом потустороннего бога, который затем из милости возвращает людям и природе кое-что от своего избытка. Эта пустота, бессодержательность и сомнение в вечных фактах вселенной будут продолжаться, пока человечество не увидит, что существо, которому оно поклонялось, как богу, есть его собственная сущность... Впрочем, прерывает себя Энгельс, зачем мне переписывать Фейербаха?<sup>45</sup>

Карлейль обвинял свой век в лицемерии и лжи. «Мы, — возражает Энгельс, — тоже нападаем на лицемерие современного

христианского миропорядка... Это лицемерие мы также относим за счет религии, первое слово которой есть ложь, — разве религия не начинается с того, что, показав нам нечто человеческое, выдает его за нечто сверхчеловеческое, божественное? Но так как мы знаем, что вся эта ложь и безнравственность проистекает из религии, что религиозное лицемерие, теология являются прототипом всякой другой лжи и лицемерия, то мы вправе распространить название теологии на всю неправду и лицемерие нашего времени, как это впервые сделали Фейербах и Б. Бауэр. Пусть Карлейль прочтет их сочинения, если он желает знать, откуда проистекает безнравственность, отравляющая все наши отношения».<sup>46</sup>

Все возможности религии исчерпаны. Нельзя основать и такую религию, как пантеистический культ героев или культ труда. После христианства как абсолютной и абстрактной религии немислима никакая другая. Невозможен и пантеизм, который сам является только выводом из христианства; даже современный пантеизм, включая и самого Карлейля, неотделим от христианства как своей предпосылки. Опять-таки Фейербах избавляет Энгельса от необходимости доказывать все это.

Он соглашается с Карлейлем, что нужно вести беспощадную борьбу с несамостоятельностью, внутренней пустотой, духовной смертью и лживостью своего времени. В частности, он хочет уничтожить и атеизм в том виде, как его изображает Карлейль, но иначе, чем последний: он желает вернуть человеку содержание, которое тот утратил из-за религии, — не божественное, а человеческое содержание; этот возврат состоит просто в пробуждении самосознания. Претензия человеческого и естественного быть сверхчеловеческим, сверхъестественным есть корень всякой неправды и лжи. «Поэтому-то, — продолжает Энгельс, — мы раз и навсегда объявили войну также религии и религиозным представлениям и мало беспокоимся о том, назовут ли нас атеистами или как-нибудь иначе».<sup>47</sup>

Подобно Марксу, Энгельс, в отличие от Фейербаха, приписывает особенно большое значение истории и упрекает христианских богословов в пренебрежении к ней.

Их отношению к истории Энгельс противопоставляет свое собственное: «Мы требуем, чтобы истории было возвращено ее содержание, но в истории мы видим откровение не „бога“, а человека, и только человека». Для того чтобы видеть величие человеческого существа, чтобы понять развитие человеческого рода в истории, его неудержимый прогресс, его всегда обеспеченную победу над неразумием индивида, его суровую, но успешную борьбу с природой, а затем конечное достижение свободного, человеческого самосознания, уразумение единства человека с природой и свободное, самостоятельное созидание нового мира, основанного на чисто человеческих жизненных отношениях, нет необходимости обращаться к богу. Чтобы понять историю, нет нужды призывать

сначала абстракцию какого-то «бога», а затем приписывать ей все прекрасное, великое, возвышенное и истинно человеческое — таково мнение Энгельса.<sup>48</sup>

Безбожие нашего времени, о котором так скорбит Карлейль, подчеркивает Энгельс, заключается в его преисполненности богом. Именно поэтому до сих пор вопрос всегда гласил: «что такое бог?» Немецкая философия дала на него ответ: бог — это человек. Человеку стоит только познать самого себя, взять мерилom всех жизненных отношений самого себя, судить о них сообразно своей сущности, устроить мир истинно по-человечески, согласно требованиям своей природы, — тогда он разрешит загадку нашего времени. Истину можно найти не в потусторонних областях, не вне времени и пространства, не в «боге», имманентном или противоположном миру, а гораздо ближе — в собственной груди человека. Собственная сущность человека гораздо величественнее и возвышеннее, чем мнимая сущность всевозможных «богов», представляющих ведь только более или менее неясное и искаженное отражение самого человека.

Подобно Марксу, Энгельс восстает против абстракции человека и борется за живых, действительных людей. Поэтому он утверждает, что история, которую Карлейль изображает в виде какого-то «откровения», состоит из чисто человеческих элементов: человеческое содержание истории можно лишь путем насилия отнять у нее и отнести за счет какого-то «бога». Труд, или свободная деятельность, в которой Карлейль видит «культ», есть опять-таки чисто человеческое дело и может быть поставлена в связь с богом тоже лишь путем натяжки.

Занимая откровенно атеистическую позицию, Энгельс безжалостно обнажает связь между религиозными воззрениями Карлейля и «внешней», «национально-политической стороной» его философии. По замечанию Энгельса, Карлейль настолько религиозен, что остается в состоянии несвободы, ибо кроме человека признает нечто высшее. Именно этим Энгельс объясняет стремление Карлейля к «истинной аристократии» и «героям», словно, иронизирует он, эти герои в лучшем случае могли бы быть больше, чем людьми. Если бы Карлейль «постиг человека как человека, во всей его бесконечности, то не пришел бы к мысли снова делить человечество на два скопища — овец и козлиц, правящих и управляемых, аристократов и чернь, господ и простаков; тогда он нашел бы истинное социальное призвание таланта не в том, чтобы насильственно управлять, а в том, чтобы побуждать других и идти впереди них. Талант должен убедить массу в истинности своих идей, и тогда ему больше не придется беспокоиться об их осуществлении, которое совершенно само собой последует за их усвоением».<sup>49</sup>

Еще менее, разумеется, Энгельс согласен с практическими предложениями английского писателя. Карлейль прав, называя демократизм переходной ступенью; однако, вопреки его ожида-

ниям, это переход не к новой, улучшенной аристократии, а к действительной человеческой свободе, подчеркивает Энгельс; точно так же неверие нашего времени, по мнению Энгельса, в конце концов приведет к полному освобождению от всего религиозного, сверхчеловеческого и сверхъестественного, а не к его возрождению. Карлейль понимал недостатки конкуренции, спроса и предложения, «маммонизма» и т. п.; он даже менее всего был склонен признавать абсолютную справедливость земельной собственности.<sup>50</sup> Но, спрашивает Энгельс, почему же он из всех этих предпосылок не сделал простого заключения и не отверг частной собственности вообще? Как он думает уничтожить «спрос и предложение», «конкуренцию», «служение Маммоне» и т. д., раз остается их корень — частная собственность? Очевидно, под влиянием Сен-Симона Карлейль рекомендовал «организацию труда». Но и она, как замечает Энгельс, не поможет: «без известного тождества интересов» ее самое нельзя осуществить.

Особое внимание Энгельс уделяет одному обстоятельству: во всех своих рапсодиях Карлейль ни словом не упоминает об английских социалистах. Это на первый взгляд странное обстоятельство по существу и даже характерно; оставаясь на теоретически-абстрактной точке зрения, Карлейль и не мог принять особенно близко к сердцу стремление социалистов: ведь английские социалисты были чистыми практиками. Их философия — чисто английская, скептическая; они утратили веру в теорию, а на практике придерживаются материализма, на котором основана вся их социальная система. Они односторонни, но односторонен и Карлейль. Оба преодолели противоречие только в пределах самого противоречия: социалисты — в пределах практики, Карлейль — в пределах теории. Да и в этой области он преодолел противоречия лишь посредственно; социалисты же путем мышления решительно избавились от практических противоречий.

Как видно, между Карлейлем и Энгельсом действительно залегла такая глубокая пропасть, что, вопреки мнению Г. Майера, ему не было никакой надобности «уяснить самому себе», что «отделяло» его от знаменитого писателя. Но и от английских социалистов Энгельса отделял высокий барьер — немецкая классическая философия. Он сам хорошо сознавал это. Однако Энгельс придавал огромное значение социализму. Во всяком случае социалисты представляют собой, по глубокому убеждению Энгельса, единственную партию в Англии, имеющую будущее, как бы относительно слабы они ни были. Демократия, чартизм должны вскоре одержать верх, и тогда массе английских рабочих останется выбор между голодной смертью и социализмом.<sup>51</sup>

По поводу глубокой критики, которой Энгельс подвергает взгляды Карлейля, можно сделать кое-какие замечания. Так, он объясняет мировоззрение своего современника двумя истока-

ми — английским скептицизмом и гуманистической философией Гете. Но он ни словом не упоминает о третьем источнике — Сен-Симоне и его последователях. Правда, сен-симонистское учение об организации труда и роли «промышленного класса» преломилось в голове Карлейля крайне своеобразно и изменилось до неузнаваемости. Однако, как убедительно показал Мукле, зависимость Карлейля от сен-симонистов несомненна.

Четвертый источник его воззрений находился в недрах немецкой философии. Карлейль был более или менее знаком с Кантом, Фихте и Шеллингом. Замечая, что он «не знает» немецкой философии, Энгельс имел в виду Гегеля, младогегельянцев и главным образом Фейербаха. Автор «Прошлого и настоящего» действительно мало знал и еще менее понимал их.

Энгельс отмечал, что с Шеллингом, т. е. прежним Шеллингом, а не Шеллингом периода «откровения», у Карлейля действительно много точек соприкосновения. После работы Пауля Гензеля можно утверждать, что у Карлейля имелось действительно много общего, но не столько с молодым Шеллингом, как думал Энгельс, сколько с Иоганном Готлибом Фихте, как справедливо указывал Гензель. Однако к престарелому Шеллингу Энгельс питал не уважение, а непримиримую вражду, и откровенно глумился над его «Философией откровения». Напротив, Карлейля он признавал недюжинным талантом, относился к своему современнику не с насмешкой, а иногда лишь с легкой иронией, и даже возлагал кое-какие упования на его дальнейшее развитие в благоприятную сторону: ведь он находил у Карлейля «скрытые предпосылки», которые последовательным путем должны привести к фейербаховской точке зрения. Надежды Энгельса не оправдались. Чем революционнее развивалась история, тем реакционнее становился Карлейль, пока, наконец, после революции 1848 г. совсем не перешел в лагерь реакции.

Именно поэтому, вопреки мнению Меринга, Энгельс не мог ничему научиться у Карлейля. На самом деле он «учился», непосредственно наблюдая промышленное развитие и классовую борьбу в Англии, а также изучая теории чартистов, социалистов и коммунистов. Но ни они, ни проповедник покаяния не знали гегелевской диалектики. В совершенстве владея этим остро отточенным оружием, Энгельс по-своему превзошел и первых и второго. В частности, он с удивительной проницательностью подметил сильные и слабые стороны Карлейля: его статья — своего рода шедевр. В то же время он глубоко проник в сущность капиталистического способа производства и самостоятельно открыл источник его происхождения. Этому вопросу посвящена его вторая работа, также помещенная в «Немецко-французских ежегодниках» под заглавием «Наброски к критике политической экономии».

Прежде чем писать их, Энгельс тщательно изучил не только основные работы экономистов-классиков — Адама Смита, Рикар-

до, Мак-Келлоха, Джемса Милля, но и социалистов-рикардианцев; кроме того, он добросовестно познакомился и практически и по литературным источникам с положением рабочего класса в Англии. Погрузившись в море экономических проблем, он всего за несколько месяцев пришел к убеждению, что частная собственность разлагает все старые общественные отношения и обрекает неимущих на нищету, унижение, рабство. Однако, в отличие от Карлейля, он понял, что развитие частной собственности ведет к величайшему перевороту нашей эпохи — «примирению человека с природой и самим собой». Буржуазная политическая экономия этого не замечала. Поэтому Энгельс решил разоблачить ее, поставив перед судом диалектики.

В своих очерках и в статье «Наброски к критике политической экономии» он клеймит буржуазную политическую экономию и свободную торговлю за их лицемерие и безнравственность: это «развитая система дозволенного обмана», которая «носит на своем челе печать отвратительного своекорыстия». Правда, политическая экономия — шаг вперед в сравнении с периодом меркантилизма, когда нации стояли друг против друга, как скряги, из которых каждый обеими руками обнимал дорогой ему денежный мешок, поглядывая с завистью и подозрительностью на своих соседей. Но и политическая экономия и сама экономическая революция погрязли в таких же противоречиях, какие раздирали все политические революции XVIII в. Последние противопоставляли абстрактному спиритуализму абстрактный же материализм, монархии — республику, божественному праву — общественный договор. Экономической революции не удалось выйти за пределы этого противоречия, потому что повсеместно остались те же предпосылки и прежде всего частная собственность.

Политической экономии даже не приходило в голову поставить вопрос о раскрытии сути частной собственности. Поэтому она была лишь наполовину шагом вперед. Чтобы скрыть свои внутренние противоречия, она вынуждена отрекаться от собственных предпосылок, прибегать к помощи софистики, лицемерия и вопреки себе самой приходить к выводам, к которым ее толкал гуманный дух века. «Новая политическая экономия, система свободы торговли, основанная на „Богатстве народов“ Адама Смита, оказалась тем же лицемерием, непоследовательностью и безнравственностью, которые во всех областях противостоят теперь свободной человечности».<sup>52</sup>

Тем не менее Энгельс справедливо признает учение Смита прогрессом. Это учение ниспровергло меркантильную систему с ее монополиями и стеснениями торговых сношений и содействовало этим самым обнаружению истинных последствий частной собственности.

Но новая политическая экономия неспособна правильно оценить даже систему меркантилизма, потому что сама носит односторонний характер и разделяет ее же предпосылки. В действи-

тельности защитники свободы торговли — еще худшие монополисты, чем даже прежние меркантилисты. Только точка зрения, возвышающаяся над противоположностью обеих систем, критикующая общие им предпосылки и исходящая из чисто человеческой, всеобщей основы, может обеим указать надлежащее место.

Единственное положительное завоевание либеральной экономики состоит в том, что она разработала законы частной собственности. Поэтому во всех узкоэкономических спорах, где речь идет о кратчайшем пути к обогащению, правы защитники свободы торговли. Разумеется, они правы в спорах только с меркантилистами, а не с противниками частной собственности: последние умеют судить об экономических вопросах более правильно даже с чисто экономической точки зрения, как практически и теоретически давно доказали английские социалисты.<sup>53</sup>

Изложенную общую точку зрения Энгельс кладет в основу исследования отдельных экономических категорий: богатства, торговли, стоимости, цены, труда, капитала, поземельной ренты, конкуренции и т. д. Вскрывая их непримиримые противоречия, он, в отличие от Прудона, вовсе не считает экономические категории такими предпосылками, на основании которых можно оспаривать экономистов. Правда, Прудон довольно решительно критиковал капиталистическую форму частной собственности; но при этом он исходил из понятий самой же буржуазной политической экономии, за пределы которой никогда не выходил. Он даже энергично защищал частную собственность от нападков со стороны коммунистов. Энгельс, напротив, доказывает, что экономические категории сами являются всего лишь логическими проявлениями частной собственности. Таким путем он с удивительной дальновидностью отвергает прудоновское понимание вопроса с ограничено буржуазной точки зрения и сводит его ко «всеобщей, чисто человеческой основе».

Прежде всего Энгельс вскрывает противоречия в области торговли. При этом он опирается, с одной стороны, на учение Фурье, а с другой — на личные наблюдения. Господство частной собственности, думает он, дозволяет путем торговли извлекать возможно большую выгоду из неосведомленности или доверчивости противной стороны, а также расхваливать в товаре такие качества, каких он совсем не имеет. Иными словами, торговля — законный обман. Меркантилизм еще отличался наивной католической прямоотой и открыто обнаруживал свою низменную алчность. Но когда появился «экономический Лютер» — Адам Смит, положение вещей сильно изменилось: век стал гуманным, и католическая прямоота уступила место протестантскому лицемерию. Смит начал доказывать, что гуманность заложена в самой сущности торговли: ведь по природе вещей она в общем выгодна всем участникам. Разве мы, кричат поклонники свободной торговли, не низвергли варварство монополий, разве мы не по-



несли цивилизацию в отдельные части света, разве мы не побратали народов и не уменьшили войн? — «Да, все это вы сделали, — негодуяще отвечает Энгельс, — но как вы это сделали! Вы уничтожили мелкие монополии, чтобы тем свободнее и безграничнее развивалась одна большая основная монополия — собственность; вы принесли цивилизацию во все концы света, чтобы приобрести новую территорию для развития вашей неизменной алчности; вы побратали народы, но братством воров, и уменьшили число войн, чтобы тем больше наживаться в мирное время, чтобы обострить до крайности вражду отдельных лиц, бесчестную войну конкуренции!»<sup>54</sup>

По мнению Энгельса, с торговлей ближе всего связана категория стоимости. Экономисты, живущие противоречиями, отличают абстрактную, или реальную, стоимость от меновой. О сущности абстрактной стоимости долго шел спор между англичанами и французом Сэем: первые — особенно Рикардо и Мак-Келлох — утверждали, что абстрактная стоимость определяется издержками производства; второй предлагал измерять ее полезностью вещей. Но оба определения неправильны, потому что оставляют в стороне условия конкуренции, т. е. допускают торговлю без конкуренции, абстрактную торговлю, своего рода человека без тела, мысль без производящего ее мозга. Но экономистам не приходит в голову простая вещь: раз конкуренция оставляется в стороне, нет гарантий, что производителю удастся продать свой товар именно по издержкам производства. Стало быть, определение реальной стоимости издержками производства оказывается абстракцией или просто небывлицей.

Борясь по примеру Фейербаха с абстракциями, Энгельс полагает, что «стоимость вещи включает в себя оба фактора, насильственно и, как мы видели, безуспешно разъединяемые спорящими сторонами. Стоимость есть отношение издержек производства к полезности».<sup>55</sup>

Не меньшую путаницу он видит в рассуждениях экономистов об отношении стоимости к цене. Он согласен, что цена определяется взаимодействием между издержками производства и конкуренцией. Это главный закон частной собственности, первый чисто эмпирический закон, найденный экономистами. Отсюда-то они и абстрагировали свою реальную стоимость, т. е. цену, допустив, что условия конкуренции сбалансированы или что спрос и предложение взаимно покрываются. При таком предположении остаются, разумеется, лишь издержки производства. Их-то экономисты и называют реальной стоимостью, а на самом деле она является только точным выражением цены. Так в политической экономии все стоит на голове: стоимость, представляющая нечто первоначальное, или источник цены, ставится в зависимость именно от нее — своего собственного продукта. Но, как показал Фейербах, подобное выворачивание наизнанку и составляет сущность всякой абстракции.<sup>56</sup>

Не согласен Энгельс и с определениями земельной ренты. Одно из них окончательно установил Рикардо. По мнению Рикардо, рента представляет разницу между доходностью земельного участка, приносящего ренту, и наихудшего участка, подвергающегося обработке. В противоположность этому полковник Т. Перрен Томпсон вернулся к определению Адама Смита; по его учению, рента есть соотношение между конкуренцией лиц, добывающихся пользования участком, и ограниченным количеством свободной земли. Но оба определения односторонни и половинчаты; первое упускает из виду конкуренцию и происхождение ренты, которая уплачивается за захваченную, т. е. монополизированную, землю; второе исключает различное плодородие земельных участков. Как со стоимостью, так и здесь нужно соединить оба определения, чтобы получить правильное определение, соответствующее существу дела. Сам Энгельс предлагает определение: «Земельная рента есть соотношение между урожайностью земельного участка, природной стороной (которая в свою очередь состоит из *природных* свойств и *человеческой* обработки, труда, затраченного на его улучшение) — и человеческой стороной, конкуренцией».<sup>57</sup>

Итак, источник ренты таится в монопольной собственности на землю. Именно поэтому к землевладельцу Энгельс питает такую же непримиримую ненависть, как и к купцу. Землевладелец грабит, монополизируя землю. Он грабит, эксплуатируя рост населения. Он грабит, превращая в источник своей выгоды то, что создано не личными усилиями, а чисто случайно досталось ему. Он грабит, когда сдает землю в аренду и присваивает все мелиорации, сделанные арендатором. Такова тайна непрерывно растущего богатства крупных землевладельцев. Но превращать в предмет барышничества землю, которая является первым условием нашего существования, значит делать последний шаг к торговле самим собою.

Частная собственность расчленяет производство на две противоположных стороны — естественную и человеческую: на землю, которая мертва без оплодотворения человеком, и на деятельность самого человека, первым условием которой является именно земля. Собственность же разлагает человеческую деятельность на труд и капитал, ставя их во враждебные отношения друг к другу. Таким образом, возникает борьба между землей, капиталом и трудом. Но этого мало. Частная собственность вызывает внутреннее дробление каждого из них: каждый земельный участок, каждая рабочая сила противопоставляется всем остальным. Иными словами, землевладелец враждебно относится к землевладельцу, капиталист — к капиталисту, а рабочий — к рабочему. Вражда одинаковых интересов завершает безнравственное состояние, в котором и поныне пребывает человечество. Окончательное завершение этого состояния — конкуренция: «Она — главная категория экономиста, его любимейшая дочь,

которую он не перестает ласкать и голубить, — но посмотрите, что за лицо медузы открывается здесь». <sup>58</sup>

Противоположностью конкуренции является монополия. Монополия — лозунг меркантилистов. Конкуренция — боевой клич либеральной политической экономии. Но эта противоположность совершенно бессодержательна. Всякий конкурент, будь то рабочий, капиталист или землевладелец, естественно, желает монополии для себя, но не для других. Конкуренция покоится на интересе, а интерес снова порождает монополию; короче, конкуренция переходит в монополию. С другой стороны, монополия не может остановить поток конкуренции; она даже сама порождает конкуренцию подобно тому, как запрещение ввоза или высокие пошлины прямо порождают конкуренцию контрабанды.

По тонкому замечанию Энгельса, конкуренция заключает в себе такое же противоречие, как и частная собственность, а именно — противоречие между общим и личным интересом. В интересах отдельной личности — владеть всем, а в интересах общества — чтобы каждый владел наравне с другими. Стало быть, общий и индивидуальный интересы диаметрально противоположны. Таково же и противоречие конкуренции: каждый должен желать себе монополии; общество же терпит ущерб от монополии и потому стремится к ее усранению. Конкуренция сама по себе уже предполагает монополию, а именно монополию собственности. Поэтому, пока существует монополия собственности, до тех пор имеет оправдание и собственность на монополию: ведь предоставленная кому-либо монополия есть тоже собственность. Какую же жалкую половинчатость обнаруживают люди, нападающие на мелкие монополии и оставляющие в неприкосновенности основную — частную собственность. <sup>59</sup>

Закон конкуренции состоит в том, что спрос и предложение всегда стремятся совпасть и именно поэтому никогда не совпадают. Это «чисто естественный закон, а не закон духа». Это «закон, порождающий революцию». Экономист приходит со своей «прекрасной» теорией спроса и предложения, доказывая, что перепроизводства не может быть; практика же отвечает ему торговыми кризисами, которые возвращаются с такой же периодичностью, как кометы, и в среднем повторяются через каждые 5—7 лет. За последние 80 лет кризисы появляются так же правильно, как некогда большие эпидемии.

Конечно, подобные торговые революции полностью подтверждают закон спроса и предложения, но иначе, чем хотелось бы экономисту. Что следует думать о законе, который может осуществляться только путем периодических революций? Это и есть закон природы, покоящийся на бессознательности участников. Если бы производители как таковые знали, сколько нужно потребителям, если бы они организовали производство и распределили его между собой, то колебания конкуренции и ее наклона к кризису были бы невозможны. Начните производить со-

значительно, как люди, а не как рассеянные атомы, лишенные родового сознания, — и вы выйдете за пределы всех этих искусственных и несостоятельных противоречий. Но пока вы продолжаете производить нынешним, бессознательным, бессмысленным способом, предоставленным господству случая, до тех пор торговые кризисы останутся. И каждый последующий кризис должен быть универсальнее, а следовательно, хуже предыдущего; он должен доводить до нищеты все большее число всяких капиталистов и в возрастающей пропорции увеличивать численность класса, живущего исключительно трудом; он, стало быть, должен значительно увеличивать массу промышленных рабочих, эту главную проблему наших экономистов, и, наконец, все это должно вызвать такую социальную революцию, какая и не снится школьной мудрости экономистов.<sup>60</sup>

Борьба капитала с капиталом, труда с трудом, земли с землей доводит производство до лихорадочного состояния, при котором все естественные и разумные отношения ставятся на голову. Ни один капитал не может выдержать конкуренции другого, если не разовьет своей деятельности в наивысшей степени. Ни один земельный участок нельзя обработать с пользой, если его производительность не повышается постоянно. Ни один рабочий не в состоянии устоять против конкурентов, если не посвящает работе всех своих сил. Вообще всякий, кто вовлечен в борьбу конкуренции, не может ее выдержать без самого крайнего напряжения, без отречения от всех истинно человеческих целей.

В этом безумном состоянии, в положении этого воплощенного абсурда давно уже находится Англия. Если производство колеблется сильнее (что неизбежно при таком состоянии), тогда наступает смена процветания и кризиса, перепроизводства и застоя. Экономисты никогда не умели объяснить этого сумасшедшего положения. Для объяснения они придумали теорию народонаселения, такую же и даже еще более бессмысленную, нежели указанное противоречие — одновременное существование богатства и нищеты. Экономисты не смели видеть истину; они не смели признать, что это противоречие — простое следствие конкуренции; в таком случае вся система их была бы ниспровергнута.

Между тем ларчик просто открывается. Производительные силы, имеющиеся в распоряжении человечества, неизмеримы. В частности, производительность почвы можно до бесконечности повышать путем применения капитала, труда и знания. По вычислениям наиболее дельных экономистов и статистиков «перенаселенную» Англию можно в 10 лет довести до такого состояния, что она будет производить то количество хлеба, которое достаточно для населения, в шесть раз больше нынешнего. Капитал увеличивается изо дня в день, рабочая сила растет одновременно с населением, а наука все больше подчиняет человеку силы природы. Эта безграничная производительность, урегулиро-

ванная сознательно и в интересах всех, скоро уменьшила бы до минимума труд, выпадающий на долю человечества. Предоставленная же конкуренции, она делает то же самое, но противоречивым способом.

Часть земельной площади обрабатывается прекрасно, а другая — в Великобритании и Ирландии, например, 3 млн. акров хорошей земли — лежит втуне. Часть капитала обращается с невероятной быстротой, а другая покоится мертвой в сундуках. Часть рабочих трудится по 14—16 часов в день, а другая проводит время без дела и умирает с голоду. Бывает и иначе: сегодня торговля идет бойко, спрос очень значителен, все работают, капитал оборачивается удивительно быстро, земледелие процветает, рабочие трудятся до изнеможения — завтра наступает застой, земледелие не окупается, обширные земельные участки не обрабатываются, поток капитала застывает, рабочие не находят занятий, а вся страна изнемогает от избыточного богатства и избыточного населения.<sup>61</sup>

Подобное положение вещей экономисты не смеют признать нормальным. Чтобы согласовать неоспоримые факты с теорией, была придумана теория народонаселения. По утверждению ее родоначальника Мальтуса, население всегда оказывает давление на средства существования и растет в такой же степени, в какой увеличивается производство; но населению свойственна тенденция размножаться быстрее имеющихся в его распоряжении средств к жизни. По расчетам Мальтуса население растет в геометрической прогрессии — 1 : 2 : 4 : 8 : 16 : 32 и т. д., а производительность почвы в арифметической — 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6. Возникающая отсюда диспропорция — причина всей нищеты и всевозможных пороков. Так бывает при всех условиях — не только при цивилизации, но и в естественном состоянии: дикари Новой Зеландии, обитающие по одному на кв. милю, страдают от перенаселения так же сильно, как Англия.

Либеральные экономисты сделали отсюда отвратительные выводы. Для бедняков как самого многочисленного класса ничего не следует делать. Нужно лишь по возможности облегчить им смерть от голода. Надо убедить бедняков, что их единственное спасение — поменьше размножаться и иметь на семью не более двух с половиной детей. Дети свыше этого числа подлежат безболезненному умерщвлению в государственных учреждениях. Конечно, подача милостыни — преступление, потому что она содействует приросту избыточного населения; напротив, очень выгодно провозгласить преступлением бедность, а работные дома превратить в каторжные тюрьмы, как, впрочем, уже сделано в Англии новым «либеральным» законом о бедных.

По мнению Энгельса, в этом позорном, низменном учении, в этой отвратительной, кощунственной клевете на природу и человечество выступает наивысшая безнравственность экономистов. Что все войны и ужасы монополий в сравнении с подобной тео-

рией? А между тем она — краеугольный камень в либеральной системе свободной торговли: с падением его рухнет и все здание.

Но теория Мальтуса несостоятельна. Разве кем-нибудь доказано, что производительность почвы растет в арифметической прогрессии? Опровергая это голословное утверждение, Энгельс обращает внимание на успехи, которыми земледелие XIX в. обязано химии и в сущности только двум лицам — сэру Гемфри Дэви и Юстусу Либиху. А наука развивается по меньшей мере с такой же быстротой, как и население: наследуя от всех предшествующих поколений массу знаний, она развивается тоже в геометрической прогрессии. Вообще, что невозможно для науки? Смешно говорить о перенаселении, пока в одной только долине Миссисипи девственной почвы столько, что туда можно переселить все население Европы; об этом смешно говорить еще и потому, что до сих пор обрабатывается только треть земного шара, а продукцию этой трети можно увеличить в шесть и более раз путем известных уже ныне мелиораций.<sup>62</sup>

К аналогичным и крайне оригинальным выводам Энгельс приходит, исследуя вопрос, как конкуренция изменяет соотношение сил между трудом, капиталом и земельной собственностью. Прежде всего землевладение и капитал, взятые каждый в отдельности, сильнее труда: рабочий вынужден работать, чтобы жить; землевладелец же может жить своей рентой, а капиталист — на свои проценты или в крайнем случае на капитал. В результате этого труда остаются лишь крайне необходимые средства существования, а большая часть продуктов распределяется между капиталом и землевладением. Кроме того, слабейший рабочий вытесняется с рынка сильнейшим, меньший капитал — большим, мелкое землевладение — крупным. Практика подтверждает подобный вывод: общеизвестны преимущества, которыми располагает крупный капиталист или купец в сравнении с мелким, крупный землевладелец в сравнении с владельцем одного моргана.

Именно вследствие этого даже при обычных условиях крупный капитал и крупное землевладение по праву сильного поглощают мелкий капитал и мелкое землевладение, т. е. происходит централизация собственности. Во время же торговых и сельскохозяйственных кризисов централизация совершается несравненно быстрее. Вообще крупное землевладение растет быстрее мелкого, потому что из приносимого им дохода вычитается гораздо меньшая доля на траты собственника. Централизация имущества — такой же имманентный закон частной собственности, как и все другие ее законы: средние классы должны все больше исчезать, пока мир не разделится на миллионеров и пауперов, на крупных землевладельцев и бедных поденщиков.

В заключение Энгельс отмечает, что помимо всего прочего капитал и землевладение в борьбе против труда пользуются еще особым преимуществом — помощью науки. Почти все механиче-

ские изобретения были вызваны недостатком в рабочей силе; таковы особенно прядильные машины Харгривса, Кромптона и Аркрайта. Усиленный спрос на труд всегда давал толчок к изобретениям, которые значительно увеличивали его производительность, а потому уменьшали спрос на живой труд. История Англии с 1770 г. до наших дней непрерывно подтверждает эту мысль. Последнее крупное изобретение в бумагопрядении — сальфактор — было вызвано исключительно спросом на труд и ростом заработной платы. Сальфактор удвоил машинную работу и тем самым наполовину сократил ручной труд; он лишил занятый одну половину рабочих и тем понизил заработную плату другой; он разрушил последние остатки сил, благодаря которым труд еще выдерживал неравную борьбу против капитала.

В связи с этим Энгельс опровергает утверждение экономистов, будто в конечном результате машины выгодны для рабочих: машины, мол, удешевляют производство, а потому создают новый, более емкий рынок и таким образом снова дают занятия рабочим, оставшимся без дела. Да, но экономисты забывают, что производство рабочей силы регулируется конкуренцией и что рабочая сила всегда оказывает давление на средства занятости, что, следовательно, если бы указанные выгоды и наступили, они оказались бы призрачными, потому что избыток конкурентов снова ждал бы работы; напротив, совсем не призрачен явный ущерб — внезапное лишение средств к жизни у одной половины рабочих и падение заработной платы у другой. Далее, экономисты забывают, что прогресс изобретений никогда не прекращается, а потому этот ущерб увеличивается. Наконец, они упускают из виду, что бесконечно возросшее разделение труда почти всегда ставит взрослому рабочему непреодолимые трудности для перехода от одной работы к другой, от прежней машины к новой.<sup>63</sup>

В своих «Набросках» Энгельс подвергает экономические явления прежде всего этической оценке: торговля — это «законный обман»; сами торговцы — лицемеры, злоупотребляющие нравственностью с безнравственными целями; капиталисты превратили человечество в «братство воров» или стадо хищных зверей; землевладельцы — грабители и барышники; конкуренция с ее лицом медузы порождает «отречение от всех истинно человеческих целей», глубокую деградацию и взаимное порабощение людей. С этической же точки зрения Энгельс упрекает экономистов, софистически замазывающих подобное «безнравственное состояние», в протестантском лицемерии, двуязычии, бесчестности и прочих пороках. В частности, он объявляет Адама Смита «экономическим Лютером», а мальтусовскую теорию народонаселения — «позорным, низменным учением», «отвратительной, кощунственной клеветой на природу и человечество», «системой отчаяния, втопавшей в грязь все прекрасные речи о любви к людям и всемирном гражданстве».

Осуждая «воплощенный абсурд» капиталистического общества, Энгельс под некоторым влиянием Фейербаха противопоставляет существующей безнравственности новые этические принципы: он хотел бы, чтобы экономическая наука стала «общечеловеческой областью» и исходила из «чисто человеческой, всеобщей основы». Почему? Безнравственность жизни, думает Энгельс, порождает противоречия в теориях, ее оправдывающих или затушевывающих. Именно таковы теории экономистов. Наш критик остроумно, метко и проницательно открывает их внутренние противоречия. Однако его возражения против Адама Смита и Рикардо очень отрывочны, эскизны и, разумеется, далеко не исчерпывают вопроса. Одни из них не новы, так как были уже выдвинуты французскими, английскими и, в частности, рикарданскими социалистами. Другие неясны и объясняются недостаточно глубоким знанием предмета. Третьи, наконец, просто неверны. С юношеским задором Энгельс пытается разрешить замеченные им противоречия, но далеко не всегда достигает цели.

Так, например, вопреки его мнению, английские экономисты отличали абстрактную стоимость от реальной. Далее, Адам Смит и Рикардо, опять-таки вопреки ему, противопоставляли меновую стоимость не абстрактной, а потребительной. В частности, Адам Смит отмечал, что слово стоимость имеет два различных значения: иногда оно означает полезность какого-нибудь предмета, а иногда возможность приобретения других благ, которую доставляет обладание данным предметом. Первую можно назвать потребительной стоимостью («value in use»), вторую — меновой стоимостью («value in exchange»).<sup>64</sup> В другом месте он противопоставляет не «реальную стоимость» меновой, а реальную цену номинальной.<sup>65</sup> С этими положениями целиком соглашается и Рикардо.<sup>66</sup>

Уточняя Адама Смита, он утверждает, что «абстрактная стоимость вещей» определяется не издержками производства, как ему приписывает Энгельс, а количеством труда, затраченного на их производство. А отсюда он делал вывод, что если количество труда, овеществленного в товарах, регулирует их меновую стоимость, то всякое возрастание этого количества должно повышать стоимость соответствующего продукта, а уменьшение — понижать ее.<sup>67</sup> Таким образом, вопреки мнению своего юного критика, Рикардо установил закон, согласно которому меновая стоимость товаров прямо пропорциональна количеству труда, затрачиваемого на их производство, и обратно пропорциональна производительности труда. Впрочем, и Адам Смит уже ясно высказал мысль, что «труд есть действительное мерило меновой стоимости всех товаров».<sup>68</sup> Эти положения имеют несравненно большее теоретическое значение, чем определение стоимости, даваемое Энгельсом в его ранней работе.

Адам Смит и Рикардо вовсе не отождествляли «реальной стоимости» ни с ценой, ни с издержками производства, как ду-



мал Энгельс, а, напротив, стремились отличать ее и от первой и от вторых. Зато оба экономиста придавали крупное значение различию между естественной и рыночной ценой товаров.<sup>69</sup> Вопреки Энгельсу, они не думали, что вообще цена определяется взаимодействием между издержками производства и конкуренцией. По мнению Рикардо, например, цены товаров, составляющих предмет конкуренции, в конце концов зависят не от отношения между спросом и предложением, а от увеличения или уменьшения издержек их производства.<sup>70</sup> Наконец, оба экономиста не называли издержки производства реальной стоимостью, а самую стоимость не ставили в зависимость от цены. Напротив, и естественные и рыночные цены они старались объяснить стоимостью, лежащей в их основе.

Можно, конечно, вышелушить и еще кое-какие погрешности Энгельса. Но излишне останавливаться на них подробнее; кто знаком с позднейшими работами его и Маркса, сам легко сумеет отделить ядерное зерно глубоких замечаний от облекающей их шелухи. Их историческое значение определяется не мимолетными ошибками, наличие которых впоследствии признал сам Энгельс,<sup>71</sup> а смелой попыткой преодолеть противоречия буржуазной политической экономии. Правда, Энгельс еще не всегда умеет вполне удовлетворительно справляться с этой труднейшей задачей; зато он гениально намечает пути к ее решению. Маркс вполне справедливо назвал «Очерки» «гениальным эскизом» и неоднократно упоминал или цитировал их в первом томе своего «Капитала».<sup>72</sup>

И в самом деле: руководствуясь ариадниной нитью диалектики, Энгельс впервые в науке признает стоимость, цену, заработную плату, капитал, ренту и т. п. не абсолютными, а относительными, не вечными, а историческими явлениями. В противоположность Рикардо, он уже пронизательно видит в экономических категориях абстрактное выражение общественных отношений, основанных на частной собственности. Именно она — источник общественных противоречий, которые буржуазные экономисты отражают в своих теориях. Поэтому теоретические противоречия неизбежны, пока существует частная собственность как общая предпосылка всех экономистов. Лишь отвергнув ее, можно преодолеть эти противоречия. Но отвергая частную собственность, Энгельс с такой же дальновидностью не считает экономические категории излишними или вредными. Напротив, их следует научно развить на новой «чисто человеческой, всеобщей основе».

Эта вполне оригинальная точка зрения позволяет Энгельсу поставить важнейшие вехи, намечающие истинный путь к научному социализму. Многие семена его уже посеяны на страницах «Набросков»: беглые замечания о растлевающем влиянии конкуренции и порождаемых ею монополиях, о законе спроса и предложения, который осуществляется «только путем периоди-

ческих революций», о мальтусовской теории народонаселения, об успехах науки, подчиняющей силы природы, о взаимной борьбе капитала, землевладения и труда — все это плодотворные зародыши научного социализма. Мало того, Энгельс выдвигает некоторые важные идеи, впоследствии развитые Марксом: о промышленной резервной армии, кризисах, заработной плате, накоплении капитала, концентрации средств производства и классовой борьбе. Он начал их выдвижение, а Маркс блестяще обосновал и завершил их разработку. Меринг был совершенно прав, когда в свое время говорил: «Бесспорно, в экономической области Энгельс сначала был дающим, а Маркс берущим; Энгельс впервые заложил не все, но многие и важные экономические основы научного социализма».<sup>73</sup>

Его странствование в Англии продолжалось всего 21 месяц.<sup>74</sup> За этот сравнительно короткий срок он из юноши стал мужем. Неудивительно, что некоторые видные современники обратили внимание на его новые замечательные работы. Вскоре после выхода «Немецко-французских ежегодников» один из наиболее крупных немецких драматургов Фридрих Геббель отмечал, что «Ежегодники» содержат две превосходные статьи Фридриха Энгельса из Манчестера: «Положение Англии» и «Критика политической экономии»; из них особенно последняя разоблачает чудовищную безнравственность, на которой основывается торговля всего мира.

Коренную перемену в мировоззрении и в стиле Энгельса заметил вдумчивый наблюдатель, берлинский врач Юлиус Вальдек. В письме своему родственнику и собрату по профессии Иоганну Якоби он между прочим сделал замечание, что Энгельс сотворил с самим собою истинное чудо; это ясно, если зрелость и мужественность его идей и стиля сравнить с его же прошлогодним нравом.<sup>75</sup> Через четыре года основатель исторической школы в политической экономии и самый заметный ее представитель Бруно Гильдебранд уделил критике Энгельса чуть не половину своей книги «Политическая экономия настоящего и будущего». Стараясь опровергнуть воззрения Энгельса, немецкий экономист все же признал его несомненно самым одаренным и сведущим среди всех немецких писателей по социальному вопросу.<sup>76</sup> И это действительно так: Энгельс впервые творчески набросал экономический эскиз научного социализма. Именно поэтому Маркс и назвал «Очерки» «гениальным эскизом». Помимо своих, несомненно гениальных прозрений, они крайне поучительны еще в одном отношении: хотя «Очерки» и написаны «еще целиком в гегелевской манере», тем не менее они убедительно показывают, что важнейшим источником научного коммунизма является философия, классическая политическая экономия и, в частности, труды рикардиянских социалистов и французский утопический социализм.

## ОЧЕРКИ Ф. ЭНГЕЛЬСА В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЕД»

Двойной выпуск «Немецко-французских ежегодников» оказался одновременно и первым и последним. Эта неудача была результатом многих причин. При подготовке первого выпуска к печати Руге заболел. Болезнь помешала ему не только написать предполагаемую статью, но и проявить свое редакторское рвение в полном объеме. Именно последним обстоятельством Руге объяснял, что журнал «преподнес несколько необтесанных вещей», которые были «проташены впопыхах»: он сам, мол, внес бы необходимые поправки. Тем не менее, по его признанию, первый выпуск содержал совершенно замечательные вещи, которые вызовут шум в Германии. Но, по всей вероятности, журнал не мог выходить далее. Его выходу мешали внешние и внутренние препятствия.<sup>1</sup>

Прежде всего у «Литературной конторы» иссякли денежные средства. Фребель заявил, что он не может продолжать издание.<sup>2</sup> Сомнительные надежды Руге на денежную помощь либеральной оппозиции оказались химерическими: либералы не раскошелились и остались простыми «говорунами».<sup>3</sup> По этому поводу Отто Виганд выразил негодование. В письме к своему собрату по издательству Фребелю он отмечал, что так называемые либералы ничтожнейшие, прямо-таки отвратительные парни. Основательно узнав этих жалких людишек, нельзя продолжать с ними совместную борьбу.

Самое распространение журнала в Германии натолкнулось на труднопреодолимые препятствия. При первом же известии о выходе «Ежегодников» прусское правительство начало против них поход. Обер-президенты всех провинций были оповещены особым циркуляром, что журнал покушается на государство и наносит оскорбление его величеству; тот же циркуляр предписывал немедленно арестовать Маркса, Руге, Гейне и Бернайса, как только кто-нибудь из них ступит на прусскую территорию. Это было еще полбеды: никто не собирался добровольно совать лапу в полицейский капкан.

Беда заключалась в том, что нечистая совесть прусского короля ревниво охраняла границы. Так, на одном пароходе было захвачено 100 экземпляров журнала, а на пфальцской границе — 230 или, как утверждает Фребель в своих воспоминаниях, почти все издание первого выпуска. Подобные удары уже наносили очень чувствительные раны.<sup>4</sup>

Но даже их можно было еще исцелить. Смертоносным оказался червь разногласий, неуклонно назревавших между самими редакторами. Когда решался вопрос об издании журнала, Руге относился к Марксу с огромным уважением. Однако уже в начале совместной работы между обоими редакторами имелись

глубокие различия и в настроении и в отношении к пролетариату. Еще до приезда в Париж Маркс критически относился ко всем формам и оттенкам утопического социализма. Но во исполнение некогда данного обещания он тщательно изучал работы Фурье, Консидерана, Леру, Прудона, Кабэ, Дезами, Луи Блана и др. Кроме того, он очень внимательно следил за внутренней жизнью коммунистических рабочих. Наконец, он охотно поддерживал тесные сношения как с вождями французских тайных обществ, так и с Германом Эвербеком, который руководил организацией немецких ремесленников — «Союзом справедливых».<sup>5</sup>

Маркс проявлял к коммунизму не только живой интерес, но и глубоко его понимал. Уже его статья, помещенная после разговора с Руге в парижской газете «Вперед», сводит счеты с бланкизмом, государственным и утопическим социализмом. По вопросу же о революции он в этой статье прямо заявляет: «Каждая революция разрушает старое общество, и постольку она социальна. Каждая революция низвергает старую власть, и постольку она имеет политический характер».<sup>6</sup> Подобно Энгельсу, Маркс приходит к убеждению, что общество выше государства, а социализм выше политики; последняя — не конечная цель, а лишь необходимое средство.

Между тем Руге продолжал барахтаться в трясины буржуазной демократии. Правда, он пытался плестись за коммунистами и заявлял, что коммунистические доктрины заслуживают всяческого внимания и что он-де такого рода литературой занимается серьезно;<sup>7</sup> но как ограниченный буржуа, он понимал коммунизм вульгарно и плоско. Ему казалось, что нельзя ясно формулировать ни сложные проекты фурьеристов, ни уничтожение собственности коммунистами. У тех и других всегда получается чисто полицейское и рабское государство. Чтобы духовно и физически освободить пролетариат от нужды и гнета, придумывается такая организация, которая заставляет всех людей принимать участие в этой нужде и в этом гнете.<sup>8</sup> Руге воображал, будто немецкие коммунисты хотят освободить всех людей тем, что превращают их в ремесленников, а собственностью думают уничтожить общностью благ и справедливым распределением.<sup>9</sup> Словом, Руге носился по социалистическому морю без руля и без ветрил. Именно поэтому поведение Маркса казалось ему загадочным и странным. Маркс, по его мнению, ринулся в здешний немецкий коммунизм, как говорится, для компании. Он считал невероятным, чтобы Маркс мог находить занятие коммунизмом политически важным.<sup>10</sup>

Так Руге и застрял в буржуазном болоте, оставшись только демократом и «чистым» политиком. Между тем Маркс стал революционером и коммунистом. Именно здесь крылся корень тех принципиальных разногласий, которые вскоре привели к полному разрыву Маркса и Руге.

Внутренние трения легко обостряются из-за внешних осложнений и несведующим наблюдателям кажутся просто личными дрязгами. Так было и в данном случае.

Непосредственным поводом к окончательной ссоре послужил Гервег. Богатство жены позволило поэту, который и раньше поражал друзей своим «божественным легкомыслием», окунуться в наслаждения Парижа. Он превратился в модного льва и щеголя, швырял деньгами и вообще натворил много разных глупостей.<sup>11</sup> Его мотовство и безалаберный образ жизни огорчали не только жену, но беспокоили и Маркса. Если верить Руге, сам Маркс неоднократно предостерегал поэта от столичных соблазнов и дружески журил за то, что в Париже «он нашел свою Капую».<sup>12</sup> Но Маркс не торопился осуждать благородный талант, смотрел сквозь пальцы на слабости Гервега и решительно защищал его как революционного поэта.

Напротив, Руге, наспигованный буржуазными предрассудками, заботился только о мещанской безупречности. Его прописная мораль раздражала Маркса и наконец вывела из себя. Руге слишком резко выразился о сибаритстве Гервега и той беспечности, с которой он отрекался от своего общественного положения. Маркс защищал Гервега, ссылаясь на его гениальность и надеясь на его великую будущность. Так Руге начал спор из-за Гервега с Марксом. К сожалению, «великая будущность» поэта не наступила просто потому, что вся была в прошлом. Пусть так. Все же лучше было допустить великодушную ошибку, чем, случайно оказавшись правым, втихомолку сплетничать и клеветать. А именно так и поступил Руге: в своих многочисленных письмах к разным лицам он упорно пытался развенчать споткнувшегося поэта и очернить мыслителя-революционера. Самую ссору он объяснял чисто личными и даже изменными мотивами. Но причины ее коренились вовсе не в случайном споре из-за Гервега, а гораздо глубже. На самом деле размолвка Маркса с Руге олицетворяла разрыв двух мировоззрений — буржуазно-демократического и революционно-коммунистического.

Маркс и Руге разошлись навсегда. Но странная ирония судьбы! Близорукость прусской реакции словно умышленно толкала буржуазного Руге на путь крайней оппозиции и как бы насильственно связывала его с Марксом. После безвременной смерти «Ежегодников» немецкие эмигранты в Париже и Энгельс в Манчестере утратили возможность печатать свои работы на родном языке. Между тем уже с начала 1844 г. в Париже стала выходить немецкая газета «Вперед». Ее издавал актер и драматург Генрих Бернштейн, для которого искусство и литература были просто дойными коровами. Редактировал же газету прусский офицер в отставке Адальберт фон Борнштедт, доверенное лицо Меттерниха и политический агент прусского правительства. Газета прикрывалась плащом патриотизма; но, получив щедрую субсидию от композитора Мейербера, она издавалась с явно ком-

мерческими и рекламными целями. Ползая на брюхе перед своими хозяевами, эта рептилия, естественно, встретила выход «Немецко-французских ежегодников» залпом бесстыдной, непристойной и нелепой брани.

Тем не менее берлинское правительство, которому всюду мерещился призрак революции, запретило распространение газеты в пределах Пруссии. Так же поступили австрийское и другие немецкие правительства. Считая положение предприятия безнадежным, Бернштейн в начале мая сложил с себя обязанности редактора. Попытки издателя спасти «Вперед» не увенчались успехом. Тогда пронырливый делец хладнокровно решил придать газете пряность запрещенного издания. Поэтому Бернштейн очень обрадовался, когда задорный, талантливый и знающий Бернайс предложил ему язвительные «Письма француза о Германии». Первое из них издатель напечатал 8 мая. Через три дня на столбцах газеты появилось сатирическое стихотворение Гейне о Фридрихе Вильгельме IV, а через некоторое время Бернайс стал редактором. «Вперед» круто изменил направление. После этого к нему примкнули и еще некоторые эмигранты.<sup>13</sup>

Одним из первых был Руге. Сначала он отзывался о газете с величайшим презрением. Но скоро Руге затеял на страницах газеты полемику с Бернштейном, поместил там несколько коротких заметок и, наконец, сатирическую статью «Король прусский и социальная реформа». Вопреки своему прежнему заявлению, Руге в этой статье, напечатанной 24 и 27 июля, сообщал всякие сплетни о прусском «пьянице-короле» и «хромой королеве», делая обывательские намеки на «чисто духовный» брак королевской четы и т. д. Подобное отступление от своего же похвального правила было личным делом Руге. Но по недомыслию или злему умыслу он подписался под статьей псевдонимом «Прусак». Это уж было иное дело, и вот почему. Приехав в Париж, Руге прописался в саксонском посольстве как дрезденский городской гласный. Бернайс был уроженцем Пфальца, а Бернштейн — Гамбурга. Иными словами, псевдоним пальцем указывал на Маркса, который был действительно «пруссак».

Подобная подпись могла натворить беды: именно в это время подцензурная печать Пруссии сообщала, что пограничные власти получили предписание об аресте Маркса; распространилась даже молва, что прусское правительство обратилось с просьбой об его аресте непосредственно в Париж. Конечно, Маркс вовсе не желал нести ответственность за чужие грехи, а кроме того, решил и в политическом отношении отмежеваться от своего бывшего соратника. Поэтому он воспользовался некоторыми замечаниями Руге о прусской политике и написал «Критические заметки» к статье «Пруссака» — «Король прусский и социальная реформа». Новая работа Маркса появилась в газете 7 и 10 августа и сопровождалась примечанием: «Особые основания побуждают меня заявить, что предлагаемая статья — первая, помещаемая

мною в газете „Вперед”». Так, разрыв Маркса с Руге совершился уже не в домашней обстановке с глазу на глаз, а публично.

Маркс ничего больше не написал для газеты «Вперед», но по позднему свидетельству Энгельса, участвовал в ее редактировании. Он поддерживал дружеские отношения с Бернайсом, делился с последним редакторским опытом, давал кое-какие литературные советы и, может быть, побуждал близких себе людей к сотрудничеству. Когда в газете стали принимать участие сам Маркс, а также Гейне, Бернайс, Руге, Гесс и др., перед Энгельсом тоже открылась возможность помещать там свои работы. В его портфеле уже находились очерки о положении Англии, первоначально, как он сам написал, предназначенные для помещения в «Немецко-французских ежегодниках». Поэтому можно думать, что очерки были написаны уже весной. После кончины «Ежегодников» Энгельс отложил в сторону готовую работу, а затем решил напечатать ее, когда вполне определилось новое направление газеты. В конце августа он выезжает из Англии в Германию. По дороге на родину он посетил Париж. Здесь он вторично встретился с Марксом. Во время этой встречи, как сообщает потом сам Энгельс, выяснилось «их полное согласие во всех теоретических областях», и с этого времени началась их совместная работа. По-видимому, Маркс информировал Энгельса о направлении газеты «Вперед», и уже в период его кратковременного пребывания в Париже начали выходить номера этой газеты со статьями. «Вперед» поместил первую часть ее под заглавием «Положение Англии. Восемнадцатый век» в №№ 70—73 от 31 августа, 4, 7 и 11 сентября 1844 г., а вторую часть — «Положение Англии. Английская конституция» в конце сентября — в октябре.

Обе части появились анонимно, но, несомненно, написаны Энгельсом. Работа распадается на две главы: в первой идет речь о XVIII столетии, во второй — об английской конституции. И та и другая непосредственно примыкают к работам, напечатанным в «Ежегодниках».

В первой главе Англия противопоставляется Франции и Германии. На континенте, отмечает Энгельс, революция уничтожила весь старый мир и очистила атмосферу. В Англии же она, по-видимому, не вызывала особенно больших перемен: здесь все оставалось спокойно; ни государство, ни церковь не подвергались каким-либо опасностям. И все же Англия пережила больший переворот, чем всякая другая страна, — промышленную революцию. По всей вероятности, он практически приведет к цели скорее, нежели политическая революция во Франции и философская в Германии: в Англии совершится социальная революция, наиболее всеобъемлющая и захватывающая. Только она — истинная революция, в которую должны вылиться революции политическая и философская; ныне Англия быстро приближается к кризису.

XVIII век был последним шагом по пути к самопознанию и самоосвобождению человечества. Однако XVIII век не разрешил великого исторического противоречия между субстанцией и субъектом, природой и духом, необходимостью и свободой; он лишь резко противопоставил друг другу обе стороны противоречия и таким путем вызвал необходимость его разрешения. Ясное развитие противоречия породило всеобщую революцию, которая «распределилась по различным национальностям»: немцы как христианско-спиритуалистический народ пережили философскую революцию; французам как антично-материалистическому, а потому политическому народу было суждено совершить политическую революцию; англичане же, которые представляют смешение немецких элементов с французскими и, стало быть, включают обе стороны противоречия, были вовлечены в универсальную, а именно — социальную революцию.

Итак, Германия, Франция и Англия — три руководящих страны современной истории. Но только у англичан есть социальная история. С точки зрения Энгельса, лишь в Англии индивиды как таковые, не представляя сознательно всеобщих принципов, содействовали национальному развитию и приблизили его к развязке. Лишь здесь масса действовала как масса, во имя своих собственных частных интересов; лишь здесь принципы превращались в интересы прежде, чем могли иметь влияние на историю. Французы и немцы тоже постепенно подходят к социальной истории, но еще не имеют ее. На континенте тоже были бедность, нищета и социальное угнетение, но это не оказывало влияния на национальное развитие. Напротив, нищета и бедность рабочего класса в современной Англии имеют национальное и более того — всемирно-историческое значение.

Эти размышления Энгельса обнаруживают новый и своеобразный подход к вопросу, но пока еще очень далеки от исторического материализма. Вместе с тем он вновь подымает вопрос о «всеобщих принципах» и «частных интересах», в дальнейшем развивая свои воззрения гораздо глубже. По его мнению, разложение феодализма показало, что человечество объединяется «не принуждением, т. е. политическими средствами, а интересом, т. е. средством социальным». Этим государство собственно отрицалось. В то же время оно, однако, восстанавливалось вновь и даже получило возможность дальнейшего развития: на развалинах феодализма возникло «христианское государство», которое возвело интерес во всеобщий принцип.

По существу интерес субъективен, эгоистичен и имеет частный характер. Поэтому возведение его в связующее начало человечества неизбежно порождает всеобщую раздробленность, концентрацию индивидов в самих себе и превращение человечества в скопление взаимно отталкивающихся атомов. Пока существует отчуждение земли, частная собственность, до тех пор интерес необходимо должен быть частным интересом, а его государство —



господством собственности. Разложение феодального рабства сделало «чистоган единственной связью человечества». Собственность как естественный, бездушный элемент, противостоящий человеческому и духовному, была возведена на трон; чтобы завершить отчуждение в конечной инстанции, деньги, эта отчужденная, пустая абстракция собственности, превратились во властелина мира. Человек перестал быть рабом человека и стал рабом вещи; извращение человеческих отношений закончено; рабство современного торгашеского мира, развитая, совершенная и универсальная продажность, более бесчеловечно и всеобъемлюще, чем крепостничество феодальной эпохи; проституция является более безнравственной и скотской, чем *jus primae noctis*.

Социальная революция в Англии настолько развила последствия, вызванные уничтожением феодализма, что можно с уверенностью предсказать наступление кризиса в недалеком будущем. Опираясь на книгу Портера, Энгельс уже видит основу этого кризиса в технических изобретениях Уатта, Уэджвуда, Харгривса, Аркрайта, Кромптона, Картрайта.<sup>14</sup> Именно изобретения «вызвали оживление социального движения». Результатом их было возникновение английской фабричной промышленности вообще и хлопчатобумажной в частности. Последняя отрасль скоро дала толчок к развитию шерстяной, льняной и шелковой. В этих четырех отраслях произошел коренной переворот. Домашний труд уступил место общественному в больших зданиях. Ручной труд был заменен движущей силой пара и работой машин. С помощью машины ребенок восьми лет производил теперь больше, чем раньше 20 взрослых мужчин. 600 тыс. рабочих, в подавляющем большинстве дети и женщины, исполняют работу 150 млн. человек.

Но в этом Энгельс видит только начало промышленного переворота. Процесс прядения и ткачества, а также крашение, набойка и беление заставили прибегнуть к помощи механики и химии. Производство прядильных станков и ткацких машин превратилось в особую отрасль промышленности. Машинные начали производиться машинами. Благодаря же значительному разделению труда была достигнута та точность, которая составляет преимущество английских машин. В свою очередь их производство повлияло на добывание железа, меди и расширение рудников, обработку металла и улучшение путей сообщения. Так движение в одной отрасли промышленности передавалось всем остальным.

Последствия промышленного переворота огромы: «Это революционизирование английской промышленности — основа всех современных английских отношений, движущая сила всего социального развития. Его первым следствием было уже указанное ранее возвышение интереса до господства над человеком. Интерес овладел вновь созданными промышленными силами и использовал их для своих целей; эти силы, по праву принадле-

жащие человечеству, стали, под воздействием частной собственности, монополией немногих богатых капиталистов и средством порабощения масс. Торговля вобрала в себя промышленность, стала благодаря этому всемогущей, стала связующим началом человечества; всякие отношения между людьми, личные или национальные, свелись к торговым отношениям или, иными словами, собственности, вещь стала властителем мира».<sup>15</sup>

Одновременно с промышленной революцией Адам Смит свел политику, партии, религию, словом все, к экономическим категориям и этим признал собственность сущностью государства, а обогащение — его целью. С другой стороны, Уильям Годвин опроверг республиканскую систему политики и одновременно с И. Бентамом выставил принцип утилитаризма. Сделав все законные выводы из республиканского принципа *salus publica — suprema lex*,\* он напал на самую сущность государства своим положением: государство — зло. Но Годвин понимал принцип утилитаризма еще в самой общей форме: под этим принципом он разумел обязанность гражданина пренебрегать индивидуальными интересами и жить только для общего блага.

В отличие от него, Бентам развивает социальную природу этого же принципа и в согласии с национальной тенденцией своего времени делает частный интерес базисом общего. Далее, он выставляет положение о тождестве того или другого, положение, в особенности развитое его учеником Миллем: любовь — не что иное, как просвещенный эгоизм. Наконец, он провозглашает «общим благом» наибольшее счастье наибольшего числа людей. Но Бентам все переворачивает вверх ногами. Сначала он говорит о неделимости общего и частного интереса, а потом односторонне останавливается на грубом частном интересе. Его положение является только эмпирическим выражением другого тезиса: человек есть человечество; но выраженный эмпирически, он предоставляет права рода человеку не свободному, сознательному и творящему, а грубому, слепому и раздираемому противоречиями. Бентам объявляет свободную конкуренцию сущностью нравственности и регулирует отношения между людьми по законам собственности или вещей; таким образом завершение старых христианских порядков доводится до последней степени отчуждения, но не дает начала новому состоянию, которое сознательный человек должен создать совершенно свободно. Бентам не выходит за пределы государства, но лишает его всякого содержания.

Важнейшим результатом промышленной революции Энгельс считает новое классовое строение Англии. Новая промышленность с ее бесчисленными отраслями всегда нуждалась в массе таких рабочих, каких раньше не было. Она сконцентрировала рабочих на фабриках и в городах. Соединение промышленной и зем-

\* — общественное благо — высший закон. *Ред.*

делательской работы стало невозможно; новый рабочий класс был вынужден жить только фабричным трудом. Мелкая сельскохозяйственная культура была вытеснена крупными арендаторами; вместе с ними возник новый класс земледельческих поденщиков. Население городов возросло в три-четыре раза; почти весь этот прирост состоял из одних рабочих.

С другой стороны, средний класс стал настоящей аристократией. Фабриканты удивительно быстро увеличили свои капиталы во много раз. Купцы тоже получили свою долю. Созданный этой революцией капитал был в руках английской аристократии средством борьбы с французской революцией. В результате Англия раскололась ныне на три партии: земельную аристократию, денежную аристократию и рабочую демократию. Это единственные в Англии партии, единственные действующие здесь пружины.<sup>16</sup>

В рассуждениях Энгельса еще заметны родимые пятна идеализма, правда значительно побледневшие. Так, по его мнению, XVIII век был «предпоследним шагом по пути к самосознанию и самоосвобождению человечества». В чисто гегелевском духе он пока еще утверждает, что этот век не разрешил великого исторического противоречия между субстанцией и субъектом, природой и духом, необходимостью и свободой. Как он полагает, именно указанное противоречие породило «всеобщую революцию». Наконец, даже различие между Францией и Германией объясняется тем, что каждая из них воплотила только «одну сторону противоречия». Особое место Энгельс отводит Англии, совмещающей обе стороны противоречия: лишь здесь масса действовала «во имя своих собственных частных интересов»; лишь здесь принципы оказали влияние на историю, преобразуясь в интересы; лишь здесь нищета, бедность и социальный гнет приобрели всемирно-историческое значение.

Энгельс еще склонен предавать нравственному суду все общественные отношения: «торгашеский мир», универсальную продажность, частную собственность и деньги как «отчужденную, пустую абстракцию собственности». Лишь с величайшим трудом он освобождается от пристрастия к абстракциям. Поэтому он вновь переживает рецидивы застарелого гегельянства и подобно Фейербаху твердит о человечестве, «правах рода» и т. п. Однако наряду с этим он все энергичнее пробивается к подлинной действительности и материалистическому пониманию истории.

Так, он уже самостоятельно нападает на след чрезвычайно важной и плодотворной мысли: основой «социальной революции» и наступающего в Англии кризиса являются технические изобретения, которые появились в последней трети XVIII в.; именно они породили английскую промышленность и произвели полный промышленный переворот. Этот переворот заключается преимущественно в следующем: «домашний труд» уступил место общественному, а ручной был заменен «движущей силой пара и работой машин»; самые машины начали производиться машинами,

было введено разделение труда, производительность его увеличилась во много раз.

Не менее важно и другое. Энгельс уже ясно видит в революционизировании промышленности «основу всех современных английских отношений» и «побудительную силу всего социального движения»: промышленный переворот превратил «чистоган» в единственную связь, соединяющую отдельных людей, и возвел частную собственность на трон; человек перестал быть рабом человека и стал рабом вещи; власть над ним была вручена частному интересу, который овладел «вновь созданными промышленными силами» и начал эксплуатировать их; эти силы превратились в монополию немногих капиталистов и средство порабощения масс; наконец, все личные и национальные отношения приобрели торгашеский характер, а вещь стала господином мира. Мало того. Даже некоторые умственные течения Энгельс объясняет уже промышленной революцией.

Наконец, Энгельс признает важнейшим результатом промышленной революции появление в Англии пролетариата и концентрацию его на фабриках. Та же промышленная революция породила, с одной стороны, крупных арендаторов, с другой — сельскохозяйственных поденщиков и позволила «среднему классу» стать настоящей аристократией. Именно благодаря этому Англия раскололась на три известные уже нам партии — земельную аристократию, денежную аристократию и рабочую демократию. Столь же характерно и оригинально заключительное замечание Энгельса: он категорически признает эти партии «единственными пружинами», действующими в Англии.

Все эти замечательные положения принадлежат самому Энгельсу и даже выражены почти исключительно его же словами. В своем очерке, как и в работах, которым дали приют «Немецко-французские ежегодники», он гениально предвосхищает некоторые идеи, позднее обоснованные преимущественно Марксом. Правда, он все еще не может освободиться от старого философского жаргона. Тем не менее уже здесь встречаются многие выражения и обороты, вошедшие в «Манифест Коммунистической партии».

Несомненно, «Положение Англии», долгое время незаслуженно игнорируемое биографами Энгельса,<sup>17</sup> представляет огромный интерес. С другой стороны, не следует и преувеличивать его значение. Как ни глубоки замечания Энгельса, они неизменно носят ограничительный характер, ибо относятся только к одной Англии. Противопоставление ей Франции и Германии мешает Энгельсу обобщить свои же собственные положения. А между тем обобщения так и просятся. Вскоре, однако, Энгельс сделал их либо в общении с Марксом, либо самостоятельно.

Почти непосредственно после первой статьи о положении Англии «Вперед» поместил еще один очерк с подзаголовком «Английская конституция». Здесь Энгельс прежде всего подчер-

живает следующее обстоятельство: поверхностному наблюдателю, смотрящему только глазами политика, положение Англии кажется достойным зависти. И в самом деле, уже в то время она была мировой державой, с могуществом и богатством которой не могла тягаться ни одна страна. Она более ста лет не знала ни страха перед деспотизмом, ни борьбы с королевской властью. Благодаря этому все образованные англичане обладали известной долей независимости. Политическая же деятельность, свободная печать, морское господство и гигантская промышленность до такой степени развили у них энергию, решительность и величайшее присутствие духа, что в данном отношении континентальные народы бесконечно отстали. История английской армии и флота представляла ряд блестящих побед. С литературой Англии могли соперничать разве лишь древнегреческая да германская. В области эмпирических наук эта страна могла назвать множество великих имен, а в области философии по меньшей мере два: Бэкона и Локка. Словом, она сделала больше всякого другого народа.

Однако весь этот внешний блеск нисколько не прельщает Энгельса. Он сразу же нападает на самую сущность государства. Распространяя на последнее идеи Фейербаха, Энгельс видит сущность государства, как и религии, в страхе человечества перед самим собой. В конституционной же и особенно английской монархии страх, по его мнению, достиг наивысшего предела. Опыт трех тысячелетий не сделал людей умнее, а напротив, сбил их с толку и довел до безумия. Результат этого безумия выразился в политическом состоянии Европы. Чистая монархия, напоминая восточный и римский деспотизм, возбуждала ужас. Чистая аристократия внушала не меньший страх: ведь недаром существовали римские патриции, средневековые феодалы, венецианские и генуэзские нобили. Но демократия казалась страшнее всего: Марий и Сулла, Кромвель и Робеспьер, окровавленные головы двух монархов, проскрипционные списки и диктатура громко вопияли об «ужасах» демократии. Что же оставалось делать? По-видимому, бесчеловечность всех государственных форм должна была привести к одному заключению: само государство бесчеловечно. Вместо этого люди успокоились на мысли, будто безнравственность присуща не самому государству, а только его формам. В конце концов было решено, что совокупное действие трех безнравственных факторов — монархии, аристократии и демократии — может дать нравственный продукт. Так создалась конституционная монархия.<sup>18</sup>

Эта монархия основана на равновесии властей. Но, по мнению Энгельса, это равновесие само по себе неосуществимо, а потому является смешным недомыслием. Он критикует прежде всего «монархический принцип». Как известно, на практике власть короны была в такой степени сведена к нулю, что всякая борьба против нее прекратилась уже сто лет тому назад. И все же

английская конституция не могла существовать без монархии; если убрать корону, искусственное здание рухнуло бы целиком. Но чем дольше падало значение монархического принципа в действительности, тем больше оно росло в глазах самих англичан. Король в Англии царствует, но не управляет. Однако нигде он не пользуется большим преклонением, чем в Англии: ее газеты далеко перещеголяли даже немецкие своим сервильизмом. Отвратительный культ короля, обожание вконец выпотрошенного представления и просто самого слова «король» завершают собой монархию. При этом боязливо избегают заводить речь о самом главном, что скрывается за названным словом, — о человеке.<sup>19</sup>

С «аристократическим элементом», думает Энгельс, дело обстоит еще хуже. Палата лордов подвергается таким насмешкам, что признается просто инвалидным домом для государственных мужей, отживших свой век. Всякий не совсем захудалый член палаты общин принимает предложение пэрства за личное оскорбление. На практике лорды отличаются невероятной косностью и сильны не сами по себе, а потому, что имеют опору в партии торьев, представителями которой они являются. По конституционной теории палата лордов одинаково независима и от народа и от короны. На самом же деле она зависит, с одной стороны, от торийской партии, а с другой — от короны, которой предоставлено право назначать пэров. Но чем бессильнее становилась палата лордов на практике, тем прочнее она укоренялась в общественном мнении. Вследствие этого до сих пор сохранились наиболее унижительные формальности феодального времени. Так, например, на официальных приемах члены палаты общин обязаны стоять со шляпами в руках, а лорды сидят с покрытыми головами; официальное обращение к ним гласит: «Да будет угодно вашей светлости». В подобных формах опять-таки проявляется обожание пустого слова, навязчивой идеи, будто человечество не может жить без слова «аристократия». При всем том аристократия пользуется большим влиянием. Но основой ее власти является не право на наследственное кресло в законодательном собрании, а огромные земельные владения и вообще богатство; ее власть осуществляется не в верхней, а в нижней палате, которая по конституции должна представлять демократический элемент.<sup>20</sup>

Раз корона и палата лордов бессильны, вся власть естественно сосредоточивается в палате общин: она издает законы и управляет страной через министров, образующих лишь ее комитет. При всевластии палаты общин Англия была бы чистой демократией, если бы «демократический» элемент оправдывал свое назначение. Но об этом не может быть и речи. Даже после билля о реформе условия выборов в сельских округах изменились крайне мало: здесь избирателями оказываются почти исключительно арендаторы, которые находятся в полной зависимости от землевладельцев и не смеют голосовать против них. Поэтому

представителями от графств обычно бывают в подавляющем большинстве кандидаты землевладельцев. В городах же избирательным правом пользуются лишь те, кто ежегодно уплачивает за арендуемый дом не менее 10 фунтов и вносит прямые налоги. Но в отдельных домиках живут, разумеется, лишь женатые рабочие, да и они почти все уклоняются от уплаты прямых налогов. Поэтому огромное большинство рабочих не пользуется избирательным правом. Иными словами, города — и то лишь крупные — находятся в руках среднего класса. В мелких же городах сам средний класс состоит преимущественно из лавочников; они тоже зависят от землевладельцев, прямо или косвенно через своих главных клиентов-арендаторов.<sup>21</sup>

Итак, корона и палата лордов утратили значение, а нижняя палата избирается вовсе не на демократических началах. Так кто же правит Англией? — спрашивает Энгельс и решительно отвечает: правит собственность. Она позволяет аристократии руководить выборами от сельских округов и мелких городов; она дает купцам и фабрикантам возможность назначать депутатов от больших, а частью и от мелких городов; наконец, она же располагает средствами, чтобы усиливать свое влияние путем прямого подкупа. Установив ценз, сам билль о реформе положительно признал господство собственности. Именно она и приобрело вместе с нею влияние составляют сущность среднего класса. Но и аристократия оказывает давление на выборы, опираясь на свою собственность, а стало быть, уподобляется тому же среднему классу. Поэтому влияние его в целом гораздо сильнее, чем влияние аристократии. В действительности господствует именно средний класс.

Из изложенного ясно, что теория английской конституции находится в кричащем противоречии с ее практикой. Согласно первой — триединство законодательного собрания; соответственно второй — тирания среднего класса. Теоретически — двухпалатная система; практически — всемогущая палата общин. Там — королевская прерогатива; здесь — избранное палатой общин министерство. В теории — независимая палата лордов с наследственными законодательствами; на практике — инвалидный дом для отживших депутатов. Каждая из указанных трех частей вынуждена уступать принадлежащую ей теоретически власть кому-нибудь другому: корона — министрам, т. е. большинству палаты общин; лорды — партии ториев и министрам, фактически создающим пэров; палата общин — среднему классу или политической незрелости народа. По существу английская конституция уже не существует. Эмансипация католиков, парламентская и муниципальная реформы лишь с виду кое-как поддерживают жизнь хилой конституции. Но сами реформы служат уже признанием, что нет надежды на ее сохранение.

По мнению Энгельса, конституция достаточно не ограждает даже права гражданина. Так, Англия пользуется в общем наибо-

лее широкой свободой печати; но законы о пасквилях, государственной измене и богохульстве до сих пор лежат на печати тяжелым бременем. Ни один народ в Европе не пользуется в такой степени правом собраний, как англичане; но и оно подвергается ограничениям преимущественно полицейского характера: не только центральное правительство, но и местные органы власти вправе запретить заранее, прервать или распушить любой митинг. Власти применяли подобные меры особенно часто относительно чартистских и социалистических митингов. Но эти меры не считаются нападением на «прирожденные» права англичан: ведь чартисты и социалисты — бедняки, а потому бесправны; понятно, о них никто не беспокоится, кроме «Северной звезды» да «Нового нравственного мира».

Лишь богачи беспрепятственно пользуются правом собраний. То же можно сказать о праве союзов. Дозволены все союзы, преследующие законные цели законными средствами. Но кроме благотворительных обществ, они лишены права иметь отделения или местные разветвления с особой организацией. Независимо от этого право союзов в полном объеме составляет привилегию богатей: для ассоциации необходимы прежде всего деньги. Богатой «Лиге против хлебных законов» легче тратить сотни тысяч, чем бедному чартистскому обществу или союзу британских чернорабочих покрывать одни текущие расходы. Короче, ассоциация, не располагающая средствами, лишь с трудом может заниматься агитацией и не имеет особенно большого значения. Хваленое право обвиняемого до начала процесса быть выпущенным на свободу под залог — тоже привилегия богатых: ведь бедняк не может представить залога, а потому вынужден отправляться в тюрьму.

Наконец, и право каждого гражданина на суд равных — тоже привилегия богатых: бедных судят не равные им, а их природные враги, ибо «в Англии богатые и бедные находятся в открытой войне». Так, например, в Ланкастере, Уорвике и Стаффорде чартистов судили землевладельцы и арендаторы, в большинстве тории, а также фабриканты и купцы, в большинстве виги, т. е. несомненные враги чартистов и рабочих. Но это не все. Так называемый «беспристрастный состав присяжных» — вообще нелепость: когда в Дублине судили О'Коннела, каждый присяжный, как протестант или торий, был его врагом; «равными ему» были бы католики и противники англо-ирландской унии; да и они являлись бы его друзьями и вынесли бы только оправдательный вердикт. То же происходит в любом случае. Иначе и быть не может: «Суд присяжных по своей сущности — политическое, а не юридическое учреждение; но так как все юридическое в основе своей имеет политическую природу, то в суде присяжных проявляется истинная суть юстиции; и английский суд присяжных, как получивший наибольшее развитие, есть завершение юридической лжи и безнравственности». Последние выражаются в фикциях «бес-



пристрастных присяжных» и «беспристрастного судьи». Между тем и первые и второй невозможны.<sup>22</sup>

Так же недвусмысленно правительство богатых выражается и в уголовном законодательстве.

Все важные преступления караются самыми тяжкими наказаниями, а проступки — только денежными штрафами, размер которых, конечно, одинаков для бедных и богатых. Последних они очень мало или совсем не обременяют; первые же в девяти случаях из десяти не могут внести штрафа и без дальних разговоров отправляются на принудительные работы. Истязание бедняков и покровительство богачам до такой степени обычны, практикуются так беззастенчиво и описываются в газетах с таким бесстыдством, что редко можно читать газету без возмущения. Отношение к богачу всегда отличается изысканной вежливостью: как бы отвратителен ни был проступок богача, судьям всегда «очень прискорбно» приговаривать его к денежному штрафу, обычно ничтожному до смешного. Давно вошли в пословицу такие меткие изречения, как «law grinds the poor, and rich men rule the law» («бедняка закон мелет, а богач законом повелевает») или «there is one law for the poor, and another for the rich» («один закон для бедняка, другой для богача»). Но может ли быть иначе? — И мировые судьи и присяжные заседатели сами богаты, пополняются из среднего класса, а потому оказываются пристрастными к себе подобным и прирожденными врагами бедняков.

Подобное состояние порождает массу лжи и безнравственности. Люди падают ниц перед пустыми названиями, отрекаются от действительности, обманывают самих себя и трусливо цепляются за голые абстракции. И потому конституция и все общественное мнение Англии — великая ложь; она непрерывно поддерживается и прикрывается множеством мелких неправд, когда то здесь, то там обнаруживается ее настоящая природа. Конечно, теперь начинают убеждаться, что все это сооружение — сплошная неправда и фикция. От подобного сплетения явной и тайной лжи, лицемерия и самообмана остается только отвернуться с полным отвращением. Долго ли может продолжаться такой порядок вещей? На этот счет не может быть двух мнений. Борьба практики с теорией, действительности с абстракцией, жизни с пустыми словами, человека с бесчеловечностью будет решена так или иначе. Ее исход несомненен: основы конституции поколеблены, ближайшее будущее Англии принадлежит демократии.

«Но какая демократия! — восклицает Энгельс. — Не демократия французской революции, противоположностью которой были монархия и феодализм, а *такая* демократия, противоположностью которой является буржуазия и собственность. Это доказывается всем предшествующим развитием. Буржуазия и собственность господствуют; бедняк бесправен, его угнетают и унижают, конституция его не признает, закон притесняет его; борьба демокра-

тии против аристократии в Англии есть борьба бедных против богатых. Демократия, навстречу которой идет Англия, — это *социальная* демократия. Простая демократия не способна исцелить социальные недуги. Демократическое равенство есть химера, борьба бедных против богатых не может быть завершена на почве демократии или политики вообще. И эта ступень есть, следовательно, только переход, последнее чисто политическое средство, которое еще следует испробовать и из которого тотчас же должен развиться новый элемент, принцип, выходящий за пределы существующей политики. Этот принцип есть принцип социализма». <sup>23</sup>

Работы Энгельса, которым дали убежище «Немецко-французские ежегодники» и «Вперед», великолепно дополняют друг друга и составляют одно связное целое. Их единство заключается в том, что Энгельс прежде всего, энергично борется за живого, действительного человека и стремится искоренить бесчеловечность современных общественных отношений. Далее, в этой борьбе он решительно отстаивает действительность против абстракций, «практику» против отвлеченной «теории», подлинную жизнь против пустых слов и бессодержательных фраз. Наконец, он сурово осуждает ложь, лицемерие, самообман, бесчеловечность и безнравственность общественного строя в Англии. В отличие от Фейербаха он перестает объяснять этот строй просто «сущностью человека» вообще. Напротив, как диалектик Энгельс становится на чисто историческую почву и все более признает самого человека продуктом общественных отношений. Таким образом, его точка зрения перемещается: он старается понять не природу человека вообще, а природу общественных отношений.

Работы Энгельса посвящены именно данному вопросу: «Наброски к критике политической экономии» срывают маску с экономических отношений и категорий буржуазной политической экономии; статьи о положении Англии клеймят преимущественно ее государственный строй и отношения политические. С одинаковым рвением Энгельс вскрывает внутренние противоречия и тех и других. По мнению нашего пронизательного и беспощадного критика, основу их составляет собственность. Ее неравномерное распределение порождает распадение общества на три класса: земельную аристократию, денежную аристократию и пролетариат. Все три класса ведут «открытую войну» и на экономическом и на политическом фронтах. Ареной политической борьбы является государство. Вслед за Фейербахом Энгельс сначала склонен еще видеть его сущность в «страхе человечества перед самим собой». На самом деле этот страх скоро оказывается просто страхом землевладельцев и капиталистов перед народом.

Энгельса уже несколько не обманывают внешние парламентские формы: корона, палата лордов и палата общин. Управляют Англией не они, а собственность. На ней основывается власть

аристократии; она позволяет землевладельцам, фабрикантам и купцам проводить в парламент своих кандидатов; в ней состоит «сущность класса буржуазии». Поэтому последний фактически и господствует. Его господство выражается в том, что корона и палата лордов уступают часть принадлежащей им власти большинству палаты общин, нижняя палата — среднему классу, а **средний класс издает законы и управляет страной** через министров, которые образуют лишь «комитет» нижней палаты, т. е. буржуазии. Таким образом, Энгельс, во-первых, проникательно видит основу государства не просто в голом насилии, а в частной собственности; во-вторых, решительно признает его связь с экономическим строем; в-третьих, отдает себе точный отчет в его классовом характере и, в-четвертых, начинает все яснее понимать огромное идеологическое значение государства.

Классовый характер государства проявляется в самых различных формах. Особенно пристальное внимание Энгельс обращает на «права гражданина» — свободу печати, слова, собраний, союзов и пр. Беспрепятственно ими пользуются только богачи, потому что располагают и денежными средствами и государственной властью. Их же привилегией оказывается и право гражданина на суд равных: бедняки подвергаются суду не равных себе, а богачей, своих «прирожденных врагов». И это понятно: всякий суд и даже «суд присяжных по самой сущности — политический, а не юридический институт». Он явно покровительствует богачам. Но им покровительствуют и сами уголовные законы: бедняка закон притесняет, а богач им распоряжается.

Итак, критическими очерками политической экономии и статьями о положении в Англии подытоживается переход Энгельса от революционного демократизма к пролетарскому коммунизму и от идеализма к материализму. В этих работах уже разбросаны зерна, из которых позднее развились теории производительных сил, производственных отношений, классов, классовой борьбы, государства и т. п. Правда, все, о чем говорит Энгельс, относится только к Англии: пока еще он не делает обобщений из своих наблюдений. Но его великая заслуга заключается в том, что он совершенно самостоятельно дошел до преддверия исторического материализма. Здесь кончается его самостоятельное умственное развитие. В начале сентября 1844 г. он покидает Англию и во время кратковременного пребывания в Париже встречается с Марксом. Там между ними завязывается беспрецедентная дружба и начинается совместное творчество. Продукт этого творчества — марксизм.

---

## ПРИМЕЧАНИЯ

### К главе I

<sup>1</sup> Свидетельство о рождении Фридриха Энгельса. МЭС, II, стр. 437.

<sup>2</sup> Это видно из сохранившегося стихотворения, которое тринадцатилетний Энгельс 20 декабря 1833 г. отправил своему деду ко дню рождения. — См.: Friedrich Engels. Schriften der Frühzeit (Aufsätze, Korrespondenzen, Briefe, Dichtungen aus den Jahren 1838—1844 nebst einigen Karikaturen und einem unbekanntem Jugendbildnis des Verfasser). Hrsg. v. Gustav Mayer, Berlin, 1920, S. 304. В дальнейшем при ссылках на произведения Энгельса указываются страницы этого издания. Оно впервые дало возможность написать действительно научную биографию Энгельса.

Еще более важным источником биографии Энгельса являются сочинения Маркса и Энгельса, издаваемые Институтом марксизма-ленинизма: 1) Karl Marx — Friedrich Engels. Historisch-kritische Gesamtausgabe (Werke, Schriften, Briefe), Frankfurt a/M., 1927—1932 (в дальнейшем сокращенно обозначается MEGA); 2) русское издание: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Изд. первое, изд. второе (далее—МЭС).

<sup>3</sup> Письма из Вуппертала („Telegraph für Deutschland“, 1839, März-April, № 49—52, 57, 59). МЭС, I, стр. 465.

<sup>4</sup> Там же, стр. 466.

<sup>5</sup> F. Engels (senior). Brief an seine Gattin 27 August 1835. MEGA, II, S. 463; Gustav Mayer, Friedrich Engels in seiner Frühzeit, 1820 bis 1851. Berlin, 1920, SS. 10—11. — Это капитальный труд, для которого автор тщательно собрал непосредственно у родственников Энгельса интересные воспоминания о семейных традициях, важные документы.

<sup>6</sup> Письмо Фридриху Греберу 12—27 июля 1839 г. МЭС. Из ранних произведений, стр. 308. Наиболее важные отрывки из писем Энгельса впервые напечатаны нашедшим их Г. Майером в „Die neue Rundschau“, 1913, Hefte, 9—10, SS. 1241—1257 и. 1396—1416.

<sup>7</sup> Выпускное свидетельство. МЭС, II, стр. 438.

<sup>8</sup> Письма из Вуппертала. МЭС, I, стр. 466.

<sup>9</sup> Рассказ о морских разбойниках. МЭС, II, стр. 443—454.

<sup>10</sup> Выпускное свидетельство помечено 25 сентября 1837 г.

<sup>11</sup> Германская кампания за имперскую конституцию. МЭС, 7, стр. 118—119. Напечатана в журнале „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“, 1850, Nr. 1, 2, 3.

<sup>12</sup> Joseph Hansen. Rheinische Briefe und Akten zur Geschichte der politischen Bewegung 1830—1850. Essen a. d. Ruhr, 1919, SS. 19—20; J. Hansen. Preußen und Rheinland von 1815 bis 1915. Hundert Jahre politischen Lebens am Rhein, Bonn, 1918, SS. 3—5; Oscar Stillich. Die politischen Parteien in Deutschland. Leipzig, 1911, S. 214.

<sup>13</sup> Landrat Freiherr v. Hauer an d. Oberpräsidenten v. Pestel in Koblenz. Ueber politische Bestrebungen in d. Rheinprovinz, Opladen, 24 August 1833; Oberpräsident v. Pestel an d. Minister des Innern Freiherrn v. Brenn. Politisches Leben der Rheinprovinz, Koblenz, 13 September 1833. (J. Hansen. Rhein. Briefe u. Akten, SS. 50—51, 123, 128).

<sup>14</sup> Г. Г. Гервинус. Автобиография. М., 1895, стр. 224.

<sup>15</sup> О Фрейлиграте: Fr. Mehring. Sozialistische Lyrik, G. Herwegh, F. Freiligrath, H. Heine („Archiv für d. Geschichte d. Sozialismus u. d. Arbeiterbewegung“, 1914, IV, S. 202); W. Buchner. Ferdinand Freiligrath, ein Dichterleben in Briefen. Lahr, 1882; A. Volbert. Ferd. Freiligrath als politischer Dichter. Münster, 1907; E. J. Gudde. Freiligraths Entwicklung als politischer Dichter. Berlin, 1922.

<sup>16</sup> Письмо Энгельса Ф. Греберу и В. Греберу 17—18 июля 1838 г. К письму приложена и самая баллада, о которой Энгельс сообщает, что она была напечатана. Где именно, долго не удавалось установить. Теперь известно, что она была помещена 16 сентября 1838 г. в „Bremisches Conversationsblatt“. См.: МЭС, Из ранних произведений, стр. 266—267.

<sup>17</sup> Письмо Ф. Греберу 20 января 1839 г. начинается „Флоридой“, приведенной полностью. МЭС, Из ранних произведений, стр. 269—272.

<sup>18</sup> Краткую историю Бремена см.: Hermann Entholt. Bremen, sein Werden und Wachsen bis auf unsere Tage. Bremen, 1925.

<sup>19</sup> Alexander Soltwedel. Hanseatische Briefe. „Der Freihafen“, Heft 4. Altona, 1839, S. 254. См. также: Eduard Beermann. Deutschland und die Deutschen, Altona, 1838, SS. 129—130, F. Engels. Literatur. MEGA, II, SS. 123—125.

<sup>20</sup> Gustav Mayer. Briefe von Friedr. Engels an Mutter und Geschwister. „Deutsche Revue“, 1920, November-Dezember: письма сестре Марии от декабря 1838 г. и 7 января 1839 г., стр. 127—128, 28 декабря 1840 г., стр. 221 и 18 марта 1841 г., стр. 222—223. В дальнейшем при ссылках на письма Энгельса сестре имеется в виду коллекция, собранная и опубликованная Майером в названном ежемесячнике.

<sup>21</sup> Письма к Марии 4, 20 августа, 19 сентября 1840 г., стр. 131, 132 и 135.

<sup>22</sup> См.: Ф. Энгельс. Эрнст Мориц Арндт. МЭС, Из ранних произведений, стр. 364—365.

<sup>23</sup> Письма к Марии 6 декабря 1840 г., стр. 219; Ф. Греберу 22 февраля 1841 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 343.

<sup>24</sup> Письма к Марии 23 мая, 28 сентября 1839 г., 18 сентября 1840 г., стр. 129—130, 135.

<sup>25</sup> Письма к Марии 20 августа 1840 г., стр. 133.

<sup>26</sup> Письма к Марии от декабря 1838 г. и 7 января 1839 г., стр. 127—128.

<sup>27</sup> Письмо В. Греберу 30 апреля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 296.

<sup>28</sup> Письма к Марии 28 сентября 1839 г., стр. 130; 20 августа 1840 г., стр. 133.

<sup>29</sup> Письмо В. Греберу 27 апреля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 293—294.

<sup>30</sup> МЭС, Из ранних произведений, стр. 294.

## К главе II

<sup>1</sup> Письмо Ф. Греберу и В. Греберу 1 сентября 1838 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 262.

<sup>2</sup> Письмо Ф. Греберу и В. Греберу 17—18 сентября 1838 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 264—265 и 268.

<sup>3</sup> МЭС, Из ранних произведений, стр. 265—266. Это письмо не дает, конечно, основания утверждать, что сначала Энгельс думал „сохранить истинное откровение в мистике и погрузился в теософа Якова Беме“ (Heinrich Herkner. Die Arbeiterfrage, II, 7-e Aufl., Berlin — Leipzig, 1921, S.

242). Энгельс, обладавший трезвым и светлым умом, никогда не питал склонности к мистике.

<sup>4</sup> О литературной деятельности Энгельса до 1844 г. не упоминают ни его первый биограф Каутский (Karl Kautsky, Friedrich Engels, sein Leben, sein Werk, seine Schriften. 3-е Aufl., Berlin, 1908), ни первый издатель сочинений его и Маркса — Меринг (K. Marx u. F. Engels. Gesammelte Schriften (Nachlass, I. Stuttgart, 1902), ни буржуазный идеолог Зомбарт (Werner Sombart. Friedrich Engels. Ein Blatt zur Entwicklungsgeschichte des Sozialismus. Berlin, 1895).

<sup>5</sup> Письма из Вуппертала. МЭС, 1, стр. 460—461. Под конец жизни Энгельс еще раз высказался о кальвинизме в статье „Ueber historischen Materialismus“ („Die Neue Zeit“, 1893, XI, 1).

<sup>6</sup> МЭС, 1, стр. 463.

<sup>7</sup> Письмо Ф. Греберу 19 февраля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 278.

<sup>8</sup> Письмо Ф. Греберу 8—9 апреля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 281.

<sup>9</sup> Письмо Ф. Греберу 8—9 апреля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 281—282. Ф. Шиллер в статье „Энгельс и литература“ („Летописи марксизма“, 1 (XI). М.—Л., 1930, стр. 34) называет Энгельса „фанатичным пниетистом“; как показывает, между прочим, и это письмо, для подобных сильных выражений нет никаких оснований. Оба брата, Вильгельм и Фридрих, сыновья пастора В. Ф. Гребера в Гемарке, последовали „совету“ Энгельса и позднее действительно стали пасторами. Из них Вильгельм под старость жил в Эссене, где в 1893 г. произнес прощальную проповедь.

<sup>10</sup> Письмо Ф. Греберу 23 апреля — 1 мая 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 282—283.

<sup>11</sup> Письмо Ф. Греберу 15 июня 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 304.

<sup>12</sup> Письмо Ф. Греберу 12—27 июля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 309.

<sup>13</sup> Письмо В. Греберу 30 июля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 313.

<sup>14</sup> Письмо В. Греберу 8 октября 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 316.

<sup>15</sup> Письмо Ф. Греберу 29 октября 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 325. В своих позднейших произведениях Энгельс неоднократно упоминает о Штраусе. См., например, „Письма из Лондона“. МЭС, 1, стр. 513; „Успехи движения за социальное преобразование на континенте“. МЭС, 1, стр. 538.

<sup>16</sup> Фр. Меринг. Карл Маркс, история его жизни, II, М., 1940, стр. 73.

<sup>17</sup> Письмо В. Греберу 20 ноября 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 330—331.

<sup>18</sup> Письмо Ф. Греберу 21 января 1840 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 333—335.

<sup>19</sup> Ландшафты. МЭС, II, стр. 58—59.

<sup>20</sup> Само собой разумеется, впоследствии Энгельс смотрел на теорию мифов Штрауса совсем другими глазами. — См. его статьи: „Zürcher Socialdemokrat“, Nr. 19—20, 4 u. 11 V 1882 (перепечатана под заглавием: „Friedrich Engels über Bruno Bauer und das Urchristentum“ в „Dokumente des Socialismus“, I, 1902, SS. 250—256), „Die Neue Zeit“ 1894—95, XIII, 1, SS. 4—36 („Zur Geschichte des Urchristentum“). МЭС, XV, стр. 603 и XVI, ч. II, стр. 414.

### К главе III

<sup>1</sup> О Хенгстенберге: Max Lenz. Geschichte der königlichen Friedrich-Wilhelms Universität zu Berlin. Halle a. 1910, Hälfte, 1. SS. 327—348.

<sup>2</sup> См., например: Karl Gutzkow. Rachel, Bettina, Charlotta Stieglitz (Gesammelte Werke, II. Frankfurt a/M., 1845, S. 283 f.); Johann Christoph.

Freiisen. Rachel Varnhagen, Bettina von Arnim und Julie Bondeli („Der Freihafen“. Heft 2, 1840, SS. 117—134); J. Dresch. Gutzkow et la Jeune Allemagne. Paris, 1904, pp. 145—161.

<sup>3</sup> Письмо Ф. Греберу 20 января 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 273.

<sup>4</sup> Письмо Ф. Греберу 9 декабря 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 332.

<sup>5</sup> Письма из Вуппертала. МЭС, 1, 466—472.

<sup>6</sup> Письмо Ф. Греберу 19 февраля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 277.

<sup>7</sup> Письмо Ф. Греберу 24 апреля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 283.

<sup>8</sup> Письмо В. Греберу 30 апреля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 296. В самом „Телеграфе“ (1839, Mai, Nr. 80, SS. 635—638) некий автор, скрывший свое имя за тремя звездочками, тоже возражал Энгельсу в статье „Einige Berichtigungen der Briefe aus Wupperthale.“

<sup>9</sup> МЭС, II, стр. 24—25.

<sup>10</sup> Письмо Ф. Греберу 8 апреля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 279.

<sup>11</sup> L. Wienbarg. Aesthetische Feldzüge. Dem jungen Deutschland gewidmet. Hamburg, 1834. b. Hofmann u. Kampe, — О Винбарге: J. Dresch. Gutzkow et la Jeune Allemagne. Paris, 1904, pp. 162—169; Viktor Schweizer. Ludolf Wienbarg. Beiträge zu einer jungdeutschen Aesthetik. Leipzig, 1898.

<sup>12</sup> Письмо В. Греберу 27 апреля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 294.

<sup>13</sup> Письмо В. Греберу 8 октября 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 317.

<sup>14</sup> Письмо В. Греберу 8 октября 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 318.

<sup>15</sup> Письмо В. Греберу 30 июля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 312.

<sup>16</sup> Письмо Ф. Греберу 9 апреля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 281.

<sup>17</sup> Письмо Ф. Греберу 20 января 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 274.

<sup>18</sup> Немецкие народные книги. МЭС, Из ранних произведений, стр. 344—352.

<sup>19</sup> Письмо В. Греберу 13 ноября 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 326—327.

<sup>20</sup> Karl Beck. Nächte. Gepanzerte Lieder. Leipzig, b. Engelmann, 1838. — О К. Беке: Christian Petzet. Die Blütezeit der deutschen politischen Lyrik von 1840 bis 1850. Ein Beitrag zur deutschen Literatur- und Nationalgeschichte. München, 1903, SS. 275—279.

<sup>21</sup> Карл Бек. МЭС, II, стр. 35—39. — Мнение Гутцова о Беке тоже резко изменилось. Его „Дополнение“ к статье Энгельса начинается словами: „Автор предыдущей статьи должен был еще более подчеркнуть ребяческий характер новых стихотворных попыток Бека. Тихие песни“ кишат доказательствами скороспелости, не выходящей за пределы ребяческих забав“. — K. Gutzkow. Nachträglich („Telegraph für Deutschland“, 1839, Dezember. Nr. 203, S. 1623).

<sup>22</sup> Петроградные знамения времени. МЭС, Из ранних произведений, стр. 357. — Впоследствии Энгельс выражался о Беке крайне резко. В „Deutsche Brüsseler Zeitung“ (12 и 15 IX 1847, Nr. 73, 74) он, между прочим, писал, что Бек воспевает робкое мелкобуржуазное убожество „бедняка“, с его бедными, благочестивыми и непоследовательными пожеланиями, „бедняка“ во всех формах, а не гордого, угрожающего и революционного пролетаря... Малодушие и непонимание, бабья сентиментальность, жалкое прозаическо-трезвенное мешанство, эти музы Бековой лиры, делают тщетные усилия казаться страшными. Они становятся только смешны. Их формированный бас

постоянно сбивается на комический фальцет. Их драматическое изображение гигантской борьбы Энкелада приводит лишь к забавным вывертам игрушечного плясунчика. МЭС, V, стр. 114—115.

<sup>23</sup> Harry Maupé. Immermann. Der Mann und sein Werk im Rahmen der Zeit- und Literaturgeschichte. München, 1921, S. 374.

<sup>24</sup> H. Heine. Der Schwabenspiegel („Jahrbuch der Literatur“, Hamburg, 1839, I. S. 339 f.)

<sup>25</sup> Карл Бек. МЭС, II, стр. 35—36.

<sup>26</sup> Письмо В. Греберу 20 ноября 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 328.

<sup>27</sup> Письмо Ф. Греберу 20 января 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 274.

<sup>28</sup> Письмо В. Греберу 30 декабря 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 334.

<sup>29</sup> Письмо Ф. Греберу 21 января 1840 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 335.

<sup>30</sup> Письма бр. Греберам 18 сентября 1838 г., В. Греберу 30 июля, 8 октября 1839 г., Ф. Греберу 9 декабря 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 267, 316, 317 и 332.

<sup>31</sup> Например, An den Feind („Der Stadtbote“, 24 II 1839, Nr. 4), MEGA, II, S. 9).

<sup>32</sup> An den Stadtboten („Bremisches Unterhaltungsblatt“, 27 IV 1839, Nr. 34, S. 280). Оно приводится в письме В. Греберу 29 апреля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 295.

<sup>33</sup> Свои пантеистические воззрения Шелли полнее всего выразил в „Царице Маб“. Шелли. Полн. собр. соч., т. 1. Изд. „Знание“, СПб., 1907, стр. 295 и сл.

<sup>34</sup> МЭС, II, стр. 458.

#### К главе IV

<sup>1</sup> Heinrich Reuck. Platens politisches Denken und Dichten. Breslau, 1910, S. 48 f.

<sup>2</sup> Heinrich Laube. Erinnerungen (Gesammelte Schriften, I. (Wien, 1875, SS. 178—179); Th. Mundt. Heine, Börne und das sogenannte junge Deutschland. „Der Freihafen“. Heft 4. Altona, 1840, SS. 244—245, 261; Th. Mundt. „Literarischer Zodiacus“, 1835, SS. 15 f., 281 f.

<sup>3</sup> Otto Dreger. Theodor Mundt und seine Beziehungen zum jungen Deutschland. Marburg, 1909.

<sup>4</sup> H. Laube, ib., Kap. 29, SS. 325—329; Karl Nolle. Heinrich Laube als sozialer und politischer Schriftsteller. München, 1915.

<sup>5</sup> Фр. Меринг. История германской социал-демократии, т. 1. СПб., 1906, стр. 95.

<sup>6</sup> Комментарии и заметки на полях к современным текстам. МЭС, II, стр. 236.

<sup>7</sup> Стихотворение, озаглавленное „Июльские дни в Германии“, приложено к письму, написанному Ф. Греберу в конце июля или в начале августа 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 311.

<sup>8</sup> L. Kalisch. Paris und London, I. Frankfurt a/M., 1851, S. 42.

<sup>9</sup> Heinrich Heine. Ludwig Börne (Sämtliche Werke, XII. Hamburg, 1868, S. 185). Генрих Гейне. Полн. собр. соч., т. 8. М.—Л., 1935—1949, стр. 78.

<sup>10</sup> О Берне: K. Gutzkow. Börne's Leben (Gesammelte Werke, VI, Frankfurt a/M., 1845); C. Alberti. Ludwig Börne (1786—1837). Leipzig, 1886; M. Holzmann. Börne's Leben und Werken, Berlin, 1888; G. Brandes. Hauptströmungen der Literatur des 19. Jahrhundert, III, Berlin, 1924; его же, Молодая Германия. Собр. соч., т. 11—12. Изд. 2-е, СПб., 1909; его же, Людвиг Берне и Генрих Гейне. СПб., 1899; Dr. G. Ras. Börne und Heine als politische Schriftsteller. Groningen, den Haag, 1927; E. Н. Утин. Политическая литература Германии. Людвиг Берне. „Вестник Европы“, 1870, март-май.



<sup>11</sup> Письмо В. Греберу 24 мая — 15 июня 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 297.

<sup>12</sup> Александр Юнг. „Лекции о современной литературе немцев“. МЭС, I, стр. 479.

<sup>13</sup> Письмо В. Греберу 30 июля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 312—313.

<sup>14</sup> МЭС, Из ранних произведений, стр. 315.

<sup>15</sup> Письма Ф. Греберу 29 октября 1839 г.; В. Греберу 20 ноября 1839. МЭС, Из ранних произведений, стр. 322, 325, 326 и 330.

<sup>16</sup> Северогерманский и южногерманский либерализм. МЭС, Из ранних произведений, стр. 498.

<sup>17</sup> Таким именем стилем написана его статья „Реквием для немецкой „Adelszeitung“, МЭС, Из ранних произведений, стр. 358—362.

<sup>18</sup> L. B ö r n e. Menzel der Franzosenfresser. Paris, 1837.

<sup>19</sup> Карл Бек. МЭС, II, стр. 36—37.

<sup>20</sup> Германская литература не могла избежать влияния того политического возбуждения, которое со времени событий 1830 г. охватило всю Европу. Почти все писатели того времени проповедовали ребяческий конституционализм или еще более ребяческий республиканизм. У литераторов, особенно у литераторов второго сорта, все больше и больше входило в привычку прикрывать недостаток литературных способностей политическими намеками, которые гарантировали, что на этих писателей будет обращено внимание. Стихи, романы, рецензии, драмы — все продукты литературы напичкивались „тенденцией“, т. е. более или менее робкими выражениями антиправительственного настроения. Как бы для того, чтобы завершить идейную спутанность, господствующую в Германии после 1830 г., эти элементы политической оппозиции перемешивались с плохо переваренными университетскими воспоминаниями о германской философии и с непонятными обрывками французского социализма, в особенности сен-симонизма; и группа писателей, которая оперировала этим конгломератом разнообразных идей, полная тщеславия сама дала себе титул „Молодой Германии“, или „Новой школы“. С той поры она успела раскатыться в грехах своей молодости, но ее общий характер от этого не улучшился („New-York Tribune“, 25 X 1850). К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. III. М., стр. 246.

Еще позднее в письме к Авг. Бебелю от 15 декабря 1879 г. Энгельс замечает мимоходом: „Гуцков и Лаубе... уже задолго до 1848 г. зарыли в землю последние остатки своего политического достоинства, если они когда-либо таковое имели“. August B e b e l. Aus meinem Leben, III. Stuttgart, 1914, S. 83; Ср. также статью Энгельса „Alexander Jung und das Junge Deutschland“. МЭС, II, стр. 246—254.

<sup>21</sup> Александр Юнг. „Лекции о современной литературе немцев“. МЭС, I, стр. 478.

<sup>22</sup> Письмо Ф. Греберу 9 декабря 1839 г. — 5 февраля 1840 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 335.

<sup>23</sup> Ретроградные знамения времени. МЭС, Из ранних произведений, стр. 356.

<sup>24</sup> Эрнст Мориц Арндт. МЭС, Из ранних произведений, стр. 370.

<sup>25</sup> Ф. Лассаль. Дневник, 24 июля 1840 г. Пг., 1919, стр. 118.

<sup>26</sup> Georg Herwegh. Gedichte und kritische Aufsätze aus den Jahren 1839 u. 1840. I. Belle-Vue, b. Constanz, 1845, SS. 17, 58, 112, 140, 155, 144; II, SS. 17, 18, 115 f. А также см.: М. Серебряков. Гервег и Маркс. „Литературный современник“, 1935, № 5, стр. 194 и сл.

<sup>27</sup> См.: Ernst Baldinger. Georg Herwegh. Die Gedankenwelt der „Gedichte eines Lebendigen“. Bern, 1917; Karl Hensold. Georg Herwegh und seine deutsche Vorbilder. Nürnberg, 1916. S. 25 f. — О влиянии Берне (и Гейне) на поколение 1840-х годов: Christian Petzet. Die Blütezeit der deutschen politischen Lyrik von 1840 bis 1850, München, 1903, S. 142; Valentin Pollack. Die politische Lyrik und die Parteien des deutschen Vormärz. Wien, 1911; Viktor Klemperer. Deutsche Zeitdichtung von den Freiheitskriegen bis zur Reichsgründung. Berlin — Leipzig, 1911; Paul Traeger. Die

politische Dichtung in Deutschland, Münchener Diss. Berlin, 1895; Adolf Trampe. Georg Herwegh, sein Leben und sein Schaffen. Münsterer Diss. Borna — Leipzig, 1910.

<sup>28</sup> Эрнст Мориц Арндт. МЭС, Из ранних произведений, стр. 363.

<sup>29</sup> Александр Юнг. „Лекции о современной литературе немцев“. МЭС, 1, стр. 480—481.

<sup>30</sup> Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. МЭС, XIV, стр. 635.

<sup>31</sup> К. Маркс. Brief an Heine, April 1846 („Archiv f. d. Geschichte d. Sozialismus u. d. Arbeiterbewegung“, 1920, IX, SS. 132—133). МЭС, XXV, стр. 11.

<sup>32</sup> К. Маркс. Капитал, т. I, отд. 7, гл. 22, прим. 63. МЭС, XVII, стр. 670.

<sup>33</sup> К. Маркс. Письмо Вейдемейеру 16 января 1852 г. МЭС, XXV, № 95, стр. 120.

<sup>34</sup> Письмо В. Греберу 30 июля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 314.

<sup>35</sup> Jakob Venedey. Preussen und Preussentum. Mannheim, 1839. — О Венедее: Wermuth u. Stieber. Die Kommunisten-Verschwörungen des neunzehnten Jahrhunderts. Berlin, 1853, SS. 14—22; Heinrich Schmidt. Ein Beitrag zur Geschichte des Bundes der „Geächteten“. „Die Neue Zeit“, 1898, XVI, I, S. 150 f.; Alfred Stern. Geschichte Europas seit der Verträgen von 1815 bis zum Frankfurter Frieden von 1871, IV. Stuttgart, 1921, S. 414 f.; Wilhelm Köppen. Jacob Venedey. Ein Beitrag zur Geschichte des demokratischen Gedankens in Deutschland. Frankfurt a/M., 1921.

<sup>36</sup> Письмо В. Греберу 29 октября 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 325.

<sup>37</sup> Письмо В. Греберу 13 ноября 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 326—329.

<sup>38</sup> Письмо Ф. Греберу 9 декабря 1839 г. — 5 февраля 1840 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 337—338.

<sup>39</sup> Немецкие народные книги, МЭС, Из ранних произведений, стр. 349.

<sup>40</sup> Не называемое Энгельсом „остроумное произведение“, это: Karl Gutkow. Zur Philosophie der Geschichte. Hamburg, 1836.

<sup>41</sup> Ретроградные знамения времени. МЭС, Из ранних произведений, стр. 353—357.

<sup>42</sup> Родина Зигфрида. МЭС, II, стр. 65.

<sup>43</sup> Эрнст Мориц Арндт. МЭС, Из ранних произведений, стр. 363—364.

<sup>44</sup> МЭС, Из ранних произведений, стр. 366.

<sup>45</sup> Письмо Ф. Греберу 22 февраля 1841 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 343.

<sup>46</sup> Письмо сестре Марии 29 октября 1840 г., стр. 137.

## К главе V

<sup>1</sup> Гегель. Феноменология духа (пер. под ред. Э. Л. Радлова). СПб., 1912, особенно „Введение“, стр. 35—42, а также: А. Сознание, стр. 43—77; Б. Самосознание, стр. 78—103; С (АА). Разум, стр. 104—197; (ВВ). Дух, стр. 198—306; (СС). Религия, стр. 307—357; (ДД). Абсолютное знание, стр. 358—368. См. также: Куно Фишер. Гегель, его жизнь, сочинения и учение. СПб., 1901, стр. 310 и сл.

<sup>2</sup> Гегель. Энциклопедия философских наук. Часть первая (Логика). М. — Л., 1930, стр. 145—146, 155—156.

<sup>3</sup> Гегель. Энциклопедия философских наук. Часть первая (Логика), стр. 157—160; 166—175.

<sup>4</sup> Гегель. Философия права. Соч., т. VII. М. — Л., 1934, стр. 15, 354 и сл.

<sup>5</sup> Гегель. Философия права, §§ 273, 275, 279, 289, 297—298, 300—301 и 303.

<sup>6</sup> Гегель. Философия права, §§ 316, 319—320.

<sup>7</sup> Фр. Меринг. История германской социал-демократии, т. 1, стр. 181.

<sup>8</sup> На нападки Менцеля младогегельянцы ответили статьей „Dr. Wolfgang Menzel und Hegel“ („Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst“ 6—7 VIII 1839, Nr. 187—188, SS. 1489—1501). — Били Менцеля и позднее: там же, 8—11, 13—14 IV 1840, Nr. 85—93, SS. 673—741, и 12 V 1840, Nr. 114, SS. 910—912.

<sup>9</sup> К. Е. Schubarth u. К. А. Carganice. Ueber Philosophie überhaupt und Hegels Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften insbesondere. Ein Beitrag zur Beurteilung der letztere. Berlin, 1829, SS. 142 f., 166 f., 214 f.; К. Schubarth. Ueber d. Unvereinbarkeit der Hegelschen Staatslehre mit dem obersten Lebens- und Entwicklungsprinzip des Preussischen Staats. Breslau, 1839, SS. 16, 28—30.

Ф. Forster (Noch ein Denunciant der Hegelschen Philosophie) подверг последнее произведение Шубарта едкой и беспощадной критике в „Hallische Jahrbücher“, 26 II 1839, Nr. 49, S. 385; См. также: Ein Rhein-preusse. „Hallische Jahrbücher“, 20—26 III 1841, Nr. 68—73, SS. 269—292.

Критиковал Шубарта и такой журнал, как „Der Freihafen. Galerie von Unterhaltungsbildern aus den Kreisen der Literatur, Gesellschaft und Wissenschaft“, Heft 2. Altona, 1839, SS. 245—250.

Хорошо „отделал“ его также Köppen (Ueber Schubarths Unvereinbarkeit der Hegelschen Lehre mit dem Preussischen Staate. „Telegraph für Deutschland“, 1839, April, Nr. 56—58., SS. 441—444, 457—463).

<sup>10</sup> Е. Степанова ошибается, утверждая, что „Штраус отрицал существование евангельского Христа“. — В. Степанова. Фридрих Энгельс. М., 1935, стр. 14.

<sup>11</sup> Karl Gutzkow. Rückblicke auf mein Leben, S. 140; его же, Vergangene Tage. Vorrede (Gesammelte Werke, XIII. Frankfurt a/M. 1852, S. XIV).

<sup>12</sup> Fr. Mehring. Nikolaus Lenau. „Die Neue Zeit“, 1902, II, Nr. 19, S. 577 f.; Louis Reunaud. N. Lenau, poète Lyrique. Paris, 1905. — Об отношении младогегельянцев к поэту см.: R. E. Prutz. Nicolaus Lenau. „Hallische Jahrbücher“, 3—9 IX 1839, Nr. 211—216, SS. 1684—1728.

<sup>13</sup> А. Ruge. Aus früherer Zeit, IV. Berlin, 1867, Kap. X, § 129, S. 473 f.; А. Ruge. Zwei Jahre in Paris, II. Leipzig, 1846, SS. 75—77. — С Хенгстенбергом и „Евангелической церковной газетой“ Ruge полемизировал в „Hallische Jahrbücher“, 23—26 V, Nr. 175—178, SS. 1393—1424.

<sup>14</sup> Heinrich Leo. Die Hegelingen, Aktenstücke und Belege zu der sog. Denunciation der ewigen Wahrheit. Halle, 1838; 2-е Aufl., Halle, 1839, SS. 2—3, 6, 12, 71—72, 75, 78, 91. См. также: Н. Leo. Sendschreiben an J. Görres. Halle, 1838. О. Г. Лео: Paul Krägelin. Heinrich Leo, I. Leipzig, 1908, S. 166 f.; Georg v. Below. Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen, München-Berlin, 1924, S. 17 f.; см. также его статью о Лео в „Archiv für Kulturgeschichte“, 1911, IX, S. 199 f.

В „Галлеских ежегодниках“ с Лео вели полемику: А. Ruge. Der Pietismus und die Jesuiten (5—11 II 1839, Nr. 31—36; SS. 241—288); L. Feuerbach. Der wahre Gesichtspunkt, aus welchem der „Leo-Hegelschen Streit“ beurteilt werden muss (12—13 III 1839; Nr. 62—63, SS. 481—492).

<sup>15</sup> „Неуязвимый Зигфрид“ приложен к письму Ф. Греберу 27 апреля 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 284—293.

<sup>16</sup> МЭС, Из ранних произведений, стр. 292.

<sup>17</sup> Письмо В. Греберу 24 мая — 15 июня 1839 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 300.

<sup>18</sup> О последнем: Ed. Gans. Rückblicke auf Personen und Zustände. Berlin, 1836; S. 215 f.

<sup>19</sup> А. Ruge. Aus früherer Zeit, IV, § 134, S. 487.

<sup>20</sup> Echtermeyer u. Ruge. Der Protestantismus und die Romantik, Verständigung über die Zeit und ihres Gegensätze. Ein Manifest. „Hallische Jahrbücher“, 12 X 1839, Nr. 245, S. 1953 f.; К. F. Köppen. Zur Feier der Thronbesteigung Friedrich II. „Hallische Jahrbücher“, 19—23 VI 1840, Nr. 147—150, SS. 1169—1197; А. Ruge. Zwei Jahre in Paris, II, SS. 79—80.

<sup>21</sup> Для попыток Руге пропитать систему Гегеля либеральными и демократическими моментами наиболее характерны следующие статьи его из „Hallische“ и „Deutsche Jahrbücher“: „Konsequenz der Reaktion“, 10 II 1840, Nr. 35, SS. 279—280; „Zur Kritik des gegenwärtigen Staats- und Völkerrechts“, 24—30. VI 1840, Nr. 151—156, SS. 1201—1243; „Das Manifest der Philosophie und seine Gegner“, 25 VII 1840, Nr. 178, SS. 1420—1424; „Erinnerungen aus dem äusseren Leben von Ernst Moritz Arndt“, 7—9 X 1840, Nr. 241—243, SS. 1921—1939; „Politik und Philosophie“, 5—7 XII 1840, Nr. 292—293, SS. 2329—2344; „Die Leipziger Allgemeine Zeitung und die öffentliche Meinung“, 13, 15—16 I 1841, Nr. 38—40, S. 150 f.; „Die Hegelsche Philosophie und der Philosoph in der Ausburger Allgem. Zeitung“, 9—12 VIII 1841, Nr. 33—36, S. 129 f.; „Der protestantische Absolutismus und seine Entwicklung“, 19 XI—2 XII—Nr. 121—132, SS. 481—526; „Die Zeit und die Zeitschrift“, 3 I 1842, Nr. 1; „Die Hegelsche Rechtsphilosophie und die Politik unserer Zeit“, 10—13 VIII 1841, Nr. 189—193, SS. 755—768; „Friedrich von Florencourt und die Kategorien der politischen Praxis“, 23—24 XI 1840, Nr. 281—282, S. 228.

<sup>22</sup> A. Ruge. Aus früherer Zeit, § 129, S. 473.

<sup>23</sup> Как видно, например, из его статьи „Петроградные знамена времени“. МЭС, Из ранних произведений, стр. 356.

<sup>24</sup> Аналогичную мысль высказывает Руге в письме к Вернеру от 3 мая 1839 г. Называя правых последователей философа „старой, поблекшей гвардией гегельянства“, он замечает: „Эти старые козлы утрированной терминологии — наихудшие враги самого Гегеля“. — A. Ruge. Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1825—1880, I. Hrsg. v. Nerrlich, Berlin, 1886, S. 168. См.: МЭС, Из ранних произведений, стр. 335.

<sup>25</sup> Письмо Ф. Греберу 9 декабря 1839 г. — 5 февраля 1840 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 335.

<sup>26</sup> Эрнст Мориц Арндт. МЭС, Из ранних произведений, стр. 370. — Здесь, пожалуй, уместно привести следующий отзыв об Энгельсе: „По правде говоря, Фридрих Энгельс не был тем, что принято называть философом; он, конечно, не „проработал“ своего Гегеля так, как это сделал его великий друг Карл Маркс, и проходил курс Берлинского университета скорее в качестве любителя. Но, не проникнув, может быть, в последние тайны гегелевского учения, он все же очень скоро понял, что можно было извлечь из него живого и революционного“. В. Groethuisen. Les Jeunes Hégéliens et les origines du socialisme contemporain en Allemagne („Revue Philosophique“, 1923, Mai-Juin, p. 384).

<sup>27</sup> Письмо В. Греберу 20 ноября 1840 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 338.

<sup>28</sup> С серьезным видом Энгельс обсуждает ее в „Morgenblatt für gebildete Leser“, 15—16 I 1841, Nr. 13—14, SS. 51—52, 54; MEGA, II, SS. 141—144 „Die Neue Rundschau“, 1913, September, S. 1244.

Об этом поповском споре см.: Bruno Weiss. Bilder aus der Bremischen Kirchengeschichte um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Bremen, 1896, SS. 4—22, 69 f.; Otto Veesk. Geschichte der reformierten Kirche Bremens. Bremen, 1919, SS. 131—133.

<sup>29</sup> Письмо Греберу 22 февраля 1841 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 340—341.

<sup>30</sup> „Leo rugiens“ — шуточное прозвище, которое Карл Розенкранц дал Руге в своей комедии: Karl Rosenkranz. Das Zentrum der Spekulation. Königsberg, 1840. Руге в письме к автору протестовал против этого прозвища: „Называть меня Leo rugiens (лев рыкающий) не годится; так самого Лео будут принимать за меня, ибо он, как ты знаешь, тоже рыкает“. — A. Ruge. Brief an Rosenkranz 3 Januar 1840, Nr. 120, S. 119; „Hallische Jahrbücher“, 4 VIII 1840, Nr. 186, S. 1487.

<sup>31</sup> A. Ruge. Briefe an L. Feuerbach 12 November 1839 u. 1 Mai 1842. (Ausgewählte Briefe von und an Ludwig Feuerbach, II. Hrsg. v. W. Bolin, Leipzig, 1904, Nr. 64 u. 136, SS. 22 u. 101).

<sup>32</sup> Письмо Ф. Греберу 22 февраля 1841 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 341—342.

<sup>33</sup> Точнее говоря, он вернулся во второй половине марта: в последнем письме к Марии, отправленном из Бремена, упоминается 11 марта; первое письмо ей же из Бармена послано 5 апреля 1841 г. (MEGA, II, SS. 611—613).

<sup>34</sup> „Воспоминания“ Иммермана. МЭС, Из ранних произведений, стр. 384—385. — По поводу этой статьи Ф. Шиллер (Энгельс и литература. „Летописи марксизма“, 1 (XI). М. — Л., 1930, стр. 44) ни с того, ни с сего пишет: „Энгельс все более пропитывается идеями немецкого народничества (?), о чем ярче всего свидетельствует статья об Иммермане, этом пионере народных тенденций в немецкой литературе“.

<sup>35</sup> Сам Энгельс в начале мая 1841 г. писал Марии: „Дней через 8—10 мы (отец и он) наверное отправимся в Милан“ (MEGA, II, S. 614).

<sup>36</sup> Скитания по Ломбардии („Athenäum“, 4 u. 11 XII 1841, Nr. 48—49, SS. 751—756. 767—769). МЭС, II, стр. 92—93.

<sup>37</sup> Rudolf v. Gottschall. Ulrich von Hutten. Königsberg, b. Th. Theile, 1843.

## К главе VI

<sup>1</sup> F. Engels. Gewalt und Ökonomie bei der Herstellung des neuen Deutschen Reichs („Die Neue Zeit“ 1895—1896, XIV, S. 770).

<sup>2</sup> Это совершенно ясно из его писем бр. Греберам от 18 сентября 1938 г. и 30 апреля 1839 г. или из статьи „Рейнские празднества“, напечатанной в „Рейнской газете“ от 14 V 1842 г., № 134. МЭС, Из ранних произведений, стр. 267, 296; МЭС, II, стр. 226.

<sup>3</sup> Описание Берлина того времени, данное современниками: Ernst Dronke. Berlin, I. Frankfurt a/M, 1816, SS. 7 f., 21 f.; Friedrich Sasz. Berlin in seiner neuesten Zeit und Entwicklung. Leipzig, 1846, S. 193 f.

<sup>4</sup> Как это удовлетворяется аттестатом, выданным ему 8 октября 1842 г. (MEGA, II, S. 635).

<sup>5</sup> Джон Спарго, книга которого о Марксе кишит ошибками и неточностями, ни с того, ни с сего утверждает, будто Энгельс проходил „коммерческий стаж в торговом деле в Берлине“. Это чистейшая выдумка. — John Spragg. Karl Marx, his life and work. New York, 1910 (Джон Спарго. Карл Маркс, жизнь и деятельность. Пг., 1924, стр. 54).

<sup>6</sup> Письма сестре Марии 5 января и 15 июня 1842 г., стр. 224—227.

<sup>7</sup> Эдуард Флотвель уже в ноябре 1841 г. писал из Берлина своему другу Иоганну Якоби об Энгельсе, как «известном Освальде из „Телеграфа“ (собственно молодой купец из рейнской провинции, который ныне отбывает здесь свой год с целью слушать Шеллинга и Вердера)». — Gustav Mayer, Pseudonym von Friedrich Engels („Archiv f. d. Geschichte d. Sozialismus u. d. Arbeiterbewegung“, 1914, IV, S. 87).

И. Ясинский допускает грубую ошибку, утверждая: „Фр. Энгельс проходил университетский курс в Бремене с 1838—1841 год“. В Бремене и университета не было.

<sup>8</sup> Шеллинг о Гегеле. МЭС, Из ранних произведений, стр. 387.

<sup>9</sup> Дневник вольнослушателя. МЭС, II, стр. 230.

<sup>10</sup> Robert Prutz. Zehn Jahre. Geschichte der neuesten Zeit, 1840—1850, I, Leipzig, 1850. S. 122; A. Ruge. Aus früherer Zeit, § 130, SS. 476—479; K. Gutzkow. Altenstein (Gesammelte Werke, II. Frankfurt a/M, 1845, S. 244); Hofmann v. Fallersleben. Mein Leben. 1-er Teil. Berlin, 1894, SS. 178—179; M. Lenz, ib., SS. 3—33.

<sup>11</sup> J. Hansen. Gustav von Mevissen. Ein rheinisches Lebensbild, 1815—1899, I. Berlin, 1906, S. 190 f.; II, S. 81 f.

<sup>12</sup> Rudolf v. Gottschall. Aus meiner Jugend. Erinnerungen. Berlin, 1898, SS. 96—97; J. Hansen, ib., I, S. 234 f.

<sup>13</sup> K. F. Köppen. Friedrich der Grosse und seine Widersacher. Eine Jubiläumschrift. Leipzig, 1840. — Как видно из статьи Руге и письма Эдгара Бауэра к брату, книга Кеппена появилась уже в мае 1840 г.: „Hallische Jahrbücher“, 25 V 1840, Nr. 125, SS. 999—1000; E. Bauer. Brief an B. Bauer

19 Mai 1840 (Briefwechsel zwischen Bruno Bauer und Edgar Bauer während der Jahre 1839—1842 aus Bonn und Berlin. Charlottenburg, 1844, S. 77).

<sup>14</sup> L. Buhl. Die Verfassungsfrage in Preussen nach ihrem geschichtlichen Verlaufe. Zürich u. Winterthur, 1842, SS. 3—4.

<sup>15</sup> M. Lenz. Geschichte der Universität zu Berlin, Heft II. Halle, 1918, S. 13; R. Prutz, ib., S. 207; Dronke, ib., ss. 181—182, 187, 191.

Когда Яков Гримм 30 апреля 1841 г. читал в Берлине свою первую лекцию, собралась огромная аудитория, которая приветствовала жертву произвола двойным „виват!“ в 300—400 голосов. „Athenäum“, 8 V 1841, Nr. 18, SS. 285—286.

<sup>16</sup> R. Prutz, ib., S. 243.

<sup>17</sup> R. Prutz, ib., S. 283.

<sup>18</sup> „Rheinische Zeitung“, 24 I 1842, Nr. 24.

<sup>19</sup> „Leipziger Allgemeine Zeitung“, 28 I 1842, Nr. 21.

<sup>20</sup> „Augsburger Allgemeine Zeitung“, 10 II 1842, Nr. 41.

<sup>21</sup> О нем: Ludwig Noack. Schelling und die Philosophie der Romantik. Berlin, 1859, S. 428 f.; M. Lenz, ib., II, SS. 10—11.

<sup>22</sup> „Athenäum“, 6 II 1841, Nr. 6, SS. 95—96.

<sup>23</sup> Доклад Рохова королю от 26 февраля 1841 г.: G. Mayer. Die Anfänge des politischen Radikalismus im vormärzlichen Preussen. „Zeitschrift für Politik“, 1913, IV, S. 11.

<sup>24</sup> E. Dronke, ib., SS. 204—205; A. Ruge. Aus früherer Zeit, § 135, S. 493; A. Ruge, Brief an Fleischer 12 Juni 1841. Briefwechsel, (Nr. 145, SS. 229—230) приводит отрывок указанного предписания. См. также: Anekdoten zur neuesten deutschen Philosophie und Publicistik v. B. Bauer, L. Feuerbach, K. F. Köppen, K. Nauwerck, A. Ruge und einige Ungenannten. Hrsg. v. A. Ruge, Zürich u. Winterthur, 1843, SS. 3—55.

<sup>25</sup> R. Prutz, ib., S. 58.

<sup>26</sup> Bruno Bauer. Herr Dr. Hengstenberg. Kritische Briefe über den Gegensatz des Gesetzes und des Evangeliums. Berlin, 1839. О брошюре Бауэра. „Hallische Jahrbücher“, 21 V 1840, Nr. 122, SS. 972—976.

<sup>27</sup> Bruno Bauer. Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes. Bremen, 1840.

<sup>28</sup> J. H. Mackay (Max Stirner, sein Leben und sein Werk. Berlin, 1898, Kap. III) утверждает, будто в 1834 г. Бруно Бауэр занял в Берлине кафедру на богословском факультете. (Эта ошибка устранена в третьем издании: Berlin—Charlottenburg, 1914). П. А. Берлин (Карл Маркс и его время. М., 1923, стр. 25) тоже ошибается, полагая, что Б. Бауэр занимал „кафедру раньше в Берлине, а затем в Бонне“.

<sup>29</sup> В. Вауер. Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker, I. Leipzig, 1841, SS. 69, 71, VII, XX f.; Г. В. Плеханов. От идеализма к материализму. Соч., XVIII, стр. 155.

<sup>30</sup> В. Вауер. Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker und des Johannes, III. Braunschweig, 1842, S. 308.—В „Немецких ежегодниках“ о книге Бауэра писал D. Rhenius (14—16 IX 1842, Nr. 218—221, SS. 875—884).

<sup>31</sup> Циркуляр Эйхгорна см. в кн.: Edgar Bauer. Der Streit der Kritik mit Kirche und Staat. Bern, 1844, S. 60. См. также: M. Lenz, ib., II, S. 28.

<sup>32</sup> Philipp Marheineke. Einleitung in die öffentlichen Vorlesungen, über die Bedeutung der Hegelschen Philosophie in der christlichen Theologie. Nebst einem Separatvotum über Bruno Bauer's Kritik der evangelischen Geschichte. Berlin, 1842, S. 63 f. На эту брошюру отозвалась „Rheinische Zeitung“, I, VI, 1842, Nr. 152.

<sup>33</sup> E. Dronke, ib., SS. 209, 221; R. Prutz, ib., SS. 61—63; Dr Radge (Edgar Bauer). Die Bruno Bauersche Angelegenheit. „Deutsche Jahrbücher“, 27—30 VI 1842, Nr. 151—154, S. 601 f.; Dr. Radge. „Deutsche Jahrbücher“, 22—25 VII 1842, Nr. 173—175, SS. 692—693.

О деле Бауэра Руге и раньше писал в статьях, направленных против Зака: A. Ruge. Die Warheit in Sachen der bonner evangel. theolog. Facultät contra B. Bauer. „Hallische Jahrbücher“, 16 IV 1841, Nr. 91, SS. 363—364; A. Ruge. Ein nachträgliches Wort über bonner Kritik und Apologetik. „Hal-

lische Jahrbücher", 4—5 V 1841, Nr. 106—107, SS. 423—428; A. Ruge c. Bruno Bauer und die Lehrfreiheit („Anekdoten zur neuesten deutschen Philosophie“, I, SS. 119—142). В „Anekdoten“, I, SS. 143—150, см. также: M. Fleischer, 1842 n. Chr. und 399 v. Chr. В защиту Бауэра выступил и Науверк: K. Nauwerk. Bruno Bauer und die akademische Lehrfreiheit („Rheinische Zeitung“, 8 IX 1842, Nr. 251, Beiblatt).

<sup>34</sup> E. M. (eyen). Die Stellung der deutschen Journalistik („Athenäum“, 9 X 1841, Nr. 4), S. 633).

<sup>35</sup> Дневник вольнослушателя. МЭС, II, стр. 229—230.

<sup>36</sup> A. Ruge. Brief an Feuerbach 11 Februar 1841 (L. Feuerbach. Ausgew. Briefe. II, Nr. 106, S. 59).

<sup>37</sup> Шеллинг о Гегеле. МЭС, Из ранних произведений, стр. 386.

<sup>38</sup> K. A. Varnhagen von Ense. Tagebücher, II. Leipzig, 1861, S. 4.

<sup>39</sup> L. Noack, ib., S. 466; M. Lenz, ib., II, S. 45.

<sup>40</sup> Шеллинг о Гегеле. МЭС, Из ранних произведений, стр. 390—391.

<sup>41</sup> МЭС, Из ранних произведений, стр. 393.

<sup>42</sup> Дневник вольнослушателя. МЭС, II, стр. 230—231. — Эта статья Энгельса в „Рейнской газете“ впервые подписана инициалами его псевдонима — „Ф. О.“

<sup>43</sup> Шеллинг и откровение. Критика новейшего покушения реакции на свободную философию. Leipzig, 1842. МЭС, Из ранних произведений, стр. 394—445.

<sup>44</sup> Нельзя вообще не заметить, что вопрос об авторстве произведений, несомненно написанных Энгельсом, до недавнего времени был связан с большими недоразумениями. Его юношеский псевдоним был Фридрих Освальд. Между тем третья статья — „Письма из Вуппертала“ — подписана не „F. Oswald“, а „S. O(swald)“ („Telegraph für Deutschland“, 1839, November, Nr. 178, S. 1422). Это — очевидная опечатка. Что касается брошюры „Шеллинг и откровение“, то Руге (Brief an Rosenkranz. April 1841, SS. 272—273) приписывал ее Бакунину. Напротив, Ноак (Ludwig Noack. Schelling und die Philosophie der Romantik, II. Berlin, 1859, S. 477) свидетельствует, что ее написал именно Освальд. Зная оба свидетельства, М. Неттлау в своей мемуальной, но отпечатанной только на гектографе биографии Бакунина полагает, что „за Бакунина, говорят лишь письмо Руге, неопровержимый источник, и сама брошюра, поскольку в ней автор говорит самостоятельно, а не только реферировал или полемизирует“ (S. 42 f.). Между тем сам Энгельс уже в 1842 г. прямо и открыто признал себя автором брошюры, не открыв, впрочем, своего псевдонима (F. Engels. Schriften der Frühzeit, S. 198). Однако в частном письме к Руге от 15 июня 1842 г. он не только признал себя автором брошюры, но и раскрыл псевдоним, подписавшись: „Ф. Энгельс (Освальд)“ (MECA, II, 631; МЭС, Из ранних произведений, стр. 513). Вскоре Мерц (Mertz. Schelling und die Theologie. Berlin, 1845, SS. 27—28) тоже указал на А. (?) Энгельса, как на автора брошюры, а „Telegraph für Deutschland“, 1845, März, Nr. 45, S. 180, впервые публично разобрал псевдоним его в заметке: «Энгельс (Фридрих Освальд) и Гесс, прежний редактор „Рейнской газеты“, ныне пребывают в Берлине». Несмотря на это, Розенкранц (Karl Rosenkranz. Aus einem Tagebuch. Leipzig, 1854, S. 140) почему-то отождествлял Освальда с Юнгом, что было полной бессмыслицей. Значительно позднее „Barmer Zeitung“, I VII 1884, Nr. 151, в юбилейном номере, выпущенном по поводу своего пятидесятилетнего существования, снова отметила, что в ранней юности Энгельс поместил в „Телеграфе“ Гучкова „Письма из Вуппертала“, а потом написал названную брошюру, и что ему же приписывается сатирическая поэма „Christliches Heldengedicht“.

Указания газеты, перепечатанные в „Berliner Volkeblatt“, 3 VII 1884, воспроизвел Георг Адлер (Georg Adler. Geschichte der ersten socialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland. Breslau, 1885, S. 141), тем не менее считающий автором брошюры Бакунина (Handwörterbuch der Staatswissenschaften, sub verbo: Bakunin). Двумя годами позднее Ребер (Friedrich Roerber. Literatur und Kunst in Wuppertal. Jserlohn, 1886, S. 74) называл автором статьи о Вуппертале „Фрица Энгельса из Бармена“. Куно Фишер

(Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение. СПб., 1905, стр. 276) правильно утверждал, что брошюра написана Энгельсом.

Нерешенный вопрос снова поднял Паппенгейм (псевдоним Doubleyou) („Schelling und die Offenbarung“, auch ein Beitrag zur Geschichte der Berliner „Freien“. „Dokumente des Sozialismus“, 1902, I, SS. 436—447), не допускавший, что Освальд и Энгельс — одно и то же лицо. В той же книжке того же журнала очень близко к разрешению вопроса подошел Э. Бернштейн (E. Bernstein. Ein Paan des radicalen Junghegelianismus von 1842, SS. 553—558). Однако и он не мог отбросить мысли, что не Энгельс, а один из его друзей, действительно носивший фамилию Освальда, написал брошюру против Шеллинга. К выводам Паппенгейма и Бернштейна присоединился также Меринг в прибавлении к третьему тому „Литературного наследства“ (Nachlass, III, S. 489). Наконец, Michael Holzmann и Hanns Bohatta (Deutsches Anonymen-Lexikon, VI. Weimar, 1911, № 7415, S. 288) тоже считают автором брошюры Фр. Освальда, но, вопреки Мерцу, не А. (?) Энгельса.

Только Густаву Майеру удалось напасть на верный след и с полной несомненностью установить, что Энгельс долгое время скрывался под псевдонимом Освальда. Таким образом, этому трудолюбивому исследователю принадлежит заслуга, что он, можно сказать, открыл молодого Энгельса (G. Maueг. Ein Pseudonym von Friedrich Engels. „Archiv f. d. Geschichte d. Sozialismus u. d. Arbeiterbewegung“, hrsg. v. K. Grünberg, 1914, IV, SS. 86—89). Кроме того, позднее посчастливилось натолкнуться на совершенно бесспорное документальное доказательство, ускользнувшее от немецкого ученого: в 1921 г. среди автографов Национальной библиотеки в Берлине было найдено упомянутое уже подлинное письмо Энгельса к Руге от 15 июня 1842 г. Между тем находились люди, продолжавшие повторять старые басни. Таков, например, Гиммельфарб (К. Маркс и Ф. Энгельс. Святой Макс. Критика учения Штирнера. Пер. под ред. и вступ. ст. „Социальная философия Штирнера“ Б. Гиммельфарба. 1920, стр. 67 и 69).

<sup>45</sup> В. Вауег. Kritik d. evangel. Geschichte d. Synoptiker, I, S. VIII.

<sup>46</sup> Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах. МЭС, XIV, стр. 642.

## К главе VII

<sup>1</sup> Ludwig Feuerbach. Das Wesen des Christentums. 4-e Aufl., Leipzig, 1883, SS. 12—14. — О Фейербахе: С. Н. Старке. Ludwig Feuerbach. Stuttgart, 1885; F. Engels. Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. 5-e Aufl., 1910 (1-e Aufl., 1886); W. Boli n. Ludwig Feuerbach, sein Wirken und seine Zeitgenossen. Stuttgart, 1891; W. Boli n. Biographische Einleitung (Ausgew. Briefe von und an L. Feuerbach, I. Leipzig, 1904, SS. 3—211).

<sup>2</sup> Людвиг Фейербах. Избр. философские произв., т. II. Госполитиздат, 1955, стр. 17—18.

<sup>3</sup> Там же, стр. 18—20.

<sup>4</sup> Там же, стр. 33—40.

<sup>5</sup> Там же, стр. 45—46, 373.

<sup>6</sup> Шеллинг и откровение. МЭС, Из ранних произведений, стр. 394—396.

<sup>7</sup> Там же, стр. 396—399.

<sup>8</sup> Там же, стр. 399.— Пожалуй, стоит отметить, что эту часть брошюры поразительно напоминает статья В. Боткина (Соч., II., СПб., 1891, стр. 255 и сл.) в „Отечественных записках“, где он, несомненно после прочтения брошюры Энгельса, характеризует лекции Шеллинга.

<sup>9</sup> Там же, стр. 399—401, 403—404.

<sup>10</sup> Там же, стр. 412—414.

<sup>11</sup> Там же, стр. 417—420, 422.

<sup>12</sup> Там же, стр. 424, 430, 431, 442.

<sup>13</sup> Там же, стр. 442—444.

<sup>14</sup> Там же, стр. 443.

<sup>15</sup> Там же, стр. 445.



<sup>16</sup> G. Heine. Schelling in Berlin (Heinrich Wuttke. „Jahrbuch der deutschen Universitäten“, II. Leipzig, 1842, S. 22).

<sup>17</sup> „Deutsche Jahrbücher“, 28, 30—31 V 1842, Nr. 126—128, S. 504.

<sup>18</sup> Ruge. Brief an Rosenkranz, April 1842, Nr. 176, SS. 272—273.

<sup>19</sup> Ph. Marheineke. Kritik der Schellingschen Offenbarungsphilosophie. Berlin, 1843.

<sup>20</sup> Dr. H. E. G. Paulus. Vorläufige Appellation an das wahrheitswollende Publikum contra des Philosophen, Fr. W. Joseph von Schelling Versuch mittels der Polizei sich unwiderlegbar zu machen. Darmstadt, 1843, S. 11.

<sup>21</sup> Что автором брошюры является Энгельс, видно из его письма к Руге от 15 июня 1842 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 513—514. Ноак (L. Noack, ib., II, S. 477) ошибочно приписывал ее Бруно Бауэру.

<sup>22</sup> Шеллинг — философ во Христе. МЭС, Из ранних произведений, стр. 446—447.

<sup>23</sup> Там же, стр. 448—449.

<sup>24</sup> Там же, стр. 449—450.

<sup>25</sup> Там же, стр. 450—451.

<sup>26</sup> Там же, стр. 451—454.

<sup>27</sup> Там же, стр. 456.

<sup>28</sup> Там же, стр. 456—458.

<sup>29</sup> Там же, стр. 459—460, 463—464.

<sup>30</sup> „Rheinische Zeitung“, 6 V 1842, Nr. 126.

<sup>31</sup> „Königsberger Zeitung“, 7 V 1842, Nr. 104, S. 838.

<sup>32</sup> „Rheinische Zeitung“, 18 V 1842, Nr. 138, 6 VI 1842, Nr. 157.

<sup>33</sup> „Elberfelder Zeitung“, 18 V 1842, Nr. 135.

<sup>34</sup> „Allgemeine Augsburger Zeitung“, 19 V 1842, Nr. 139, S. 1112.

<sup>35</sup> „Rheinische Zeitung“, 29 V 1842, Nr. 149.

<sup>36</sup> A. Ruge. Das Selbstbewusstsein des Glaubens oder die Offenbarung unserer Zeit. „Deutsche Jahrbücher“, 17—18, 20—22, 25 V 1842, Nr. 143—147, 150, SS. 571, 579.

## К главе VIII

<sup>1</sup> Fr. Sasz. Berlin, SS. 142—145; H. Laube. Erinnerungen, Kap., 19, SS. 208—219; „Rheinische Zeitung“, 2 VII 1842, Nr. 183.

<sup>2</sup> Karl Wild. Karl Theodor Welker, ein Vorkämpfer des älteren Liberalismus. Heidelberg, 1913, S. 190.

<sup>3</sup> Сведения о „Свободных“ старательно собирал J. H. Mackay (Max Stirner, sein Leben und sein Werk. Berlin, 1898; 3-е Aufl., Berlin — Charlottenburg, 1914, Kap. III, SS. 55—81). — Впрочем, Маккай смотрит на них через слишком розовые очки.

<sup>4</sup> В „Der Freihafen. Galerie von Unterhaltungsbildern aus den Kreisen der Litteratur, Gesellschaft und Wissenschaft“ (Heft 1, Altona, 1838, S. 224) помещена коротенькая, но очень лестная для Мейена заметка, когда он занял редакторский пост „Literarische Zeitung“.

<sup>5</sup> E. Meyer. Heinrich Leo, der verhallerte Pietist. Ein Literaturbrief. Allen Schülern Hegels gewidmet. Leipzig, 1838.

<sup>6</sup> „Athenäum.“ Zeitschrift für das gebildete Deutschland. Berlin, 4 u. 11 XII 1841, Nr. 48—49.

<sup>7</sup> „Athenäum“, 23 I 1841, Nr. 4, SS. 59—60; MEGA, I, SS. 147—148. Стихотворения озаглавлены: „Der Spielmann“ и „Nachtliebe“.

<sup>8</sup> К. Маркс. Письмо к Руге 30 октября 1842 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 253; J. Hansen, ib., Nr. 165, S. 391.

<sup>9</sup> Ludwig Buhl. Der Beruf der preussischen Presse. Berlin, 1842; L. Buhl. Die Verfassungsfrage in Preußen nach ihrem geschichtlichen Verlauf. Zürich u. Winterthur, 1842, S. 49; L. Buhl. Die Bedeutung der Provinzialstände in Preußen. Berlin, 1842, S. 42 f.

<sup>10</sup> К. Маркс. Письмо к отцу 10 ноября 1837 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 14.

<sup>11</sup> К. Маркс. Письмо А. Руге 30 ноября 1842 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 251—252.

<sup>12</sup> О статье, посвященной Ранке, был напечатан лестный отзыв в „Athenäum“, 15 V 1841, Nr. 19, S. 302. Журнал называет ее „очень остроумной и резкой статьей“.

<sup>13</sup> „Deutsche Jahrbücher“, 1—4 6 VI 1842, Nr. 129—133, S. 515 f. Много лет спустя Энгельс в письме Виктору Адлеру от 4 декабря 1889 г. вспомнил об этой статье: «В своей превосходной критике „Истории Французской революции“ Г. Лео, помещенной в 1842 г. в „Рейнской газете“ (?), К. Ф. Кеппен дал объяснение, как битва при Флерусе положила конец террору». — Victor Adler. Aufsätze, Reden und Briefe. Heft 1; Victor Adler und Fr. Engels. Wien, 1922, S. 3.

<sup>14</sup> Руге написал о книге Кеппена хвалебную статью в „Hallische Jahrbücher“, 25 V 1840, Nr. 125, S. 999. См. также: A. Ruge, Köppen und Varnhagen, ein Gegensatz unserer Zeit. („Hallische Jahrbücher“, 30 VI 1840, Nr. 150, SS. 1243—1248).

<sup>15</sup> Об отношении других младогегельянцев, например Руге, к просветительной эпохе см.: A. Ruge. Neue Wendung der deutschen Philosophie. „Anekdoten“, II, S. 42 f.

<sup>16</sup> О Кеппене см. примечания Меринга: K. Marx — F. Engels. Gesammelte Schriften (Nachlass), I. Stuttgart, 1902, S. 31 f.

<sup>17</sup> О бр. Бауэр: Martin Kegel. Bruno Bauer und seine Theorien über die Entstehung des Christentums. Leipzig, 1908, S. 23—62; Ernst Barncol. Das entdeckte Christentum im Vormärz; Bruno Bauers Kampf gegen Religion und Christentum und Erstausgabe seiner Kampfschrift. Jena, 1927; David Koigen. Zur Vorgeschichte des modernen philosophischen Socialismus in Deutschland; Zur Geschichte der Philosophie und Socialphilosophie des Junghegelianismus. Bern, 1901, SS. 38—81.

<sup>18</sup> Bruno Bauer. Der christliche Staat und unsere Zeit. „Hallische Jahrbücher“, 7—12 VI 1841, Nr. 135—140, SS. 537 f., 549, 553.

<sup>19</sup> A. Ruge. Brief an Stahr 8. September 1841 (Briefwechsel, Nr. 152, S. 239).

<sup>20</sup> Время его переселения в Берлин устанавливается корреспонденцией из Бонна в „Rheinische Zeitung“, 8 V 1842, Nr. 128.

<sup>21</sup> (Анонимус). Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel den Atheisten und Antichristen. Ein Ultimatum. Leipzig, b. Otto Wigand. 1841; G. Mayer. Karl Marx und der zweite Theil der „Posaune“ („Archiv f. d. Geschichte d. Sozialismus“, 916, VII, S. 322 f).

<sup>22</sup> Предисловие, стр. 6—7, 12.

<sup>23</sup> Введение, стр. 44—45, 48—49.

<sup>24</sup> Гл. I—III, стр. 70, 72, 75.

<sup>25</sup> Гл. IV, стр. 80, 82, 84.

<sup>26</sup> Гл. IV—V, стр. 84, 89—91, 94—95.

<sup>27</sup> Гл. VI, стр. 97—98, 103—105.

<sup>28</sup> Гл. IX, стр. 117—118, 120, 126.

<sup>29</sup> Гл. X и XII, стр. 130—132, 150.

<sup>30</sup> В „Deutsche Jahrbücher“, 22 XII 1841, Nr. 149, SS. 594—596. См. также: Dr. Modus. Der Posaunist und das Zentrum der Hegelschen Philosophie. „Deutsche Jahrbücher“, 9—11 VI 1842, Nr. 136—138, SS. 542—550; A. Ruge. Neue Wendung der deutschen Philosophie („Anekdoten“, II, SS. 6—8).

<sup>31</sup> Joel. Philosophenwege. Berlin, 1901, S. 238.

<sup>32</sup> (Анонимус). Gegenwort eines Mitgliedes der Berliner Gemeinde wider die Schrift der siebenundfünfzig Berliner Geistlichen: Die christliche Sonntagsfeier, Ein Wort der Liebe an unsere Gemeinen. Leipzig, b. Robert Binder, 1842. — Перепечатано вновь в „Zeitschrift für Politik“, 1913, VI. Находка этого произведения и раскрытие его истинного автора составляет научную заслугу Густава Майера, предпославшего „Возражению“ несколько предварительных замечаний (S. 91—95).

<sup>33</sup> О французских просветителях он мог составить представление, читая „Немецкие ежегодники“.

<sup>34</sup> МЭС, т. II, стр. 563—564.

<sup>35</sup> Первое объявление о поэме напечатал „Schweizerischer Republikaner“, 9 XII 1842, Nr. 98, S. 404. — В добавление к примечанию 60 гл. VI не мешало заметить следующее. Мы не располагаем бесспорными, т. е. документальными, доказательствами, что автором поэмы был Энгельс. В свое время Паппенгейм (Deubleyou, ib., S. 442) утверждал, что «это, конечно, не Энгельс: так интимно он, разумеется, не был знаком со „Свободными“, из кружка которых происходит поэма». Исходя из этого неверного мнения, Паппенгейм высказывает предположение, что она написана Эдгаром Бауэром (S. 343).

На авторство Энгельса впервые указал Г. Майер в „Zeitschrift für Politik“, 1913, VI, S. 59. Апп., обещавший привести доказательства „в другом месте“. Однако в предисловии к собранию ранних сочинений Энгельса он ограничивается ссылкой на заметку в „Bärner Zeitung“ от 1 VII 1884 г. (Эту заметку текстуально приводит Д. Рязанов в „Очерках по истории марксизма“. М., 1923, стр. 99). Майер даже вынужден сделать признание: кроме сообщения газеты, у нас «нет непосредственного указания, что Энгельс — автор „Христианской героической поэмы“». Тем не менее издателю его ранних сочинений „кажется совершенно несомненным, что автором дерзкого стихотворения не мог быть никто иной, кроме Энгельса“ (F. Engels. Schriften der Frühzeit. Berlin, 1920, S. IX).

Лишь в 1930 г. (MEGA, II, S. IV) были приведены новые данные. Это два источника. Во-первых, биографическо-библиографический лексикон о живых писателях, изданный в 1846 г. на основании анкет, заполненных ими самими; лексикон (W. K o n e r. Gelehrtes Berlin im Jahre 1845. Verzeichnis im Jahre 1845 in Berlin lebender Schriftsteller und ihrer Werke. Berlin, 1846, S. 15), между прочим, сообщает об Эдгаре Бауэре, что «одновременно (в 1842 г.) он подготовил вместе с Фридрихом Освальдом „Христианскую героическую поэму“». Это указание перешло во второй источник: О. W i g a n d. Conversations-Lexikon, II. Leipzig, 1847, S. 31. Под словом „Edgar Bauer“ там тоже сообщается: «Вместе с громадной критической деятельностью у него оставалось еще время писать новеллы... и, как говорят, даже выпустить вместе с Освальдом (Энгельсом) комическую героическую поэму „Die bedräute Bibel“ (1842)». Приведенные данные устраняют последние сомнения в том, что Энгельс был, если не единоличным автором, то во всяком случае главным соавтором поэмы: Эдгар Бауэр совсем не обладал такими версификаторскими способностями, как Энгельс.

<sup>36</sup> МЭС, Из ранних произведений, стр. 466.

<sup>37</sup> Там же, стр. 467.

<sup>38</sup> Там же, стр. 470.

<sup>39</sup> Там же, стр. 473.

<sup>40</sup> Там же, стр. 483.

<sup>41</sup> Там же, стр. 483.

<sup>42</sup> Там же, стр. 485.

<sup>43</sup> Там же, стр. 485.

<sup>44</sup> Правда, М. Гесс, вопреки мнению Е. Степановой (Фридрих Энгельс. М., 1935, стр. 25), совсем не участвовал в кружке „Свободных“.

<sup>45</sup> J. M a s k a u, ib., 3-e Aufl; S. 61 и 70. У Маккая списывает А. Горнфельд (ib., стр. 7), уверяющий, что «частыми гостями „Свободных“ был автор „Капитала“ и его друг». Эту ошибку повторяет Дран, утверждая, что Энгельс примкнул к кружку „Свободных“, который „незادолго до того покинул Маркс“ (Ernst Drahn, Friedrich Engels, Ein Lebensbild zu seinem 100. Geburtstag. Wien, 1920, S. 6). Форлендер говорит, что у „Свободных“ за несколько месяцев до того бывал и Маркс (Karl Förlander. Marx, Engels und Lassale, als Philosophen. Stuttgart, 1920, S. 18). Наконец, в биографии Энгельса Е. Степанова (ib., стр. 24) тоже уверяет, что в „кружке вращался и Маркс“. Насколько ошибаются Маккай, а за ним Дран, Форлендер и Степанова, видно из недоуменного вопроса, который Маркс задает Руге еще 9 июля 1842 г.: «Не знаете ли вы каких-нибудь подробностей о так называе-

ных „Свободных“?» Сам Маркс свидетельствует, что до сих пор не знает о них „ничего достоверного“. — К. Маркс. Письмо к Руге 9 июля 1842 г. МЭС, I, стр. 525.

<sup>46</sup> „Freikugeln“, Leipzig, 30 XII 1842, Nr. 52, S. 208.

<sup>47</sup> „Hamburger Literarische und Kritische Blätter“, 19 XII 1842, Nr. 220, S. 1044.

<sup>48</sup> „Hamburger Neue Zeitung“, 31 XII 1842, Nr. 303, S. 3.

<sup>49</sup> „Elbinger Anzeiger“, 18 I 1848, Nr. 5, S. 3. f., MEGA, II, S. LVI.

## К главе IX

<sup>1</sup> Эрнст Мориц Арндт. МЭС, Из ранних произведений, стр. 371.

<sup>2</sup> Там же, стр. 371—372.

<sup>3</sup> Hegel, Brief an Fr. Niethammer 28 Oktober 1808 (Briefe von an Hegel. 1-er Teil. Leipzig, 1887, S. 194).

<sup>4</sup> A. Ruge. Die Leipziger Allgem. Zeitung und die öffentliche Meinung. „Hallische Jahrbücher“, 15 II 1841, Nr. 39, S. 154.

<sup>5</sup> Bruno Bauer. Brief an Marx, 31 Januar 1841 (Nachlass, I, S. 60).

<sup>6</sup> Ludwig Buhl. Der Beruf der preussischen Presse. Berlin, b. Wilhelm Hermes, 1842, S. 4 f.

<sup>7</sup> Moses Hess. Die Tagespresse in Deutschland und Frankreich. „Rheinische Zeitung“, 12 VI 1842, Nr. 163 (Moses Hess. Sozialistische Aufsätze, 1841—1847. Hrsg. v. Theodor Zlocisti, Berlin, 1921, S. 19).

<sup>8</sup> Дневник вольнослушателя. МЭС, II, стр. 233—234.

<sup>9</sup> A. Ruge. Der protestantische Absolutismus und seine Entwicklung. „Deutsche Jahrbücher“, 27 XI 1841, Nr. 128, S. 509.

<sup>10</sup> I. G. A. Wirth. Das Nationalfest der Deutschen zu Hambach. Heft 1. Neustadt a/ Haardt, 1832, S. 3 f.; Th. Mundt. Heine, Börne u. das sog. junge Deutschland, SS. 201—210; Karl Theodor Heigel. Das Hambacher Fest 27 Mai 1832 („Historische Zeitschrift“, Bd. III, 1913, S. 54 f.); Heinrich v. Treitschke. Deutsche Geschichte im 19-ten Jahrhundert, IV. Leipzig, 1889, S. 261 f.; Alfred Stern. Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815 bis zum Frankfurter Frieden von 1871, IV. Stuttgart—Berlin, 1921, S. 314 f.

<sup>11</sup> Paul Kampffmeyer. Geschichte der modernen Gesellschafts-Klassen in Deutschland. Berlin, 1896, SS. 121—122; Paul Joachimsen. Vom deutschen Volk zum deutschen Staat. Eine Geschichte des deutschen Nationalbewusstseins. Leipzig, 1916, S. 75 f.; Manfred Stimming. Deutsche Verfassungsgeschichte vom Anfange des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Leipzig, 1920, SS. 41, 48, 49; O. Stillich. Die polit. Parteien in Deutschland, S. 224.

<sup>12</sup> Северогерманский и южногерманский либерализм („Rheinische Zeitung“, 12 IV 1842, Nr. 102). МЭС, Из ранних произведений, стр. 497—499.

<sup>13</sup> Там же, стр. 499.

<sup>14</sup> „Deutsche Jahrbücher“, 12 VIII 1841, Nr. 136, S. 141. См. также его статью: „Friedrich von Florenkourt und die Kategorien der politischen Praxis“. „Hallische Jahrbücher“, 23—24 XI 1840, Nr. 281—282, S. 2243 f.

<sup>15</sup> Edgar Bauer. „Deutsche Jahrbücher“, 15 II 1842, Nr. 38, S. 151; „Rheinische Zeitung“, 14 u. 15 VI 1842, Nr. 165—166.

<sup>16</sup> L. Buhl. Die Verfassungsfrage in Preußen. Zürich, 1842, S. 51; L. Buhl. Der Beruf der preussischen Presse. Berlin, 1842.

<sup>17</sup> Корреспонденция в „Кенигсбергскую газету“. МЭС, II, стр. 564.

<sup>18</sup> Carl Witt. Preußen seit der Einsetzung Arndts bis zur Absetzung Bauers. „Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz“. 1-er Teil. Hrsg. v. G. Herwegh, Zürich—Winterthur, 1843.

<sup>19</sup> Karl Rosenkranz. Ueber den Begriff der politischen Partei. Rede zum 18. Januar 1843 dem Krönungsfeste Preußens. Königsberg, 1843, S. 41.

<sup>20</sup> Ludwig Walesrode. Vier Öffentliche Vorlesungen, gehalten zu Königsberg. Königsberg, 1842.

<sup>21</sup> Комментарии и заметки на полях к современным текстам. МЭС, II, стр. 236.

<sup>22</sup> Otto Hintze. Die Hohenzollern und der Adel („Historische Zeitschrift“, 1914, Bd. 112, S. 521).

<sup>23</sup> K. Nauwerk. „Deutsche Jahrbücher“, 9—11 VIII 1841, Nr. 33—35, S. 135.

<sup>24</sup> „Athenaum“, 31 VII u. 1 VIII 1841, Nr. 30—31, S. 482. См. также L. Buhl. Die Bedeutung der Provinzialstände in Preußen, SS. 45 f., 51—52; L. Buhl. Die Verfassungsfrage, SS. 51—54, 58.

<sup>25</sup> A. Ruge. Briefe an Rosenkranz, April 1842, Nr. 176, S. 272, u. an Prutz, 18 November 1842, Nr. 186, S. 287.

<sup>26</sup> A. Ruge. Brief an Prutz 8 Januar 1852, Nr. 167, S. 259.

<sup>27</sup> A. Ruge. Vorläufiges über „Bruno Bauers Kritik der evangel. Geschichte der Synoptiker“ („Deutsche Jahrbücher“, 1 XI 1841, Nr. 105, S. 417).

<sup>28</sup> E. Bauer. Brief an B. Bauer 25 Februar 1842, S. 174,

<sup>29</sup> E. Bauer. Bruno Bauer und seine Gegner. Berlin, 1842, S. 5.

<sup>30</sup> K. Rosenkranz. Aus einem Tagebuch, S. 110.

<sup>31</sup> Фр. Меринг. История германской социал-демократии, т. 1, стр. 124 и сл.; М. Вагманн. Theodor von Schön, seine Geschichtschreibung und seine Glaubwürdigkeit. Berlin, 1910; Gustav Hasse. Theodor von Schön und die Steinsche Wirtschaftsreform, zugleich ein Beitrag zu einer Biographie Th. v. Schöns, Diss. Leipzig, 1915; Eduard Wilhelm Mayer. Politische Erfahrungen und Gedanken Theodors von Schön nach 1815 („Historische Zeitschrift“, 1917, Bd. 117, S. 432 f.)

<sup>32</sup> Johann Jacoby. Vier Fragen beantwortet von einem Ostpreußen. Berlin (Mannheim), 1841; b. Hirschwald, a также R. Prutz, ib., S. XXV; K. Науверк защищал „Четыре вопроса“ от нападок противников в „Anekdoten“, I, S. 219 f.

<sup>33</sup> Alexander Jung. Der Geist Königsbergs und der Provinz („Königsberger Literaturblatt“ 21 IX 1842, Nr. 51, SS. 401—404).

<sup>34</sup> Konstitutionelle Verfassungen („Königsberger Zeitung“, 1842, Nr. 158).

<sup>35</sup> „Königsberger Zeitung“, 17 IX 1842; „Rheinische Zeitung“, 24 IX 1842, Nr. 267, 293, E. Dronke, ib., S. 222, Varnhagen v. Ense, ib., S. 106; R. Prutz, ib., II, SS. 117—119.

<sup>36</sup> E. Bauer. Brief an B. Bauer 25 Februar 1842, SS. 173—175. Как круто изменились отношения левых гегельянцев к Роттеку, можно наглядно убедиться, сравнив позицию Э. Бауэра с той оценкой, которую давал ему Рутенберг весной 1841 г. См. Zur Charakteristik von Rotteks, („Hallische Jahrbücher“, 30 IV—3 V 1841, Nr. 103—105, SS. 409—416), Th. Mundt Rotteck und Welcker („Der Freihafen“, 1839, Heft 2, SS. 158—178).

<sup>37</sup> К. Маркс. Письмо к Руге 5 марта 1842. МЭС, I, стр. 520.

<sup>38</sup> Edgar Bauer. Die liberale Bestrebungen in Deutschland, Heft 1; Die ostpreussische Opposition, Heft 2; Die badische Opposition. Zürich—Winterthur, 1843. Книга написана в 1842 г.

<sup>39</sup> F. Engels. Schriften der Frühzeit, S. XI.—Много лет спустя, сам Энгельс в письме Конраду Шмидту 26 ноября 1886 г. подтвердил, что он „сотрудничал время от времени в газете Гартунга“ (Кенигсбергской). МЭС, XXVII, стр. 667.

<sup>40</sup> Alexander Jung. Vorlesungen über die moderne Literatur der Deutschen. Danzig, 1842.

<sup>41</sup> Александр Юнг. „Лекции о современной литературе немцев.“ МЭС I, стр. 473—474. Это заглавие придумано Густавом Майером. Вместо него первоначально стояло приведенное выше название книги А. Юнга.

<sup>42</sup> Там же, стр. 475—476.

<sup>43</sup> Там же, стр. 477—478.

<sup>44</sup> Там же, стр. 478—479.

<sup>45</sup> Там же, стр. 479—480.

<sup>46</sup> Что А. Юнг действительно заигрывал с Шеллингом, видно из его статей в „Königsberger Literaturblatt“, 17 XI u. 29 XII 1841, Nr. 7 u. 13, SS. 49—52, 101—102.

<sup>47</sup> Там же, стр. 484—485. — Энгельс критикует статью А. Юнга о Фейербахе в „Königsberger Literaturblatt“, 24 XI 1, 8, 15 и 22 XII 1841, Nr. 8—12, SS. 57—61, 65—70, 73—75, 81—86 и 89—91.

<sup>48</sup> Там же, стр. 485—486. — Замечательно, что и Руге был крайне недоволен Юнгом: „Юнг слишком привержен старым традициям... Он делает огромные приготовления, а борется, неуклюже поворачиваясь, не доходя до сути, в одно и то же время растянуто и афористично“. А. Ruge. Brief an Rosenkranz 2 Mai 1840, Nr. 125, S. 203.

<sup>49</sup> А. Jung, Ein Bonbon für den kleinen Oswald, meinen Gegner in den Deutschen Jahrbücher („Königsberger Literaturblatt“, 20 VII 1842, Nr. 42, SS. 229—232).

<sup>50</sup> Фридрих Вильгельм IV. Король прусский. МЭС, 1, стр. 487—488.

<sup>51</sup> Там же, стр. 489—491.

<sup>52</sup> Там же, стр. 491—494.

<sup>53</sup> Там же, стр. 494—495.

<sup>54</sup> Дебаты шестого рейнского ландтага. МЭС, 1, стр. 30—84.

<sup>55</sup> „Rheinische Zeitung“, 14 VII 1842, Nr. 195, Beiblatt. Авторство Энгельса установлено проф. Иозефом Ганзенем, который, по словам Г. Майера (F. Engels. Schriften der Frühzeit, S. IX), нашел в архиве „Рейнской газеты“ рукопись статьи с пометкой Дагоберта Оппенгейма, что она принадлежит Энгельсу. МЭС, Из ранних произведений, стр. 505—512.

<sup>56</sup> Там же, стр. 505—511.

<sup>57</sup> Там же, стр. 511.

<sup>58</sup> К. Маркс. Письмо к Руге 10 февраля 1842 г. МЭС, 1, стр. 519.

<sup>59</sup> К. Маркс. Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции. МЭС, 1, стр. 7.

<sup>60</sup> Там же, стр. 14—18.

## К главе X

<sup>1</sup> Письма из Вупперталя. МЭС, 1, стр. 451—456.

<sup>2</sup> См. гл. IV, стр. 92—94.

<sup>3</sup> См. гл. III, стр. 75—78.

<sup>4</sup> Эрнст Мориц Арндт. МЭС, Из ранних произведений, стр. 373—374.

<sup>5</sup> Theodor Zlocisti. Moses Hess, der Vorkämpfer des Sozialismus und Zionismus, 1812—1875. Berlin, 1921, SS. 16—27. — Эта единственная сколь угодно научная биография Гесса страдает очень большими недостатками. Кроме нее см.: Georg Adler. Die Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland. Breslau, 1885, S. 84 f. (Вся книга поверхностная и легкомысленная компиляция); David Koigen. Zur Vorgeschichte des modernen philosophischen Sozialismus in Deutschland. Bern, 1901, Kap. I—II, SS. 147—205 (основательное, но тяжеловесное исследование); Franz Mehring. Die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, I. 3-e Aufl., Stuttgart, 1906 (русск. пер.: СПб., 1906, стр. 262 сл.); F. Mehring. Nachlass, II. Stuttgart, 1902, S. 358 f.; Emil Hammacher. Zur Würdigung des „wahren“ Sozialismus („Archiv f. d. Geschichte d. Sozialismus u. d. Arbeiterbewegung“, 1911, I, S. 41 f.); Peter v. Struve. Studien und Bemerkungen zur Entwicklungsgeschichte des wissenschaftlichen Sozialismus („Die Neue Zeit“, 1896—97, XV, 1—2, SS. 68, 224, 269); Г. Лукач. Новая биография М. Гесса (Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, III, 1927).

<sup>6</sup> Ф. Энгельс. Письмо Марксу 7 марта 1845 г. МЭС, XXI, № 4, стр. 15.

<sup>7</sup> М. Hess. Brief an Marx 29 Mai 1846 (Nachlass, II, SS. 370—371).

<sup>8</sup> (Anonymus). Die europäische Triarchie. Leipzig, Otto Wigand. 1841.

<sup>9</sup> См. гл. V и X, стр. 111—113 и 240.

<sup>10</sup> Die europäische Triarchie, SS. 3, 22, 27, 30—33, 46, 49, 57, 83, 125, 142.

<sup>11</sup> Die europäische Triarchie. SS. 52—54, 104, 114, 151, 156—163. Идею триархии Гесс заимствовал, несомненно, у Сен-Симона, который выдвинул ее еще в 1814 г.

<sup>12</sup> Dr. Lucius. Die europäische Triarchie („Athenäum“, 13 III 1841, Nr. 11, S. 163).

<sup>13</sup> „Athenäum“, 24 VIII 1841, Nr. 29, S. 462.

<sup>14</sup> K. Frantz. Ueber die Stellung der Fabrikarbeiter („Athenäum“, 5 VI 1841, Nr. 22—23, SS. 339—340).

<sup>15</sup> Ib., SS. 343—344.

<sup>16</sup> Ib., 12 VI, Nr. 23, S. 358. О Конст. Франце: Eugen Stamm. Konstantin Frantz, Schriften und Leben (1817—1856), 1 Teil. Heidelberg, 1907; Ottomar Suchardt. Konstantin Frantz. Ein Gedenkblatt zu seinem 100. Geburtstag. Dresden, 1924 (автор книжки — сентиментальный империалист).

<sup>17</sup> Franz Schmidt. Die neueren Entwürfe zu einer Regeneration der Gesellschaft („Der Freihafen“. Heft 3. Altona. 1840, SS. 1—53); Die feindlichen Elemente in der Gesellschaft („Der Freihafen“, 1841).

<sup>18</sup> L. Buhl. Die Weltstellung der Revolution („Athenäum“), 31 VII u. 7 VIII 1841, Nr. 30—31, S. 480).

<sup>19</sup> „Athenäum“, 23 X 1841, Nr. 42, S. 659.

<sup>20</sup> R. Prutz. Brief an Oppenheim 8 Dezember 1842 (J. Hansen, ib., Nr. 169, S. 395).

<sup>21</sup> M. Hess. Brief an Berthold Auerbach, 2 September 1841. Напечатано в „Archiv f. d. Geschichte d. Sozialismus u. d. Arbeiterbewegung“, 1922, X, S. 412.

<sup>22</sup> M. Hess. Gegenwartige Krisis der deutschen Philosophie („Athenäum“, 9 X 1841, Nr. 40, SS. 623—625); M. Hess. Sozialistische Aufsätze, 1841—1847. Hrsg. v. Th. Zlocisti, Berlin, 1921, S. 8. В дальнейшем статьи Гесса цитируются по этому изданию.

<sup>23</sup> Das Rätsel des 19. Jahrhunderts („Rheinische Zeitung“, 19 IV 1842, Nr. 109, SS. 12—13).

<sup>24</sup> „Rheinische Zeitung“, 19 IV 1842, Nr. 109, Beiblatt.

<sup>25</sup> Ib., 21 IX 1842, Nr. 111, Beiblatt.

<sup>26</sup> Deutschland und Frankreich in Bezug auf die Zentralisationsfrage („Rheinische Zeitung“, 17 V 1842, Nr. 137, SS. 13—14).

<sup>27</sup> Ib., S. 14.

<sup>28</sup> Ib., SS. 18—19.

<sup>29</sup> „Rheinische Zeitung“, 18 IX 1842, Nr. 261, Beiblatt. Перед этой статьей стоит корреспондентский знак Энгельса.

<sup>30</sup> F. Engels. Brief an Ruge 27 Juli 1842. MEGA, II, SS. 631—632; МЭС, II, стр. 565—566.

<sup>31</sup> Heinrich Heine. Französische Zustände, XLI. Paris, den 20 Juni 1842 (Sämtliche Werke, X. Hamburg, 1868, SS. 54—56). — Следует иметь в виду, что первоначальный текст корреспонденций в „Аугсбургской всеобщей газете“ отличается от текста последующих изданий.

<sup>32</sup> Ib., XLII, Paris, den 12 Juli 1842, SS. 56—60.

<sup>33</sup> Ib., XLVI, Paris, den 29 Juli 1842, SS. 76—77.

<sup>34</sup> Ib., Brief 6 April 1842, SS. 159—160.

<sup>35</sup> Ib., SS. 163—164.

<sup>36</sup> Ib., Brief 18 April 1842, SS. 275—278.

<sup>37</sup> Отто Виганд дал первую публикацию о появлении книги в „Deutsche Jahrbücher“, 14 XI 1842, Nr. 219, S. 876.

<sup>38</sup> Wilhelm Roscher. Geschichte der National-Ökonomik in Deutschland. München, 1874, § 206, S. 1020.

<sup>39</sup> Werner Sombart. Der Sozialismus und die soziale Bewegung in neunzehnten Jahrhundert. Jena, 1896 (русск. пер. под ред. В. Богучарского, СПб., 1902, стр. 89); 5-е Aufl., Jena, 1905, S. 50; 6-е Aufl., Jena, 1906, S. 57. — В этих и последующих изданиях Зомбарт присоединяет к Штейну еще „француза Луи Блана“.

<sup>40</sup> F. Mehring: 1) Politik und Sozialismus („Die Neue Zeit“, 1896, XV, 1, SS. 452—453); 2) Stein, Hess, Marx („Die Neue Zeit“, 1897, XV, 2, S. 380; 3) Neo-Marxismus („Die Neue Zeit“, 1901, XX, 1, SS. 387—388); 4) Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, I. 2-е Aufl., Stuttgart, 1902, SS. 252—253; 5) Nachlass, I, SS. 186—187.

<sup>41</sup> Th. G. Massaryk. Die philosophischen und soziologischen Grundlagen des Marxismus. Wien, 1899, S. 38 (русск. пер. П. Николаева, М., 1900, стр. 36—38; ср. также стр. 32 и сл.).

<sup>42</sup> G. Mayer. Fr. Engels in seiner Frühzeit, SS. 121—122;

B. Bauer. Vollständige Geschichte der Parteikämpfe in Deutschland während Jahre 1842—1846, II. Charlottenburg, 1847, S. 76 f. дает совершенно фантастическую картину „перехода к немецкому социализму и коммунизму“.

<sup>43</sup> M. Hess. Brief an Auerbach 19. Juni 1843 (Th. Zlocisti, ib., S. 59).

<sup>44</sup> Успехи движения за социальное преобразование на континенте. МЭС, I, стр. 539.

<sup>45</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Немецкая идеология. МЭС, IV, стр. 489.

<sup>46</sup> Briefe aus London an den „Schweizerischen Republikaner“ 9 Juni 1843. МЭС, II, стр. 290.

<sup>47</sup> Ein Fragment Jouriers über den Handel („Deutsches Bürgerbuch“, Mannheim, 1846, S. 53); MEGA, IV, SS. 409, 451; МЭС, V, стр. 45, 87. — Меринг перепечатал эту статью с некоторыми пропусками в Nachlass, II, S. 407.

<sup>48</sup> Рецензия на книгу К. Маркса: „Das Volk“, London, 6 VIII 1859. Перепечатали: M. Nettlau. Friedrich Engels über Karl Marx („Sozialistische Monatshefte“, Januar 1900); Ernst Drahn. Fr. Engels, Brevier, Wien, 1920. На русский перевели Д. Рязанов („Под знаменем марксизма“, 1923, № 2—3, стр. 49), а также В. В. Адоратский и А. Д. Удальцов (сб. „Исторический материализм“, М., 1924, стр. 121). Почему-то эта рецензия не попала в МЭС, т. XII, ч. 1.

<sup>49</sup> Ewerbeck. Brief an Weitling 15 Mai 1843; Bluntschli. Kommunisten in der Schweiz, S. 82. — У Эвербека в конце приведенного отрывка непереводная игра слов: „der Stein des Anstosses“ — камень преткновения.

<sup>50</sup> MEGA, V, S. 488; МЭС, IV, стр. 500.

<sup>51</sup> *ib.*, S. 478 — Джон Спарго (*ib.*, стр. 50) нелепо выдумывает, будто Маркс «в качестве главного редактора „Рейнской газеты“ отметил в статье, полной восторженных похвал, произведение Лоренца Штейна „История социального движения во Франции“, где социализм Фурье и Сен-Симона подвергался строгой критике» (?). Какой вздор!

## К главе XI

<sup>1</sup> „Königsberger Zeitung“, 17 VI 1842, Nr. 138. МЭС, Из ранних произведений, стр. 513—514.

<sup>2</sup> Robert Prutz. Zehn Jahre Geschichte der neuesten Zeit, II. Leipzig, 1857, S. 102.

<sup>3</sup> К. Маркс. Письмо к отцу 10 ноября 1839 г. МЭС, I, стр. 437.

<sup>4</sup> П. А. Берлин допускает неточность, когда пишет: „Весною 1841 г. Маркс сдал государственный экзамен при Йенском университете“ (*ib.*, стр. 25). Маркс никогда не посещал Иены, получив степень доктора заочно.

<sup>5</sup> К. Маркс. Письмо А. Руге 9 июля 1842 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 248—249.

<sup>6</sup> A. Ruge. Brief an Marx 7 August 1842 (Nachlass, I, S. 192).

<sup>7</sup> „Rheinische Zeitung“, 25 VI 1842, Nr. 126.

<sup>8</sup> B. Radge (анagramма Э. Бауэра). „Deutsche Jahrbücher“, 10 VIII 1842, Nr. 189, SS. 753—754.

<sup>9</sup> К. Маркс. Письмо к Руге 30 ноября 1842 („Documente des Socialismus“, I, SS. 392—393); J. Hansen, *ib.*, Nr. 165, S. 390; МЭС, Из ранних произведений, стр. 251.

<sup>10</sup> Фр. Меринг. История германской социал-демократии, т. 1, стр. 389.

<sup>11</sup> „Rheinische Zeitung“, 29 IX 1842, Nr. 272.

<sup>12</sup> *ib.*, 30 IX 1842, Nr. 273.

<sup>13</sup> *ib.*, 3 X 1842, Nr. 276.

<sup>14</sup> *ib.*, 7 X 1842, Nr. 280.



<sup>15</sup> К. Маркс. Коммунизм и Аугсбургская газета „Allgemeine Zeitung“ МЭС, I, стр. 114—116.

<sup>16</sup> Там же, стр. 117.

<sup>17</sup> Впоследствии сам Маркс высказывался с полной ясностью о своем прежнем отношении к коммунизму: «В то время, когда благое желание „идти вперед“ во много раз превышало знание предмета, в „Рейнской газете“ послышались отзвуки французского социализма и коммунизма со слабой философской окраской. Я высказывался против этого дилетантизма, но вместе с тем в полемике с аугсбургской „Allgemeine Zeitung“ откровенно признался, что мои тогдашние знания не позволяли мне отваживаться на какое-либо суждение о самом содержании французских направлений».

К. Маркс. К критике политической экономии. Госполитиздат, 1949, стр. 6.  
<sup>18</sup> Замечая, что „Маркс был старше Энгельса на полтора года“, Г. Майер допускает грубую арифметическую ошибку: Маркс родился 5 мая 1818 г., а Энгельс — 28 ноября 1820 г.; следовательно, первый был старше второго более чем на 2½ года — на 31 месяц без одной недели. — G. Mayer. Engels in seiner Frühzeit. Berlin, 1920, S. 183.

<sup>19</sup> К. Маркс. Письмо к Руге 10 февраля 1842 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 240—241.

<sup>20</sup> A. Ruge. Brief an Stahr 8 September 1841 („Briefwechsel und Tagebuchblätter“, I. Berlin, 1886, Nr. 152, S. 239).

<sup>21</sup> К. Маркс. Письмо к Руге 5 марта 1842. МЭС, Из ранних произведений, стр. 241.

<sup>22</sup> К. Маркс. Капитал, т. I, гл. III., I. МЭС, XVII, стр. 115.

<sup>23</sup> К. Маркс. Дебаты шестого рейнского ландтага. Дебаты по поводу закона о краже леса. МЭС, I, стр. 159—160.

<sup>24</sup> МЭС, I, стр. 125, 123.

<sup>25</sup> G. Herwegh. Gedichte eines Lebendigen, I, Zürich u. Winterthur, 1841. Подробнее см.: М. Серебряков. Герверг и Маркс („Литературный современник“, 1935, № 5, стр. 197); Ernst Baldinger. G. Georg Herwegh. Die Gedankenwelt der „Gedichte eines Lebendigen“. Bern, 1917.

<sup>26</sup> Robert Prutz. Wilde, wilde Rosen (G. Herwegh. Briefwechsel mit seiner Braut. Stuttgart, 1906, SS. 256—258).

<sup>27</sup> Rudolf Gottschall. Walhalla, Herwegh (Lieder der Gegenwart. Königsberg, 1842).

<sup>28</sup> R. Gottschall. Aus meiner Jugend, Erinnerungen. Berlin, 1896, S. 113.

<sup>29</sup> Otto Lüning. An Georg Herwegh (Gedichte, Schaffhausen, 1844).

<sup>30</sup> L. Feuerbach. Brief an Herwegh 23—27 September 1842 (Ausgewählte Briefe. Leipzig, 1904, Nr. 147, S. 110).

<sup>31</sup> „Athenäum“, 25 IX 1841, Nr. 38, S. 603.

<sup>32</sup> „Rheinische Zeitung“, I X u. 9 XI 1842.

<sup>33</sup> Ib., 6 X 1842, Nr. 279.

<sup>34</sup> A. Ruge. Neue Lyrik („Deutsche Jahrbücher“, 13—16 IX 1841, Nr. 63—66, S. 251).

<sup>35</sup> Anonymus (Edgar Bauer). Georg Herwegh und die literarische Zeitung. Leipzig, b. Otto Wigand, 1843, SS. 7, 37.

<sup>36</sup> Julius Fröbel. Ein Lebenslauf, I. Stuttgart, 1890, S. 114.

<sup>37</sup> „Rheinische Zeitung“, I, 3 u. 6 X 1842, Nr. 274, 276, 279; Hansen. Gustav von Mevissen, I. Berlin, 1906, S. 261 f.; II, S. 92 f.

<sup>38</sup> „Rheinische Zeitung“, 19 X 1842, Nr. 292.

<sup>39</sup> „Zeitung für die elegante Welt“, 1843, Nr. 9, S. 215.

<sup>40</sup> G. Herwegh, ib., SS. 23—24.

<sup>41</sup> A. Ruge. Brief an Stahr 15 November 1842 (Briefwechsel, I, Nr. 185, S. 284).

<sup>42</sup> Herwegh. Brief an den Kreis der Rheinischen Zeitung in Köln, 22 November 1842 (J. Hansen. Rheinisch: Briefe u. Akten, Nr. 160, S. 383); V. Fleury. Le poete Georges Herwegh. Paris, 1911, pp. 89—97. — Из письма видно, что Герверг не посещал „Свободных“.

- <sup>1</sup> Внутренние кризисы. МЭС, 1, стр. 499.
  - <sup>2</sup> Там же, стр. 499.
  - <sup>3</sup> Там же, стр. 500—501.
  - <sup>4</sup> Там же, стр. 501—503.
  - <sup>5</sup> Хлебные законы. МЭС, 1, стр. 510—511.
  - <sup>6</sup> Английская точка зрения на внутренние кризисы. МЭС, 1, стр. 496.
  - <sup>7</sup> Позиция политических партий. МЭС, 1, стр. 505—506.
  - <sup>8</sup> Английская точка зрения на внутренние кризисы. МЭС, 1, стр. 496—497.
  - <sup>9</sup> Позиция политических партий. МЭС, 1, стр. 505—506.
  - <sup>10</sup> Хлебные законы. МЭС, 1, стр. 511.
  - <sup>11</sup> Положение Англии. МЭС, 1, стр. 576—577.
  - <sup>12</sup> Preston William Slosson. *The Decline of the Chartist Movement*. New York, 1916, pp. 63—64; Герман Шлютер. Чартистское движение. М., 1925.
  - <sup>13</sup> Sidney and Beatrice Webb. *History of Trade-Unionism*. London, 1920, ch. III, pp. 173—174.
  - <sup>14</sup> М. Бер. История социализма в Англии, ч. 2. Л., 1924, гл. XII.
  - <sup>15</sup> P. G. Gammage. *History of the Chartist Movement*. London, 1894, pp. 217—225; Ф. Энгельс. Одна из английских забастовок. МЭС, III, стр. 580.
  - <sup>16</sup> По истории чартизма см. вышецитированную книгу Бера, хорошо и богато документированную; к сожалению, она написана в то время, когда автор переживал реформистскую стадию своей своеобразной эволюции. Прекрасной поправкой к ней может служить кн.: Ф. Ротштейн. Очерки по истории рабочего движения в Англии. М. — Пр., 1923, — труд, написанный по первоисточникам с революционно-марксистской точки зрения.
- Среди остальной литературы о чартизме следует упомянуть известную книгу Гаммеджа — полулетопись, полувоспоминания; сам участник движения, Гаммедж впадает в крупные ошибки и обнаруживает пристрастие к некоторым вождям. John L. Tildsley. *Die Entstehung und die ökonomischen Grundsätze der Chartistenbewegung*. Jena, 1898, — одна из первых научных монографий о чартизме; написана на плохом немецком языке и изобилует неточностями. Ed. Dolléans. *Evolution du Chartisme*, I—II. Paris, 1912—1913. — умело составленная, но страдающая многословием работа, обнимающая почти 900 страниц; Доллеан далеко не всегда разбирается в различных направлениях чартизма. Hermann Schlüter. *Die Chartisten — Bewegung. Ein Beitrag zur sozialpolitischen Geschichte Englands*. Berlin, 1923 — дельный и содержательный труд, написанный в марксистском духе и с большим пониманием вопроса. Frank F. Rosenblatt. *The Chartist Movement*. New York, 1916, — видимо, широко задуманная, но не особенно глубокая история движения, которая выгодно отличается от подобных же работ беспристрастным и даже сочувственным отношением к вождям чартизма. Как бы продолжением ее является заслуживающая внимания и уже указанная книга Слоссона, автор которой обнаруживает знание, но не понимание движения. Слабее, хотя и не лишено научных достоинств, исследование М. Говелла: Mark Novoll. *The Charist Movement*. Manchester, 1918. Наконец, совсем поверхностную и легкомысленную вещь написал Дж. Вест: Julius West. *A History of the Chartist Movement*. London, 1920.

<sup>17</sup> Внутренние кризисы. МЭС, 1, стр. 503.

- <sup>1</sup> August Becker. *Brief an Weitling*, 15 XI. 1842 (Bluntschli, ib., S. 61).
- <sup>2</sup> J. Fröbel. *Brief an A. Becker* 5 März 1843 (ib., SS. 63—64).
- <sup>3</sup> A. Becker. *Brief an Weitling, ohne Datum* (Bluntschli, S. 64).
- <sup>4</sup> Письма из Лондона. МЭС, 1, стр. 512—513.

<sup>5</sup> Там же, стр. 514—515.

<sup>6</sup> Ее подробную историю дает John Morley (Life of Richard Cobden, I—II, London, 1908).

<sup>7</sup> Письма из Лондона. МЭС, 1, стр. 515—517.

<sup>8</sup> Там же, стр. 522—524.

<sup>9</sup> G. Mayer. Fr. Engels in seiner Frühzeit, S. 133.

<sup>10</sup> William Lovett. Life and struggles in his pursuit of Bread, Knowledge and Freedom. London, 1876, pp. 115, 158, 165, 182.

<sup>11</sup> Socialist. „Poor Man's Guardian“, 24 VIII 1833. — Во избежание недоразумений замечу, что впервые термин „социализм“ применен „Кооперативным журналом“, журналом, популяризовавшим идеи Оуэна, в его ноябрьской книжке за 1827 г.; „The Cooperative Magazine and Monthly Herald“, 1827, November, p. 509, note; Carl Crünberg. Der Ursprung der Worte „Sozialismus“ und „Sozialist“ („Zeitschrift für Sozialwissenschaft“, 1906, SS. 495—508); C. Grünberg. L'origine des mots „Socialisme“ et „Socialiste“ („Revue d'histoire des doctrines économique et sociales“, Paris, 1909, pp. 289—308); C. Grünberg. Der Ursprung der Worte „Sozialismus“ und „Sozialist“ („Archiv f. d. Geschichte d. Sozialismus“, 1911, II, SS. 372—379); J. Pumpsinsky. Die Kooperation und der Sozialismus in England in den 20-er und 30-er Jahren des XIX Jahrhunderts („Grünberg's Archiv“, 1911, Bd. II, S. 340); Louis Pierre Leroux. Ueber den Ursprung des Wortes „Sozialismus“ („Neue Zeit“, 1895—1896, XIV, I, Nr. 10, S. 283); M. Beer. History, I, part. II, ch. VI, pp. 185—186.

<sup>12</sup> R. Owen. An adress to the working classes (Life, I A., pp. 229—230).

<sup>13</sup> „The New Moral World“: Political Reformers, vol. IV, 25 XI 1837, Nr. 161, p. 37; The Radicals and the Socialists, 15 IX 1838, Nr. 203, p. 381; Is the universal suffrage necessary to the establishment or perpetuity of communities? 11 VIII 1838, Nr. 198, p. 329

<sup>14</sup> Письма из Лондона. МЭС, 1, стр. 518.

## К главе XIV

<sup>1</sup> Ф. Энгельс. Письмо Марксу 17 декабря 1850 г. МЭС, XXI, стр. 122.

<sup>2</sup> Ф. Энгельс. Письма Марксу 5 февраля и 26 августа 1851 г. МЭС, XXI, стр. 144 и 252; 3 апреля 1854 г. и 16 июня 1858 г., XXII, стр. 15 и 351.

<sup>3</sup> Письма из Лондона. МЭС, 1, стр. 518.

<sup>4</sup> Ф. Энгельс. Письмо Брюссельскому коммунистическому комитету сношений 16 сентября 1846. МЭС, XXI, стр. 34.

<sup>5</sup> Ф. Энгельс. Письмо Марксу 8 января 1851 г. МЭС, XXI, стр. 129.

<sup>6</sup> George Julian Harney. To the british and irisch democrats („London Democrat“, 4 V 1839, Nr. 4, p. 29).

<sup>7</sup> Edward Aveling. George Julian Harney: a struggler of 1848 („Social Democrat“, London, January 1897, vol. I. Nr. 1, p. 7).

<sup>8</sup> К. Маркс. Господин Фогт. МЭС, XII, ч. 1, стр. 308.

<sup>9</sup> К. Маркс. Письмо Энгельсу 8 мая 1869 г. МЭС, XXIV, стр. 198.

<sup>10</sup> Успехи движения за социальное преобразование на континенте. МЭС, I, стр. 525.

<sup>11</sup> Там же, стр. 525—526.

<sup>12</sup> Там же, стр. 527.

<sup>13</sup> Избранные сочинения Сен-Симона впервые издал его любимый ученик Оленд Родриг еще в 1832 г.

<sup>14</sup> Успехи движения за социальное преобразование на континенте. МЭС, стр. 528—529.

<sup>15</sup> Там же, стр. 529.

<sup>16</sup> Там же, стр. 530—531.

<sup>17</sup> Ф. Энгельс. Конституционный вопрос о немецкой социалистической литературе. МЭС, V, стр. 518; „Таймс“ о немецком коммунизме. МЭС, II, стр. 411.

<sup>18</sup> Успехи движения за социальное преобразование на континенте. МЭС, 1, стр. 530—531.

<sup>19</sup> Там же, стр. 530.

<sup>20</sup> Энгельс. К истории „Союза коммунистов“. МЭС, XVI, ч. 1, стр. 209; C. Grünberg. Die Londoner Kommunistische Zeitschrift und andere Urkunden („Grünberg's Archiv“, 1920, Bd. IX, SS. 254—255).

<sup>21</sup> G. Mayer. Fr. Engels, S. 126; F. Engels. Zur Geschichte des Bundes der Kommunisten (K. Marx. Enthüllungen über den Kommunistenprozess zu Köln. M., 1840, S. 13). Энгельс удостоверяет: „1843 hatte mir Schapper den Eintritt angetragen, den ich damals selbsttend ablehnte“.

<sup>22</sup> К истории „Союза коммунистов“. МЭС, XVI, ч. 1, стр. 210. — Полицейские ищейки Вермут и Штибор (Wermuth u. Stieber. Die Kommunisten — Verschwörungen des neunzehnten Jahrhundert. Berlin, 1853, S. 54) очень плохо разобрались в ситуации и утверждали, что „многих из главарей Лондонского коммунистического союза мы находим уже в Союзе изгнанников, например Шаппера, Энгельса и Бруна“. Это полицейская выдумка в отношении не только Энгельса, но и Шаппера.

<sup>23</sup> Успехи движения за социальное преобразование на континенте. МЭС, 1, стр. 533.

<sup>24</sup> G. Mayer, ib., S. 139.

<sup>25</sup> К. Маркс. Коммунизм и Аугсбургская „Allgemeine Zeitung“. МЭС, 1, стр. 117.

<sup>26</sup> К. Маркс. Die Heilige Familie (Nachlass, II, S. 127). МЭС, 2, стр. 33—34.

<sup>27</sup> К. Маркс. Misere de la philosophie. Paris, 1896, Apendice I, p. 246 [О Прудоне (письмо к Швейцеру)]. МЭС, XIII, ч. 1, стр. 23—24].

<sup>28</sup> G. Mayer. ib., SS. 150—151. См. также стр. 166 и 180.

<sup>29</sup> Georg Adler. Die Grundlagen der Karl Marx'schen Kritik der bestehenden Volkswirtschaft. Tübingen, 1887, S. 195: „Крайне важное понуждение и воздействие Прудона на Маркса неоспоримо“.

<sup>30</sup> Приблизительно одновременно с Энгельсом Маркс противопоставлял коммунизму Кабэ, Дезами, Вейтлинга и др. учение Прудона, указывая, что рядом с коммунизмом появились не случайно, а совершенно неизбежно другие социалистические учения, как, например, учения Фурье, Прудона и т. д. — Маркс. Письма из „Deutsch-Französische Jahrbücher“. МЭС, 1, стр. 379.

<sup>31</sup> Успехи движения за социальное преобразование на континенте. МЭС, 1, стр. 535—536.

<sup>32</sup> W. Weitling. Die Garantien der Harmonie und Freiheit. Mit einer biographischen Einleitung und Anmerkungen v. F. Mehring. Berlin, 1908. — О Вейтлинге литература невелика. Лучшие работы: Emil Kaler. Wilhelm Weitling, seine Agitation und Lehre. Nottingen — Zürich, 1887; Фр. Меринг. История германской социал-демократии, т. 1, стр. 111 и сл. Не лишены интереса: Charlotte v. Reichenau. Wilhelm Weitling („Schmollers Jahrbuch f. Gesetzgebung, Verwaltung u. Volkswirtschaft im Deutschen Reiche“, Heft 2, 1925, S. 21 f.); Ernst Barnikol. Weitling der Gefangene und seine Gerechtigkeit. Kiel, 1929; Bluntschli. Die Kommunisten in der Schweiz; Amedée Honnequin. Etudes sur l'Anarchie contemporaine. Le Communisme et la jeune Allemagne en Suisse. Paris, 1850; Wermuth u. Stieber. Die Kommunisten-Verschwörungen, S. 25 f.

В русской популярной литературе: В. Величина. Борец за свободу В. Вейтлинг. Биограф. очерк, II. М., 1919; В. Святловский. Вожди пролетарского движения, 1 (В. Вейлинг). Пг., 1919. Рецензия о них: М. Себряков. Новое о В. Вейтлинге („Книга и Революция“, 1921, № 7, стр. 14 и сл.)

<sup>33</sup> Ф. Энгельс. Из Германии. МЭС, II, стр. 425.

<sup>34</sup> К. Маркс. Критические заметки к статье „Пруссака“ — „Король прусский и социальная реформа“. МЭС, 1, стр. 443—444.

<sup>35</sup> Ф. Энгельс. „Таймс“ о немецком коммунизме. МЭС, II, стр. 413.

<sup>36</sup> F. Engels. Ein Fragment Fouriers über den Handel („Deutsches Bürgerbuch“, 1845, II, SS. 2—3), Nachlass, II, SS. 408, 409; МЭС, V, стр. 46, 47.

<sup>37</sup> Успехи движения за социальное преобразование на континенте. МЭС, I, стр. 537.

<sup>38</sup> Там же, стр. 537—538.

<sup>39</sup> Там же, стр. 540.

<sup>40</sup> Там же, стр. 541.

<sup>41</sup> М. Бер. Карл Маркс, его жизнь и учение. М. — Пг., 1923, стр. 58.

## К главе XV

<sup>1</sup> К. Маркс. Письма из „Deutsch-Französische Jahrbücher“. МЭС, I, стр. 371—372.

<sup>2</sup> МЭС, Из ранних произведений, стр. 255.

<sup>3</sup> A. Ruge. Brief an Herwegh 8 März 1843 (ib., Nr. 194, S. 303).

<sup>4</sup> A. Ruge. Brief an Ludw Ruge 3 Mai 1843 (ib., Nr. 198, S. 307); M. Hess. Ueber die sozialistische Bewegung in Deutschland („Neue Anekdoten“, Darmstadt, 1845, S. 128).

<sup>5</sup> A. Ruge. Brief an Fleischer 18 Juni 1843 (Briefwechsel, Nr. 201, SS. 311—312).

<sup>6</sup> A. Ruge. Brief an Stahr 23 Februar 1843 (ib., Nr. 192, SS. 299—300).

<sup>7</sup> Письмо Маркса А. Руге 13 марта 1843 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 255—256.

<sup>8</sup> A. Ruge. Brief an Feuerbach 24 Mai 1843 (Ausgew. Briefe, II, Nr. 156, S. 121); A. Ruge. Zwei Jahre in Paris, II. Leipzig, 1846, S. 91 f.

<sup>9</sup> L. Feuerbach. Brief an Ruge 2 Juni 1843 (ib., Nr. 158, S. 122).

<sup>10</sup> L. Feuerbach. Brief an Ruge 20 Juni 1843 (ib., Nr. 159, S. 123).

<sup>11</sup> Письмо Маркса Л. Фейербаху 20 октября 1843 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 258.

<sup>12</sup> A. Ruge. Brief an Fleischer 18 Juni 1843, Nr. 201, S. 314; Julius Fröbel. Ein Lebenslauf, I. Stuttgart, 1890, SS. 98 f., 104 f.

<sup>13</sup> A. Ruge. Brief an Ludw. Ruge 23 August 1843, Nr. 208, S. 330, u. an L. Feuerbach 15 Mai 1844, Nr. 215, S. 344.

<sup>14</sup> A. Ruge. Brief an seine Mutter 4 September 1843, Nr. 209, S. 332. — Такими же товарищами на деле были швейцарский радикал А. А. Л. Фоллен и шурин Гервега Густав Зигмунд. — J. Froebel, ib., S. 98.

<sup>15</sup> По свидетельству самого Маркса (К критике политической экономии. Предисловие. МЭС, XII, ч. 1, стр. 8), он „поддерживал постоянный обмен мнениями“ с Энгельсом „со времени появления его гениального очерка критики экономических категорий“.

<sup>16</sup> Briefe von und an Georg Herwegh, hrsg. v. Marcel Herwegh („1848“, München, 1898, S. 88, Anm.).

<sup>17</sup> Людвиг Фейербах. Предварительные тезисы к реформе философии. Избр. философские произв., т. I. Госполитиздат, 1955, стр. 14.

<sup>18</sup> Там же, стр. 116—117.

<sup>19</sup> Там же, стр. 117.

<sup>20</sup> Там же, стр. 118.

<sup>21</sup> Там же, стр. 122—123.

<sup>22</sup> Там же, стр. 127—128.

<sup>23</sup> Там же, стр. 130—132.

<sup>24</sup> Там же, стр. 132.

<sup>25</sup> Там же, стр. 132.

<sup>26</sup> Письмо Маркса А. Руге 13 марта 1843 г. МЭС, Из ранних произведений, стр. 257.

<sup>27</sup> Письма из „Deutsch-Französische Jahrbücher“. МЭС, I, стр. 372—373, 378.

<sup>28</sup> Там же, стр. 379.

<sup>29</sup> Там же, стр. 379—380.

<sup>30</sup> Там же, стр. 381.

<sup>31</sup> Положение Англии, МЭС, I, стр. 575.

<sup>32</sup> Там же, стр. 572.

<sup>33</sup> Th. Carlyle. *Sartre resartus: the life and opinions of Herr Teufel-dröckh*, vol. III. London, 1868, ch. X, pp. 168—172.

<sup>34</sup> *Ib.*, pp. 174—175.

<sup>35</sup> Th. Carlyle. *Chartism*. London, 1858, pp. 3—4, 7.

<sup>36</sup> *Ib.*, pp. 38, 41, 55 f.

<sup>37</sup> Th. Carlyle—*Past and Present*, vol. IV, ch. IV, p. 280 f.

<sup>38</sup> Марксистских работ о Карлейле нет, если не считать статьи Бернштейна: E. Bernstein. *Carlyle und d. sozialpolitische Entwicklung Englands* („Die Neue Zeit“, 1890—1891, IX, 1, Nr. 21—22, S. 665 f.). Все другие работы дают о нем либо крайне одностороннее, либо прямо извращенное представление. Упомянем следующие: H. Taine. *L'idéalisme anglais. Etude sur Carlyle*. Paris, 1884, p. 141 suiv; то же, в „*Histoire de la littérature anglaise*“, V. Paris, 1893, p. 307 suiv. (И. Тэн. *Новейшая английская литература в современных ее представителях*, пер. Д. С. Иваницкого. СПб., 1876, гл. IV, стр. 159—224); James Antony Froude. *Thomas Carlyle. A History of his life in London*. London, 1884; Gerhart v. Schulze-Gävernitz. *Carlyle. Seine Welt- und Gesellschafts-Anschauung*. 2-e Aufl., Berlin, 1897, S. 130 f.; Paul Hensel. *Thomas Carlyle*. Stuttgart, 1901, S. 161 f.; Friedr. Muckle. *Henri de Saint-Simon. Die Persönlichkeit und ihr Werk*. Jena, 1908, SS. 352—383; П. Л. Лавров. *Томас Карлейль* („Русский курьер“, 1881, № 64 и 68); впервые перепечатана в „*Этюдах западной литературы*“ (Пг., 1923, стр. 136—152); В. И. Яковенко. *Т. Карлейль, его жизнь и литературная деятельность*. СПб., 1891; А. Окольский. *Фома Карлейль и английское общество в XIX столетии*. Варшава, 1893, стр. 70—100; Н. И. Кареев. *Томас Карлейль*. Пг., 1923.

<sup>39</sup> G. Mauger. *ib.*, S. 160.

<sup>40</sup> *Положение Англии*. МЭС. т. 1, стр. 574.

<sup>41</sup> Там же, стр. 585.

<sup>42</sup> *Past and Present*, vol. IV, ch. I, p. 258.

<sup>43</sup> *Ib.*, vol. III, ch. XI, p. 223; ch. XII, p. 227.

<sup>44</sup> *Ib.*, vol. III, ch. XIII, p. 243; vol. IV, ch. II, p. 285, 266; ch. I, p. 258.

См. также: Th. Carlyle. *On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History*. London, 1841; То же: *Lectures on Heroes*, London, 1858; *Lecture, VI*, pp. 332—333, 336—337 etc.

<sup>45</sup> *Положение Англии*. МЭС, 1, стр. 590.

<sup>46</sup> Там же, стр. 591.

<sup>47</sup> Там же, стр. 592.

<sup>48</sup> Там же, стр. 592—593.

<sup>49</sup> Там же, стр. 595.

<sup>50</sup> *Past and Present*, p. 280.

<sup>51</sup> *Положение Англии*. МЭС, 1, стр. 596.

<sup>52</sup> *Наброски к критике политической экономии*. МЭС, 1, стр. 546.

<sup>53</sup> Там же, стр. 547—548.

<sup>54</sup> Там же, стр. 550.

<sup>55</sup> Там же, стр. 552.

<sup>56</sup> Там же, стр. 554.

<sup>57</sup> Там же, стр. 556.

<sup>58</sup> Там же, стр. 559.

<sup>59</sup> Там же, стр. 560.

<sup>60</sup> Там же, стр. 561.

<sup>61</sup> Там же, стр. 562—563.

<sup>62</sup> Там же, стр. 567—568.

<sup>63</sup> Там же, стр. 570—571.

<sup>64</sup> Adam Smith. *An Inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations*, vol. I. Edinburgh, 1828, ch., IV, p. 51. — На эту ошибку Энгельс обратил внимание еще Bruno Hildebrand (*Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft*. Frankfurt a/M., 1848, § 36, S. 166).

<sup>65</sup> A. Smith, *ib.*, ch. V., p. 50.

<sup>66</sup> David Ricardo. *Principles of Political Economy and Taxation*. London, 1932, ch. XX a. IV, pp. 258 f. a. 65 f.

<sup>67</sup> *ib.*, ch. I, § 6, pp. 7—8.

<sup>68</sup> A. Smith, *ib.*, ch. V, p. 54; см. также: ch. VI, p. 81.

<sup>69</sup> A. Smith, *ib.*, ch. VII, p. 23 f.; Ricardo, *ib.*, ch. IV, pp. 65—69; ch. XXX, p. 373 f.

<sup>70</sup> D. Ricardo, *ib.*, ch. XXX, p. 376.

<sup>71</sup> Много лет спустя сам Энгельс в письме к Либкнехту, написанном около 15 апреля 1871 г. (МЭС, XXVI, стр. 107), высказался о своей статье: „Она совершенно устарела и полна неточностей, которые лишь сбили бы с толку читателей. К тому же она написана еще целиком в гегелевской манере, которая тоже теперь уже абсолютно не подходит. Статья имеет значение разве только как исторический документ“. Ср.: Маркс, Письмо В. Либкнехту, 13 апреля 1871 г. МЭС, XXVI, стр. 107. В письме к Е. Паприц от 26 июня 1884 г. Энгельс писал еще определеннее: „Хотя я еще немножко горжусь этой своей первой работой в области социальных наук, я очень хорошо знаю, что теперь она совершенно устарела и полна не только ошибок, но и грубых промахов („boulettes“)“. МЭС, XXVII, № 239, стр. 389. А потому едва ли можно согласиться с Гаммахером (*ib.*, S. 48), что в то время Энгельс был „теоретически вполне современным экономистом“.

<sup>72</sup> К. Маркс. Капитал, I, гл. 1, стр. 28; гл. IV, прим. 5 и 33; XXIII, прим. 81; МЭС, XVII, стр. 85, 169, 182, 697; К. Маркс. К критике политической экономии. Предисловие. МЭС, XII, ч. 1, стр. 8.

<sup>73</sup> Fr. Mehring. Einiges über den jungen Engels („Neue Zeit“, 1895—1896, XIV, Nr. 3, S. 65). — Ту же мысль Меринг повторяет и в своей биографии Маркса (стр. 76).

<sup>74</sup> G. Mayer (*ib.*, S. 144), очевидно, по недосмотру пишет об его „пятнадцатимесячном социальном ученичестве в Англии“.

<sup>75</sup> Это неопубликованное письмо цитирует Mayer (*ib.*, S. 181).

<sup>76</sup> Hildebrand, *ib.*, S. 155. — Из 329 страниц своей книги он отводит Энгельсу стр. 155—282, т. е. 128.

## К главе XVI

<sup>1</sup> A. Ruge. Brief an seine Mutter 28 März 1844, Nr. 214, S. 341.

<sup>2</sup> M. Hess. Die sozialistische Bewegung in Deutschland, S. 128; A. Ruge. Brief an seine Mutter 19 Mai 1844, Nr. 216, S. 349.

<sup>3</sup> A. Ruge. Brief an Feuerbach 15 Mai 1844, Nr. 215, SS. 343—345, u. an Fleischer 20 Mai 1844, Nr. 217, SS. 352—354.

<sup>4</sup> Fr. Mehring. Nachlass, I, S. 346; G. Mayer. Der Untergang der „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ und des Pariser „Vorwärts!“ („Grünberg's Archiv“, 1912, Bd. II, SS. 421—422); J. Fröbel, *ib.*, SS. 1—34; Hebbel (*ib.*, S. 73) даже уверяет, что „Ежегодники“ вообще не были доставлены в Германию. Это, конечно, преувеличение.

<sup>5</sup> К. Маркс. Господин Фогт. МЭС, XII, ч. 1, стр. 302.

<sup>6</sup> К. Маркс. Критические заметки к статье „Пруссака“ — „Король прусский и социальная реформа“. МЭС, I, стр. 448.

<sup>7</sup> A. Ruge. Brief an Fleischer 9. Juli 1844, Nr. 220, S. 360.

<sup>8</sup> A. Ruge. Brief an Feuerbach, S. 346.

<sup>9</sup> A. Ruge. Brief an seine Mutter 28 März 1844, S. 342.

<sup>10</sup> A. Ruge. Brief an Fleischer, S. 359.

<sup>11</sup> A. Ruge. Brief an seine Mutter 10 Mai 1844, Nr. 216, S. 349, u. an Fröbel 4 Juni, Nr. 219, S. 358; A. Maiszner. Geschichte meines Leben, II, S. 149; Ermatinger, *ib.*, I, S. 123.

<sup>12</sup> A. Ruge. Brief an seine Mutter 19 Mai 1844, Nr. 216, S. 349.

<sup>13</sup> Heinrich Börsenstein. 75. Jahre in der alten und neuen Welt. I, Leipzig, 1884, S. 349.

<sup>14</sup> George Porter. Progress of the Nation. London, vol. I, 1836; vol. II, 1838; vol. III, 1838.

<sup>15</sup> Положение Англии. Восемнадцатый век. МЭС, 1, стр. 615.

<sup>16</sup> Там же, стр. 617.

<sup>17</sup> Даже Г. Майер в своей подробной биографии отделяется несколькими пустыми и ничего не говорящими фразами.

<sup>18</sup> Положение Англии, Английская конституция. МЭС, 1, стр. 618—621.

<sup>19</sup> Там же, стр. 622.

<sup>20</sup> Там же, стр. 622—623.

<sup>21</sup> Там же, стр. 623—626.

<sup>22</sup> Там же, стр. 635.

<sup>23</sup> Там же, стр. 642.

---



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.  
3

Предисловие . . . . .	
<b>Раздел первый</b>	
<b>Ранняя юность Ф. Энгельса</b>	
<b>Глава I. В семье, школе и конторе . . . . .</b>	<b>9</b>
Детство. — Барменское реальное училище. — Городская гимназия в Эльберфельде. Пансион д-ра Гантчке. — Выпускное свидетельство. — Гимназический кружок. — Уход из школы. — Положение Рейнской провинции. — Ее умственная жизнь. — Пробные стихотворные опыты: «Бедуины» и «Флорида». — Переезд Ф. Энгельса в Бремен. — Жизнь и деятельность в Бремене. — Умственные интересы. — Заключение.	
<b>Глава II. Борьба Ф. Энгельса с религиозными призраками . . . . .</b>	<b>18</b>
Внутренняя жизнь. — Самообразование. — Занятия поэзией. — Религиозные сомнения. — Реформатская община в Эльберфельде и ее пиетизм. — Вражда Ф. Энгельса к «вуппертальскому» пиетизму. — Влияние «Молодой Германии». — Разрыв с ортодоксией. — Супернатурализм и рационализм. — Д. Ф. Штраус и его «Жизнь Иисуса»: отношение к евангельским повествованиям, учение о мифотворчестве. — Отказ Ф. Энгельса от супернатурализма. — Шлейермахер. — Апогей религиозных сомнений Энгельса. — Колебания между Штраусом и Шлейермахером. — Решительный поворот к Штраусу. — Переход в нападение. — От Штрауса к Гегелю. — Поездка в Голландию и Англию. — «Ландшафты». — Заключение.	
<b>Глава III. «Молодая Германия» и первые литературные опыты Ф. Энгельса . . . . .</b>	<b>30</b>
Алтарь и трон — оплот реакции. — Младогегельянцы и младонемцы. — Первое знакомство с «Молодой Германией». — «Немецкий телеграф». — Умственные интересы Вупперталя. — «Письма из Вупперталя». — Младонемецкая литература и ее представители. — Свободолюбивые стремления младонемцев. — Присоединение к ним Энгельса. — Его общий взгляд на литературу «Молодой Германии». — Оговорки и колебания. — «Нагодные книги». — Практические замыслы и политические стремления. — Карл Бек. — Разочарование и поиски подлинной лирики. — Стихотворные упражнения. — «Вечер». — Его оценка .	
<b>Глава IV. Людвиг Берне и политические настроения Ф. Энгельса . . . . .</b>	<b>44</b>
Политическая борьба в литературе. — Половинчатость младонемецких писателей. — Сдержанное отношение к ним Энгельса. — Людвиг Берне и радикализм. — Новое увлечение Энгельса. — Берне и «Молодая Германия». — Берне и младогегельянцы. —	

Отношение к Гейне Энгельса и Маркса.—Нападки на немецких деспотов.—Венедий и его книга. Контрабанда запрещенных книг.—Тираноборство.—«Ретроградные знамена времени».—Охлаждение Энгельса к «Молодой Германии».—«Воспоминания» Э. М. Арндта.—Демократические и революционные настроения Энгельса

## Раздел второй

### Ф. Энгельс среди младогегельянцев

#### Глава V. От Гегеля к младогегельянцам . . . . . 59

Гегель и его философия.—Гегельянство — прусская государственная философия.—Сплочение реакции и «Гегелишки» Лео.—Позиция Энгельса.—«Неуязвимый Зигфрид».—Симпатии к гегельянству.—«Галлеские ежегодники».—Переход от философии к политике.—Диалектика и политические выводы.—Переход Энгельса к младогегельянцам.—Возвращение в отчий дом.—Иммерман.—«Воспоминания» Иммермана.—Путешествие в Швейцарию и Италию.—«Скитания по Ломбардии».

#### Глава VI. Университет и Шеллинг . . . . . 71

Прибытие в Берлин.—Вольноопределяющийся гвардейского пехотно-артиллерийского полка.—Достопримечательности прусской столицы.—Профессора университета: Шеллинг, Маргейнеке, Л. Ф. Генинг, Вердер и Михелет.—Идеализация младогегельянами государства.—Воцарение Фридриха Вильгельма IV.—Надежды левых гегельянцев.—Первые шаги нового короля.—Цензурный эдикт и ликование печати.—Христианско-романтическая реакция.—Удар по «Галлеским ежегодникам».—Бруно Бауэр и «Критика евангельской истории синоптиков».—Запрещение «Неполитических песен».—Вступительная лекция Шеллинга.—Шеллинг и Гегель.—Негодование Энгельса.—Лекции Маргейнеке.—Выступление Энгельса в поход против Шеллинга.—Разложение гегелевской философии .

#### Глава VII. Влияние Фейербаха и переход Ф. Энгельса к атеизму . 85

«Сущность христианства».—Разрыв с Гегелем.—Разоблачение религии.—Сущность человека.—«Гуманизм» Фейербаха.—«Шеллинг и откровение». Гегель и левые гегельянцы.—Политические моменты гегельянства.—Учение Шеллинга об откровении.—Несовместимость христианства с философией.—Энгельс между Гегелем и Фейербахом.—Восторженное отношение к примирению человека с самим собой и природой.—Выпад против Энгельса.—Энгельс — уже атеист, но еще не материалист.—«Шеллинг — философ во Христе».—Разоблачение Энгельсом философии откровения.—Смысл брошюры.—Отношение к ней современников.

## Раздел третий

### Ф. Энгельс в кружке «Свободных»

#### Глава VIII. «Свободные» и их вожди. «Христианская героическая поэма» Энгельса . . . . . 101

На рубеже 40-х годов.—Берлин.—Зарождение кружка.—Бруно Бауэр и учение о бесконечном самосознании.—Переход младогегельянцев к радикализму.—Атеизм.—«Трубный глас страшного суда над Гегелем, атеистом и антихристом».—Гегель как «якобинец» и «архиреволюционер».—Отзывы левых

гегельянцев и А. Юнга о памфлете. — Общая оценка «Свободных». Их последующая судьба. — Как Энгельс попал в кружок? — Его положение в Берлине. — «Христианская героическая поэма». — Появление поэмы, ее форма, стиль, — происхождение и содержание. Смысл поэмы. — «Размежевание умов». — Расчетливая политика Руге. — Ирония Энгельса. — Порицание Кеппену, Булю, Штирнеру и Фейербаху. — Немецкие «якобинцы»: бр. Бауэры, Маркс и сам Энгельс. — Периодическая печать о поэме.

#### Глава IX. Открытый разрыв Ф. Энгельса с «Молодой Германией» и либерализмом

127

Политический радикализм Энгельса. — Прусская эра реформ и французская революция. — Характер южногерманского либерализма. — Упадок либерализма. — Младогегельянцы и южногерманский либерализм. — Его критика Энгельсом. — Преимущества северогерманского либерализма. — Партийное самоопределение и борьба за принципы. — Гегельянство и кантианство. — Неопределенность границ между либерализмом, радикализмом и демократией. — Восточнопруссские либералы и Кант. — Северогерманская и восточнопрусская оппозиция. — Первые стычки радикализма с либерализмом. Начало войны с либерализмом. — Выступление Эдгара Бауэра. — Э. Бауэр и Энгельс. — «Золотая середина». — Александр Юнг. — Противопоставление Берне «Молодой Германии». — Открытый разрыв Энгельса с «Молодой Германией» и его причины. — Осуждение Кюне, Мундта и Гейне. — «Немецкий вестник из Швейцарии». — Статья о Фридрихе Вильгельме IV. — Первое влияние Маркса. — «Дебаты о свободе печати в рейнском ландтаге». — Борьба Маркса и Энгельса за свободу печати. — К критике прусских законов о печати. — «Философские анекдоты» и статья Маркса о прусской цензурной инструкции.

### Раздел четвертый

#### Поворот Ф. Энгельса к коммунизму

#### Глава X. Ростки социалистических идей в Германии

158

Промышленность Вуппертала. — Положение рабочих. — Отроческие и юношеские впечатления Энгельса. — Недовольство социальными порядками. — Партизанские вылазки против промышленников, купцов и помещиков. — Новые горизонты в Берлине. — Моисей Гесс и его книга «Европейская триархия». — Идея социальной революции. — «Атеней» о социальной революции и пролетариате. — Проникновение социалистических идей в Германию. — Встреча Гесса с Марксом. — Политическое отречение младогегельянцев. — Выход «Рейнской газеты». — «Загадка XIX века». — О социальной революции в Англии. — Политические партии в Германии. — Гесс и Энгельс. — Письмо к Руге. Сведения о социалистическом движении. — Корреспонденция Гейне в «Аугсбургской всеобщей газете». — «Парижские письма» Гуцкова. — Фурьеризм в кривом зеркале «Парижских писем». — Знакомство интеллигенции с коммунизмом. — Книга Лоренца Штейна о социализме и коммунизме во Франции. Poleмика вокруг нее. — Штейн, Гесс, Маркс и Энгельс. — Что показала книга Штейна радикальным младогегельянцам? — Знакомство с коммунизмом из других источников. — Отъезд Энгельса из Берлина. — Встреча с Гессом. — Суждения Энгельса о книге Штейна. Причины отрицательных отзывов. — Последующие замечания о Штейне Маркса и Энгельса.

## Глава XI. Встреча Ф. Энгельса с К. Марксом в Кельне . . . . .

В редакции «Рейнской газеты». — Ее редактор Маркс. — Неодобрительное отношение К. Маркса к «Свободным». — «Свободные» как сотрудники «Рейнской газеты». — Их недовольство направлением газеты. — «Очень холодная встреча» Энгельса с Марксом. Причины этого. — Спор о коммунизме. — Эскурсии «Рейнской газеты» в область социальных вопросов. — Страсбургский конгресс. — Донос «Аугсбургской всеобщей газеты». — Отповедь Маркса. — Вехи на путях умственного развития его и Энгельса. — На меже двух мировоззрений. — Заметка Маркса («Свободных»). — Разрыв Маркса с Б. Бауэром. — Солидаризировался ли Энгельс со «Свободными»? — Его уход от «Свободных».

## Раздел пятый

## Пробывание Ф. Энгельса в Англии

## Глава XII. Первые впечатления: корреспонденции в «Рейнскую газету» . . . . .

Прибытие. — «Национально-английская точка зрения». — Государственный строй. — На почве материальных интересов. — Необходимость социальной революции. — Значение первой корреспонденции. — Избирательная реформа. — Партии. — Хлебные законы. — Противоречия материальных интересов. — Реалистический анализ Энгельса. — Его неточности. — Положение пролетариата. — Промышленный кризис. — Рост нищеты. — Недовольство рабочих. — Общая тревога. — Митинги. — Стачка. — Ее политический характер. — Конференция тред-юнионов в Манчестере. — Собрание чартистов. — Воззвание. — Конец стачки. — Оценка Энгельса. — Его вывод: социальная революция в Англии неизбежна.

## Глава XIII. Полугодовой опыт: письма Ф. Энгельса в «Швейцарский республиканец» . . . . .

Преращение корреспонденций. — «Швейцарский республиканец». — «Письма из Лондона». — Предзнаменования социальной революции. — Радикальный орган «Sun». — Отношение к нему чартистов и, в частности, О'Брайена. — Борьба чартистов с фритредерами. — Полемика с «Аугсбургской всеобщей газетой». — «Золотая середина». — Социалисты. — Англо-ирландская уния. — Положение ирландского народа. — О'Коннел. — Его предательство. — «Принципы» и «материальные интересы». — Равенство политическое и экономическое. — Ранние социалисты. — Лондонская ассоциация рабочих. — О'Брайен. — Его воззрения. — Классовая противоположность рабочих и буржуазии. — Избирательная тактика. — Выборы 1841 г. — Энгельс и чартизм. — Происхождение слова «социализм». — Роберт Оуэн и его «Социальная система». — Оуэнизм. — Неприятие Энгельсом демократических иллюзий чартизма и мирной тактики оуэнизма.

## Глава XIV. Начало коммунистической пропаганды: статьи Ф. Энгельса в «Новом нравственном мире» . . . . .

Личные знакомства с оуэнстами и чартистами. — В редакции «Северной звезды». «Успехи движения за социальное преобразование на континенте». — Источники коммунизма в Англии, Франции и Германии. — Сен-симонизм. — Фурье. — Преодоление Энгельсом аполитичности. — Кабэ. — Осуждение заговорщической тактики бланкистов. — Отказ от вступления в «Союз справедливых». — Прудон и его книга о собственности. — Отношение к ней Маркса. — Прудон и Оуэн. — Вопрос о влиянии Прудона

на Энгельса. — Возражения Прудона против коммунизма. — Недосмотр Энгельса и его причины. — Коммунизм в Германии. — Вейтлинг. — Его «Гарантии гармонии и свободы». — Коммунизм революционной интеллигенции. Коммунизм и философия. — Снова вопрос об «интересах» и «принципах». — Неопределенность философского коммунизма. — Был ли Энгельс утопическим социалистом?

#### Глава XV. Работы Ф. Энгельса в «Немецко-французских ежегодниках»

245

Маркс, Руге и Гервег оставляют Германию. — Литературные планы. — Идея и программа нового журнала. — Приглашение Фейербаха. — Письмо Маркса к Фейербаху. — Отказ Фейербаха. — Немецкие сотрудники журнала. — Приглашение Энгельса. — Влияние фейербаховского гуманизма. — «Тезисы к реформе философии» и их содержание. — Недостатки тезисов. Маркс и Руге о них. — «Переписка». — Ее значение. — «Положение в Англии» Энгельса. — Карлейль. — Его произведение и воззрения. — Мнение Г. Майера. — Его ошибочность. — Книга Карлейля «Прошлое и настоящее». — Возражения Энгельса. — Замечания о «Положении Англии». — Ошибка Меринга. — «Критические очерки политической экономии». — Лицемерие и безнравственность буржуазной экономии. — Ее половинчатость, противоречия и односторонность. — Экономические категории и Прудон. — Торговля как законный обман. — Фабричная система. — Стоимость, цена и земельная рента. — Частная собственность. — Конкуренция и монополия. — Спрос и предложение. — Кризисы. — Теория Мальтуса. — Возражения Энгельса. — Централизация собственности. — Эксплуатация науки. — Опровержение экономистов. — Оценка «Очерков». — Зерна научного социализма. — Современники о новых работах Энгельса.

#### Глава XVI. Очерки Ф. Энгельса в газете «Вперед»

276

Неудача с «Немецко-французскими ежегодниками». — Поход прусского правительства против журнала. — Маркс и Руге. — Газета «Вперед». — Выступление Маркса в газете «Вперед». — Очерки Энгельса о положении в Англии. Противопоставление ей Франции и Германии. — XVIII век и его противоречия. — Особенность Англии. — Еще раз «принципы» и «интересы». — Технические изобретения — основа социального движения. — Промышленный переворот. — Его последствия. — А. Смит и У. Годвин. — И. Бентам. — Новые классы как результат промышленного развития. — Оценка первого очерка. — Рецедивы гегельянства. — Зачатки исторического материализма. — Их ограничительный характер. — «Английская конституция». — Критика государства. — Монархический принцип. «Аристократический элемент». — Так называемая демократия. — Кто правит Англией? — Теория и практика английской конституции. — Права гражданина — привилегия богатей. — Покровительство уголовных законов богачам. — Конституция Англии — великая ложь. — Буржуазная и социальная демократия. — Значение очерков. — Влияние Фейербаха. — Критика социальных и политических отношений. — Классовый характер государства. — Преддверие исторического материализма.

#### Примечания

295

## О П Е Ч А Т К И

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
12	15 снизу	Эрбельфельдской	Эльберфельдской
112	19 .	Возрождение	Возражение
154	18 .	возведение	возбуждение
154	7 .	благомысляще	благонамеренно
158	8—9 сверху	неорганизованный, даже	неорганизованный и даже
158	9—10 .	организации и только	организации, только
195	12 .	не потому	потому
196	7 снизу	сво своими	со своими
256	19 сверху	этих	этим
257	24 .	мог	не мог
289	3 .	дольше	больше
325	11 .	„Гегелишки“	„Гегелинги“
327	1 .	183	184